

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

С.Т.ШАЦКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЬХ ТОМАХ

Под редакцией

И. А. КАИРОВА, Л. Н. СКАТКИНА,
М. Н. СКАТКИНА, В. Н. ШАЦКОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР
Москва 1962

С.Т.ШАЦКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

С.Т.ШВАЦКМИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
ПЕРВЫЙ



Составитель
Г. Ф. МОРОЗОВА

Оцифровано в Педагогическом музее А.С. Макаренко (Москва)
Разбиение текста по страницам соответствует книжному
изданию с точностью до пары слов на границах страниц.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР
Москва 1962



СТАНИСЛАВ ТЕОФИЛОВИЧ ШАЦКИЙ

1878 — 1934

О Т Р Е Д А К Ц И И

Собрание сочинений С. Т. Шацкого издаётся впервые. Оно включает основные его труды по вопросам народного образования дореволюционной России, строительства советской школы, теории и практики воспитания и обучения. Произведения располагаются в хронологическом порядке, за исключением работ автобиографического характера, которые собраны в отдельном томе.

В первый том входят автобиографические работы: «Мой педагогический путь», «Старая школа» (1 часть книги «Годы исканий»), «Студенческие годы» (публикуется впервые); труды дореволюционных лет: «Дети — ребята будущего», «Бодрая жизнь», доклады и статьи. Во второй том — статьи, доклады и выступления 1917 — 1926 годов, в том числе: «На пути к трудовой школе», ряд статей из сборника «Этапы новой школы», брошюра «Изучение жизни и участие в ней» и др. В третий том — статьи, доклады и выступления 1926 — 1930 годов, в том числе: «Деревня и деревенские дети», «Общественная работа школы в городе», «О том, как мы учили и как следует учить», «Очередные вопросы педагогического образования» и др. В четвёртый том —

статьи, доклады и выступления 1931 — 1934 годов, в том числе: «Методика и качество работы школы», «Повышение качества урока» и др., а также письма С. Т. Шацкого.

Каждый том снабжён примечаниями, именным и предметным указателями.

Издание рассчитано на широкие круги педагогической общестственности: научных работников, преподавателей и студентов высших и средних педагогических учебных заведений, учителей и воспитателей.

С. Т. ШАЦКИЙ, ЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Станислав Теофилович Шацкий (1878 — 1934) — выдающийся советский педагог, человек широкого образования и большой культуры, вдохновенный строитель советской трудовой школы — отдал педагогической деятельности всю свою сознательную жизнь.

Общественно-педагогическая деятельность С. Т. Шацкого, начавшаяся ещё в 1905 году, проходила в течение двенадцати дореволюционных лет в Москве и в сельской местности неподалёку от Москвы при участии лишь небольшой группы сотрудников и осуществлялась главным образом в области внешкольного и дошкольного воспитания детей. Только при Советской власти представилась возможность С. Т. Шацкому вместе с большим коллективом педагогов широко развернуть творческую работу по строительству трудовой школы, подготовке учителей и организации педагогических исследований, которую он вёл в течение 17 лет до своей кончины. В этот период С. Т. Шацкий отдаёт весь накопленный им ранее опыт строительству советской трудовой школы. Он основывает в 1919 году в Москве Первую опытную станцию по народному образованию, представлявшую систему городских и сельских школ, дошкольных и внешкольных учреждений. Под руководством Шацкого проводилась большая исследовательская педагогическая работа на основе хорошо

поставленной практики воспитания и обучения детей и широко развёрнутой политико-просветительной работы с населением.

С. Т. Шацкий, будучи видным деятелем педагогической секции Государственного учёного совета Наркомпроса РСФСР, возглавлявшейся Н. К. Крупской, разрабатывал вопросы организации, содержания и методов трудовой школы и проверял их опытным путём в руководимых им учреждениях.

В своих статьях, докладах и выступлениях на учительских конференциях и курсах он призывал учительство работать над строительством новой школы, указывая конкретные пути создания советской трудовой школы.

Изучение трудов В. И. Ленина, совместная деятельность с Н. К. Крупской в Государственном учёном совете, активное участие в общественной политической работе в деревне, общение с молодыми педагогами подготовили вступление С. Т. Шацкого в Коммунистическую партию (1928).

Став коммунистом, Шацкий с ещё большей энергией участвовал в деятельности Наркомпроса, членом коллегии которого он состоял с 1929 года.

В последние годы своей жизни Шацкий, как человек со специальным музыкальным образованием, был директором Московской консерватории. Одновременно он руководил Центральной педагогической лабораторией Наркомпроса, задачей которой являлось обобщение опыта существовавших в то время опытных и образцовых школ.

Такова многообразная общественно-педагогическая и научная деятельность С. Т. Шацкого, талантливого педагога, одного из крупнейших деятелей в области теории педагогики и практики школьного дела, «имя которого должно быть поставлено в один ряд с именами выдающихся реформаторов школы во всём мире» (А. С. Бубнов).

*

С. Т. Шацкий родился 1(13) июня 1878 года в Смоленске в семье мелко-го военного чиновника. Семья была большая, постоянно испытывала недостаток средств, режим в семье был довольно строгий.

После того как родители переехали в Москву, Шацкий поступил в 6-ю московскую гимназию. Годы учения в школе, в которой преподавание было оторвано от жизни, отличалось сухим формализмом, оставили в душе юноши немало тяжёлых впечатлений.

Внутренняя жизнь молодого человека, с его интересами к практической деятельности, к книге, к театру, к музыке, развивалась независимо от учения в школе и очень часто протекала в условиях острой борьбы против сурового школьного режима.

Отрицательные стороны системы преподавания в гимназии, вызывавшие размышления о том, что «так не надо ни учиться, ни учить», явились для Шацкого толчком, пробудившим у него стремление к творческой педагогической деятельности. Не случайно впоследствии Шацкий посвятил первую часть своей книги «Годы исканий» описанию лично пережитого опыта учения в гимназии и анализу педагогических фактов, имевших место в старой школе.

По окончании гимназии Шацкий учился в Московском университете. Годы студенчества были неудачными: большинство профессоров мало интересовалось студентами, у самого Шацкого не было установившихся интересов, а гимназия не выработала у него привычки работать систематически.

О недостатках системы университетского образования, о своих блужданиях с факультета на факультет, о переживаниях и размышлениях, связанных с пребыванием в высшей школе, С. Т. Шацкий рассказывает в своих записках «Студенческие годы», которые впервые публикуются в настоящем издании.

В этих записках с признательностью упоминается имя профессора К. А. Тимирязева, который оказал влияние на формирование материалистического мировоззрения и педагогических взглядов С. Т. Шацкого.

С юных лет Шацкий увлекался музыкой. Он обладал хорошим голосом, научился играть на фортепьяно. Будучи студентом, Шацкий поступил в Московскую консерваторию, где обучался пению.

«Участвуя довольно сильно в политической жизни студенчества, — вспоминает С. Т. Шацкий, — я тем не менее не присоединился ни к одной из политических групп... Особенно меня смущало то, что широчайшие

общественные, политические проблемы, которые намечались в это время, как-то мало увязывались с тем скромным делом, с той работой в сельской школе, которую я себе наметил...»¹ Мысли о будущей педагогической работе с детьми всё чаще стали занимать молодого студента. Он записывает в своём студенческом дневнике (1903): «Когда я подумаю, что у меня нет сил достичь желаемого — увидеть вокруг себя свежие, здоровые человеческие вольные детские лица и знать, что я сберёг для их будущей жизни тот капитал, что в них запложен, душа делается радостно спокойна и ничего, ничего больше я в жизни для себя не хочу...»²

«Сила и напряжённость размышлений,— как отмечает С. Т. Шацкий,— заставили его бросить высшую школу и приняться за педагогическую работу с детьми»³.

В годы студенчества С. Т. Шацкий по своим взглядам и устремлениям принадлежал к «культурникам», т. е. сторонникам легального прогресса без политической борьбы

Известно, что В. И. Ленин считал это движение в студенчестве демократическим, хотя оно и было недостаточно сознательным и решительным⁴.

С. Т. Шацкий начал свою общественно-педагогическую работу в 1905 году, в период первой русской революции, всколыхнувшей все слои общества, оппозиционно настроенные по отношению к царскому правительству. К этому году относится организация С. Т. Шацким совместно с А. У. Зеленко⁵ летней трудовой колонии для детей в Щёлкове, под Москвой.

Педагогическое дело, начатое Шацким, носило общественный характер и имело своей задачей провести в жизнь трудовое воспитание, детское самоуправление и

удовлетворение детских интересов, которые не только не встречали какого-либо отклика в старой школе, но, как правило, подавлялись.

Описание и анализ этого первого педагогического опыта С. Т. Шацкого дан им в книге «Дети — работники будущего», которая была опубликована впервые в 1908 году, а затем в переработанном автором виде в 1922 году.

В основу совместной жизни сотрудников и детей в летней колонии был положен физический труд и общественное начало. Дети сами готовили пищу, оборудовали помещения, выполняли работы по его уборке; руководство жизнью и деятельностью детей осуществлялось через общее собрание — «сходку».

Понятный детям необходимый посильный физический труд и общественная форма организации детской жизни оказали положительное воспитательное влияние на детей, начали их сплачивать в дружный коллектив. Однако Шацкий отмечает, что не оправдалось первоначальное предположение, «что дети, очутившись в подходящей обстановке, с р а з у станут настоящими детьми, свободными, способными к естественной жизни, полной детских запросов»¹.

Стало ясно, что требуется длительная упорная работа над преодолением привычек, обычаев, суеверий, которыми снабдила детей окружающая среда. Для осуществления такой задачи необходимо было изучать эту среду и оказывать на неё культурное влияние.

Летняя колония положила начало дальнейшей работе — организации клубов для детей и подростков из рабочей среды в районе Бутырок и Марьиной рощи в Москве. «Дети станут свободно приходить к нам, группироваться в товарищеские ячейки. В нашем клубе проявится всё, что задумано в детях жизнью. Наш клуб должен положить начало освобождению детей. Пусть мы начнём с маленького, будем ждать, пока дети сами начнут создавать свой клуб, свой общественный уголок, вроде, как это вышло в колонии. Мы предложим им

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 414.

² Там же, стр. 262.

³ Там же, стр. 202.

⁴ См. В. И. Ленин, Соч., т. 7, стр. 30 и 33.

⁵ Зеленко, Александр Устинович (1871 - 1953) — архитектор и педагог, с которым С. Т. Шацкий работал с 1905 по 1908 год. После Октябрьской революции вёл научно-исследовательскую и педагогическую работу в различных педагогических учреждениях.

¹ С. Т. Шацкий. Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 79.

занятую для них организацию, своего председателя, секретаря в каждой группе»¹.

Так представлялась С. Т. Шацкому новая общественно-педагогическая работа в одном из окраинных районов Москвы.

По инициативе А. У. Зеленко и С. Т. Шацкого в 1906 году было создано общество, которое по предложению А. У. Зеленко, познакомившегося во время своего путешествия с культурно-просветительной работой за границей, получило название «Сетлемент» — так назывались культурные поселения интеллигенции среди беднейших слоёв населения.

Сотрудники общества развернули педагогическую работу в организованных им детских клубах, мастерских, в детском саду для детей дошкольного возраста. Мальчики и девочки объединялись группами примерно в 12 человек по принципу товарищества в клубы-кружки. Каждый такой клуб имел свои определённые виды занятий, которые устраивались два раза в неделю. Ребята вырабатывали правила клуба и подчинялись им. Кроме клубных занятий, время от времени устраивались общие для всех участников клубов посещения музеев, театров, загородные прогулки, был организован хор.

С осени 1907 года клубы помещались в специально выстроенном по проекту А. У. Зеленко здании в Вадковском переулке. В нём были оборудованы мастерские: столярная, слесарная, переплётная, сапожная, швейная. Особые комнаты были отведены для занятий рисованием. Большое помещение заняла библиотека-читальня. Была даже оборудована небольшая обсерватория.

В зрительном зале со сценой устраивались концерты, ставились спектакли, проводились собрания.

Общественно-педагогическая работа кружка, объединившегося вокруг А. У. Зеленко и С. Т. Шацкого, была направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для всестороннего развития детей, воспитывать их самостоятельность в труде и умственной деятельности, ввести детское самоуправление.

Эта работа основывалась на уважении педагогами личности ребёнка, на доверчивых, глубоко человеческих отношениях с детьми.

«Внешняя форма организации была в то время такова, что каждая группа имела общее собрание и своих выбранных лиц. Эти республиканские формы ребят очень занимали и чрезвычайно содействовали созданию у них чувства ответственности»¹ — вспоминает один из сотрудников клуба — А. А. Фортунатов.

«Нельзя сказать, чтобы ребятам было предоставлено делать решительно всё, что им было угодно,— продолжает А. А. Фортунатов. — У нас был свой план, но мы старались воздействовать на ребят не путём какого-нибудь приказа, а иначе. Мы старались, чтобы у ребят самих появилось желание делать то, что надо, и не делать того, чего не надо»².

Этот подход к работе с детьми резко отличал Шацкого и его сотрудников от коллектива «Дома свободного ребёнка», идейным руководителем которого был К. Н. Вентцель, пропагандировавший «теорию свободного воспитания» в её крайнем, анархическом виде.

Педагогическая работа, которая проводилась сотрудниками «Сетлемент» в клубах, по подходу к детям, по её методам может рассматриваться как противопоставление старой школе. Трудовое воспитание детей и подростков, детское самоуправление, культура детских интересов противостояли интеллектуализму и муштре старой школы.

Посещение детских клубов, работа в мастерских, участие в разнообразных занятиях для многих подростков было началом их жизненного пути, который определил впоследствии их место в обществе, их призвание.

Один из членов клуба, В. П. Башкиров, в своих воспоминаниях пишет: «Мы любили и уважали Шацкого за то, что в каждом из нас, воспитанников клуба, он видел прежде всего растущего человека, имеющего право на лучшую жизнь».

¹ А. А. Фортунатов. Первые шаги педагогической деятельности Шацкого, ст. в сб. «С. Т. Шацкий». М., Учпедгиз, 1935, стр. 87.

² Там же.

¹ С. Т. Шацкий. Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 74.

Одной из идей, положенных в основу деятельности общества «Сетлемент», являлась мысль о проведении культурной работы среди взрослого населения. Руководствуясь этими соображениями, сотрудники посещали семьи воспитанников. Сначала сотрудники столкнулись с недоверием родителей, но потом со многими из них установились добрые отношения.

Хотя кружок педагогов, группировавшихся вокруг Зеленко и Шацкого, всячески сторонился политики и вёл свою культурно-воспитательную работу в отрыве от политической борьбы пролетариата, его практическая деятельность рассматривалась органами царской власти как одно из разветвлений социалистических течений того времени. Постановлением московской администрации общество «Сетлемент» со всеми его учреждениями было закрыто 1 мая 1908 года за «попытку проведения социализма среди детей».

«Зеленко, чрезвычайно потрясённый нравственно, бросил работу, покинул Россию, уехал снова в Америку на несколько лет. И вот тут-то все сотрудники, не желавшие складывать оружие, естественно сгруппировались вокруг Шацкого... Шацкий сделался естественным руководителем, никем не назначенный, не выбранный, а просто в силу своих качеств и дарований»¹.

Только после долгих хлопот удалось С. Т. Шацкому возобновить наильнейственно прерванную работу с детьми. Он добился в феврале 1909 года разрешения открыть общество под новым названием «Детский труд и отдых». Снова дети и подростки заполнили многочисленные комнаты своего дома в Вадковском переулке, где начали работать детские клубы и детский сад. Была открыта экспериментальная начальная школа, в которой группа сотрудников попыталась по-новому поставить учебные занятия в рамках обычной школьной программы, применив усовершенствованные методы преподавания и оживив школьную атмосферу.

В условиях наступившей реакции С. Т. Шацкий и сотрудники общества «Детский труд и отдых»

вынуждены были сократить прежний широкий размах работы и сосредоточить свои силы главным образом на разработке вопросов методики внешкольной и дошкольной работы с детьми.

Пришлось отказаться от внешней «республиканской» формы организации детей. От группировки детей по принципу товарищества перешли к их объединению в клубы по интересам. В процессе работы возникали трудности, связанные с тем, что сотрудники недостаточно хорошо знали детей и мало их изучали. Начали возникать сомнения, является ли детский интерес собственным интересом детей, не возникает ли он в сильной степени под влиянием окружающей среды.

Между тем опыт работы небольшой группы сотрудников — Л. К. Шлегер, Л. Д. Азаревич, Е. П. Останинной — в детском саду подсказывал, как искать выход из возникавших затруднений: приглядываться к детям, наблюдать за детской деятельностью, изучать среду, окружающую ребёнка.

В этих условиях у С. Т. Шацкого возникла мысль о возобновлении работы летней детской трудовой колонии как постоянного учреждения с достаточным по размерам сельскохозяйственным участком. Устройство колонии давало возможность создать подходящие условия для проявления настоящей детской жизни, свободной от внешних наслоений, сложившихся под неблагоприятным влиянием дурных сторон окружающей жизни взрослых.

В 1911 году удалось получить подходящий участок земли в Калужской губернии, в 100 км от Москвы, и возвести необходимые постройки.

Колония содержалась на средства общества «Детский труд и отдых».

Организуя летнюю трудовую колонию, С. Т. Шацкий стремился создать условия для организации дружного детского коллектива, для привития детям навыков общественной жизни, для развития творческих способностей детей. Основой жизни детей в колонии был физический труд: дети вместе с сотрудниками выполняли работы по приготовлению пищи, по самообслуживанию, по благоустройству колонии. Они трудились на огороде, в саду, в поле, на лугу, на скотном дворе, подростки учились работать на сельскохозяйственных машинах.

¹ А. А. Фортунатов, Первые шаги педагогической деятельности Шацкого, статья в сб. «С. Т. Шацкий», М., Учпедгиз, 1935, стр. 90.

Таким образом колонисты овладевали разнообразными трудовыми умениями.

Трудовая деятельность детей складывалась из дежурств по отдельным отраслям хозяйства (в кухне, в прачечной, на скотном дворе) и общественных работ, в которых участвовали все свободные от дежурств колонисты.

Труд, который осознали дети как необходимый, как первое условие жизни в колонии, вносил организованность в их жизнь, спланировал лекции детей и сотрудников.

Физический труд занимал около 5 часов в день. Свободное от выполнения работ время использовалось детьми по их желанию на чтение, музыку, пение, ритмическую гимнастику, игры, беседы.

В жизни и в занятиях существовало разделение детей на три возрастные группы: младшие, средние и старшие. «Наша колония,— говорилось в одной статье Шацкого, помещённой в рукописном журнале колонии,— это место, где мы все устраиваем кругом себя хорошую жизнь, и чем дальше, тем лучше... Это — место, где мы работаем, один на всех и все на одного, где дети могут стать хозяевами, с достоинством отвечая за, всё, что ими сделано, как люди, которые достаточно поработали.

Наша колония должна быть местом радостной, дружной трудовой жизни».¹

В жизни колонии большое место занимало искусство: подготовка детских спектаклей-импровизаций, слушание музыки, хоровое пение, игра на музыкальных инструментах. Интерес к музыке развивали у детей С. Т. Шацкий и его жена и товарищ по педагогической работе В. Н. Шацкая — люди большой музыкальной культуры.

Воспитывая детей в коллективе, С. Т. Шацкий жил и работал вместе с детьми и в то же время внимательно изучал их, наблюдал за проявлением их способностей и интересов, за их отношением к труду, к выполнению общественных обязанностей. Уже в этот период оформился

один из педагогических принципов Шацкого — «изучать детей, непрерывно работая с ними»¹.

Описанию и анализу опыта педагогической работы летней трудовой колонии была посвящена книга: В. Н. и С. Т. Шацкие, «Бодрая жизнь» (1915).

Из трёхлетнего опыта совместной жизни руководителей с детьми в колонии С. Т. Шацкий сделал важный теоретический вывод: «...между основными сторонами детской жизни — физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным развитием — существует определённая связь, обнаруживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те или другие изменения в одном направлении (это касается и форм детских деятельности и их организации) вызывают соответственные изменения в другой области»².

Было установлено организующее влияние физического труда на жизнь детского коллектива: «...виды и формы детского труда и его организация, претерпевая в своём развитии ряд нормальных изменений — всё к большему разнообразию в формах и большей стройности в организации,— влекут за собой соответственные изменения в социальной, эстетической и умственной жизни детей»³.

Вместе с тем колония являлась обществом детей и взрослых. «Руководители должны быть членами колонии, подобно детям,— считал С. Т. Шацкий,— но они в то же время регулируют общую жизнь и изучают её, чтобы самим не стоять на месте, вводить всё новые и новые пути для совершенствования нашей жизни»⁴.

С. Т. Шацкий и его сотрудники широко вносили в жизнь колонии и клубов произведения народного творчества, относящиеся к разным областям искусства. Русские народные песни часто исполнялись хором колонистов, они звучали на праздниках, на прогулках, прочно вошли в быт колонии. Народные сказки в обработке русских поэтов занимали видное место в спектаклях, которые ставили колонисты. Детские рукописные журналы колонии выходили в обложках, в художественном

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 81-198.

² Там же, стр. 83.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 197.

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 131.

оформлении которых часто встречались мотивы народного творчества.

Ребята делали мебель, покрывая её резьбой в духе северных и волжских народных образцов.

Народные подвижные игры внедрялись в быт колонии. Особенно много в области изучения народных подвижных игр и их распространения среди детей и подростков сделала одна из сотрудниц С. Т. Шацкого — Н. О. Масалитинова¹.

Работа с детьми, которая проводилась под руководством С. Т. Шацкого, сопровождалась глубоким её анализом. На основе тщательного коллективного обсуждения достижений и недостатков пройденного этапа ставились задачи для дальнейшей деятельности. Особенно отчётливо значение анализа работы для развития педагогического дела обнаруживается в опыте колонии «Бодрая жизнь», в которой план на каждый новый летний сезон намечался на основе внимательного разбора итогов предшествующего периода.

Колония «Бодрая жизнь», детские клубы, детский сад и начальная школа, организованные С. Т. Шацким, носили характер опытных учреждений, в которых на практике проверялись некоторые педагогические закономерности.

Анализ педагогической работы, которая по своему содержанию и методам являлась новаторской, не только служил средством, продвигавшим её вперед, но сильно содействовал росту самих педагогов, их педагогическому самообразованию, которое подкреплялось также изучением русской и иностранной педагогической литературы.

С. Т. Шацкий отмечает влияние, которое на него оказала педагогическая деятельность и взгляды Л. Н. Толстого. Основная сила педагогики Л. Н. Толстого, как подчёркивает Шацкий, заключается в целостном подходе к педагогической деятельности: он всё время имеет в виду связанное сцеление частей педагогического дела, их взаимодействие. «Для Толстого невозможно разбирать

отдельно идею школы, программу, методы работы, ученика, учителя и среду, в которой работает школа»¹ — замечает Шацкий.

Такой подход к педагогическому делу характерен и для С. Т. Шацкого, который на опыте изучал взаимодействие основных элементов жизни в детском коллективе.

Как известно, Л. Н. Толстой считал необходимым при обучении в школе учитывать личный жизненный опыт ученика, приобретённый им до школы и вне школы. «Громадное значение Толстой придавал среде, окружающей ребёнка, и тем средствам, при помощи которых она может воспитать его»².

С. Т. Шацкого привлекало в практике Яснополянской школы то, что учитель относился к ученику, как к человеку, который занят серьёзным делом, имеет свои мысли, запросы, учитель и ученик работали вместе над общим делом.

Подход С. Т. Шацкого к работе с детьми как к педагогическому опыту соответствует идее Л. Н. Толстого, что школа должна быть и орудием образования и вместе с тем опытом над молодым поколением, опытом, дающим постоянно новые выводы.

На развитие педагогических взглядов С. Т. Шацкого оказал также влияние выдающийся русский педагог П. Ф. Лесгафт. Его идеи об уважении к личности ребёнка, о гармоническом, всестороннем его развитии, о воспитании самостоятельности ребёнка, о значении влияний среды в процессе формирования характера ребёнка находят своё отражение в педагогических высказываниях С. Т. Шацкого, который считал П. Ф. Лесгафта «истинным создателем русской научной педагогики».

Для изучения вопросов трудового воспитания Шацкий совершает поездки за границу, сначала в Скандинавские страны, а затем (в 1913 — 1914 годах) в Германию, Бельгию, Францию, Швейцарию. Знакомство с опытом передовых школ за границей показало Шацкому, что руководители этих школ были хорошими организаторами,

¹ Масалитинова Надежда Осиповна (1876-1921) – ученица П.Ф. Лесгафта, видный педагог в области физического воспитания детей, с 1903 года принимала участие в работе общества «Детский труд и отдых».

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 396.

² Там же, стр. 397.

но в то же время чрезвычайно узкими людьми. Как замечает Шацкий, он не мог вынести ничего особенно ценного из западноевропейской педагогической теории и практики в области тех идей, над осуществлением которых он работал.

В годы империалистической войны в Москве для детей, отцы которых были призваны на фронт, было организовано на средства общественной помощи много очагов (так тогда назывались детские сады с длительным пребыванием в них детей), детских летних площадок для игр и клубов для школьников. Возникла настоятельная потребность в подготовке педагогов для этих учреждений. С. Т. Шацкий и его сотрудники стали принимать активное участие в проведении различных курсов по дошкольной и внешкольной работе с детьми, читали лекции на курсах по дошкольному воспитанию в Народном университете Шанявского, которые привлекали многочисленных слушателей. Однако лекционная форма подготовки педагогов не удовлетворяла Шацкого. Он организует для небольшой группы слушателей практические занятия, в основу которых берётся изучение детей, анализ собственного педагогического опыта курсантов и их самостоятельная исследовательская работа, вытекающая из этого опыта, а также исследование материалов (песка, глины, бумаги, ткани, древесины и т. д.) для работы с детьми.

Деятельность курсов дала хорошие результаты и послужила основой для дальнейшего развития идей Шацкого о подготовке педагогов. Курсы расширили круг людей, которые, получив педагогическую подготовку, стали работать в детских садах, детских клубах, на летних площадках для игр в разных городах России, а также в Москве. Многие из окончивших курсы включились в работу детских учреждений, которыми руководил С. Т. Шацкий.

Это дало возможность постепенно расширять деятельность учреждений общества «Детский труд и отдых», создавая систему опытных детских учреждений.

Мысли о широкой культурно-просветительной работе в районе (в условиях города и деревни), которая охватывала бы своим влиянием не только детей, но и взрослых, возникают у С. Т. Шацкого в обстановке

оживления общественной жизни, связанного с новым революционным подъёмом (1910 — 1914).

Идея создания системы опытных просветительных учреждений для детей и взрослых нашла своё выражение в составленном С. Т. Шацким в 1916 году докладе «Белкинский межездный опытный участок повышенного земского хозяйства с рядом мероприятий и учреждений просветительного характера».

Предполагалось создать в районе деятельности летней трудовой колонии «Бодрая жизнь» ряд учреждений: школы — начальные и дополнительные, ясли, детские сады, мастерские, библиотеки для детей и для взрослых, курсы для взрослых, народный дом, которые должны быть связаны с работой агронома, врача, ветеринара.

В основу этого проекта были положены следующие принципы: изучение местных условий, самостоятельность населения, совместная организованная работа всех деятелей культуры.

Намечалась практическая опытная проверка всей системы культурно-просветительных учреждений и новых методов их работы.

К этой системе учреждений, по мысли Шацкого, должны были быть присоединены педагогические курсы, имеющие целью ознакомить учителей с новыми методами работы в начальной школе, «основанными на принципе развития активности, самостоятельности и творческих способностей».

В направлении педагогической деятельности С. Т. Шацкого в довоенный период можно отметить несколько характерных черт. Это направление, как уже отмечалось, было демократическим по общественным устремлениям его участников, по усилиям педагогов развивать общественность, коллективизм среди детей и подростков, по тенденции устанавливать тесную связь педагогической деятельности с жизнью народа.

В педагогической работе видное место занимало использование в воспитательных целях народных подвижных игр, народных песен, народного изобразительного искусства.

В основе педагогической деятельности С. Т. Шацкого и его сотрудников лежало глубокое уважение к развивающейся личности ребёнка, побуждавшее их тщательно

изучать ребёнка, заботиться об удовлетворении его запросов и интересов. В этом отношении С. Т. Шацкого можно считать продолжателем лучших традиций прогрессивной русской педагогики.

Наблюдая жизнь детей рабочих и мелких ремесленников одной из окраин Москвы, Шацкий приходит к выводу: «У детей нет детства. Тяжесть жизни вторглась в него и разрушила». И он ставит благородную задачу: «помочь детям быть детьми»¹.

Изучение детей, знакомство с данными психолого-педагогических исследований убеждают его, что нельзя лишать детей возможности двигаться, играть, исследовать окружающие их предметы и явления, что каждый возрастной период детства имеет свои особенности.

На этом основании С. Т. Шацкий считал целью работы с детьми «осуществление возможно полной детской жизни сейчас, без мысли о том, что даст будущее»², он отвергал «идею необходимости подготовки детей к будущей жизни, деятельности, карьере...»³

В условиях царской России эти мысли Шацкого имели прогрессивный характер, так как являлись протестом против целей старой школы, которые вели к подавлению личности ребёнка, к затемнению его сознания.

Однако замыслы Шацкого путём организации внешкольных детских учреждений «вернуть детям детство» при капиталистическом строе являлись утопическими. Шацкий в то время был далёк от понимания роли рабочего класса в революционном преобразовании старого общественного строя, которое должно было привести к созданию новых, благоприятных условий для всестороннего развития детей.

Вместе с тем противопоставление задач организации детской жизни и задач подготовки детей к будущей работе оказалось впоследствии для С. Т. Шацкого, в начале послереволюционного периода его деятельности, серьёзным препятствием, которое мешало ему

признать цели, которые ставились перед новой трудовой школой.

Изучение общественной организации жизни детей привело Шацкого к выяснению элементов, из которых складывается эта жизнь: физический труд, игра, искусство, умственный труд, социальная деятельность. Эти элементы (или стороны жизни детского коллектива), как установил Шацкий на практическом опыте, взаимно связаны между собою, причём ведущая роль принадлежит физическому труду.

С. Т. Шацкий показал, что сильный, осознаваемый детьми как необходимый для их жизни физический труд по самообслуживанию и по созданию материальных ценностей имеет организующее воспитательное влияние на детский коллектив. В этом признании организующей роли труда для роста детского сообщества С. Т. Шацкий обнаруживает более глубокое понимание воспитательного значения труда, чем современные ему зарубежные педагоги, которые рассматривали физический труд или как педагогически гигиеническое средство в интернатах для детей буржуазии, или как средство для привития детям трудовых навыков ремесленного характера.

Оценивая опыт, накопленный до революции коллективом педагогов, работавших под его руководством, С. Т. Шацкий писал: «...мы уже прочно связали педагогическую практику с её анализом, мы создали методы изучения материалов, над которыми работают дети, установили взгляд на педагогическое дело, как на организацию детской жизни, и на курсы, как на организацию коллектива взрослых, работающих над общими вопросами, и собрали ценный материал по новому методу подготовки педагогов в процессе практической работы»¹.

Вместе с тем наметились общие контуры организации системы опытных культурно-просветительных учреждений для детей и для взрослого населения района, связанных между собою общностью задач, применением новых методов работы и привлечением населения к активному в ней участию.

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 86-87.

² С. Т. Шацкий, На пути к трудовой школе, статья в сб. «Трудовая школа», М., 1918, стр. 75.

³ Там же, стр. 71.

¹ С. Т. Шацкий. Наше педагогическое течение, статья в сб. «Этапы новой школы», М., изд-во «Работник просвещения», 1923, стр. 21.

Великая Октябрьская социалистическая революция привела к осуществлению в стране коренных демократических и социалистических преобразований во всех областях жизни общества.

С. Т. Шацкий не сразу принял участие в строительстве новой трудовой школы, создававшейся под руководством Коммунистической партии и Советской власти. С. Т. Шацкому, как и многим другим интеллигентам, пришлось преодолеть немалые колебания и сомнения, мешавшие ему понять великую созидательную силу нового общественного строя. В преодолении этих колебаний свою роль сыграли, с одной стороны, демократизм С. Т. Шацкого, его борьба против казённости старой школы, его новаторская практическая работа с детьми беднейших слоёв населения, а с другой стороны, чуткое отношение к нему членов Коммунистической партии, с которыми он общался, в особенности Н. К. Крупской, с которой он впервые встретился в 1918 году.

16 октября 1918 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом был издан декрет «Положение о единой трудовой школе РСФСР», которым устанавливались основы советской демократической системы школьного образования. Тогда же были опубликованы Государственной комиссией по просвещению «Основные принципы единой трудовой школы», определявшие направление учебно-воспитательной работы школы.

Школа должна быть связана с жизнью, обучение — с производственным общественно необходимым трудом. Школа должна обеспечить учащимся умственное, нравственное, физическое и эстетическое развитие, воспитывать детей в духе коллективизма и интернационализма, содействовать развитию активности и самостоятельности. Ставилась задача создать ученические организации для участия во всей жизни и деятельности школы, а также различные кружки, преследующие образовательные и воспитательные цели.

Педагогические идеи, изложенные в указанных документах, и общее направление реформы школы были близки С. Т. Шацкому.

Он пишет в своей статье «Мой педагогический путь»: «Тот способ, которым мы разрабатывали нашу педагогическую практику, — изучение реальной

действительности, изучение условий, в которых живут и воспитываются дети, самая постановка вопроса о создании опытного учреждения — это была такая идея, которая с неустойчивой силой стала развиваться в первые годы революционного строительства; наконец, основное — вопросы детского самоуправления, с которыми мы уже в значительной степени свиклись и считали себя, вероятно не без основания, пионерами в этой области,— делало для нас постановку новых педагогических проблем особенно близкой. То же, что мешало нам ближе подойти к революционному строительству,— наше культурничество, аполитичность, обычное отношение интеллигента того времени к большевикам, как к разрушителям,— довольно быстро исчезло, как только мне и моим товарищам удалось ближе подойти к тем планам и способам их выполнения, с которыми мы познакомились в новых условиях работы»¹.

С. Т. Шацкий включает в напряжённую работу по социалистическому строительству.

«Подавляющее большинство старой интеллигенции,— говорил Н. С. Хрущёв,— преодолело сомнения и колебания, стало на сторону Советской власти и своим талантом, творческими способностями, своим неутомимым трудом стало активно участвовать в великом деле социалистического строительства»².

С. Т. Шацкий получает возможность применить разработанные и проверенные им ранее на практике педагогические идеи к строительству новой школы. В 1919 году он вносит в Наркомпрос предложение создать систему опытных педагогических учреждений — детских садов, школ, внешкольных учреждений в городе и деревне. Народный комиссариат просвещения поддержал этот проект. Создаётся Первая опытная станция по народному образованию в составе двух отделений: сельского — в Калужской области и городского — в Москве.

Для сельского отделения избирается район, в котором находилась колония «Бодрая жизнь». В Калужское отделение входили 15 школ I ступени, две школы II

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 421.

² Н. С. Хрущёв, К победе в мирном соревновании с капитализмом. М., Госполитиздат, 1950, стр. 230.

ступени (одна из них школа-колония «Бодрая жизнь»). Организуется педагогическая выставка, центральная библиотека для школьников, фундаментальная педагогическая библиотека для учителей, кабинет наглядных учебных пособий. Открываются 4 детских сада и внешкольные учреждения для взрослых. Учреждается бюро по изучению местного края с секциями ботанической, зоологической, агрономической и экономической, для изучения с помощью школ особенностей района деятельности опытной станции и подготовки краеведческого материала с целью его использования в занятиях с учащимися. Открываются курсы переподготовки, а затем повышения квалификации учителей.

В московском отделении Первой опытной станции практическая работа с детьми велась в центральном детском саду, созданном в 1922 году под руководством Л. К. Шлегер, и в Первой опытно-показательной трудовой школе, которая вошла в состав учреждений Первой опытной станции в 1919 году и возглавлялась К. В. Полтавской.

Большой размах в московском отделении получила деятельность педагогической выставки и отдела педагогических материалов (отчётов школ, докладов учителей и т. п.) по распространению передового опыта среди широких кругов педагогов.

Для практических работников детских садов и школ Москвы были организованы занятия различных семинаров и курсов, а затем для подготовки учителей был создан педагогический техникум.

Педагогическая библиотека под руководством Н. С. Киричко, хорошо знавшей иностранные языки, постоянно пополнялась современной иностранной литературой, что давало возможность сотрудникам критически использовать зарубежный педагогический опыт.

Таким образом московское отделение Первой опытной станции, тесно связанное с сельским отделением, представляло собою своеобразный «педагогический институт», в котором многие педагоги повышали свою квалификацию под руководством С. Т. Шацкого.

Располагая такой системой практических, методических и научных учреждений, опытная станция имела возможность исследовать вопросы содержания, организации и методов учебно-воспитательной и

образовательной работы всех этих учреждений в их взаимной связи в соответствии с теми задачами, которые в то время ставились Наркомпросом.

С. Т. Шацкий осуществлял руководство практической и опытной работой всей системы учреждений. Единое руководство создавало особенно благоприятные условия для постановки опытной работы. Учителя привлекались к исследовательской работе: к накоплению материалов наблюдений, к собиранию детских работ, их анализу, к обобщению своего практического опыта. Научные работники принимали непосредственное участие в практической работе.

Перестраивать работу школ на новых началах в районе деятельности Первой опытной станции в 1919 году приходилось в тяжёлых условиях, когда Советская страна подверглась вооружённой интервенции империалистов, когда шла гражданская война: не хватало продовольствия, школы испытывали недостаток в учебниках, тетрадях, перьях.

Под руководством С. Т. Шацкого учителя вводили новое в жизнь школы: труд по самообслуживанию, подвижные игры, занятия рисованием, лепкой, пением, детское самоуправление.

Увлечение учителей тем новым, что вводилось в жизнь школы, ослабление внимания к систематической работе по обучению чтению, письму, счёту, а также нехватка необходимых учебных пособий привели к понижению уровня знаний и навыков школьников.

Недостаточная грамотность учащихся вызывала недовольство родителей и настаивала их против всяких новшеств в школьной работе.

Коллектив учителей Первой опытной станции ответил на эти справедливые требования населения напряжённой работой по улучшению преподавания в школах русского языка и арифметики, что дало определённые результаты уже к концу 1922/23 учебного года. Это подняло авторитет школы среди населения и обеспечило положительное отношение к проведению в жизнь новых педагогических идей.

Окончание гражданской войны, восстановление народного хозяйства в связи с переходом к новой экономической политике создали благоприятные условия для развития школьного дела и подъёма культуры в деревне.

Школы Первой опытной станции широко развёртывают общественно полезную работу детей, направленную на улучшение быта, хозяйства и культуры крестьянского населения.

В этот период С. Т. Шацкий пересматривает свои прежние педагогические взгляды.

Участие в общественной деятельности в советских условиях приводит С. Т. Шацкого к пониманию, что «капиталистический строй отживает, наступает царство трудящихся», что «проблемы нового строя входят в положительные идеалы воспитания»¹. В связи с этим С. Т. Шацкий отказывается от своего отрицательного отношения к постановке определённой цели воспитания. Он признаёт общую цель, которая настоятельно выдвигалась са-мой жизнью: «...гражданин будущего интернационален, коллективист, организатор, реалист, мастер своего дела, отдающийся своему настоящему призванию»².

Этой общей цели подчиняется ближайшая цель — организация детской жизни.

С. Т. Шацкий писал, что «организовать жизнь детей — значит организо-вать их деятельности, которые мы определяем как деятельности самосо-хранения (охраны здоровья), труда физического, игры, искусства, деятель-ности умственную и социальную. Мы указываем на то, что организация детских деятельностью должна отвечать их возрастным периодам, с одной стороны; с другой стороны, быть по возможности полной и жизненно необ-ходимой для них»³.

В каждой из этих областей детской деятельности учителя под руково-дством С. Т. Шацкого изучали, каковы условия жизни и личный опыт детей той или другой возрастной группы, затем устанавливали, что должна де-лать школа в данной области, чтобы внести новое, полезное в жизнь ре-бёнка, сделать эту жизнь более здоровой, содержательной, интересной.

Например, изучая условия физического развития

детей младшего школьного возраста, учителя под руководством Шацкого выясняли, в каких условиях жили дети крестьян, какие привычки у них были воспитаны. Учитывая результаты этого изучения, школы организовали ра-циональное питание, заботу о чистоте рук, тела, привлекая детей к актив-ному участию в этом. На занятиях сообщались детям элементарные знания об устройстве и жизни человеческого тела и об охране здоровья. Детей уп-ражняли в гигиенических навыках, учителя заботились о внедрении этих навыков в быт семьи.

В тот период, когда страна была охвачена великой работой над пере-устройством жизни народа, когда деревня, в которой ещё было немало бескультурья, предрасудков, оставшихся от старого строя, стремилась жить чище, лучше, эта работа школ имела большое общественное и воспи-тательное значение.

Около тысячи детей района деятельности Первой опытной станции стали регулярно мыть руки, стричься, приходить в школу в чистой одежде; они охотно подчинялись организованному контролю школы в области лич-ной гигиены.

Крестьяне говорили: вы хотите не только учить грамоте, но и учить жить. Это верно. По крайней мере хоть наши дети будут жить по-иному.

Педагогическая деятельность Шацкого и его сотрудников нашла высо-кую оценку у В. И. Ленина. Н. К. Крупская вспоминала: «Я рассказывала как-то Владимиру Ильичу о той работе, которую развёртывает 1-я опытная станция Наркомпроса в Калужской губернии в деле физического воспита-ния деревенских школьников (тогда станция делала ещё первые шаги в этом направлении, теперь эта работа у неё развернулась очень широко). «Вот это настоящее дело, а не болтовня», — заметил Владимир Ильич¹.

Большая работа проводилась школами I ступени в области трудового воспитания. Учителя под руководством Шацкого изучали, в каких видах бы-тового и производительного труда участвуют деревенские школьники

¹ С.Т. Шацкий. Наше педагогическое течение, статья в сб. «Этапы новой школы», М., изд-во «Работник просвещения», 1923, стр. 23.

² Там же.

³ Там же.

¹ Н. К. Крупская, Совещание по физическому воспитанию школьников в массовой школе, Педагогические сочинения, М., Изд-во АПН РСФСР, т. 3, стр. 155.

дома, как выполняют трудовые задания в семье, сколько времени на них затрачивают. Собранный материал анализировался, намечалось, что должна в этой области делать школа.

Школа вооружала учащихся необходимыми трудовыми умениями и навыками и активно вмешивалась в организацию труда детей в семье, вносила в эту организацию элементы сознательности и коллективности.

В школах были устроены «трудоуые уголки», в которых дети приобретали умения и навыки работы с бумагой, картоном, деревом, жестью, проволокой. На учебно-опытных участках они приучались к сельскохозяйственному труду.

Создавались детские производственные кружки по цветоводству, огородничеству, садоводству, выполнявшие общественно полезную работу по благоустройству и озеленению деревни, по распространению новых овощных и плодово-ягодных культур.

Работа сельскохозяйственных кружков при школах I ступени объединялась и направлялась школой II ступени — школой-колонией «Бодрая жизнь».

Под руководством педагогов-агрономов С. М. Зепалова и П. А. Завидаева колонисты приобретали в школе знания по агробиологии и навыки сознательного сельскохозяйственного труда, учились применять на практике знания по биологии, химии, физике, математике.

«Ярко запечатлелись занятия в кабинете физики с Т. Т. Шацким (братом Станислава Теофиловича), — вспоминает один из окончивших школу-колонию, Ю. Дмитриев. — Здесь было много различных деталей, из которых мы при прохождении какого-либо раздела физики сами собирали приборы и самостоятельно проводили на них опыты»¹.

Таким образом, учащиеся, работая в учебных мастерских и в учебно-опытном хозяйстве, познакомились в теории и на практике с механической обработкой материалов и с основами сельского хозяйства. Подготовку по электротехнике они получали на уроках и внеклассных занятиях по физике, а также в процессе дежурства на школьной электростанции. Большое значение для

расширения политехнического кругозора колонистов имели экскурсии на различные предприятия — фабрики, заводы, электростанции, проводившиеся как в течение учебного года, так и во время летних дальних путешествий по родной стране. Конечно, всё это были лишь первые шаги в области политехнического обучения. Но они несомненно содействовали осуществлению связи обучения с жизнью, с производительным трудом.

Шацкий считал, что труд имеет наибольшую воспитательную ценность тогда, когда он посилен детям и когда они осознают его необходимость для детского коллектива, для народа, для страны, когда рассматривают свой труд как частицу общего труда по строительству новой жизни.

С. Т. Шацкий придавал большое значение общественной стороне организации детской жизни.

Школьники обучаются в школе не только чтению, письму, счёту, не только усваивают доступные им знания о природе, труде людей и жизни общества, но также учатся жить и работать сообща.

Детский коллектив в школах I ступени сплачивался на совместном выполнении различных дел, связанных с учением и жизнью детей в школе: школьники поддерживали порядок в своей группе, несли дежурства, выдвигали «санитаров» для проверки чистоты и опрятности детей; в старших группах организовались комиссии: санитарная, хозяйственная, библиотечная и др.; комиссии отчитывались о своей работе на общих собраниях группы.

Коллектив учащихся школы осуществлял подготовку и проведение революционных праздников, устройство общешкольных выставок детских работ, организацию общественно полезной работы школьников.

Сельские школы широко развернули общественно полезную работу по участию детей в различных областях жизни. Это были — работа о младших братьях и сёстрах, устройство школьных клубов, школьных кооперативов, помощь в благоустройстве своей деревни, организация детских «обществ» по разведению и распространению цветов, ягодных кустарников, помидоров и т. п.

С. Т. Шацкий считал, что детские организации должны быть прежде всего деловыми, тогда на основе выполнения практических дел они завоевывают уважение к себе взрослых, а это даст возможность обеспечить и

¹ См. сб. «Школа им. С. Т. Шацкого», М., Учпедгиз, 1940, стр. 15.

известную самостоятельность и своеобразие детской организации. «Мы говорим о детской организации, которая должна строиться силами детей, конечно, при нашей помощи. Не менее важно, чтобы детские организации были детскими, а не сплошной копией организации взрослых»¹, — писал Шацкий в 1924 году в статье «Деревенские дети и работа с ними».

Детские организации в школах создавались при активном участии самих детей под руководством учителей.

«Работать вместе с детьми — это значит признавать громадное влияние на детей детского общества,— говорил С. Т. Шацкий. — Школа должна быть заинтересована в развитии детских организаций, участвующих в строительстве жизни. Ей тогда легче будет работать. Огромную поддержку в этом деле могут оказать школе наши пионеры и комсомол, охватывающие наиболее энергичные элементы нашей молодёжи»².

С. Т. Шацкий рассматривал общественно полезную работу школьников прежде всего как средство их воспитания в коллективе. «Таким образом, школа и деревенский школьник пропитываются идеей строительства новой жизни, — говорил Шацкий,— упражняются в этом строительстве и, следовательно, соответственным образом воспитываются. Общественная работа школы становится сильным средством социалистического воспитания детей»³.

Высказанная Шацким и осуществлённая им на практике мысль, что воспитание есть организация детской жизни, не потеряла своей ценности и в настоящее время. Это положение имеет важное значение для теории воспитания: оно восполняет односторонность обычного определения воспитания как длительного планомерного воздействия на ребёнка, подчёркивая в воспитании, как сложном общественном явлении, другие существенные стороны.

В советской школе в настоящее время решается задача укрепления связи с жизнью, а стало быть, школа должна влиять на улучшение жизни ребёнка в семье,

в пионерской организации. При этом элементы или стороны детской жизни, указанные Шацким, могут помочь полнее раскрыть содержание понятия «всестороннее развитие детей».

Правильно организовать детскую жизнь школа сможет, по мнению Шацкого, на основе изучения тех условий, той среды, в которой живут дети, и непременно при участии родителей и всего окружающего населения. При этом школа должна опираться на его передовые слои, поддерживать здоровые, прогрессивные тенденции, проявляющиеся в жизни, бороться с пережитками, отсталыми взглядами.

С. Т. Шацкий считал, что школа должна найти совместной педагогической работы вместе с теми массами, которые повседневно занимают воспитанием детей.

В подтверждение этого положения Шацкий ссылался на слова В. И. Ленина, сказанные им на XI съезде партии (1922): «Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым крестьянством, и начать двигаться вперёд неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с нами. Тогда и ускорение этого движения в своё время «наступит такое, о котором мы сейчас и мечтать не можем»¹.

Школа в своей воспитательной деятельности тесно соприкасается с семьёй. Опыт работы детских учреждений Первой опытной станции с родителями в деревне и в городе показал, что родители охотно идут на вмешательство школы в быт семьи, если оно направлено на улучшение условий семейной жизни и успешное осуществление воспитательных задач.

Школа, по мысли Шацкого, не может обойтись без совместной работы не только с отдельными семьями и объединёнными вокруг школы родителями, но и со всей массой окружающего школу населения и теми учреждениями, которые её организуют. Поэтому он рекомендовал школам «нашупать» правильный, деловой подход к совместной работе с общественными организациями деревни, а в городе — с заводским комитетом, жилищным товариществом.

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 321.

² Там же, стр. 292.

³ С. Т. Шацкий, Предисловие к сб. статей «Новая волость, сельсовет и школа», М., изд-во «Новая Москва», 1937, стр. 7.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 243.

Необходимо принять во внимание, что первые шаги в организации педагогической работы «вместе с населением» делались школами под руководством Шацкого в тот период, когда деревня состояла из единоличных крестьянских хозяйств. Нет надобности говорить о том, насколько более благоприятные условия для развёртывания совместной работы школы и родителей по воспитанию детей существуют в настоящее время. Теперь идея о содружестве школы с родителями и общественными организациями в воспитательной работе получает более полное и плодотворное осуществление.

В тесной связи с содержанием детской жизни в школе Шацкий рассматривал вопрос о методе работы. Его прежде всего интересовали те общие основы метода, которые относятся не только к умственной деятельности ребёнка, но и к организации других элементов детской жизни. «Каким же наш метод? Он опирается прежде всего на реальный опыт ребёнка, который известными способами должен быть выявлен педагогом», — писал Шацкий в статье «Наше педагогическое течение». «На основании того, что мы знаем про опыт ребёнка, полученный в результате его деятельности, мы организуем для него занятия в школе; мы говорим, что он получает организованный опыт (лаборатория), и затем мы вводим ребёнка в соприкосновение с накопленным человечеством опытом (готовые знания), всё время устанавливая связь между этими тремя видами опыта. К этой работе мы присоединяем упражнения, дающие нужные для ребёнка навыки»¹.

Таким образом, школа проводит занятия, опровергающие или подтверждающие верность жизненных наблюдений ребёнка, создаёт организован-ный опыт и устанавливает связь его с широким «готовым» опытом человеческой деятельности в труде, науке, искусстве и других областях, т. е. общает детям знания. Вместе с тем школа организует упражнения детей в различных областях деятельности: в умственном и физическом труде, в искусстве, в игре и в заботах об охране здоровья, в общественной работе.

«Если школа хочет работать прочно, не распыляя своих сил, то она должна внести в свою практику культуру упражнений...»¹ — говорил Шацкий.

Применение этого метода к организации умственной деятельности детей приводило к тому, что сообщаемые школьникам знания усваивались ими не формально, а становились их прочным достоянием и являлись действительными знаниями.

При этом Шацкий придавал большое значение приобретению учащимися не только знаний, но и умения работать. «Никто не может отрицать важности того, чтобы ученики наши твёрдо знали тот минимум необходимых сведений, которыми должен быть вооружён каждый советский гражданин, — но если эти знания получают лишь путём работы памяти и если они не сопровождаются накоплением известных навыков умелой работы, то вряд ли эти знания представляют ценность...»² В статье «О количестве и качестве в школьной работе» (1928) Шацкий писал: «Если мы возьмём за правило, что вся та работа, которая продельвается учениками, должна быть качественно хороша, а это возможно только тогда, когда ученики наши будут приобретать всё более и более совершенные методы работы, то мы будем иметь такие результаты: наши ученики будут знать с внешней стороны не так много, но ценность их знаний будет, несомненно, весьма велика, и они на этом сравнительно небольшом материале научатся основательно работать»³.

С 1923 года в РСФСР начинается разработка плана введения всеобщего обучения, а в 1925 году намечаются практические мероприятия по осуществлению этой задачи.

С. Т. Шацкий со всей присущей ему энергией поддерживает это дело, имеющее большое общественное значение.

В статье «Большие и большие вопросы современной школы» (1926) он пишет: «Мы стоим перед началом огромной общественной работы — ведением всеобщего

¹ С. Т. Шацкий, Годы исканий, М., изд-во «Мир», 1924, стр. 140.

² Цит. по книге С. А. Черепанова «С. Т. Шацкий в его педагогических высказываниях», М., Учпедгиз, 1958, стр. 88.

³ С. Т. Шацкий. Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 357.

¹ С. Т. Шацкий, Наше педагогическое течение, статья в сб. «Этапы новой школы», М., изд-во «Работник просвещения», 1923, стр. 24.

обучения... Начало всеобщего обучения — событие исключительно важное в культурной жизни страны»¹.

С. Т. Шацкий считал, что в связи с введением всеобщего обучения перед органами народного образования и советской общественностью стоят три конкретные задачи: сделать молодое население грамотным, создать при школах мастерские, улучшить положение учителя.

«Под грамотностью мы должны понимать, — говорил Шацкий, — элементарные навыки как формального (учебного) характера, так навыки трудовые, гигиенические, организационные и общественные, с одной стороны, и элементарные знания, которые нужны ребёнку для того, чтобы ориентироваться в современной жизни, с её основными нуждами и потребностями»².

С. Т. Шацкий хорошо понимал важное значение для будущего нашей страны правильной постановки учебно-воспитательной работы в школах всеобщего обучения.

Свои мысли об этом он высказывал в статье «Живая работа» (1927): «Мы имеем сейчас восемь миллионов учеников. Должны их иметь не меньше двадцати... Затраты на воспитание этой массы, на то, чтобы у неё образовались элементарные организационные, мыслительные, технические навыки, вкус и интерес к строительству, та или иная степень общей культурности дадут свои результаты лет через восемь, когда эта молодёжь вступит в жизнь... Если эта молодая свежая человеческая масса войдёт в жизнь, в её строительную работу с известным умением работать, если она знакома с некоторыми приёмами техники, если она умеет не растрачивать времени зря, если она хорошо грамотна и развила вкус к строительству, — вообще, если эта молодёжь деловая, здоровая, живая, то какой колоссальный вклад она сделает в развитие наших производительных сил»³.

В советской школе, по мысли Шацкого, необходимо тесно связать обучение с жизнью, удовлетворять разносторонние запросы учащих, воспитывать умение работать.

В этом направлении С. Т. Шацкий разрабатывал вопросы теории и практики обучения.

С. Т. Шацкий считал, что «советская дидактика будет прежде всего отличаться от дидактики старой своей жизненностью и широтой взглядов; таким образом, советское искусство обучения, неразрывно связанное с задачами социалистического воспитания, будет искусством новым, требующим и живого человека и живого мастера своего дела»¹.

До сознания детей, для чего они учатся языку, счёту, изучают природу и общество. Важно, чтобы учение для ребят имело общественный смысл, т. е. дети должны понять значение применения приобретаемых ими знаний к социалистическому строительству, почувствовать интерес к этому.

Сильнейшим стимулом к учению является общественно полезная работа, и школьники должны понимать, что для успешного её выполнения нужны знания и умения.

Выдающийся педагог призывал учителей всемерно развивать у детей интерес к учению, к овладению знаниями и практическими навыками. Он писал, что интерес к работе, возбуждается у ребёнка сознанием собственного продвижения. Интерес к учению у школьника возрастает, если он создаёт, что способен овладеть предметом, поверит в свои силы. В связи с этим Шацкий высказал оригинальную мысль: ученики в процессе работы тратят свои силы, но в том-то и сущность учения, что чем больше они тратят свои силы, тем больше они их приобретают,

В статье «О том, как мы учили и как следует учить» (1926) С. Т. Шацкий, говоря о недостаточной продуктивности уроков в школах, отмечал: «... работа в классе происходит между учителем и одной группой, весьма небольшой, учеников. Остальные являются участниками — наблюдателями этой работы в большей или меньшей степени. Но участниками настоящего многим назвать нельзя: они лишь присутствуют, скучают и в конце концов занимаются или своими мыслями, или своим делом»².

¹ С. Т. Шацкий, Большие и большие вопросы современной школы, журн. «На путях к новой школе», 1926, № 2, стр. 29.

² Там же, стр. 31.

³ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 311–312.

¹ С. Т. Шацкий, О советской дидактике и дидактическом материале, журн. «Вестник просвещения», 1928, № 11-12, стр. 100.

² С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 381.

И далее он подробно излагает свои соображения о такой организации работы учащихся на уроках, которая устраняет отмеченные недостатки.

«Если мы хотим, — заявляет С. Т. Шацкий, — чтобы каждый ученик в школе энергично работал, ему надо помочь, подготовив самые задания. Они, действительно, должны быть готовы заранее, быть коротки, просты, понятны. Для их выполнения надо иметь под рукой в достаточном количестве пособия и книги. Ученик не должен по каждому незначительному случаю обращаться к учителю; у него под рукой должно быть то самое необходимое, в чём он при решении задания может нуждаться»¹.

В статье «О том, как мы учим», относящейся к 1928 году, Шацкий снова возвращался к этому вопросу.

Он настаивал на том, чтобы объяснения, которые даёт на уроке учитель, отличались ясностью и были краткими. Это позволит больше времени отвести на уроке самостоятельной работе учащихся. Он требовал расчленения сложных заданий на такие связанные между собой части, чтобы каждая из них была посильна учащимся и помогла выполнению следующей. Шацкий считал, что при выполнении заданий учеников надо приучать обращаться за советом к учителю лишь в тех случаях, когда задания являются для них слишком трудными.

Под руководством С. Т. Шацкого такие задания разрабатывались учителями школ I ступени, а также преподавателями учебных предметов в школе-колони «Бодрая жизнь» Е. М. Кадомской, П. А. Фаворским, П. А. Завитаевым и другими и всегда способствовали повышению качества знаний учащихся, развивали у них умение самостоятельно работать.

В статье «О том, как мы учили и как следует учить» рассматривался также вопрос о правильной организации домашней учебной работы школьника.

Положим, рассуждал педагог, уроки дома сделаны хорошо. Но так ли это на самом деле? Если спросить ученика, сколько он времени потратил, какими материалами пользовался, как сидел, кто ему мешал, кто его отвлекал от дела, то результат оценки мог бы быть и иной: «Мы сказали бы, что потрачено слишком много времени, что

мальчик утомил себе глаза, что он сидел дома в душевной комнате, что в конце концов он делал задачу в то время, когда должен был бы спать...»¹.

Учителя школ Первой опытной станции разъясняли родителям, какие условия надо создать детям в семье для выполнения домашних заданий и как учащиеся должны дома заниматься.

Много внимания уделял Шацкий поискам путей преодоления второгорочности, которое считал пережитком прошлого.

Он не раз подчёркивал, что необходимо рационализировать педагогический труд, отмечал, что в наших школах нередко можно встретить «...унылые классы, сорок учеников, слушающих разговоры учителя с учеником у доски, скучающих...», «...а рядом — огромный завод, прекрасно оборудованный, с двенадцатью тысячами рабочих...»².

Советская школа в отношении рационализации педагогического процесса должна ориентироваться на современное социалистическое производство — вот с каким призывом обращался С. Т. Шацкий к работникам народного образования.

В 1929 — 1932 годах в СССР наряду с бурным ростом промышленности перестраивалось на новых началах сельское хозяйство. В деревне в ожесточённой классовой борьбе шёл процесс кооперирования крестьянских хозяйств.

Реконструкция народного хозяйства сопровождалась культурной революцией: в 1930 году было введено всеобщее обязательное начальное обучение детей, в 1931 — всеобщее обучение неграмотного взрослого населения.

Сельская школа не могла стоять в стороне от колхозного движения: учителя являлись пропагандистами и организаторами колхозов, школьники помогали в уборке колхозного урожая, участвовали в проведении агитации за выполнение хлебозаготовок, занимались проращиванием семян и проверяли их всхожесть, проводили опыты по выращиванию новых сельскохозяйственных культур и т. п.

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 383.

² Там же, стр. 363.

В связи с новыми условиями жизни и новыми задачами Наркомпрос перерабатывает школьные программы. С. Т. Шацкий принял активное участие в составлении новой программы для школы I ступени. Вопросы воспитания в этой программе были выдвинуты на первый план как важнейшие вопросы работы школы.

«Вопрос о кадрах, вопрос о подготовке новых строителей социализма является вопросом коренным в нашей современной работе, — говорил Шацкий. — Отсюда ясно, какое громадное значение мы придаём воспитанию именно в настоящее время, когда мы строим социализм, как серьёзное практическое дело»¹. И Шацкий намечал конкретные пути социалистического воспитания детей при активном участии широких масс трудящихся, строящих социализм.

С. Т. Шацкий отметил и новые методы воспитания, выдвинутые современной жизнью, возникшие в практике социалистического строительства. Он относит к новым методам воспитания самокритику, общественный контроль, социалистическое соревнование. Эти новые методы, по мнению Шацкого, необходимо привести в систему, чтобы успешнее осуществлять задачи социалистического воспитания. «Это нам важно для того, чтобы ускорить темпы нашего социалистического строительства»² — указывал Шацкий.

В основу новой программы для школ I ступени были положены идеи изучения окружающей жизни и участия в ней школьников. «Для того, чтобы организовать социалистическое воспитание, — утверждал Шацкий, — надо прежде всего, чтобы каждый человек, а следовательно, и ребёнок, принял участие в социалистическом строительстве. Мы должны построить наше дело так, чтобы гарантировать детям это участие в социалистическом строительстве, участие в доступной, понятной и интересной для них форме»³.

Эта правильная мысль сопровождалась, однако, ошибочными указаниями на способы её осуществления:

предлагалось общественную работу школьников считать основным делом школы, а ученье рассматривать как подготовку детей к этому практическому делу. Такая постановка школьной работы не могла не отразиться отрицательно на систематичности в усвоении знаний учащимися и вела к снижению объёма и уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков.

Центральный Комитет партии в своём постановлении от 5 сентября 1931 года, отметив успехи, достигнутые школой в осуществлении всеобщего обучения и в разрешении воспитательных задач, указал на коренной недостаток школы, заключавшийся в том, что обучение в школе не давало достаточного объёма общеобразовательных знаний.

После постановлений ЦК ВКП(б) о школе, принятых в 1931 и 1932 годах, С. Т. Шацкий как руководитель Центральной педагогической лаборатории Наркомпроса развернул энергичную деятельность по повышению качества работы школы, по разработке вопросов теории и практики урока, как основной формы организации учебной работы. С. Т. Шацкий строил работу Центральной педагогической лаборатории в соответствии с указаниями постановления ЦК ВКП(б) о школе, в котором предлагалось сосредоточить работу исследовательских институтов «главным образом на изучении и обобщении опыта, накопленного практическими работниками школы...»¹. Центральной лаборатория собирала отчёты учителей, тетради учащихся, контрольные и другие работы из опытных и образцовых школ РСФСР. Под руководством С. Т. Шацкого научные сотрудники анализировали эти педагогические документы, делали обобщения и выводы о методах работы учителя в сопоставлении с достигнутыми результатами. Шацкий учил своих сотрудников на основе анализа постоянно поступающих новых материалов, непосредственного изучения живого педагогического опыта пересматривать старое и выдвигать новые задачи.

Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, Шацкий разрабатывал вместе с коллективом научных

¹ С. Т. Шацкий, Основные принципы построения новых программ, М., Изд-во НКПТ, 1931, стр. 3.

² Там же, стр. 12.

³ Там же, стр. 4.

¹ Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917 — 1947 годы, вып. I, М. — Л., Изд-во АПН РСФСР, 1947, стр. 155.

сотрудников проблемы педагогики на основе изучения педагогической практики широкого круга школ и учителей.

Основываясь на марксистско-ленинской теории познания, С. Т. Шацкий подчёркивал значение руководства учителя учащимися в процессе их мыслительной деятельности на пути от восприятия вещи «как таковой» через «особенное» к всеобщему, предостерегал учителей от быстрого перехода к общим формулировкам, чтобы не лишить ребёнка возможности продуктивно работать. На каждом уроке тот материал, который учитель предлагает детям, должен быть обоснован на фундаменте прочных знаний, ранее усвоенных ими; новое должно быть теснейшим образом связано со старым, с известным.

Вместе с тем Шацкий советовал учителям внимательно изучать детей. «Мы часто не учитываем роста ребёнка, его продвижения, — говорил он в докладе о повышении качества урока, сделанном 26 ноября 1932 года, — по этой причине мы можем очень сильно тормозить развитие ребёнка. И отсюда у нас частое явление — отсутствие у ребят интереса к занятиям»¹. При хорошей организации урока, подчёркивал он, в классе все учащиеся будут успешно овладевать знаниями. «Разве нельзя добиться, — спрашивал Шацкий, — что всё, что предлагается ребятам, будет ими сделано? Конечно, мы можем это сделать, если отчётливо будем рассчитывать операции, которые дети должны выполнить»².

Свой доклад о повышении качества урока Шацкий начал следующими словами: «Центральная проблема в уроке сводится к проблеме учителя: от него так много зависит в отношении качества урока, продуктивности, что мимо этой проблемы мы пройти не можем»³.

Огромное значение С. Т. Шацкий придавал повышению общей культуры учителя.

Он настойчиво указывал на необходимость постоянной работы учителя над собой как в области выработки марксистско-ленинского мировоззрения, так и по

овладению педагогическим мастерством в процессе коллективной педагогической работы.

В программу летних учительских курсов в Калужском отделе Первой опытной станции наряду с методическими вопросами включались вопросы организации жизни коллектива педагогов. Организация жизни учительского коллектива содержательной и интересной, заполненной напряжённой умственной работой, физическим трудом, разнообразными видами искусства, являлась, по замыслу С. Т. Шацкого, своеобразным практикумом для учителей. Учителя практически обучались тем умениям, которые им впоследствии могли понадобиться при руководстве жизнью детского коллектива и при выполнении общественной работы в деревне.

С. Т. Шацкий считал, что «учитель в работе своей должен сам почувствовать вместе со своими товарищами те элементы, из которых складывается новая школа: совместную деятельность, полную самостоятельных усилий, — т. е. дух коллективизма, привычку к физическому труду, складность и трудность общегития, он должен понять и развить в себе дух исследования, упражняться в наблюдательности, дающей ему огромное оружие в руку...»¹

На учительских курсах С. Т. Шацкий сам руководил теми занятиями, которые вооружали учителя уменьем наблюдать окружающую действительность. Это были занятия по природоведению с элементами физики, химии, географии. Часто можно было видеть летом учителей — курсантов в огороде, в поле, в лесу или в парке за выполнением заданий практического характера, которые входили в план учебных занятий, проводившихся Шацким.

Непосредственным продолжением летних курсов были занятия учителей в течение учебного года на регулярно устраиваемых съездах (1 — 2 раза в месяц), которые проводились близ колонии «Бодрая жизнь».

Материал из опыта, накапливаемый учителями, подвергался обработке и анализу на курсах-съездах, что позволяло приходить к некоторым теоретическим выводам, на основании которых перед школами выдвигались

¹ С. Т. Шацкий, Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 1958, стр. 367.

² Там же, стр. 370.

³ Там же, стр. 365.

¹ С. Т. Шацкий, На пути к трудовой школе, статья в сб. «Трудовая школа», М., 1918, стр. 114 — 115.

конкретные задачи для следующего этапа педагогической работы, которая в дальнейшем снова анализировалась.

С. Т. Шацкий придавал большое значение и изучению детских работ. Учителя сохраняли тетради, детские рисунки и другие работы, собирали отзывы о прочитанных детьми книгах.

Детские работы служили материалом для изучения особенностей ребёнка в различных областях его деятельности. Так, например, детские сочинения, написанные на заданные учителем и на свободные темы, заключали в себе богатый материал, раскрывающий круг представлений детей и детских интересов, а также особенности образного языка ребёнка. На основе анализа этого материала учителя строили руководство детскими творческими работами, намечая пути развития способностей ребёнка, обогащения его языка, с сохранением в то же время детской непосредственности, живости и образности изложения.

Шацкий считал, что система педагогической работы должна складываться из трёх элементов: научной деятельности, направляющей и освещающей практику; курсовой, организующей работу школ, и педагогической, претворяющей в конкретные формы то, что вырабатывается двумя первыми.

С. Т. Шацкий, сам постоянно работавший над собою, вовлекал весь учительский коллектив в глубокую работу по практическому разрешению проблем строительства советской школы и воспитывал творчески работающих советских учителей, отдававших все свои силы воспитанию подрастающего поколения — будущих строителей коммунизма.

Замечательные черты С. Т. Шацкого — его оптимизм, его бодрость и жизнерадостность, умение пробуждать и развивать у людей творческие способности — влекли к нему молодых педагогов, которых он вдохновлял своими идеями и своей непосредственной работой с детьми.

С. Т. Шацкий наряду с вопросами повышения педагогического мастерства учителей рассматривал в своих статьях также проблемы педагогического образования.

Он считал, что учительская молодёжь должна учиться «в среде, насыщенной педагогикой... Для молодёжи вредно замыкаться в круг академических интересов и причастность смотреть на практическую деятельность со

стороны»¹. Он предлагал ввести для студентов возможно ранее практику в школах, от самых простых форм — участие в хозяйстве школы, подготовка пособий — до самостоятельных занятий с учениками. Молодёжь должна, по мнению Шацкого, как можно скорее накоплять материалы педагогической практики, чтобы в дальнейшем подвергнуть их обработке и анализу.

Практику студентов следует, по мысли Шацкого, проводить в массовой школе. Но для этого массовая школа должна быть хорошо организована, для чего необходимо, чтобы педагогические институты взяли на себя задачу организации педагогической работы во всех соседних с ними школах.

В качестве недостатков работы педагогических институтов своего времени Шацкий отмечал «огромное накопление научных дисциплин, преимущественное чтение лекций, преобладание методов усвоения (да ещё пассивного) над методами активной работы»².

Для устранения этих недостатков Шацкий предлагал педагогическим институтам заняться научным исследованием педагогического процесса в окружающих школах, чтобы институты стали руководителями педагогической мысли учителей коллективов и организаторами учебно-воспитательной работы школ окружающего района, чтобы студенты привыкли как к практической работе в школе, так и к участию в педагогических исследованиях.

Ознакомление со статьями Шацкого по вопросам педагогического образования и с его опытом подготовки учителей может быть весьма полезно для улучшения работы педагогических институтов на современном этапе их развития.

Педагогический путь С. Т. Шацкого был путём исканий, которые не сразу привели к успешному и правильному решению вопросов, порою сопровождались ошибками. Его педагогические искания были искренними и честными, они были направлены на создание новой школы, соответствующей требованиям социалистического общества, интересам народа. Шацкий особенно ценил

¹ С. Т. Шацкий, Годы исканий, М., изд-во «Мир», 1924, стр. 212.

² Там же, стр. 214.

живую, постоянно движущуюся вперёд педагогическую деятельность: пусть она ошибается, ищет, как говорил Шацкий, пусть будет сложна и трудна, лишь бы жила и двигалась.

Выдающийся педагог видел перед собою большую цель — создать наиболее эффективную советскую педагогическую систему, которая являлась бы нужной, жизненной для широких масс трудящихся, открывающих с колоссальной силой новые пути в жизни человечества.

Мысли С. Т. Шацкого об изучении детей в процессе педагогической работы с ними, о связи школы с жизнью, о строительстве школы на основе тщательного изучения её действительного состояния, о связи практической педагогической деятельности, курсов по подготовке педагогов и научной работы могут быть использованы в дальнейшем развитии педагогической теории и практики.

Изучение педагогических идей и педагогической деятельности этого выдающегося советского педагога поможет успешнее решать в новых условиях насущные проблемы воспитания и образования детей и подготовки учителей.

Л. Скаткин

20 апреля 1961 г.

*А*ВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Моё детство прошло в семье отца моего, мелкого военного чиновника, делопроизводителя канцелярии одного из пехотных полков. Семейный режим был довольно строгим. Военная среда в значительной степени способствовала тому, что почитание старших и всякого начальства, религиозность и точность выполнения всех своих малых обязанностей были усвоены мною очень основательно. Семья моя жила довольно замкнуто, и родственные чувства были весьма сильны. Достатки были небольшие, а семья велика; вопросы о том, что сделать с большим количеством детей, куда их отдать, к чему их готовить, откуда взять на это средства, были чрезвычайно тревожными.

Одно из самых ярких впечатлений моего детства — это постоянное ощущение или страха, или своей вины перед старшими. Страхи, которые испытывала семья маленького чиновника в то время, в 80-е годы тяжёлой реакции эпохи Александра III, были, конечно, вполне основательны: было чего бояться скромному чиновнику.

Я был, по-видимому, довольно способным и без особенного труда поступил в классическую гимназию, но то, что я получил в патриархальной своей семье: заботу о своих успехах, страх перед начальством и почтительное к нему отношение,— перешло, конечно, и в школу; в школе я встретил очень много похожего на то, к чему уже привык, живя в условиях семейной жизни, в условиях военной среды. Довольно рано, по всей

вероятности благодаря сильно развитому воображению и впечатлительности, я начал оценивать своих учителей со стороны их подхода к детям; за редкими исключениями все учителя в их отношениях к детям были друг на друга похожи. Я знал, что они были моими начальниками, и поэтому всё знают и всё умеют, но чувствовал, что они не умеют обращаться с детьми. Я помню отчётливо свою первую педагогическую оценку: я ясно видел, что мои учителя постоянно «забывают о том, как они сами были маленькими», и поэтому не понимают, как жестоко их ученье. Хотя благодаря этой критике во мне и должен был возникнуть протест против моего школьного начальства, тем не менее первые четыре года я учился чрезвычайно добросовестно и был на отличном счету у своих учителей. Я хорошо помню, как уже к концу четвёртого года моё ученье стало в значительной степени мне надоедать. Я жадно искал среди взрослых такого человека, который мог бы меня понять, на кого я мог бы опереться. У меня были надежды, что в старших классах всё будет идти как-то по-другому, но эти надежды не оправдались. Тот протест, который я чувствовал в себе и который видел в среде своих товарищей, стал гораздо более ясным в старших классах гимназии. Ученики совершенно определённо говорили о том, что надо воевать с учителями; шалости, лицемерие, обманы, всевозможные способы устраиваться так, чтобы получить хорошую отметку, ничего не зная, были самым обычным делом. В наших отношениях с учителями были и серьёзные битвы, были маленькие победы и большие поражения. Ученье мне окончательно опостыпало.

Участвуя во всех сторонах гимназической жизни и ученья, я продолжал оценивать те способности, которые применялись учителями по отношению к нам, ученикам, и относился к ним, вероятно, так же, как и все мои товарищи, за редким исключением, чрезвычайно отрицательно. Я чувствовал, что мои способности и мои запросы не находят себе здесь ни одного отклика. Я жил, учился и в то же время чувствовал, что так жить и учиться не надо; моя жизнь наполнялась огромным количеством всевозможных пустяков. На эту критику было затрачено чрезвычайно много сил, и это единственное, что было интересным, а работать систематически, настойчиво я совершенно не разучился. К стати сказать, система занятий была у нас

в полном смысле слова бездарной. Ведь в самом деле, занимаясь в течение 8 лет латинским языком не менее 5 часов в неделю, 6 лет — греческим не менее 4 часов, тратя на французский и немецкий языки 4 часа вместе, казалось бы, что за такое время можно было научиться порядочно говорить и читать, а мы, за редким исключением, едва-едва читали и, в сущности говоря, выходили из школы почти полными невеждами.

Таким образом, годы моего ученья дали мне достаточное количество отрицательных впечатлений, и к концу гимназического курса у меня опять возникли надежды на то, что в университете я встречу совершенно другую обстановку. Курс гимназии я кончил с прекрасным дипломом, но с чрезвычайно скудными познаниями и даже не мог сознательно выбрать факультет, не имел представления о том, что такое наука и как вообще работают в университете студенты и профессора.

С внешней стороны я встретил в университете обстановку другую: она была внешне неизмеримо более свободна, чем та, к которой я уже привык в гимназии, но то, что я видел со стороны моих гимназических преподавателей, мне пришлось отметить и в профессорской среде. Огромное большинство профессоров, с которыми я входил в общение, чрезвычайно мало интересовалось студентами, и между профессорами, с одной стороны, и студентами, с другой, вставала стена зачётов, экзаменов, носивших формальный характер. Главное же то, что для меня стало ясным, что никаких ответов на те многочисленные запросы, которые я пытался ставить для своей жизни, для своей научной работы, здесь, в университетской обстановке, я не получу. Очевидно, всё это придётся отложить на то время, когда я кончу университет и начну жить и работать по-настоящему. Наибольшее количество мучений испытывал я при мысли, что мне не под силу справиться с университетскими курсами, что мои знания являются слишком незначительными, привычки работать систематически я совершенно не имею. Из этого положения необходимо было искать выход.

Впрочем, я должен помянуть добром К. А. Тимирязева, у которого я занимался последние годы пребывания в университете. Первые годы студенчества были совершенно неудачными; я блуждал с одного факультета на другой, пока не остановился на естественном, выбор

которого и на третий год университетской жизни был в значительной степени случайным.

Но, разумеется, так же, как и раньше, я не мог довольствоваться тем, что давали мне гимназия и университет. В некоторых областях я всё-таки был довольно осведомлён, во всяком случае русскую и иностранную литературу я знал довольно хорошо, поскольку последняя была доступна мне в переводах. Моими любимыми авторами были Диккенс, Виктор Гюго и Л. Н. Толстой.

Между прочим, я перевёл для одного издательства роман Э. Золя («Мадлен Фера»).

В своих трудных и продолжительных исканиях выхода из создавшегося тяжёлого положения я чувствовал весьма сильное влияние Л. Н. Толстого. Толстой привлекал меня своим протестом против обычных условий жизни, и его настойчивое указание на то, что нужно искать настоящего дела среди наиболее обездоленных масс населения, производило на меня сильнейшее впечатление. Религия Толстого действовала на меня главным образом со стороны эмоциональной: я очень хорошо знал «Исповедь» Толстого, но никогда не мог дочитать до конца «В чём моя вера?». Кроме того, я никак не мог понять отношения Толстого к науке, а между тем я уже по личному опыту знал моменты (хотя их было немного) великих наслаждений, которые давала работа в лаборатории или занятия в бывшем Румянцевском музее, где я бывал очень часто, окружённый огромными фоллиантами разнообразных книг, главным образом философского, педагогического и психологического содержания.

Не могу, конечно, не отметить того совершенно необычайного впечатления, которое произвела на меня Яснополянская школа в изображении Толстого. Моё живое воображение рисовало мне картины моей собственной жизни в семье, в школе; и мысли о том, как по-настоящему нужно учить и воспитывать детей, а главное — как к ним относиться, очень часто приходили мне в голову. Я помню, что под влиянием статьи («Так что же нам делать?») Толстого я решил совершенно отказаться от давания уроков, от репетиторства, от подготовки учеников к экзаменам, что в то время являлось главным источником студенческого заработка. В материальном отношении выполнение этого решения было для меня чрезвычайно трудным, но тем не менее я обнаружил здесь огромное

упорство, и только несколько лет спустя, когда у меня у самого уже сложился ряд взглядов на то, как надо учить детей, я вновь принялся за занятия с ними, но в этой работе ставил всегда такие условия: чтобы мне не пришлось никого никуда готовить, ни к каким экзаменам, что я буду заниматься только развитием моих маленьких учеников. Занятия свои я обставлял возможно более богато: я постоянно таскал с собой книги, приборы, производил со своими учениками разнообразные физиологические, химические и физические опыты и обращал чрезвычайно большое внимание на самостоятельность мысли моих учеников. В общем я не могу сказать, чтобы какой-нибудь из этих опытов я доводил до конца. Обыкновенно перед экзаменами родители или мне отказывали, вида, что я завожу дело слишком далеко, или всякими хитрыми доводами уговаривали меня взяться и за подготовку к экзаменам; как правило, из этого редко что-либо выходило: ученики мои довольно часто проваливались.

Таким образом, я не могу сказать, чтобы мои первые педагогические опыты были удачными, хотя в некоторых отношениях они и были интересны. Всё же в это время у меня уже складывалось представление о той системе воспитания, которую нужно было бы проводить в жизнь. В эту систему входили: физический труд, самостоятельность детей, тесные товарищеские отношения между учителем и учениками, оказание им помощи и отсутствие учебников. Никогда не приходилось мне думать о том, что я буду учителем в средней школе; можно было заранее сказать, что из этого ничего не выйдет.

Толстой имел на меня влияние и с другой стороны. Я относился довольно холодно к происходившим тогда студенческим беспорядкам и волнениям, я настолько был заряжен тем, что самое ценное — это культурная работа среди широких слоёв населения, лишённых самых элементарных благ культуры, что трата сил на митинги, на выслушивание речей, на всё то, что я называл словами, я считал совершенно излишним. Но в то же самое время мне постоянно казалось, что я в чём-то неправ, и вот это смутное сознание своей неправоты всё больше и больше толкало меня к тому, что я должен дать, должен вырабатывать свои собственные ответы на те вопросы, которые к концу царствования Александра III достаточно сильно выдвигались нашей широкой общественностью.

Эти вопросы выдвигались не только студенческими волнениями, но и всё более и более учащавшимися рабочими беспорядками и забастовками. Обо всём этом приходилось много читать и весьма горячо спорить, и чем ближе подходило к концу моё пребывание в университете, тем всё более настойчиво и более ярко вставали передо мною основные вопросы: каковы мои ответы и что я буду делать в жизни?

Влияние на меня Толстого я могу отметить ещё и с третьей стороны. Несомненно, под его влиянием я, типичный городской житель, хотя я и был раньше много раз в деревне, стал строить планы деревенской работы. Мне рисовалась сельскохозяйственная школа, которая будет создана на совершенно новых основаниях; я даже задумывался над тем, чтобы теперь же, не дожидаясь выхода в жизнь, разработать полностью программу и методику такой школы; разумеется, оглянувшись на себя, я почувствовал, что остался всё тем же невежественным человеком, который не имеет никаких прав братья за такие ответственные дела, как руководство школой.

Совершенно неудовлетворённый долгими годами университетского учения, я перешёл в сельскохозяйственный институт, в котором пробыл с 1903 по 1905 год. Московский сельскохозяйственный институт, бывшая Петровская академия, был в это время учреждением, которое только что раскрыло свои двери для всех желающих в нём учиться. Как известно, после «нечаевской истории» академия была закрыта и через два года преобразована в сельскохозяйственный институт — замкнутое привилегированное учреждение для детей помещиков. В моё время в этот институт стали уже вливаться свежие кадры молодёжи, и политическая жизнь забила в нём кипучим ключом. В то время в институте возрождались общественные традиции Петровской академии: студенты разделялись на ряд политических групп, которые вступали между собой в открытые споры, серьёзно привлекавшие общественное внимание. Впервые появились и студентки. Участвуя довольно сильно в политической жизни студенчества, я тем не менее не присоединился ни к одной из политических групп и только тщательное приглядывался к новым для меня и разнообразным типам молодёжи. Так же, как и раньше, в университете я отмечал значительную долю словесности, против которой я всегда внутренне

восставал. Особенно меня смущало то, что широчайшие общественные, политические проблемы, которые намечались в это время, как-то мало увязывались с тем скромным делом, с той работой в сельской школе, которую я себе наметил, и поэтому я свои планы разрабатывал втихомолку, стараясь взять за время своего пребывания в институте всё то, что он мог мне дать в научном и практическом отношении.

Особенное внимание я обратил на одного из самых оригинальных профессоров академии — А. Ф. Фортунатова, который не признавал экзаменов и всячески поощрял студентов с самого первого курса заниматься самостоятельно научной работой. Хотя его работа — сельскохозяйственная статистика — была очень далека от моих педагогических интересов, тем не менее его методы работы меня в сильнейшей степени интересовали и привлекали. Вообще же говоря, для работы научной, лабораторной, исследовательской академия того времени представляла полнейший простор для всех желающих. В этом отношении необычайно широкую возможность работать предоставил мне, как и многим товарищам, проф. В. Р. Вильямс. Я начинал уже колебаться — не идти ли мне по научному пути, но тут меня охватила чрезвычайно сильная жажда реального дела, тем более, что в 1905 году работать в академии по политическим условиям было почти невозможно, и когда выяснилось, что такое дело может найтись, я бросил институт и начал уже всецело заниматься педагогикой.

Первое дело, которое привлекло меня, имело почти всё то, что я считал подходящим для своей работы. Оно носило бесспорно общественный характер, давало простор творчеству каждого участника, избрало для своей деятельности бедные рабочие слои населения, имело своим заданием провести в жизнь трудовое воспитание, детское самоуправление и удовлетворение детских интересов. Это моё первое педагогическое дело, которое, собственно говоря, и можно считать началом моей педагогической деятельности, называлось «Сетлементом», т. е. посёлком культурных людей среди бедного населения (американская идея, пересаженная на русскую почву известным педагогом А. У. Зеленко)*. В этом деле я принял самое серьёзное участие и отдавал ему в течение многих лет все свои силы. В самом начале вокруг него возникли

ожесточённые споры; одним оно казалось чрезвычайно смелым, почти фантастическим, другие же считали его несвоевременным — тем культурничеством, которое в ту горячую политическую эпоху не должно было иметь места в жизни.

Я вспоминаю мои горячие споры в это время с покойным Л. Б. Красиным, который считал наш «Сетлемент» не только в какой-либо мере интересным общественным начинанием, но прямо-таки вредным с общественной точки зрения. Я горячо оспаривал его мнение, доказывал ему, что мы, приближаясь всё более и более к решительной схватке с царизмом, должны теперь же, если есть какие-нибудь возможности, оформлять такие учреждения, которые нужны для нарождающегося общественного строя. Тов. Красин необыкновенно убедительно уговаривал меня бросить эти вредные затеи. «Когда грянет настоящая революция, — говорил он, — и можно будет работать уже практически над новым строем, тогда всё то, о чём вы говорите, придёт в виде сотен и тысяч учреждений; сейчас же уделять силы на это дело — значит отвлекаться от политической борьбы, значит, реально мешать подготовке революции. Сейчас, — утверждал он, — нет никаких предпосылок, для того чтобы строить такое дело, а тогда этих предпосылок будет более, чем достаточно». Так мы разошлись, совершенно не убедив друг друга.

Дело «Сетлемент» быстро привлекло внимание представителей радикальной интеллигенции того времени. Интересно отметить, что в числе его работников было чрезвычайно мало педагогов. Мы выбрали для своей работы район между Бутырками и Марьиной рощей, принялись за социальное изучение района и стали строить планы своей работы, исходя из этих социальных условий. Главный кадр участников был так же, как и я, с университетским образованием. Недостаток средств возмещался колоссальной энергией и огромным интересом «к делу». «Сетлемент» решил обратить главное внимание на общественное детское воспитание, а поэтому в первую очередь были созданы детская трудовая колония и организация детского самоуправления в ней, детские клубы в Москве, детский сад и трудовые мастерские для подростков. В «Сетлемент» хлынула детвора отовсюду, мальчики и девочки, количество которых всё время быстро росло.

Но в связи с ростом самого дела росла и огромная подозрительность по отношению к нему со стороны духовенства, полиции, с одной стороны, и, к сожалению, учителей городских школ, с другой. Скоро «Сетлемент» перешёл на полуполегалное существование, которое через три года привело к тому, что деятельность его была признана политически опасной, и он был закрыт постановлением московской администрации. Весьма серьёзное участие в закрытии «Сетлемент» принимал «Союз русского народа».

Педагогические идеи «Сетлемент», которые разрабатывались и действовали, и практически при моём большом участии, были для того времени чрезвычайно характерны. В сущности, это было бесспорно такое педагогическое дело, которое в известной степени выдвигалось в связи с первой русской революцией, поскольку она в то время в сильной степени поддерживалась радикальной интеллигенцией. Надо отметить, что финансировала «Сетлемент» крупная буржуазия, которая, очевидно, находила для себя вполне приемлемым создавать такие учреждения, которые стояли бы вне курса казённой педагогики. В это же время крупная буржуазия давала средства даже на с.-д. партию (Морозов). В течение моей педагогической работы у меня, конечно, бывали моменты чрезвычайно сильного подъёма, но тот подъём, с которым я принялся за эту работу, был, пожалуй, не сравним ни с чем. В это дело я вложил все свои мысли, которые вырабатывались у меня в течение долгих сумеречных лет моего ученья в средней школе и университете. Оно соединяло меня с большим кругом новых интересных товарищей. В этот период громадную помощь мне оказал А. У. Зеленко, вместе с которым и по инициативе которого я взялся за новое для всех нас дело. Я вступал в самые отчаянные споры с тем строем педагогической работы, который был мне и так хорошо знаком и так ненавистен.

Идея «Сетлемент» была перенесена, как я уже сказал выше, из Америки. Для американских либералов было чрезвычайно характерным организовывать эти «сетлементы» так, чтобы в них была полная терпимость к самым разнообразным мнениям, которые вообще имеются в обществе и вступают друг с другом в конфликт. Разумеется, идея социального примирения классов при помощи такого рода общественной работы была далеко не чужда американским педагогам; «Сетлемент» должен был

аполитичным и беспартийным по самому существу своей организации и тем делать то дело, которое нужно умной буржуазии. С этой аполитичностью и беспартийностью у нас ничего не вышло; хотя в числе работников и умевшие люди, принадлежавшие к различным политическим партиям и умевшие уживаться друг с другом, но сам «Сетлемент» относился резко отрицательно к таким политическим организациям, как «Союз русского народа», «октябристы» и вообще правые партии. Таким образом, до известной степени отбор всё-таки был, и на это толкал нас тот социальный слой, с которым нам приходилось работать. Конечно, рабочая среда никогда не могла бы примириться с таким аполитизмом, но рабочие разных политических партий у нас постоянно бывали. Полиция же, которая окружала «Сетлемент» самым внимательным надзором, и охранное отделение, державшее своих конных и пеших агентов около «Сетлемента», были гораздо более правы, рассматривая его как одно из разветвлений социалистических течений того времени.

За три года существования «Сетлемента» совершенно ясно обнаружилась очень большая тенденция всех работников к созданию опытного педагогического учреждения, задачей которого было бы производить разнообразие общественные педагогические опыты, но «Сетлемент» тщательнее избегал всего того, что могло в той или другой степени напоминать обычную школьную практику, и поэтому всё то, что создал «Сетлемент», было, в сущности говоря, для нашей педагогической действительности новым по форме. Между тем реакция усиливалась всё более и более. После закрытия «Сетлемента» пришлось употребить довольно много усилий, такта и ловкости на то, чтобы каким-нибудь путём, хотя бы под другим видом, можно было продолжать работу. Через год деятельность основного ядра работников «Сетлемента» возобновилась, это было общество под новым названием — «Детский труд и отдых».

В это время (1910 год) я могу отметить известное влияние идей Джона Дьюи на развитие моих педагогических взглядов. Джон Дьюи привлек моё внимание своей философией прагматизма, которая очень настойчиво ставила проверку идей при помощи жизненного дела, а также чрезвычайно тонким анализом детских интересов. Я даже построил целый план, программу работ с детьми

на основании удвоения их интереса. Не могу сказать, чтобы меня особенно интересовал другой американский педагог — Стенли Холл; его выводы мне казались довольно проблематичными и идеи генетизма — не имеющими практического значения. Меня всё-таки интересовал главным образом вопрос о трудовом воспитании, и в первое же моё путешествие за границу, в 1910 году, я прежде всего постарался изучить формы трудового воспитания, которые применялись в Скандинавских странах в детских домах. Тут мне бросилась в глаза чрезвычайно жизненная приспособляемость заграничных педагогов; они всегда были очень практичными, очень хорошими организаторами, но в то же время чрезвычайно узкими людьми. У меня были постоянно большие споры со скандинавскими педагогами отнюдь не широко, но и наказаний не только телесных, которые тогда применялись довольно широко, но и наказаний вообще.

Почти такое же впечатление я вынес и из второго моего путешествия за границу (1913 — 1914 годы), когда в поисках трудовой школы я побывал в Германии, Бельгии, Франции и Швейцарии. Всюду я видел чрезвычайно узкую постановку вопроса о трудовой школе вообще и огромную разницу между старыми школами и школами с зачаточными формами новых педагогических идей, но в то же самое время меня поражало умение западноевропейских педагогов организовывать работу и хорошо её оборудовать... тем не менее я не мог вынести ничего особенно ценного для себя из западноевропейской теории и практики. Впрочем, большой интерес во мне возбуждали работы педагогической организации Декроли и кое-что в зарождавшемся тогда институте Жан-Жака Руссо в Женеве. То же, что я считал чрезвычайно интересным, стояло как раз в стороне от педагогических движений, это — прекрасно поставленные профессиональные школы. Во всяком случае тот материал, который получался из Америки, в педагогическом отношении казался мне гораздо более свежим и жизненным.

Во время войны в связи с необходимостью обслуживать огромное количество детей, отцы которых ушли на фронт, запросы на массовую педагогику значительно усилились. Передо мною стояла чрезвычайно большая задача, которую со значительными затруднениями мне всё же удалось выполнить, а именно; уберечь детей от

шовинистического угара, от возбуждения ненависти к немцам, что было в то время довольно сильно распространено в широких демократических кругах нашей общественности. Эта позиция в значительной степени изолировала и меня и моих товарищей от общего потока и общественно-педагогической работы.

Если при закрытии «Сетлементы» против нас вооружались «Союз русского народа», монархисты и охранное отделение, то теперь можно было отметить значительное недовольство нами не только среди людей, которые могли бы давать на ведение дела деньги, но и среди педагогов, демократически настроенных. Наш кружок занимал изолированную позицию в целом ряде вопросов: в вопросах методических, связанных с работой экспериментальной школы, в работе детского сада и в вопросах подготовки педагогов, за которую мы серьёзно взялись. В самом деле, было чрезвычайно трудно удержаться на позиции опытного дела, на позиции изучения его в то время, когда жизнь в связи с войной выдвигала как раз свёртывание всех работ подобного порядка, выдвигая практические задачи массового обслуживания детей в атмосфере военного угара. Основные упреки, которые нам приходилось выслушивать, касались именно того, что мы настроены против массовой работы, т. е. работы жизненной, практической, и занимаемся в такое трудное время работой узко теоретической, носящей принципиально опытный характер. В сущности, мы не хотели принимать участия в военном «угаре». Так же обстояло дело и с вопросом организации курсов для подготовки педагогов, которые в то время устраивались при университете имени Шанявского*. Нас привлекали к работе на этих курсах, но мы постоянно указывали на то, что огромное количество слушателей, несколько сот, для которых нужно было читать эти лекции, нас совершенно не удовлетворяло. Тем не менее нам удалось провести несколько небольших курсов в университете Шанявского и у себя, на которых мы создали свою программу и свои методы. Особенностью программы курсов было, то, что в неё в значительной степени входил тот материал, который является результатом практической работы самих слушателей; особенностью метода было то, что слушателям предлагалось заниматься главным образом анализом этого жизненного материала под нашим руководством и

самостоятельно нащупывать те выводы, к которым должен был их толкать этот жизненный материал. В сущности говоря, мы предлагали нашим молодым товарищам тот метод работы над собой, который мы сами применяли в течение долгих лет к себе. В результате мы приобрели довольно большое количество товарищей, с которыми мы могли работать в наших учреждениях, и через них завязали связи с детскими учреждениями и в Москве и в провинции.

Из того, что я сказал, вовсе не следует, что наши главные интересы лежали в области методики. Пройти методическую выучку и создать систему работы было совершенно необходимо, но, с другой стороны, мысль о принципиальной разработке основ организации самого дела всё время стояла перед нами как вполне определённая задача, и над нею нам приходилось работать чрезвычайно интенсивно. Во-первых, было ясно, что отделимыми опытными учреждениями ограничиваться нельзя, что необходимо их связать в общей организационный узел, а поэтому ещё в 1912 году был создан проект, отчасти осуществившийся на деле: проект опытной станции по детскому воспитанию, которая включала в себя все возрастные группы детей и главные виды работы с ними, начиная от детского сада и кончая школой II ступени, вместе с работой клубов, мастерских, детской библиотеки и детской трудовой колонии. Этот проект был повторён в 1915 году, когда зашла речь о небольшой субсидии, которую могла бы дать нашему учреждению Московская городская дума. Хотя субсидия и была ничтожна, но было ценно то, что городское управление признало для массовой городской работы важность организации опытных учреждений. В 1915 же году в этот проект включилась организация постоянно работающих опытных курсов. Затем мысль пошла ещё дальше; стало ясно, что ограничиться работой только с детьми невозможно, что необходимо вести работу и со взрослыми.

Здесь я вспоминаю те основания, которые никак не могли меня примирить с так называемым течением свободного воспитания. По своему опыту я, конечно, видел, что свободного ребёнка не существует, а существует ребёнок, отражающий всевозможные воспитательные влияния среды, а поэтому во все проявления ребёнка необходимо ввести значительные социальные поправки. Это

как раз были те поправки, которые, по моему мнению, необходимо было ввести и в теорию Джона Дьюи. Если мы нигде не имеем ребёнка самого по себе, если нам трудно разобрататься в том, где кончается ребёнок и начинается среда, то, не разобравшись в этих основных вопросах, невозможно и продуктивно работать с детьми.

Поэтому следующий проект опытной станции, как правило, захватывает всё больший и больший круг общественных явлений, т. е. он включает в себя в значительной степени ту среду, в которой приходится работать детским учреждениям. Эти проекты касались объединения ряда приютов и профессиональных школ, работающих под руководством попечителей о бедных. Следующий проект — это организация участка земской работы в Калужской губернии. Затем — проект организации школ железнодорожных, земских и нашей детской трудовой колонии, включение их в общий план работы. Все эти проекты за несколько лет в конце концов оформились в виде проекта опытной станции по народному образованию Наркомпроса.

Приблизительно к 1917 году выявилась и моя первая формулировка идеи трудовой школы. Я считал, что трудовая школа есть, по существу, хорошо организованная детская жизнь, что если бы мы сумели это сделать, если бы сумели обслуживать детей всесторонне — и со стороны общественной и трудовой, и со стороны умственной и эмоциональной, то мы имели бы наиболее совершенный образец организации трудовой школы.

Таким образом, нельзя сказать, чтобы к эпохе революции я и мои товарищи пришли с очень большим опытом, достаточно проверенным и законченным. Мы пришли с огромными исканиями. Можно сказать, что к этому времени только что наметились самые общие контуры того педагогического дела, над которым нам предстояло работать в дальнейшем. Тот опыт, которым мы обладали, ещё не был приведён в систему и за ним не было ещё никакой определённой теории, — вернее, вся наша работа велась путём изучения многочисленных педагогических фактов и довольно осторожно поставленных экспериментов, которые вынуждали нас делать те или другие временные выводы.

Конечно, основная педагогическая литература, и русская и иностранная, мне и моим товарищам была

достаточно знакома, но с полной определённостью можно сказать, что она нас не могла вполне удовлетворить; нам было ясно, что простая пересадка заграничных образцов на русскую почву имеет мало цены.

Но всё-таки я мог бы сказать, что проект устройства опытного участка земской работы в Калужской губернии уже отражал на себе тот ход теоретической мысли, которая в дальнейшем привела к организации опытной станции по народному образованию. Она формулировалась таким образом: общественно-педагогическая работа может быть только тогда ясна и с успехом проводится в жизнь, когда она теснейшим образом увязана с планом экономической и с характером бытовой жизни района. Предполагалось, что этот район будет иметь не только педагогическую работу, но сюда же будет включаться и работа агрономическая, и работа в области лесной техники, работа санитарная и культурно-просветительная и т. д.

В политическом отношении наш кружок мог считаться маленькой группой радикальных интеллигентов, сплотившихся на деле, в известной степени отражавшем работу тех подготовительных сил, которые, несмотря на сильную реакцию после 1905 года, начинали сильно пробиваться сквозь настроения империалистической войны. Поэтому ясно, что наша группа, как и все другие радикальные группы, с большим воодушевлением встретила февральскую революцию, и, поскольку она была группой интеллигентской, отражавшей мелкобуржуазный радикализм, она также растерялась перед Октябрём и не сразу нашла настоящий путь своей работы. Тем не менее я мог бы указать на то, что в предшествующем опыте было довольно много такого материала, который сделал переход к участию в революционном строительстве не таким уже трудным. Впрочем, я должен отметить, что ряд моих самых близких и старых товарищей по работе (Л. К. Шлегер, А. У. Зеленко, М. В. Полетаева, Л. Д. Азаревич, Н. О. Массалитинова) * без всяких колебаний начали работать с советской властью. Я пришёл к совместной работе несколько позднее.

Я довольно близко был знаком с рядом рабочих (металлисты и печатники), многие из которых раньше посещали наши клубы. Я не вёл среди них политической работы, и среди них встречались и большевики, и

меньшевики, и даже социалисты-революционеры, Я старался разбираться вместе с ними в текущих общественных вопросах. Их колебания, их разногласия, хотя и значительно смягчённые в нашей среде (но сильно обострившиеся в 1917 — 1918 годах), отразились в значительной степени и на мне. Я, помню, горячо настаивал на том, чтобы рабочие не разъединялись. Гражданская война в среде рабочих мне казалась самым ужасным делом. С этой мыслью о прекращении розни среди рабочих я выступал на собраниях в конце 1917 года.

Не было никакого сомнения в том, что товарищам, взявшимся после Октября за прокладывание новых путей в организации народного образования, наша работа была известна и представлялась в значительной степени ценной. Затем наш кружок с 1905 года исключил из своих идей область религиозного воспитания; борьба с духовенством была слишком памятна нам, чтобы не видеть здесь коренных путей расхождения; с другой стороны, с 1905 года мы работали над идеями трудового воспитания. Хотя мы и старались держаться в стороне от партийных организаций, тем не менее все правые партийные группы являлись для нас крайне ненавистными, и за период с 1905 до 1917 года мы, сами того не замечая, всё больше и больше, говоря обычным языком, левели.

Тот способ, которым мы разрабатывали нашу педагогическую практику, изучение реальной действительности, изучение условий, в которых живут и воспитываются дети, самая постановка вопроса о создании опытного учреждения — это была такая идея, которая с неудержимой силой стала развиваться в первые годы революционного строительства; наконец, основное — вопросы детского самоуправления, с которыми мы уже в значительной степени свыклились и считали себя, вероятно не без основания, пионерами в этой области,— делало для нас постановку новых педагогических проблем особенно близкой. То же, что мешало нам ближе подойти к революционному строительству,— наше культурничество, аполитичность, обычное отношение интеллигента того времени к большевикам как к разрушителям — довольно быстро исчезло, как только мне и моим товарищам удалось ближе подойти к тем планам и способам их выполнения, с которыми мы познакомились в новых условиях работы.

Что касается меня лично, то я считаю для себя чрезвычайно важным самое внимательное изучение всех выступлений и статей В. И. Ленина, которое в дальнейшем привело к основательной переработке всего моего практического опыта, установлению новых точек зрения на педагогическое дело. Вновь перечитал я Маркса и Энгельса и извлёк и продолжал извлекать из их работ глубочайшие основания для развития теории и практики педагогического дела новой исторической эпохи. Сильное впечатление произвела на меня первая моя встреча с Н. К. Крупской в 1918 году. Совместная работа с нею поставила передо мною целый ряд коренных вопросов, связанных с необходимостью коренной переоценки тех выводов, идей, которые были выработаны моими товарищами и мной в течение долгого ряда лет практической работы. Таким образом, к числу своих основных учителей я должен присоединить — в неизмеримо более сильной степени, чем кого-либо другого,— В.И. Ленина и Н. К. Крупскую; в значительной мере я считаю себя её учеником.

Я полагаю, что не только я, но и все мы, принимающие серьёзное участие в педагогической работе, связанной с революционным строительством, не отдаём ещё себе достаточно глубокого отчёта в том, какое огромное значение в современной педагогике имеет Н. К. Крупская. За долгие годы революционной работы она овладела тем методом, который мы все должны считать чрезвычайно ценным, вернее, имеющим исключительную ценность: это — умение видеть за целым рядом отдельных, внешне кажущихся ничтожными, разрозненными фактов и явлений те основные принципы, которые руководят ими; умение быстро ориентироваться в самых тонких изменениях общественной жизни, делать из них надлежащие выводы и придавать им практическое значение. Это весьма своеобразное и редко встречающееся искусство. Затем я считаю весьма важным то обстоятельство, что т. Крупская умеет при возникновении, казалось бы, весьма сложных и запутанных вопросов, вокруг которых быстро накапливается ряд разнообразных точек зрения, ставить их настолько отчётливо и просто, говорить по поводу них таким ясным, простым языком, что её выводы, её формулировки становятся самым ценным руководством к действиям огромного количества

товарищей. А главное — то, что Н. К. Крупская умеет, как никто из нас, соединять все наши работы с тем основным делом, над которым работает Коммунистическая партия, т. е. делом рабочего класса, говорящего во всём мире новое слово.

Я не знаю, встречу ли я в своей дальнейшей работе каких-либо ещё учителей, но считаю для себя совершенно естественным положение ученика, который непрерывно учится.

*

Прошло много лет работы, и работы, проложившей кое-какие следы в общественном педагогическом деле, но тем не менее всё мною проделанное, как бы оно ни оценивалось, я считаю всё же пройденным этапом. Быть может, моя работа над собой могла бы проходить с большей ясностью, с большей определённой и более глубокоим участием в деле революционного строительства, создающегося усилиями пролетариата, но, вспоминая прошлые годы своего воспитания и учения, я чувствую, что вырвался из каких-то невероятно сильных тисков, в значительной степени ослабивших напряжённость и продуктивность моей собственной работы: эти тиски были, очевидно, неизбежны, как неизбежны были все те явления, с которыми мне пришлось встретиться в эпоху и перед первой, и перед второй, и перед третьей русскими революциями. По своему воспитанию я должен был бы стоять чрезвычайно далеко от всего общественного движения нашего времени. В значительной степени я определяю свой сильный интерес и к новым формам жизни и к новым педагогическим идеям тем, что старая система, система, проводившаяся условиями царского режима, в рамках буржуазного строя была, поскольку я сам её испытывал, невероятно бедна, беспомощна, а поэтому вызвала сильное противодействие в той среде, на которую она влияла; наиболее чуткие, впечатлительные натуры подготовились, так сказать, к своему враждебному отношению и к работе против буржуазного строя с неизбежностью работающего механизма. Всё более и более убеждаюсь я в том, что роль буржуазии в воспитании сыграна, что она ничего не может дать принципиально ценного, нового, что она может ещё заниматься техникой, организационной,

методической, а вскопать новые пласты педагогических мыслей и создать систему того воспитания, которое нужно новым социальным слоям, неизбежно приходящим на смену старым,— эта работа выпадает на долю коммунистической педагогики.

Клать в общую работу социалистического строительства педагогические кирпичи — великое дело для современного педагога. Будем в нём участвовать до конца дней своих.

определённо судить о том, как не надо заниматься педагогикой, и хотелось поэтому поскорее начать действовать самому. Таким образом, можно найти, откуда пошли толчки, давшие начало определённого педагогического интересу. В предисловии к книжке «Дети — работники будущего» (1922) я упоминал о тяжких психических ранах, нанесённых уму годами ученья в средней и высшей школе. Это я почувствовал ясно, когда принялся просматривать свои давнишние записки, где я для себя описывал ранние годы своего учения. Пробегаю их, я понял то, что раньше не приходило мне в голову: когда я учился, то постоянно чувствовал, что так, как меня учили, не надо ни учиться, ни учить. И моя педагогическая вера выросла из отрицательной оценки педагогики, применённой к себе.

Эти записки заканчиваются отрывками из дневника, который я вёл с 1899 по 1903 год. Это были годы студенчества. В них мне кажется интересным то, что я не нахожу существенной разницы между основными мыслями юноши и сложившегося человека. Эти отрывки, касавшиеся педагогической работы, её смысла, значения и рисовавшие смутно планы будущей деятельности, являлись в результате тех наблюдений вокруг себя, которые приходилось делать молодому человеку. Он стал впервые педагогически размышлять, вспоминая годы своего учения. Сила и напряжённость размышлений заставляли его бросить высшую школу и приняться за педагогическую работу с детьми. Но он нашёл в практическом деле массу волнующих, серьёзнейших вопросов.

Он стал искать ответа — отсюда огромное значение, которое придаётся в этой книге педагогическому опыту и исканию в нём педагогической правды.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Единственно, что у меня осталось от раннего детства, — это чувства недоумения и страха. Это я очень хорошо помню. Я помню, как я был подавлен домами, этими высокими-высокими каменными домами в Смоленске, где жила семья. Мне чудилось, что дома постоянно на меня валятся и вот-вот раздавят.

ГОДЫ ИСКАНИЙ

Часть I

СТАРАЯ ШКОЛА

ВВЕДЕНИЕ

В ранней молодости моей, когда приходилось определять, что мне делать в жизни, я никогда не останавливался на деятельности педагогической. Я примерялся к работе врача, инженера, естествоиспытателя, музыканта, отбрасывая одну, переходил к другой, не чувствуя, в сущности говоря, ни к одной горячего влечения. Сравнительно поздно меня стала увлекать педагогика и после малых колебаний захватила прочно и надолго. С нею пришли ко мне живое дело, товарищи по работе и широкие идеи. Оглядываясь на прожитые годы, я не могу не спросить себя, что же толкнуло меня на это дело, толкнуло так, что приходится отдавать ему все силы? Где-нибудь да было начало, тот маленький толчок, который отложил в душе неизгладимый след, провёл сначала незаметную, но после всё яснее и глубже оформившуюся педагогическую линию, нить, превратившуюся в тропинку и затем в широкий педагогический путь.

Охваченный сильным педагогическим устремлением, я всё-таки не читал почти никаких педагогических книг. А если и читал, то оставался к ним равнодушным. Мне казалось, что ярко живший в душе личный, испытанный на себе в школе опыт применения педагогических приёмов, довольно, впрочем, разнообразных, даёт мне право

Дом наш стоял на горе. Соседний двор весь был виден сверху. Но это было какое-то чужое царство, очень опасное, и не дай бог очутиться вне своего дома, двора, где всё знакомо и просто: и люди, и собаки, и куры, к предметам. Но всё же раз, движимый любопытством (там внизу, на дворе, очень весело играли), я вышел за свою калитку, спустился круто вниз и заглянул «в чужое» сквозь открытые ворота. Меня увидели, затащили к себе, ласкали, уговаривали. Я был ошеломлён. Мне ясно стало, что я пропал, что кругом меня враги, чужие, и мне стало страшно, до невероятного ужаса. Оставалось одно — кричать. Сверху прибежали, я твёрдо был убеждён, что меня спасли от ужасной опасности.

Против дома, через улицу — огромный собор, окружённый каменной оградой. За ней сад, а в саду живёт архиерей. Что-то непонятное, таинственное и, конечно, страшное — этот архиерей. Он никому не видим, очень большой и злой, всё знает и непременно затащит, если к нему пробраться в сад. Я связывал его с мыслью о боге, о котором мне говорили: он всё грозит, видит (а его никто не может видеть) и накажет. Такова моя младенческая память о городе: каменные громады, готовые на меня упасть, враги на соседних дворах, безопасная крепость — мой двор и страшный колдун-бог в саду за каменной стеной.

В деревне совсем не то. Я жил в деревне весной, осенью, зимою, но помню благоухающее лето — это всё зелёное, пахучее... Я помню заросшие явором пруды, хворостяную плотину, с которой просачивается вода, землянку около пней в траве, шелест листьев и славные грибы. Яркое небо (зажмуришься смотреть!), плывущие и тающие облака, жара такая, что лежишь в лодке, смотришь вверх и слушаешь немолчный треск, жужжанье и шорох в траве — это было своё, ясное, простое. Страшных мест я не знал. Жизнь трепетала, как натянутая струна, и было ощущение полноты её.

Острое впечатление — сказки. Были там две сказочницы: бабушка (почему-то её звали тётушкой) и молодая, здоровенная, с прекрасным сильным голосом нянька, которая рассказывала нараспев, складно, почти всё стихами со многими прибаутками. От размеренного ритма слов и певучего тона получалось ощущение полного захвата огромного, ни с чем не сравнимого наслаждения.

Я не помню содержания их, были ли они страшные или милые, помню только протяжность, склад и тон. Захват был тем более силён, что вся сказка проходила перед глазами как живая, пока длилась. А кончалась — и всё пропало, было вроде как холодно...

2. От деревни опять в город и ещё в Москву. Я помню первый въезд. Грязный, рыхлый снег, оттепель, и галки стаями в воздухе носятся с оглушительным криком. И опять эти огромные дома. Но я уже был старше, и они не так валились.

3. Мало кто понимает, какая острая вещь для детской души ссоры отца и матери.

Просыпаешься ночью. За стеной — громкие, раздражённые голоса. Замираешь, прислушиваешься, делается жаль сразу обоим, жаль всей жизни, зарываешься головой в подушки, начинаешь шуршать подушкой, чтобы не было слышно. Приостановишься — опять. Я потрясён, испуган, становлюсь на колени, горько плачу и шепчу, заливаясь слезами — солёный вкус их во рту: «Господи, помири папу и маму!» Твержу свою молитву чаще и чаще, до иступления, пока, измученный, не засыпаю под утихший говор оканчивающейся ссоры. Сквозь сон слышу, как приходит мать, проводит рукой по голове, целует. Я не смею поднять рук и обнять её, как мне хочется, — не нужно давать ей понять, что я всё слышал.

4. В столовой гости. Пьют чай. Меня зовут. Но я не вышел вместе со всеми, а войти одному стыдно. Как же я войду, остановлюсь, и все будут на меня смотреть? Никак не могу побороть себя. А зовут, и всё настойчивее: должно быть, знают, что мне стыдно — и нарочно зовут. От этой мысли ещё хуже.

Я подхожу к зеркалу, смотрю, забравшись на ступ. Рядом на комодке пугает зырёк с глицерином. Я наливаю глицерин на руку и мажу лицо. Вымазал и опять гляжу в зеркало — лицо моё блестит, красиво. Слышу меня позвали. Я, замирая, от того, что «сейчас будет», иду. Яркий свет лампы сразу меня выдал. Все, кто сидел за столом, свои и чужие, обратили внимание на моё блестящее лицо и подняли на смех. Я убежал и долго не показывался, чувствуя жгучий стыд и жалость к себе.

Маленькая «Голгофа»! Никто не понимает, что я пережил до того, как мне войти в комнату. Я понимаю, убеждён, что со мной «**д е л а ю т н е так, как надо**».

5. Зимние сумерки. Дома нет никого. Я один. Какое наслаждение быть одному! Я могу делать, что хочу. Я владею квартирой, комнатой, всем, что кругом меня. Никто не мешает. Я сажусь с ногами на кровать. За спиной — подушка. Съёжился, думаю и мечтаю. Обрывки мыслей живым потоком сменяют друг друга, как будто не оставляя следа в голове. Начинаю чувствовать, что и тишина в моей власти.

Почему-то затихает шум голосов за окнами, скрип полозьев по снегу, шаги. Далеко-далеко кто-то протяжно поёт. Чуть-чуть где-то скрипнуло. Самым напряжённым образом прислушиваюсь и хочу большей тишины. Ещё не совсем темно: луч заходящего солнца красной полосой освещает верхнюю часть стены и потолок. Отчётливы тёмные линии верхнего переплёта окна. Внизу свет погасает, полоса света суживается, делается багровой. Ещё, ещё уже. И — темно совсем.

Я ещё больше подбираю ноги и сажу, плотно прижав подбородок к коленям и охватив их руками. Всё-таки мне мало. Тихо собираю подушки и обкладываю себя со всех сторон. Темно и славно. На душе задумчиво и немного приятно — грустно. Проходит час-другой. Я остаюсь в своём зеркании. Слышу шаги у дверей. Звенит замок. Я встаю тихонько, задерживая остаток исчезающего уже настроения, кладу подушки на место, оправляю одеяло. Мне немножко жалко того, что было. Квартира наполняется шумом. Зажигают лампы. Прерванная для меня жизнь продолжает идти своим порядком. А у меня есть «своё».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Зима. Утро.

Внутри уха начинается сухой треск. Сквозь сон соображаю, что это будильник, шесть часов утра. Пора вставать. Лёгкая дрожь после тёплой постели. Торопливо одеваюсь, зажигаю жестяную лампочку и с тревогой в душе сажусь повторить уроки.

Рядом в кухне начинается движение. Слышу, как льётся вода в самовар, и всё тоньше делается звук

струи, трещит лучина и гудит огонь в трубе. Тонкая песня самовара пре-вращается в шум, и вот кипящая вода льётся через край. Шаги кухарки, торопливые и тяжёлые. Самовар на столе.

Я слежу за всеми звуками и переживаю их знакомую последовательность, потому что они приближают для меня момент, когда я должен встать, одеваться и идти в гимназию. А его хорошо бы отдалить. Меня охватывает тоска, и я начинаю испуганно молиться.

Я крещусь, прижимаю крепко руку ко лбу, плечам и груди, становлюсь на колени, кланяюсь до полу и повторяю мои молитвы несколько раз от начала до конца. Но и слов не хватает. Я молча, напряжённо глядя перед собой, заставляю в мольбе, переживая её всем существом моим. Отчаянная же мольба моя была лишь о том, чтобы меня миновала чаша ответа, чтобы меня «не спросили», а если «спросят», то чтобы мне получить «пятёрку».

Пора. С сознанием неизбежности ожидающей меня судьбы выхожу на улицу. Мороз, мгла. Тихо. Я перебираю в уме ещё раз всё, что задано. Что будет?

Приподнимаю фуражку над головой и начинаю на ходу быстро шептать слова молитвы. Не пропускаю ни одной церкви, часовни, креста, чтобы не перекреститься.

Едет старая московская конка в одну лошадь. Я смотрю на номер вагона — нельзя ли по цифрам погадать так, чтобы в результате получилось пять, десять, пятнадцать, двадцать... Выдаётся угол дома, стоят фонарные телеграфные столбы. Я считаю шаги до них. И мне нужно, чтобы их было сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять — вообще, кратное пяти. Выходит как будто бы плохо — сорок девять. Но это не так ещё плохо — из девяти вычесть четыре — получается пять, здесь **скрытая** пятёрка.

Так я складывал, вычитал, умножал и делил, приближаясь к месту моего страшного суда. В карманах у меня гвозди и ломаные подковы «для счастья». Иду по переулку. Гимназия близко, через три дома. В голове мелькает мысль:

«А что, вдруг она сторела? Ведь горят же дома и даже каменные...»

Мне рисуется картина: обгорелые окна с выбитыми стёклами, кругом стоят учителя с грустными лицами.

Я делаю для вида печальное лицо и ухажу. Уроков готовить не надо. Ученые прекращаются надолго.

Но нет. Она стоит, как всегда, со своими тремя этажами, колоннами, штабелями дров. Ничего не поделаешь. Я захожу и подчиняюсь общему настроению «службы в присутственном месте», чем было по существу наше ученье.

2. Диктант.

— «Близ старого дома», — диктует суровый Николай Иванович первую фразу.

— «Близ...», что же на конце — твёрдый или мягкий знак? — Я холодею от испуга. Только сегодня утром смотрел список трудных слов в конце грамматики, и первое слово как раз и было «близ», а что на конце — не помню.

Делать нечего.левой рукой вытаскиваю из ранца книжку, осторожно раскрываю её, а правой пишу, наклонив низко голову. — Вот она, желанная страница... вот и несчастное слово. Я прячу так же осторожно книжку, успокаиваюсь и начинаю писать. Мой сосед видит удачу моей попытки и пытается проделать то же самое, но очень неловко.

— Что там у тебя под партой? — Сосед встаёт. — «Ничего, Н. И.» — Шацкий, посмотри! — Лезу в парту, достаю раскрытую грамматику. — Хорошо. Сегодня останешься после уроков на два часа, — говорит Н. И. соседом. — Дежурный, запиши его. А ты, Шацкий, будешь всё время следить за ним, за его тетрадками и задачками, чтобы он все уроки делал и не спивал. После будешь мне говорить...

— А Шацкий тоже, — вдруг бормочет робко мой сосед, обиженный явной несправедливостью. Но Н. И. как будто не слышит и продолжает диктовать. От стыда не поднимаю глаз, но приятно, что не попался.

Учился я очень хорошо, был записан на «золотую доску» как отличный ученик первого класса. Сосед мой был из последних.

3. У меня соперник по «службе» — ученый — Никольский Николай. Он — первый, я — второй. Мы оба записаны на золотой доске, он — сверху, я — под ним. Я жадно слежу за его ответами, отметками, обвиняю

Николая Ивановича в пристрастии, мне непонятном. Но виду не показываю, хитрю, хожу «под руку» с соперником, «дружусь».

Дома говорят:

— Что же ты? Не можешь пересилить?

Мне этого страстно хочется, и я мечтаю: «А если вдруг придёт «четверть» — и первым Николай Иванович прочтёт меня, а вторым Никольского!» — Я рисую картину: я подойду к нему, как ни в чём не бывало, и скажу: «Это ничего, что я первый, а на будущую четверть будешь ты...»

Какое это было бы счастье!

4. — Мама, меня сегодня Пожарский (надзиратель) за уши выдрал!

— За что?

— Да так, — небрежно роняю я. — Я стирал с доски в перемену, а он подошёл, взял за голову и поднял...

Мать успокаивается:

— А что же он сказал?

— Что сказал? — Скверный полячишка.

— Ну, значит, он тебя любит...

— Не знаю, — говорю я слегка небрежным тоном.

5. Иду на «службу». По обыкновению крещусь, гадаю, повторяю уроки. Поперёк тротуара стоит мальчик с кадкой воды на санках. Он налёг грудью на оледеневшую верёвку и, ухватив её голыми руками, дёргает. Вода расплёскивается, но санки застряли. Тротуар перед богатым домом-особняком усыпан песком, воды вёдер десять. Мальчик заморен и слаб. Ворота отворены и виден чистый двор со службами. Я прохожу мимо шагов на десять. Но тут меня что-то останавливает. Я оборачиваюсь. Мальчик повернулся лицом к кадке, налегает на верёвку спиной и упирается ногами. С меня сплетает гимназическая корка. Решительно, с охватившим меня восторгом, подхожу к кадке и, ни слова не говоря, толкаю её руками... Санки подались, и через минуту — кадка на дворе за воротами. Я бегу дальше. Боюсь опоздать. На душе — радость. Я горжусь собой. Но мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел мой геройский поступок. Об этом стыдно говорить. Оно «своё». Я не шепчу молитв, не крещусь и не думаю об уроках.

6. Усталый возвращаюсь домой. Сзади кто-то быстро меня догоняет. Оглядываюсь — толстый, красный господин в меховом пальто. Его лицо мне сразу не нравится. Я прибавляю шаг. Мне не хочется, чтобы он перегнал меня. Господин, как мне кажется, заметил это и прибавляет шаг. Я — тоже и лечу впереди. Господин делает большие шаги, и его частое дыхание слышно сбоку. Я стараюсь перебирать ногами как можно чаще, но не бегать явно. Мой соперник расстегнул шубу, дышит громко, но не отстаёт. Для меня уступить ему — стало уже вопросом жизни и смерти. Я не сдаюсь и учащаю шаги, как могу. Наконец, сзади слышу глубокий вздох, и видно состязание кончилось.

Оглядываюсь на ходу из предосторожности. Господин стоит, тяжко дышит и отирает платком пот с лица, лба и шеи. Я счастлив и убавляю шаг. Это тоже «своё».

6. «Ante, apud, ad, adversus», — шепчу про себя, не знаю, в который раз, латинские предлоги: — circum, circa, contra, cis...cis... нет, не cis... Как же так? Сплюсь вспомнить. В это время при мёртвовыжидательной тишине детей Николай Иванович входит в класс. Наскоро развёртываю грамматику.

— Книжки сложить! — слышу знакомый голос сквозь зубы.

— Неужели заметил! — и тихо прячу книжку в Парту и уже уверен, что всё пропало.

Я знаю, убеждён, что Николаю Ивановичу известно, что со мной происходит. И меня не удивляет, что он называет мою фамилию первой. Растерянно, беспомощно стою перед кафедрой, стою вроде как на узенькой дощечке через ручей, с которой каждую минуту могу сорваться. Меня может выручить только случай. Едва слышу, что спрашивает мой судья. Отвечаю наобум и с каждым ответом всё больше и больше ощущаю, как лечу вниз. Вдруг меня осенило, столбняк прошёл. Мне стали ясны все вопросы и что надо отвечать. Но поздно: Садись! — и рука в журнале безжалостным движением, хорошо мне знакомым, выводит 2+. Я оглушён, окаменел от стыда, досады и несправедливости. А как раз всё, что мне нужно было ответить, ещё раз ярко вспыхивает в голове. Несчастье непоправимо, только как его пережить?

Соображаю: в четверти по-латыни — три, из первого разряда — вон, с золотой доски сотрёт моё имя сторож своей тряпкой. А дома ещё? Я нарочно слушаю краски и с мрачным видом ухожу после уроков домой. Будь, что будет!

Что говорят эти коротенькие заметки? Сознаюсь, что и теперь они на меня действуют сильно. Конечно, я вспомнил лишь маленькую часть пережитого. Но и эта маленькая часть даёт мне возможность представить ту обстановку, в которой протекала существенно важная часть жизни маленького гражданина. Он чувствовал себя во власти неизбежного. Гимназия, уроки, класс, Николай Иванович — всё это кусок судьбы, с неумолимой силой подчинивший себе маленького человека. Но он не просто маленький человек, а маленький чиновник... 15 августа 1888 года поступивший на службу. Она для него — всё, в ней его интересы, и он всеми силами старается угодить начальству и семье, ибо он очень усердный и покорный. Он заражён служебным самолюбием, он боится начальства, проникнут сознанием его непререкаемого авторитета, единственного в своём роде, слова которого — нечто вроде закона природы. Главный стимул его деятельности — повышение по службе. И его самолюбие (служебное) растёт в нём непомерно. Оно поддерживается и семьёй и школой.

Маленький чиновник завидует, старается скрыть неудачи, подличает, подделывается всячески под вкус начальства. Он практик — поэтому религиозен, суверен. Он горд тем, что начальство потрепало его, любя, за уши, он жаждет дозволенного успеха. «Система» действует пока превосходно.

Но маленький чиновник не совсем Молчалин. У него есть «своё», оставшееся от раннего детства, стыдливое, никому не нужное есть своё, не казённое, самолюбие, своя поэзия, свои порывы. Где жизнь даёт ему возможность поверить себе? Где сумеет он угражнять те способности, которые наиболее ценны в его натуре, в ком найдёт отклик и сочувствие?

«Система» делает его себялюбцем. Страх пропитывает всё его существо, мучает и не может возбуждать желания освободиться от него.

Маленький гражданин, ревностно выполняющий тот долг, который ему предписан, требует награды и иногда

чувствует себя обиженным, тайно протестует и даже критикует.

В конце года он на сравнительной высоте успеха: его «переводят» во второй класс, ему вручают «похвальный лист» за отличные успехи и поведение.

Ещё бы!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Двенадцатый год жизни, второй год «службы» вносит нечто новое. Во втором классе нет единственного вершителя судеб — инспектора Николая Ивановича. Вместо него несколько новых учителей, авторитетов второго сорта. К старым видам деятельности прибавились новые: к латинскому («царю предметов»), арифметике, русскому языку, географии, закону божьему, чистописанию присоединились французский и немецкий языки и военная гимнастика с офицером и барабаном.

Вместо пяти учителей стало девять. Девять темпераментов, девять способов заставлять служить.

В составе «сослуживцев» большая перемена: к 25 первоклассникам присоединились 10 старых, из них 3-4 великовозрастных, которые подтвердили сильной критике и общей строй маленького департамента и самые личности управляющих. Школа относилась к этой группе презрительно.

Но всё-таки они играли известную общественную роль: авторитеты слегка колебались и становились внешними, формальными.

1. Первый немецкий урок. Средних лет сангвинический человек с поразительно розовыми щёками и красными пятнами над бровями. Говорит очень быстро, понять с непривычки трудно. Сразу мне показался очень весёлым. Его живость меня заинтересовала. Я смотрел на него, поставив локти на стол и приложив ладони ко рту. И задумался. Но слышу — весёлый голос превратился в раздражённый. Меня толкает сосед. Я поднимаю глаза и вижу яростный взгляд «немца», обращённый на меня. В недоумении смотрю на него. Не нужно ли мне встать? Я поднимаюсь, хочу что-то сказать... Это хуже, учитель пришёл в невероятную ярость. Мне шепчут: «Молчи!» Я и сам вижу, что молчать лучше. «Немец»

успокаивается. Я сажусь. Но это, очевидно, дало новый толчок раздражению: опять то же самое — и яростный взгляд и раздражённый голос. Я встаю, выслушиваю в недоумении новый поток горячих упреков, дожидаюсь более тихого тона, сажусь снова. Сцена повторилась несколько раз с постепенно стихавшим раздражением со стороны «немца».

Оказалось, что он заподозрил меня в желании посвистать в кулак. Так он и ушёл, обещав записать меня в какой-то «кондуит». Весь класс был очень доволен.

2. Долго, скучно перевели латинскую статеюку «Cajus Julius Caesar, imperator romanorum clarissimus». Учитель — толстый, рыжий, медно-красный Лаврентий Андреевич — неожиданно говорит: «Закройте книжки!» Закрываем.

— Кто может сказать всю статью наизусть? — Странно, почему это пришло ему в голову?

Я встаю и говорю статеюку на память. Было в ней строк десять. Учитель выслушал с необычайной серьёзностью и, значительно глядя на меня, поставил в журнале 5.

3. Иду по дороге домой со знакомым учеником восьмого класса — существом, по моим понятиям, высшего порядка. Он снисходительно разговаривает со мной. Я задаю ему вопрос, с моей точки зрения, чрезвычайно серьёзный:

— Не помните, сколько у вас во втором классе было по латыни во вторую четверть?

Он засмеялся и сказал:

— Как можно помнить такую чепуху!

Я замолчал, но был шокирован легкомысленностью «высшего существа».

«Я-то никогда не забуду», — думал я про себя.

4. «Немец» даёт фразу для перевода: «Рыжая королева сидит на дереве и чирикает» (Zwitschert). Ему говорят: «А как же? Этого ведь не бывает!» Он говорит: «Всё равно, тут нужен не смысл, а знание слов».

5. Учитель чистописания — тихий, добродушный старичок, чрезвычайно деликатный и, по-видимому,

забитый. Очень старательно мелом на доске выводит буквы — отойдёт и любит. Летит кусок жёваной промокашки и попадает в особенно удавшийся штрих. Старичок подходит к доске и спокойно подрисовывает букву. В доску летят ещё несколько комков.

— Дежурный, что же вы смотрите? (Дежурный — я.)

— Вы мне списки дали переписывать, А. П. Где же мне смотреть?

И вот начинается настоящая бомбардировка. Жёваной бумагой залеплены окна, стены, потолок. Мгновенно в ход пошла вся промокательная бумага, старая и новая. Класс жуёт, свёртывает бумажные трубки, прицеливается и стреляет. Один комок попадает старичку в лысину. Он не выдерживает и уходит из класса. Все в смущении, не отдают себе отчёта, как это всё вышло.

В дверях появляется инспектор.

— Кто дежурный?

— Я.

— Поди сюда...

Выхожу, дрожа от того, что сейчас будет, в коридор. В упор раздаётся вопрос: кто это сделал?

— Я не видал: переписывал списки,— невнятно бормочу про себя.

— Останешься на три часа после уроков. Тебе сбавляется балл по поведению. — Я молчу.

— Ступай.

— Ну, что он говорил? — спрашивают меня в классе.

— Оставили на три часа,— заявляю я с гордостью.

6. Уж я не тот робкий мальчуган, как в прошлом году. Вместе с компанией великовозрастных товарищей второго и третьего класса мы образовали шайку для постоянной войны с «городскими», т. е. с учениками городских училищ. У нас есть свой «атаман», мы участвуем в засадах, устраиваем правильные сражения; вокруг нас создаются легенды о чудесах ловкости и силы наших вожаков. Мы известны не только в гимназии, но и на улицах.

Однажды на нас была устроена правильная облава. Многочисленные враги нас окружили, и мы потерпели полное поражение. После этого побоища, потеряв в бою пояс с пряжкой, служивший мне оружием, я несколько дней ходил со столовым ножом за голенищем.

Героический период продолжался всю зиму. К весне дело перешло на отдельные стычки и заглохло.

7. Я получил две-три двойки. Мне стыдно их показывать дома. Баллы выставляют ежедневно в «задачнике» и должны быть подписаны» родными. Я поддельваю подпись и, в случае нужды, подписываю сам.

8. Прозвища учителей: Лаврентий — Лавруха, Анна Матвеевна (назиратель), батька, иезуит (священник), Штучкин (математик), Васыка — Рыжая Собака (директор), Алексей с палкой (чистописание).

9. Во время уроков закона божия все иноверцы должны уходить из класса. Я (католик), два еврея и лютеранин обыкновенно сидели в гимназической библиотеке. Случайно я зашёл в тёмное пространство за шкафами. Вся задняя сторона их была покрыта ужасающими фресками, изображавшими почти всех гимназических учителей голыми в отвратительно непристойных позах. Многие рисунки — углём, чернилами и цветными карандашами — были сопровождаемы надписями в прозе и стихах.

Непристойностями были расписаны стены и клозеты. Иногда карикатуры и надписи появлялись на соседних с гимназией заборах.

Поразительно, что в библиотеке, по-видимому, не было попыток, как в других местах, уничтожить фрески, имевшие, очевидно, давнее происхождение.

10. По коридору во время «перемен» ходит с каменным лицом инспектор. Почему-то неловко просто пройти мимо него. Всегда испытываешь чувство неловкости, смущения, и надо ему кланяться, хотя бы эти встречи происходили раз десять на день. Инспектор всегда один и редко с кем разговаривает.

Классы жужжат ещё некоторое время после звонка. В дверях появляется фигура Николая Ивановича. Моментально шум смолкает, и двадцать-тридцать мальчиков чувствуют себя виноватыми. Николай Иванович молча стоит, смотрит на то, как съёживаются под его взглядом ряды учеников, и медленно уходит. Сзади раздаётся подавленный смех, говор. И так в каждом из четырёх

классов, расположенных внизу. Наверх в старшие классы он не заходит.

У нас при дверях свои соглашения, незаметно наблюдающие за передвижением врага. Приближение его к классу сопровождается условными предостерегающими звуками.

11. Какая-то есть страшная книга в учительской. Она называется «кондуит». Попасть туда — величайшая опасность. Это хуже, чем быть осуждённым в гимназии на воскресенье. Этим-то кондуитом и грозил мне «немец».

12. Домой привезли плохонькое фортепьяно, стоившее двадцать пять рублей: Я улочаю моменты, когда никого нет, и пытаюсь фантазировать. На первых порах мне хотелось изобразить бурю — громом в басах и воем ветра с песней на верхних нотах. Я пою альтом в гимназическом хору, слежу за тем, как свободно льётся голос, испытываю приятное ощущение, что веду за собой других. Музыка — тоже нечто «свое», занимающее всё больше и больше места в моей жизни.

13. У меня страсть к чтению. В гимназии книги давали редко — дома запрещено было читать книги для взрослых, романы. Я пользовался временем, когда отец отдыхал после обеда, прятался под фортепьяно и прочёл Толстого, Достоевского и Гоголя — сочинения, которые откуда-то выписывались в рассрочку отцом.

14. У меня есть друг. Он вновь поступил к нам во второй класс, старше меня на два года. Учился раньше в немецкой школе и поэтому пользуется большим расположением «немца». Летом он был за границей на Парижской выставке и поднимался на башню Эйфеля. Для меня он — высшее существо. Он был правдив, рассеян, задумчив, неловок, пропускал мимо ушей вопросы учителей, которые часто захватывали его врасплох. Тогда он краснел, смущался и молчал, никогда не стараясь вывернуться. Конечно, учился он плохо, особенно по арифметике. Его неудачи волновали меня больше, чем собственные.

15. Математик Штучкин, маленький, худенький человек с добрым лицом, уже посадил на место одного

неудачника и осматривает ряды притаившихся человечков. Какой бы ни был учитель — «добрый» или «злой», эти моменты всегда вызывали в памяти образ хищного зверя на охоте. Взгляд его падает на моего рассеянного друга. Он называет его. Тот встаёт, одёргивает со всех сторон курточку, захлопывает книжку, по которой я торопился сказать ему, что надо сделать, кладёт её на другую, обеими руками тщательно подравнивает их, чтобы аккуратно лежали, и направляется к доске. Там он стирает всё, что написано, проводит какую-то ненужную черту и останавливается. Через минуту напряжённого молчания он опять на месте. Злорадная (как мне кажется) рука учителя нечто чертит в журнале. Глаза учеников привычно внимательно следят за ним. «Кол» — несётся шёпот. Я плачу. «Шацкий плачет», — раздаётся несколько голосов. «Нечего плакать из-за лентяя, — сердится Штучкин, — вот пусть останется на час после урока за невниманием. Дежурный, запишите».

Я остаюсь вместе с другом и стараюсь убедить его, что он знает и может решить сколько угодно задач. По случаю моего самопожертвования начинаются маленькие насмешки. Но это мне всё равно. Вместе с другом мы идём домой, оживлённо говорим у ворот его дома. Отец его служил где-то в банке и имел несколько домов. Скоро меня пригласили в гости. Я был очень горд и счастлив. Обстановка квартиры, где у друга моего была своя комната, библиотека, у отца кабинет, гостиная и столовая, где стоял ещё не виданный мною рояль, мне казалась необыкновенно богатой. Из дому меня стали отпускать по воскресеньям. Я приходил как можно раньше и уходил с большим сожалением.

16. У друга моего — аквариум и террариум. Но интерес к животным мне чужд. Аксолотли и черепахи, и древесные лягушки, макроподы и вуалехвосты мне казались чудачеством. Меня гораздо больше интересует отец друга, который здоровается со мной за руку, зовёт на вы, по имени, отчеству. Со мной он серьёзно разговаривает и снабжает книгами, от которых какой-то приятный запах. Мой друг питает к книгам отвращение, что служит предлогом ссор между ним и отцом его.

Посещение их дома — для меня высшее наслаждение, светлый праздник. Здесь меня ценят, обращаются

не как с мальчишкой. Чисто, уютно, тепло. Мне велено обязательно быть дома к шести часам вечера. Я часто переставляю стенные часы на полчаса назад, чтобы использовать срок моего блаженства как можно больше.

17. Дома мы часто поём хором под руководством отца — белорусские, польские и литовские песни. Отец был суров. Но иногда он с жаром играл с нами в солдатики (мы жили в казармах, отец служил в военной канцелярии). Он прекрасно вырезал из старых игральнх карт лошадок. Их мы подковывали сургучом для устойчивости. На лошадей сажали вырезанных из бумаги солдат, делали бумажные пушки и стреляли через стол в ряды бумажных войск. Я ловко делал корабли из картона, оклеивая их старой клеёнкой. Весной я спускал свой флот в лужи, наполнив «трюм» для балласта песком. Корабли ходили под парусами. Большой мечтой моей было устройство театра марионеток. Для декорации я пользовался иллюстрациями в старых журналах, которые я раскрашивал. Для того чтобы фигуры могли двигаться, я придумывал прорезать в картонной сцене щели, сквозь которые проводил свободно палочкой с наклеенными на неё куклами. Мечтал я много изобретал, любил всякие машины и сооружения. Отец любил пилить, строгать, делать всякие поделки и заводить всякие особенные вещи — универсальные инструменты, выдвижные потайные ящики, специальный клей и патентованные средства.

Двенадцатый год жизни маленького человека. У него на пути стало много разных влияний, и в центре их стоит школа. Но школа — один из рычагов государственной машины. Рычаг этот действует во всю свою силу только в коридоре — инспектор с каменным лицом, одним своим появлением погашающий и устрашающий души маленьких граждан. Это его долг, его прямое назначение. Но классная комната, в отличие от предыдущего года, начинает приобретать некий характер убежища, где действуют и другие, противоположные законы; а в результате — борьба, война с победителями и побеждёнными, с лазутчиками, предостерегающими знаками и маленькими пока протестами. Напор государственной машины

вызывает волны противодействия. Волны эти обрушиваются в сторону наименьшего сопротивления (случай с учителем чистописания), и бедный старичок страдает из-за системы. Но нельзя сказать, чтобы она была выдержана, она имеет только внешние формы, она не проникла во все детали, уголки, она внутренне слаба — иначе нельзя объяснить такой порыв, который обнаруживался во взбалмошной педагогике «немца» (говорили, что он был гувернёром у гр. Шереметьева). Большинство среди учителей, впрочем, принадлежало к нейтральным фигурам (русский язык, «француз», географ): ни они, ни их никто не задевал. Словом, нестройность, невыдержанность ближайших к детям второстепенных рычагов системы несколько расшатывала её внутри. Да и не мудрено — это была всё-таки русская система, не умеющая доводить дело до конца и больше устремляющая внимание на вывеску, штукатурку, декорацию, чем на внутреннее содержание дела.

В составе класса выделяется новый слой — великовозрастные ученики и критики — второгодники, влекущие на улицу и вносящие своеобразную свежесть в скучную атмосферу службы.

У маленького человека не всё, как раньше, сосредоточено в узкой сфере учения. Он вступает в бой с городскими ребятами как представитель привилегированного слоя, он чувствует нарастающую связь товарищества и, несмотря на всё ещё сильный страх перед инспектором, не выдаёт ни одного из шагунов. Он становится общественным человеком: общественное мнение — главный руководитель его поступков.

Всё больше и больше он уходит от своей семьи. Он ищет привязанности и симпатии, признания себя; он нашёл себе настоящего учителя — отца друга, удовлетворяющего его страсть к чтению. Он видит разницу между бедной обстановкой своей семьи и «богатым» домом. Он со страстью читает, читает запоем, но хорошие, хотя мало понятные, книги; в нём пробуждаются струны искусства, закладываются зачатки будущих интересов.

Учится он привычно хорошо; на его долю выпадают и настоящие триумфы. Быть впереди ему хочется, и этого достигает он разными путями. Ему небезразлично начальства, и если ему приходится

критиковать, быть недовольным, то не общим укладом гимназической жизни, а личностями. Да и то, если бы его гладили по головке, поощряли, то он готов был бы каждому учителю броситься на шею.

Но служба службой, и для неё обязательны формальности. Единственный критерий оценки его дела — балл за поведение, внимание, прилежание и успехи — занимает место в его жизни. Маленький человек не желает неприятностей — он делает подлоги, подделывает подписи и подчищает отметки. Его тревожат успехи других, и, так же как и раньше, он следит с замиранием сердца за тем, кто на каком месте поставлен по успехам.

Особое место занимают пока в его существе грязь, цинизм и неблагодарность. Ими он ещё не задет, не оравлен. Он не бранится, стыдится гнусностей словесных, но он робок, и ему стыдно протестовать. В общем, по сравнению с первым годом, он сильно двинулся вперёд, но движение это не только внешнее. Всё более и более разрастаясь, оно начинает чувствоваться лёгкую тесноту своей нелёгкой службы. Особое место у него занимает и «дружба», где он впервые проявляет свой педагогический инстинкт. Он начинает смутно отмечать, что «знать» по-гимназически и знать вообще — вещи разные. Он чувствует, как «не надо» делать и «как надо». Два образа учителя стоят перед его глазами — учитель в классе и вежливый, величающийся по имени и отчеству, охотно беседующий и руководящий чтением отец друга. Три основных влияния — своей семьи, семьи чужой и класса — начинают работать в его душе.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

К третьему году сформировался из маленького человека уже настоящий гимназист. Он вполне приспособился к своей службе, она составляет «настоящую» часть его жизни, и всё остальное он начинает оценивать с точки зрения своего главного дела. Он овладел механизмом своей службы и требует к себе внимания — ибо служит хорошо и не только для семьи, не для учителей, а для себя. Подчиняться он привык, но начинает относиться свысока к слабейшим. Для него первоклассник —

ничего не стоящая мелкота. Он стал страшно самолюбив; ему нравятся атмосфера учения, в особенности, если его отличают учителя. К прежним прибавились новых трое, и ко всем троим (историк, «грек», чистописание) он относится далеко не безразлично. Неудачи его сильно огорчают.

Новый предмет, который он сразу не понимает,— алгебра. Она в конце года принесла ему наибольшие тревоги.

1. Новый учитель чистописания, быстро прозванный Рыжим Козлом. Он говорил резко, отрывисто и постоянно читал поучения. По мнению нашему, он меньше всего имел на это право: его предмет — «самый последний», и нам кажется постыдным заниматься им, мы выросли для таких пузтяков. Он чувствовал наше пренебрежение и часто повторял: «Дураки, своей пользы не понимаете!» Он вводил ритмическое начало в занятие, которое обычно начинал так:

— Сесть как следует. Руки на стол!

— Взять перо в руки. Раз!..

Тридцать правых рук с грохотом опускаются на парты.

— Взять перо в руки. Два!

Тридцать рук подняты в воздух и грозят перьями.

— Начинай! Ве-е-рх, вни-и-з, вверх — вниз, раз — два.

За резким голосом учителя слышны ритмические шёпоты:

— Рыжий... Козёл, Рыжий... Козёл, вле-во — вправо, туда — сюда.

— Молчать! Дураки...

— Своей пользы не понимаете,— подсказывают в классе.

2. Какой милый новый «грек»! Он высок, строен, изящен, бледен, глаза большие, мечтательные. Я сразу решаю любить больше всего греческий язык. Он застенчив и часто покашливает. Мы откуда-то узнаём, что он жёнится, и решаем написать ему поздравление. Я упорно гляжу на него и ловлю его взгляд. Иногда он смотрит на меня и, как мне кажется, улыбается. Я почти уверен, что он меня заметил и отличил.

3. Самое начало уроков по русской истории. Она мне знакома. Я уже прочёл большую «Русскую историю» с картинками и памятником тысячелетия России на переплёте. Поэтому я не особенно боюсь. Он вызывает меня

и, прослушав мой рассказ о Владимире Мономахе, довольно небрежно берётся за перо.

— Вас зовут Станислав?

— Да.

— Вы что же, не православный?

— Нет, я католик (почему-то мне стало неловко, что я не православный).

— А как же вы молитесь в вашем, как его?... Костёле, что ль? Ведь там у вас всё по-латыни?

— Я понимаю, есть перевод по-польски...

— Так вы по-польски говорите? Отчего же у вас не молятся по-польски?

— Я не знаю (готов провалиться от досады).

— Ну, ступайте! Нехорошо у вас... — Он мне ставит четыре с минусом. И я сразу чувствую в нём врага. Его четвёрка с минусом для меня оскорбительна. Но что же поделаешь: всё-таки начальство.

4. Очень стыдно, если меня увидят с родными, особенно с сёстрами. Одна сестра каждый понедельник уходит во французский пансион, куда она была помещена бесплатно. Мне приходится испытывать мучительное чувство, когда я иду с нею по дороге в гимназию. Я соглашаюсь идти с нею только первую половину дороги. А затем она должна была или идти не вместе — сзади меня, или садиться на конку. Она была привязана ко мне, плакала, но слушалась. Я оглядывался по сторонам: не видно ли кого из товарищей. Ещё она целоваться лезет на прощанье. Этакое мученье!

5. К моему несчастью, маленький брат поступил в первый класс. Испуганный, потерянный, он в гимназии пользовался случаем, чтобы увидеть меня, и для этого часто стоял у дверей моего класса, а во время перемены ходил за мной по пятам. Однажды он получил двойку и стал ходить за мной, поминутно утирая слёзы и всхлипывая. Я велел стать ему у столба в зале и отстать от меня. Он стоял и тоскливыми глазами следил за мной, пока я прохаживался со своими одноклассниками.

Мне не жаль несчастного, мне стыдно, и я полон жестоким негодованием.

По дороге домой я мучаю его.

— Ты ничего не знаешь...

— Я знаю, это он (Николай Иванович) нарочно...

— Ну, хорошо, а вот знаешь — что такое стул?

— Стул,— ну, знаю, это всякий знает...

— Если знаешь, так скажи своими словами.

— Что такое стул?... Ну, да это, на чём сидят...

— А на кресле не сидят, а на диване не сидят?

— Ну, так то диван, а то стул... Стул деревянный,

— А табуретка тоже деревянная...

Мой ученик с недоумением смотрит на меня.

— Вот, и не знаешь,— говорю я.

— Нет, знаю. Как же не знаю, если я на нём сижу?

— То сидеть, а то сказать — сказать не можешь, значит, не знаешь...

И так я донимал его столом, лампой, пергородкой, часами, требуя определений, пока он не стал горько плакать от того, что я дразню его. В этом было для меня известное наслаждение.

6. Я заболел бронхитом и свинкой сразу. Почему-то две болезни сразу служили для меня некоторым поводом гордиться — и я три недели не ходил в класс. Уроки все я готовил, но когда пришёл, то оказалось, отстал от некоторых новостей у «немца». Я удивлялся, что после того, как ученик кончает отвечать, «немец» задаёт какие-то непонятные вопросы, на которые даже плохие ученики отвечают быстро, без запинок.

Я прислушиваюсь. «Господин, сколовалет?» — (Что это такое, сколовалет?) «Mein Herr (это я разбираю), ви альт зи-зи (а это не понимаю)». Спрашивает меня. Я отвечаю урок. После он обращается ко мне с обычным: «Господин, сколовалет?» Я наудачу скороговоркой отвечаю: «Mein Herr, ви альт зи-зи...» И получаю пять. Совестно спросить, что же это такое — зи-зи? (Wie alt sind Sie?)

7. Торжественная служба в костёле. Яркое освещение, масса народу, швейцар с огромной медной булавой; гремит орган, и среди моря звуков выделяется сильный женский голос. Мне представляется широкая белая

лестница, спускающаяся сверху, с хора — вниз. Я на самом верху с незнакомой дамой. Мы держимся за руки. В груди моей восторг. Мы медленно одни спускаемся по ступенькам и поём. Я ей вторю. Снизу все глаза обращены на нас. Я наслаждаюсь.

8. Перед математиком Штучкиным стоит в жалкой позе Зимин Сергей. Он получил единицу.

— Михаил Фёдорович, простите.

— Мне вас нечего прощать. Вы не знаете ничего. Не могу же я вам ставить пять. Это все начнут так отвечать...

— Михаил Фёдорович, простите, я буду всегда учить, Михаил Фёдорович, меня дома высекут, меня высекут...

— Простите его, — гудит сдержанно класс, — у него мать злая...

Зимин рыдает, ловит руку Штучкина, хочет поцеловать. Тот отдёргивает, и Зимин целует рукав.

— Идите на место, Зимин, мне нет дела, высекут вас или нет. Вы не знаете, я должен поставить единицу.

Класс потрясён. Звонок. Учитель уходит, и плачущий Зимин за ним, провожает его до дверей учительской. Перемена кончилась. Зимин садится на ступенях лестницы, которая идёт сверху. Учителя спускаются вниз один за другим. Замечательно, что никто не сказал ничего Зимину, и даже каменный Николай Иванович обошёл его, не сделав замечания.

Я сижу и думаю: «Неужели он забыл, как сам был маленький?»

Я вспоминаю грустную сцену раннего детства; стою на коленях в комнате, где только раскрылись все мои вины. Мать ушла, сказав: «Стой тут, я приду сейчас с розгами и высеку, чтобы ты помнил, как следует».

Не помню, высекла она меня или нет. Но помню огромный ужас ожидания — вот-вот начнётся!

9. Я заболел брюшным тифом. Через шесть недель, ещё слабый, бледный, появляюсь в классе. Чувствую всю значительность того, что произошло со мною, и то, что я имею право не знать уроков. Мой любимец «грек», учивший в то же время и русскому языку, снисходительно-ободряюще спрашивает о чём-то из старого, хорошо

мною вытверженного синтаксиса. Я отвечаю и к величайшей радости вижу, что он ставит пять.

Я пропустил «четверть», но оказывается, мой соперник Никольский Николай тоже заболел. Его нет и долго ходить не будет. Я лихорадочно готовлю уроки. Меня спрашивают, ставят хорошие баллы, и к концу четверти первый — я. И это место я сохранил до конца года. Мой соперник появился лишь в последнюю четверть и «нагнать» не успел.

10. Как хорошо я знаю географию Янчина! Я могу отвечать за первый класс по вопросам общей физической географии и за второй — по всем вневосточным странам и даже теперь по всей Европе — я знаю все страны Янчина. Могу отвечать в «самую» разбивку и люблю это делать, предлагая товарищам экзаменовывать меня. Учитель (М. С. Соловьёв) похож на Миклухо-Маклая, о котором я прочёл в журнале «Детский отдых». География — моя специальность!

11. Читаю запоем Жюль Верна. Это даже лучше, чем Майн Рид и Купер. В классе много почитателей и знатоков его. Нам известна связь его трёх романов между собой — «Восемьдесят тысяч вёрст под водой», «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров». Среди нас есть слух, что Жюль Верн прилетит на воздушном шаре в Москву и спустится на Театральной площади. Мы несколько раз ходили встречать его и готовили адрес. Но он не приехал.

12. Весной с моим другом у него в саду готовим грандиозную вещь — извержение вулкана! Нами насыпана «гора» и внутри заложена жестянка с влажным порохом, углём, песком и гравием. Сверху к жестянке ведёт канал, куда опущена пороховая нитка. Мы поджигаем её и ждём результатов. Через несколько минут показывается густой дым, летят камешки, затем пышет огонь. Извержение разрастается всё больше и больше; уже мы и сами не рады, боимся, что нас накроют. Мы прижались за деревом, смотрим со страхом и восторгом. Лишь бы окончилось благополучно! Но вот гора наша развалилась, только дымится. Мы обмениваемся восторженными впечатлениями.

13. Экзамен по арифметике и алгебре. Я сделал бы всё, но у меня не выходит пустячная алгебраическая задача — половина (как продиктовал Штучкин) в степени минус три.

Минус три! У нас не было такой степени... Минус три! Даже в степени ноль для меня очень просто — ибо «**всякое количество в нулевой степени равно единице**». Но минус три? Пытаюсь вспомнить, вести эту проклятую степень сам, но ничего не выходит. А все, даже плохие ученики, это всё проделали и уже подают тетрадки. Один сердобольный товарищ чертит на моём столе пальцем цифру восемь, боком поглядывая на учителя. И с восьмью ничего не понимаю.

Мой отчаянный вид обращает внимание учителя. Он стоит надо мной и толкует: «Вот как вы обманываете своего преподавателя! Я вам верил, надеялся, всегда ставил пятёрки, а, оказывается, вы даже не знаете количества с отрицательным показателем!»

— Количество с отрицательным показателем?! — вскрикиваю я. — Михаил Фёдорович! Я это знаю! — и торопливо, не давая ему возразить, говорю скороговоркой: — **Количество с отрицательным показателем равняется единице, делённой на то же количество с положительным показателем.** Я сейчас, Михаил Фёдорович, минутку только, у меня всё сделано, только встать.

— Нет, довольно, давайте вашу задачу так, как есть. Я, по крайней мере, буду знать, как вы обманываете меня целый год: В будущем году, если будете отвечать на пять, поставлю четыре, а если на четыре — буду ставить три...

Он отбирает от меня жалкий лист и уходит в негодовании... Я подавлен, бью себя по голове кулаком и недоумеваю, как это вышло. Если бы кто-нибудь подсказал, что минус три — это отрицательный показатель, я сделал бы скорее всех. И стыд и досада.

В начале главы мы упомянули о том, что наш маленький человечек уже стал настоящим гимназистом и программой — и метод и самый дух учителя — он усвоил прочно и добросовестно. И он, делая своё дело,

чувствует себя личностью. Он требует оценки, признания; он не только ждёт, когда на его долю выпадут крохи начального благоволения, но и добивается, считает справедливым, когда его признают, и несправедливым — небрежность по отношению к себе. Он хочет быть любимцем, но и у него есть свои любимцы — «грек», географ. Историк сильно оскорбляет ревностного гимназиста и не своим издевательствам над религиозным его чувством, которое значительно ослабло, а четвёркой с пошлым минусом «за то, что католик», а ведь этот католик поёт в православном хоре и даже благодаря своему голосу там ценится. Самолюбие его вполне удовлетворено, хотя несколько случайным обстоятельством, — болезнью соперника. Он **первый** до конца года. Но не только стал мой маленький родственник маленьким гимназистом, он становится и личностью, ибо у него формируются интересы. Теперь он захвачен путешествиями, любит географию, рассматривает атласы, следит за путями героев Жюль Верна и в виде иллюстрации к финалу «Таинственного острова» устраивает со своим другом извержение вулкана. Внутри его вспыхивает искорка горделивой мечты: он рисует себя среди массы людей, на белой лестнице с прекрасно поющей дамой. Бесспорно, что голосом он выделяется и это очень хорошо знает.

Всё больше начинает он разбираться в том, «что «надо» и чего «не надо» в отношениях учителя и ученика. Инстинктивно он нападает на совершенно верную мысль (случай с Зиминим): «Он (Штучкин) так не сделал бы, если бы вспомнил, как сам был маленьким».

Мы считаем этот факт основным в определении начала деятельности педагогического инстинкта, превратившегося в преобладающий интерес жизни взрослого человека. Полагаем, что огромному числу педагогов не было бы бесполезно вспомнить годы своего учения, вспомнить, **как они были маленькими**, по совету маленького человека.

Не один только дух службы усвоил и уловил тринадцатилетний мальчик: дух этот был дух формы, и усвоение не составляло весь метод работы. Усваивать формы — значило запоминать их всеми способами. Он запомнил формы печати учебника Янчина; ему легко было представить себе и страницу, и рисунок, и даже

верхнюю или нижнюю строчку, где напечатан город, мыс, перешеек, горный узел Гиндукуш. Этот же метод он применял и к истории, и к алгебре. Из-за него он так пострадал на экзамене: он помнил формулу, но при решении задачи не понял, что она нужна именно в данном случае. Этот же способ применялся и в латинских и в греческих экстампоралях — везде нужно было вспомнить правила в их точной форме. Но формы не были гибки и живы, трудно поддавались применению, да и дело было «чужое». Единственно, на что приходилось надеяться,— на случай и на работу памяти, она и изощрялась непомерно и только в конце концов и ценилась. Впоследствии это и привело к немалым внутренним и внешним конфликтам. Условно за три года формальный метод молодой педант применил к своему «постыдному» малышу-брату. В его трактовке он получил характер издевательства.

Не был ли прав юный педагог и в этом случае?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Над четвертым классом грозно вырисовывается грузная фигура Лаврентия Андреевича, на языке гимназистов — Лаврентия или просто Лаврухи. Он завладел тремя путями воздействия на ребят: латинским, греческим и немецким. Он короткий, рыжий, медно-красный, в руках постоянно держит толстый красно-синий карандаш, которым, раздвигаясь (а это с ним было часто), водит по щеке около уха, и тогда она красится в сине-красные полосы. Он делает страшные глаза, кричит, морщится. Он наводит своеобразный трепет на всех без исключения. И скромный немецкий язык не менее опасен, чем латинский и греческий. Деликатный Миклухо-Маклай уехал лечиться. Вместо него молодой, вихрастый, маленький, язвительный учитель, быстро получивший прозвание Салакушки.

Новый предмет — геометрия, сразу возбудившая мои большие симпатии. Особенно мне нравится геометрическое черчение.

Памятный, тяжёлый, скучный год. Мы готовились к трудному экзамену за все четыре класса; утверждали, что это самый трудный класс. Уроков задавалось очень много, требования были большие, и на чтение, свои

интересы времени почти не оставалось. В жизни маленького человека наступает перелом.

1. — Ну, скажи мне, мой друг, как по-немецки страх?

— Страх, это будет... — белёсый, с длинным лицом и крошечными глазами купеческий сын Костромин произносит трудное слово старательно, но по-русски — фурухт.

— Не фурухт, а фуруьхт.

— Фурухт.

— Повтори фуруьхт пять раз.

— Фурь-рь-хт, фуруьхт, — начинает осторожно и с усилием выламывать свой язык бедный Костромин, не сводя глаз с Лаврентия. Мы переводили глаза с одного на другого.

— Опять фурухт. Повтори ещё десять раз.

Снова начинает ломать свой неповоротливый язык бедняга, но не выдерживает напряжения и опять слышится роковой грубый и даже не фурухт, а... фурухт.

Лаврентий вздрагивает, яростно чешет синим карандашом около уха, хочет закричать, но сдерживается и тихо говорит:

— Повтори, мой друг, сначала пятьдесят раз.

Костромин вливается глазами в багровое лицо учителя и, растягивая звуки, выдавливает из себя бесконечные нежные фуруьхты. Он, видимо, наладился. Лаврентий успокаивается. Дело подходит к концу. Но, очевидно, он успокоился напрасно: в самом конце снова срывается, и взбешённый чех назначает ему написать это слово 500 раз и писать вообще до той поры, пока не скажет подряд без запинки 10 раз ненавистное фуруьхт. Помогли бедняге мы, прозвав его нежным именем «фуруьхта». Так он и привык.

2. Рядом с чехом начинаю ценить «француза». Он так спокоен, вежлив, с такой охотой выслушивает хорошие ответы и явно любит свою французскую речь. Он постоянно сравнивает русские обороты с французскими и этим вовлекает, по крайней мере некоторых из нас, в интересы своего метода. Он держит себя с большим достоинством, не допускает шуточек и фамильярностей и отличается спокойной деловитостью. Его уважают; подсмеиваться над ним не принято. За его уроками всегда некоторый отдых.

3. Взъерошенный новый учитель географии никому не понравился. И быстро за ним утвердилось прозвище Салакушка.

Дело было так: на одном уроке я, отвечая урок, забыл, что в Балтийском море водится эта рыба. Я её пропустил, не придавая ей особенного значения. Неожиданно молодой педант стал добиваться от меня именно названия этой жалкой, по моему представлению, рыбы. Мне подсказали. Я с досады произнёс Салакушка. Он моментально поправил — Салакушка. Я заметил, что можно говорить и Салакушка. Мы вступили в спор, окончившийся для меня тройкой. Когда я ушёл на своё место, название уже было готово, и был изобретён способ дразнить неопытного молодого человека.

— Расскажите про Ладожское озеро... — предлагает он.

— Ладожское озеро соединяется рекою Невой с Финским заливом, а Финский залив — часть Балтийского моря. В Балтийском море водятся разные рыбы, например Салакушка.

— Салакушка, — поправляет учитель.

— Ну, Салакушка, — повторяет ученик.

Мы все хохочем. Прозвание быстро утвердилось за ним, и маленькие классы особенно усердствовали к явной досаде жертвы.

4. «Говорят, что Александр Великий родился в ту самую ночь, когда безумный грек Герострат, желая увековечить своё имя в истории, сжёг великолепный храм Дианы Эфесской».

«Пылкий Антоний попал в сети египетской царицы Клеопатры».

Эти две фразы из «маленького» Иловайского, приспособившего историю для нашего возраста, вспоминаются мне как драгоценные перлы нашей учения.

«Когда родился Александр Великий?» — спрашивает «вразбивку» после ответного урока мой враг, историк.

— Это когда безумный грек Герострат... — «Ну, ладно, — прерывает он меня, — затвердил», — и очередная четвёрка с минусом оценивает мои исторические познания.

5. Лаврентий имеет обыкновение при неудачных ответах свирепо кричать и ударять рукой по пюпитру кафедры. Пюпитр подвижной и держится на зарубках. С ним сыграли штуку, от которой как-то никто не пострадал: дощечку приладили так, что при первом сильном движении она соскакивала с зарубки и весь пюпитр падал вниз. Всё вышло так, как предполагали. Поводов к раздражению было много. Тяжёлый кулак опустился с размаху на кафедру и, к великой радости, журнал, ручка, сине-красный карандаш полетели на пол. Сколько было высказано лицемерного участия, с какой готовностью бросились поднимать журнал и поправлять дело с пюпитром. Наш грозный враг был немного смущён. Никто из нас не пострадал, но все получили огромное удовольствие.

6. Очень хороший предмет геометрия. И особенно хорошо вычерчивать геометрические чертежи, ставить точки, пунктиры, толстые и тонкие линии. И как жаль, что Михаил Фёдорович так злопамятен и всё хочет меня «поимать». Я держусь твёрдо, всё знаю, постоянно повторяю пройденное, и он принуждён мне ставить пятёрки. Тем не менее, в конце четверти он обязательно вызывает меня и предупреждает, что от моего ответа зависит окончательный балл, хотя бы перед тем у меня были только пятёрки. Но со мной он ничего не может поделать, и его подозрительность ослабевает.

7. Замечательный вопрос историка: в какие нечётные годы совершались замечательные события греческой истории? — И мы умели отвечать даже на гораздо более сложные вопросы. Дело было лишь в том, чтобы изучить «выразительные повадки и склонности» наших учителей. Поневоле из нас вырабатывались хорошие практики-психологи.

8. Часто засыпаю в классе. Для сна выработалось у детей специальное приспособление: создаётся задумчивая поза при помощи руки, закрывающей глаза. Нужно дремать, но в то же время быть чутким, готовым вскочить как ни в чём не бывало при первом вопросе учителя. Это страшно утомляло, но удержаться было трудно. Иногда сон нападал наступающий — тогда голова

делалась тяжёлой и вдруг падала вниз, и я просыпался в испуге. Но урок течёт своим чередом, всё так же размеренно, знакомо, и опять — задумчивая поза и дремота.

9. У меня драма: мы разошлись с моим другом. Он был на два года старше меня, и между нами оказалась большая разница. Он стал вести компанию с группой наших великовозрастных, в его разговоре появились фразы и словечки, пословицы и анекдоты переходного возраста. Он стал бравировать своим цинизмом и вместе с другими посмеиваться надо мной. Учиться стал он совсем плохо. Семья его была близко знакома с нашим надзирателем, Владимиром Николаевичем — Петром Великим, у которого мой друг состоял в числе любимцев, хотя не очень усердных. Однажды Пётр Великий призвал меня для интимной беседы по поводу плохих успехов моего друга. Я, наивно желавший принести ему пользу и в то же время высказать свою досаду, откровенно высказал всё то, что переживал — и по поводу его новых друзей и по поводу новых интересов. Пётр Великий выслушал меня. И я стал в главах моего друга доносчиком, выскочкой... Мы отделились всё больше и больше. Я стал бывать у него всё реже и реже. Напряжённая холодность наших встреч была для меня невыносима. Я был упрям и не хотел и не умел объясняться, но в то же время сознавал свой промах, хотя для себя оправдывал его лучшими намерениями. Мы разошлись, перестали разговаривать и даже в классе отсели друг от друга. Всё это было тяжко. И в отношении к ученью у меня стал происходить перелом: оно мне наскучило. За внешней драмой последовала внутренняя.

10. Как родятся дети? Это, очевидно, тайна, тщательно скрываемая. В нашей небогатой семье роды происходят в квартире. Я слышу крик, стоны, трепещу от жалости, но страшно пытаюсь выяснить тайну. Однажды я спрятался в комнате матери под платьями и шубой на вешалке. Но ничего не было видно. Случайно я нашёл старую книгу — «Руководство для повивальных бабок». Там были рисунки скелета таза, сравнение таза мужского и женского и самое главное — рисунки различных положений ребёнка: правильных, неправильных в теле

матери. Но это были рисунки человеческого плода, закончившего свой рост перед рождением, а самого главного, как он начался и вырос, — на это объяснений не было. Лишь говорилось об оплодотворённом яйце, что я плохо понимал. Таким образом, тайна, с такой болью мучившая меня на четырнадцатом году, осталась тайной. Действия моих товарищей, их слова, фразы, непристойности, представления тоже ничего не объяснили, а лишь намекали на что-то невыразимо грязное, что связано с жизнью отца и матери. Драма была настоящей, тяжёлая, отражившаяся на ходе моего учения. Я стал терять к нему вкус. Оно ни о чём **важно**м не говорило.

11. Перед отпуском на каникулы приходит обыкновенно инспектор Николай Иванович. Мы встаём и сосредоточенно тихо выслушиваем фразы, сухо произносимые слегка шипящим голосом сквозь зубы: «Вы свободны до 7 января. Ведите себя хорошо, чтобы не уронить чести учебного заведения, в котором вы учитесь. Готовьте уроки. В театр разрешается ходить только с родителями и старшими родственниками. Теперь прочтите молитву и молжете уходить. Уроков больше не будет». (В день отпуска мы учились до 12.) Чудесный момент! Стоишь тихо и в душе предвкушаешь радость быть **на воле** через несколько минут. Каменный вершитель судеб ушёл. Бурно, как скот весной, мы устремляемся на воздух, на улицу, домой. Удовольствие это было три раза: на рождество, пасху и на лето.

12. В учении мои дела неважные. Паврентий предупреждает меня, что если я буду **так** учиться, то меня переведут во второй разряд, а тогда со-трут с золотой доски.

Я ничего не могу с собой поделать. Мне иногда скучно до тошноты. Я стараюсь заниматься, но мне кажется, что в моей жизни наступает полоса неудач. Кое-как одну четверть продержался, а после Нового года я увидел доску уже с одной фамилией — Никольский Николай. Ну и пусть! Пускай они все преследуют меня — и Штучкин, и Лавруха, и Пётр Великий, и ничтожная Салакушка. Все надежды я начинаю возлагать на пятый класс, где будут новые учителя и новое ученье. Там будет всё по-другому. А здесь лишь бы кончить.

13. Я сочиняю стихи. В них я хочу описать всю гимназию. Изобразить всех, всех... Это будет большая поэма, вроде «Полтавы». Страшно мысль о стихах заняла меня — только нужно подобрать рифмы. А для этой цели я хотел воспользоваться словарём. Это очень просто. Взять русско-французско-латинский да какой угодно словарь и искать слово «под рифму» с последним словом первой и т. д. строчки.

Эти начальные строчки, прочтем, были довольно трудны. Из всех моих попыток осталась одна строчка, донныне памятная мне и удачно характеризовавшая весь уклад гимназического ученья. Строчка эта была такая: «**Сердцу радостный звонок**». Если в неё вдуматься хорошенько, то она должна быть признана очень меткой и ядовитой. Звонок, иногда неожиданный, иногда долго и томительно жданный (чаще второе), звонок созывающий (и всегда неприятный) и звонок отпускающий (благословенный), как понятие, обладал очень большим содержанием. Он стоил хорошей поэмы.

14. «Русский учитель», Фёдор Владимирович Цветаев. Он рыл, добр, беспечен и ленив. Качества эти настолько ценны, что ему не дают никаких язвительных прозвищ. Он по месяцам задерживает тетрадки с диктантами, изложениями и сочинениями. Он шутит, с ним можно потолковать. Он много рассказывает биографий и советует читать книжки.

Особенно любит он басни и самого Ивана Андреевича Крылова, на которого отчасти похож. Я хочу ему написать сочинение на заданную им тему «Вид из моего окна» **по-настоящему**. Это **настоящее** я представляю себе так:

Надо зажмурить глаза и представить себе действительно весь вид из окна — самым добросовестным образом, чтобы всё было правдой и чтобы ничего не пропустить. Вид обязательно деревенский, и только надо выбрать окно и тот вид, который открывается из него. Если ничего не пропустить и сказать, что было близко и что далеко, не выдумывать, то это и есть «настоящее». Я сочинил, тщательно переписал и подал, часто после доедал ему вопросами: «Фёдор Владимирович, а что же моё?» Но он много спустя вернул мне его, ничего не сказав

и подчеркнув два-три знака препинания. Под сочинением стоял балл четыре с плюсом. Так ничего и не вышло из «настоящего».

15. Ещё одна несправедливость. У меня с Никольским совершенно одинаковые баллы. Но у него по закону божьему пять, а у меня ничего. И поэтому он всегда будет первым, а я вторым. Таким образом, к личному отношению историка из-за религии, из-за которой, по моему мнению, он вечно угощает меня четвёрками с минусом, потому что поставить три за мои ответы даже ему **стыдно**, присоединяется законный мотив всей системы. Не виноват же я, что меня не учат. Я бы и сам не прочь поучиться этому закону. Экая невидаль — выучить на память и ответить. А ведь больше ничего не надо. Это не геометрия или алгебра, где надо решать задачи. А Никольский их решает хуже моего.

16. Экзамены. Долгие (говорят, труднее выпускных), томительные экзамены. Мне приходится принуждать себя с чрезвычайным напряжением. Получаю пятёрку за пятёркой. Стараюсь, как могу, и принимаю все нужные меры; одна из самых действенных — возобновление брошенного обычая целовать иконы, подавать нищим, делать «добрые дела» и собирать амулеты. Но самый главный ресурс я оставил до экзамена по письменной алгебре. К нему я подготовился так: во-первых, была у меня «счастливая ручка», купленная как-то за 75 коп. Она была вся перевита разноцветным шёлком и вставка у неё была серебряная. Затем было куплено чистое «золотое перо». И главное — в самой серебряной вставке была вложена ватка от Иверской. Таким образом, я был гарантирован от случайностей.

В день экзамена я вышел рано. В руках у меня был свёрток хорошей толстой бумаги для черновой и белой задачи. Он был завернут в серую обёртку. Внутри была моя счастливая ручка. Всё предвещало удачу, и я шёл смело и уверенно. Но около церкви, наклоняясь к иконе, я заметил, что мой свёрток пуст. Ручки не было, Обёрточная бумага раскрылась и «счастье» пропало. Я это почувствовал совершенно реально. Поиски не привели ни к чему. И на экзамене, под зорким глазом Штучкина, с самого начала ставшего около меня и

повторявшего: «Ну, не решите только», — я запутался в сложном алгебраическом вычислении и «провалился».

На устном геометрическом экзамене я увидел нового учителя, который должен был вести занятия в пятом классе. Лицом он был похож на Сократа, и хотя, очевидно, под влиянием Штучкина он меня «гонял» по всей геометрии, тем не менее он мне понравился своим добродушием и тем, что сказал: «Вероятно, с ним какой-то родимчик приключился с алгеброй, а по геометрии он здоров. Молодец!» Хорошо ещё, что он сказал это в присутствии Штучкина. Я открылился и ещё больше стал надеяться, что там, вверху, в пятом классе, для меня наступит другая пора.

17. Один из последних экзаменов — география. Разгар весны. Я никак не могу себя принудить в три дня хоть раз прочесть ненавистного Баранова и Горелова с вихрастым Салакушкой. Он же нарочно, как нам показалось, приготовил для экзаменов слепые карты, с которыми мы мало имели дело. Мы заявили ему, что эдак все провалимся и что ему же будет хуже. Он упорствовал.

Но вдруг появился наш Миклухо-Маклай, весёлый, свежий, здоровый, ласковый. Как-то он сразу всех успокоил. Я решил, что «обойдётся». Меня вызвали. И только Салакушка собирался приняться за меня, как милый Михаил Сергеевич спрашивает: «Да у него сколько в году? Пять. Так чего его спрашивать: он и у меня всегда отличался...»

Навсегда останется у меня память от ласкового, доверчивого голоса моего любимца. Мне поставили пять и отпустили. На лице моем было написано такое восхищение, что все засмеялись. Улыбнулся даже каменный Николай Иванович, бывший ассистентом.

Четыре года службы усердной, не за страх, а за совесть — службы, вначале покорной, потом требовательной; в конце четвёртого её уже нельзя, пожалуй, назвать службой. Скорее **налогом** за право перейти в верхний этаж, в старшие классы, где учение и порядки идут, по слухам, совсем по-другому. Служба стала надоедать, и маленький человек пытается отойти от

привычного к ней отношения. Его имя стирается с золотой доски, но для него уже в этом нет трагедии, а только неприятность.

Личная жизнь, её интересы начинают пробиваться с большей силой. Он ищет опоры, сочувствия к своим робким пока попыткам проявлять себя, но их не находит. Вся та деятельность, которая ему нужна, затушёвана, протекает как бы подо льдом. И бывший покорный чиновник не прочь принять участие в его взламывании. В нём нарастают новые силы, в его существе подготавливается большой перелом, ему хочется сосредоточиться, он жаждет серьёзного слова, но окружён пустяками, вещами, ему непонятными и ни на какой из его вопросов жизни не отвечающими. Он становится угрюм, раздражителен. Он терпит неудачи и говорит про себя: «Всё равно, одно к одному». Подошло для него время ощущения — острого и нестерпимого — половой тайны. Вокруг неё бьётся его стыдливый ум и получает лишь налёки и полуответы.

Как это грозно, значительно, сложно и как пошла та обстановка, в которой ему приходится вращаться! Он ищет выхода и находит его в надеждах: там, в пятом классе, всё пойдёт по-другому, там можно начать учиться «настоящему».

Одно ценное качество он приобрёл безусловно: это — **у м е н и е** учиться в данных условиях. Он в этом отношении настолько приспособился и к содержанию учения, и к его однообразному методу, и к привычкам учителей, что накопленным опытом он вполне мог воспользоваться в дальнейшем, только не для того, чтобы основательно учиться, проходить курс, а чтобы не **у ч и т ь с я** и курс всё-таки проходить с наименьшей затратой сил. Учиться «по-настоящему» было только **м е ч т о й**.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В одном давно жданный пятый класс оправдал ожидания сразу. Около половины оказалось в нём новых товарищей всякого возраста, из разных гимназий и городов. Это внесло большое оживление в среду класса. Некоторые были и незаурядны по своим характерам, внешнему виду, знаниям. Приглядывались, рассказывали на темы «у нас и у вас», образовывали группы,

вырабатывали общий тон отношения к учению, к учителям, своеобразный, написанный кодекс гимназической жизни. Ходили развязно, в классе было шумно и весело, старались быть фамильярными с учителями. Установлению нового тона способствовало отсутствие в коридоре Николая Ивановича, и мы только бегали вниз смотреть «вифлеемское избиеение младенцев», которое, по нашей терминологии, устраивалось, как и прежде, в первом классе каменным инспектором, регулярно оставлявшим каждый день после уроков не менее десяти плачущих и жалких малышей. У нас по коридору ходил вместо важного Петра Великого — небольшой, добродушный, не всегда трезвый Митька-старьевщик. Его так прозвали за несколько гнусавый голос. С ним редко кто был не в ладу. Очень хорошие слухи ходили среди учеников о новом математике, похожем на Сократа, который подержал меня на экзамене. У него и в самом деле был хороший, простой тон. Говорили про Цветаева, что он любит литературу. На законе «оглашенные» сидели в классе и были, наконец, свидетелями преподавания этого своеобразного «предмета».

1. По отношению к учению класс разделялся на две части: «зубрил» и «развитых». Зубрилы — молчаливы, продолжают традиции предыдущих лет, их сравнительно немного. Развитые создают общественное мнение. У них не в моде учение принимать «всерьёз». Особенный шик — получить пятёрку, явно надув учителя, и не менее почётно небрежно получить тройку и в то же время говорить о высоких материях, о серьёзных книгах, щеголять знанием литературы, знать стихи, заниматься историей, философией (или говорить об этом), презирать наши учебники и получать каким-то путём сведения о домашней жизни учителей. Учиться хорошо начинает быть не в моде. «Висеть на золотой доске» как будто немного стыдно. В ходу выражение: «Я учусь не из-за баллов». Учиться можно, где хочешь, а класс молжет быть и ни при чём. Это всё новое. В классе есть новые товарищи, меня интересующие сильно. Особенно выдавался молодой человек с усами, большой, грязноватый, нечёсаный, бедно одетый, с большими близорукими глазами, страшно начитанный, по общему мнению, очень способный, не много таинственный и не простой.

Про него говорили, что он толстолиц, пишет стихи и не только по-русски, но и по-французски. Он был очень общителен, но казался «опасным».

2. На первой лавке, прямо против кафедры, сидит забавный Носков. Он живёт у директора, Рыжей Собаки, и про него рассказывали такой анекдот. Директор говорит в учительской: «Вхожу в комнату к Александру Александровичу (так звали Носкова), и, представьте себе, он сидит и занимается. Подхожу к нему, гляжу, чем же это вдруг он занялся? А он, вообразите, праздники из календаря выписывает».

Действительно, не только Александр Александрович, но, и все мы прекрасно знали все праздники и очень заботливо их выписывали в тетрадки.

3. Видно, прошедшие годы учения не прошли даром: мы замечательно приспособились, и наше приспособление носит даже отчасти научный характер, ибо построено на психологических основах. Долгое и внимательное наблюдение над учителями привело учеников к такому выводу: каждый учитель имеет свой метод спрашивать уроки и, мало того, свою систему сроков вызова. У них — свои периоды, когда вызывается вновь тот же самый ученик, свои закономерные уклонения, скачки, разное отношение к хорошим и плохим ученикам. То преимущественно спрашиваются плохие, то занимаются только с хорошими, а плохие изредка выступают перед кафедрой. Словом, мы устанавливаем эмпирический закон, что в способе спрашивания отражается психика того или другого представителя учебной темы.

Теория превращается в практические меры. Мы заводим свой собственный журнал учеников и по каждому предмету отмечаем нормы вызовов. У нас есть свой знатоки этого дела.

— Когда меня спросят по-латыни?

— В четверг...

— Стало быть, надо готовиться.

Или:

— Посмотри, как насчёт закона?

— Будет ловить эти два дня, придётся быть начеку...

И наши знатоки ошибались довольно редко.

4. Меня вызвал «грек» — бывший мой любимец в третьем классе. Он уже значительно окреп в выработке системы и уже не тот, что был раньше. Я отвечаю очень удачно.

— Вот видите, Шацкий, ведь вы можете готовить уроки как следует. Если так будет дальше, то на вас можно будет возлагать надежды. Отчего это бывает так, что иногда вы отвечаете небрежно как-то?

— Это оттого, — простодушно отвечаю я, — что я приготовился...

— Разве вы не всегда готовитесь?

— Конечно, не всегда. Уроков в общем много, поэтому и приходится особенно готовиться к тем случаям, когда спросят...

— Так вы знаете, когда вас спросят?

— Конечно, знаю приблизительно, тогда и готовлюсь специально.

— Это всё-таки слишком откровенное объяснение, — говорит «грек», хмурится, морщится и сухо отпускает меня на место. Пятёрки он, разумеется, не поставил. Я чувствую, что навеки потерял свою репутацию.

5. — Батюшка, а есть на свете черти?

— На что это вам?

— Да как же? Вот наука говорит, что их нет...

При слове «наука» батяка встрепенулся и говорит решительным тоном:

— Христианин не может отрицать злых духов. А что же такое злой дух, как не чёрт? Вот от него-то и идут все соблазны. Изучайте слово божие, молитесь — тогда и найдёте защиту от злого духа...

— Значит, батюшка, надо верить в чёрта?

— Что вы! Что вы! Так говорить нельзя: мы должны верить священику писанию, а не чёрту.

Батяка начинает подозревать наше коварство и хочет продолжать урок. Но это не входит в расчёты его лукавых противников.

— Как же священное писание? Нам вы же не советуете читать Библию...

— Как не советую? Библию вы все читаете в классе: для этого она и приносится на мои уроки.

— Нам бы хотелось почитать дома, а тут только кусочки...

— Знаю я, для чего вам Библия, для всяких пакостей... Садитесь, садитесь... Ну-ка, скажите лучше, что такое вера...

— Вера есть вещей обличение невидимых...

Урок продолжается. Ученики довольны: «всё-таки минут десять «урвали»».

6. Беспорядочно, скудно переводим с немецкого Шиллерова «Духовидца». «Немец» для верности записывает русские обороты. «Трое всадников поехали верхом», — переводит ученик.

— Отто Фёдорович, лучше оказать верхами...

— А-а, понимаю, когда один — то верхом, когда много, — верхами?

— Да, да, так говорят по-русски...

Через несколько дней встречается фраза: «Группа путешественников отправилась пешком». «Немец» останавливает переводчика и торжественно говорит:

— Неверно...

— Как же неверно? Zu Fuss — это значит пешком.

— А всё-таки неверно. — «Немец» принимает самодовольно-загадочный вид... — Кто знает? — Он оглядывает класс. — Никто? Никто? Он вытаскивает книжку и читает:

— Если один — то пешком, а если много — пешками...

Всеобщий радостный хохот.

«Немец» весь в пятнах, недоумеваает. Ему объясняют, что по-русски «верхами» говорят, а «пешками» не говорят. «Немец» недоверчиво что-то записывает в книжку, говорит про себя, но так, чтобы все слышали: «Этот русский язык очень глупый язык...» Становится сдержан и строг. Мирные отношения наладились не скоро.

7. Ещё одно усовершенствование в наших методах приспособления. Мы устроили систематическое отсутствие на уроках тех учеников, которые боятся вызова. Это мы делали таким образом.

Дежурный, диктующий учителю список отсутствующих, писал имена их в журнале карандашом. На следующий урок стирал одни и вписывал новые. Таким образом, почти всем желающим гарантировалась полная безопасность. Отсутствующие прятались под задние лавки, лежали головами на ранцах, читали, играли в шашки,

готовились к следующему урокам. Это изобретение было довольно рискованно, но тем более оно доставляло ощущение остроты, опасной игры. Оно, кстати, так и осталось скрытым от глаз начальства и, к нашему удовольствию, продолжалось целый год.

К дежурному подходит его товарищ.

— Запиши меня на латинский...

— Да ты вчера сидел...

— Ну так что же? Кандидатов у тебя мало? Записывай!

Кандидаты менялись каждый урок, их имена стирались резинкой, записывались новые. Отсутствовавший на одном уроке присутствовал на другом. Были трудные моменты, которые проходили благополучно в силу чрезвычайно развившейся находчивости изобретателей.

— Орлов Владимир, отвечайте ваш урок, — заявляет на ходу рыхлый Цветаев-Крылов.

Орлов встаёт, для него вызов несколько неожидан. Пока Цветаев мешковато усаживается и начинает записывать в журнал, он успевает взять историю русской литературы, пробежать глазами начало урока и почти готов начать ответ, но вдруг раздумал: его тело сокращается, он уходит головой под лавку, и когда Цветаев поднимает голову, Орлова уже нет и его имя наскоро записано в журнале дежурного карандашом.

— Где же Орлов?

— Его нет, он отсутствует: видите, у меня записано...

— Странно, как же мне это показалось, что он здесь?

— Он отсутствует, — смело повторяет дежурный.

— У него медвежья болезнь, — объясняют в классе. Цветаев немного колеблется и вызывает следующего.

8. Латинский учитель («Вот-то-вот» — его постоянная поговорка), очень серьёзный, в синих очках, не признающий никаких вольностей, должен принести тетрадки е «экстемпоралиями». У нас расчёт: если принесёт, то будет разбирать ошибки и спрашивать не станет — следовательно, отсутствовать не надо. Если не принесёт, то под лавками спасаться необходимо. Поэтому дежурный вышел в коридор и внимательно наблюдает.

— Без тетрадок! — шёпотом передаёт он в класс.

Кандидаты лезут под лавки. «Вот-то-вот» входит, раскрывает журнал, и пачка тетрадей оказывается на виду.

Я — дежурный. Что делать? Тетради обыкновенно раздаёт он сам, ходит между лавками, разговаривает. Сзади слышится шум: два последних ряда парт тесно сдвигаются в проходах. «Вот-то-вот» начинает раздавать тетрадки.

— Что же это у вас с лавками?

— У нас сильно дует из окон, приходится отодвигать подальше.

— Так надо сказать, чтобы подоконники закрыли войлоком, а то так неудобно, — говорит скучный латинист и начинает скучный разбор ошибок.

Маленькая битва выиграна. Происшествие становится легендарным и выдвигает ряд новых изобретений и проектов. Надо, во-первых, просить действительно закрыть войлоком довольно глубокие ниши под окнами; там можно спрятать целых четыре человека. Затем подняли кафедру и стали примерять, нельзя ли спрятать кого-нибудь под неё? Какое острое наслаждение видеть учителя на кафедре, а ученика под ней! Проекты не были выполнены: единственно согласившийся полезть под кафедру оказался слишком толстым. Других любителей не нашлось. Ниши были закрыты, но в них слишком было неудобно сидеть скорчившись, и целый урок пробывать там оказалось невозможным.

9. — Дмитрий Дмитриевич, я мятных принёс...

— Ну, что ж, давай; это полезно против «винного духа». Надзиратель благосклонно берёт из круглой коробочки несколько штук карамели и отправляет в рот.

Вокруг него, так же как и внизу, постоянная кучка, но не подбострастных, а фамильярных приятелей и любимцев.

10. Наш математик Сократ выдумал новую манеру: перед началом основного урока он быстро перебирает весь класс, задавая короткие вопросы. Кто ответит — «пять», — не ответит — «кол». Это создаёт некоторый род спорта, но очень утомляет. Мы покряхтываем, но возбуждены, и отчасти эта манера нравится, тем более, что причудает нас не придавать особое значение «колам». Двойка — несколько хуже. Двойка — это оценка способности или глупости. А на этот счёт мы особенно самолюбивы. Кол же — случай, который можно поправить

таким же случаем. Сократ же не был формален: из целой массы колов, двоек и троек он не стеснялся выводить пять, если ему доказывали, что случай — случай, а понимание — понимание. За расшатывание балльной системы он был особенно ценним.

11. Меня вызывает в коридор Николай Иванович и предлагает урок — репетиторство в первом классе. Я польщён, принимаю деловой вид и спрашиваю:

— А он (мой будущий ученик) не очень ленив?

Я горд тем, что могу говорить с инструктором о таких общих вещах. Мне нравится, что со мною говорят серьёзно. Уроком я занялся горячо и делал большие попытки не ограничиваться приготовлением уроков, а и «развитьем». Получал я десять рублей в месяц и таким образом мог вносить свою долю в семью, которая сильно к тому времени обеднела.

12. На рождество, масленицу, пасху мы гурьбой делаем визиты. Вычищенные, выглаженные, мы ходим по знакомым домам, везде едим ветчину, блины, икру, селёдки, сыр, пьём кофе, чай, шоколад, пиво, вино, обжираемся до невозможности и пьянеем. Создаются специальные праздничные разговоры, шутки, передаются слухи, сплетни. С каждым праздником у меня расширяется круг знакомств и житейского опыта.

13. Затеваюсь у нас тайное дело: мы хотим небольшим кружком изобранных издавать журнал. Для стовора мы собираемся в квартире моего прежнего друга, с которым я опять сошёлся, и варим массу для гектографа. Предприятие наше очень опасно: за это могут выгнать из гимназии. Поэтому никто из посторонних, особенно родители, в тайну не посвящаются. Журналу придумываем название: или «Заря», или «Рассвет». Он должен содействовать умственному развитию наших товарищей, ничем серьёзным, кроме учения и пошлостей, по нашему мнению, не интересующихся. В его программу входят беллетристика, стихотворения, научные статьи и хроника гимназической жизни с её критикой. Отпечатывать мы будем несколько экземпляров и под строгим секретом раздавать в классе. Мы сидели вокруг стола, горячо обсуждали все эти вопросы. Окна были занавешены тёмной занавеской. Дверь заперта на ключ.

Гектографическая масса была готова. С большими предосторожностями отворили форточку и выставили жидкую массу охлаждаться. Тем временем переписывался красными чернилами первый номер. Было далеко за двенадцать. Мы говорили шёпотом и ждали времени, когда можно будет приступить к печатанию. В душе хорошо, светло, все настроены на особый лад, полны неясными надеждами. Мы проникнуты чувством взаимного признания ума и талантов. Я написал начало повести в гоголевском духе, которая с общего решения получила название «Под микроскопом». Хотели даже прибавить — «Жизнь под микроскопом», но решили, что это будет вводить читателей в заблуждение. Мой друг представил зоологический очерк — «Жизнь под ряской и тиной». Была вводная статья Орлова, указывавшая на недостаточность гимназического учения и необходимость самоуправления; было начало мрачного романа под названием «Монах», который начинался с картины леса, освещённого лучами заходящего солнца, красным светом осветившего фигуру монаха, вышедшего из-за тёмных стволов деревьев. Были иллюстрации и карикатуры, о которых много спорили, ибо они могут придать журналу легкомысленный тон.

Мы повторили в тысячный раз то, что всегда делала молодёжь в раннюю эпоху своего роста. Журнала вышло 2 — 3 номера. О нём узнали, стали следить, и мы его прекратили.

Но много можно было бы дать за те глубокие переживания, мысли, надежды, которые были связаны с его возникновением.

14. Историк рассказывает о великом переселении народов. Он воодушевлён. В его изображении латинская империя — огромная крепость, и вот рушатся стены, и сквозь проломы вливаются полчища дикарей, уничтожающих культуру. Это мне нравится, и с обычной быстротой я схватываю памятью его рассказ. На следующий раз он вызывает меня и предлагает рассказать про великое переселение народов. Я довольно точно передаю его же картину.

— Ну, — говорит он, — что это за попугайство? Вы бы сами что прочли, поинтересовались бы, а то только говорите со слов.

Обычная четвёрка с минусом стоит уже на своём месте. Я запоминаю его совет и начинаю заниматься крестовыми походами. В библиотеке взял громадные тома какой-то истории, читал запоем, делал выписки и, когда

пошло время по Иловайскому (среднему) отвечать про эти походы, я выступил с разъяснениями одного вопроса, предложенного классу, с большой долей самоуверенности. Среди товарищей я уже пользовался авторитетом по крестовым походам. Историк вызвал меня, выслушал мои обширные разъяснения, но остался недоволен: «Вы бы лучше, чем книжки посторонние читать, лучше слушали бы преподавателя...» — и... опять четыре с минусом. Мы стали определённо врагами.

15. Мы с другом в его комнате. Он запирает на ключ дверь, садится на стол и полусмущённым, полубеждённым тоном сообщает мне:

— Ты знаешь, я наверное узнал, что бога нет...

Я не сразу понимаю и хочу найти выход:

— То есть он не то, что пол говорит, а разумный человек.

Я не кончил. Мой друг уже возражает решительно:

— Всякий учёный и разумный человек знает, что никакого бога нет: совсем нет и не было. А то, что нам говорят, — это только сказки.

Я отстаиваю свою точку зрения.

— Все философы (о которых я лишь слышал) признают бога, но его надо понимать совсем по-другому и не в виде старца, а совсем по-другому.

Мой друг твердил своё:

— Мне сказали наверное, что это чепуха и так теперь никто из настоящих людей не думает.

Я перестал спорить, ибо чувствовал себя неловко: можно прослыть наивным, а это хуже всего. Вдруг скажут: «Шацкий верит в бога», когда признано, что ничего такого нет.

Всё-таки для меня это был удар, хотя вся моя религиозность носила чисто прикладной характер.

И дома один, ночью, я ясно представлял себе весь ужас своего положения: я до того жил и держался на чём-то — и вот вокруг меня пуста, провал, дыра. Мне не на что опираться. Как же без бога? Дело не в названии, да и почему именно бог, а не другое какое имя? Как без того,

кто всё связывает? Всё-таки раньше как-то внутри я не чувствовал себя одиноким; был кто-то ещё другой, важный и всё понимающий так, как никто не может понять; с ним можно было как-то говорить. Теперь же я один и говорить так, чтобы всё было понятно, хотя даже без слов, — не с кем. Я один, один зачем-то брошен, возник... ничего не могу понять.

Я не спал, ворочался на постели, видел кругом темноту, и она продолжалась бесконечно во все стороны. Тут представился мне опять один постоянный бред, который всегда бывал у меня во все болезни.

Я — маленький-маленький. И наваливается, катится, катится и неизбежно приближается огромный шар, который вот-вот меня раздавит. Самое яркое и острое было это ощущение разницы бесконечно маленького и бесконечно большого. Так вот, представилось мне теперь, что даже и этой глыбы, которая катится, — нет, а я уже внутри её, вижу потерянный, оставленный всем и всеми. Я рыдал без удержу. Наутро, к моему удивлению, ничего не осталось, и я как будто согласился, что бога нет, что мне всё равно. Это опять «своё», но грозное, тяжко переносимое.

16. Я плотаю книги. Мой любимый автор — Виктор Гюго. И я задумал купить все его сочинения. Иду в город за покупкой, встречаю одноклассника.

— Ты куда?

— В книжный магазин на Никольскую.

— Зачем?

— Хочу купить Гюго.

— А это что за Гюга за такая?

Ну что с ним разговаривать? Каким далёким он мне показался.

— Гюго,— говорю я,— это самый знаменитый французский писатель...

— А тебе на что?

— Читать, конечно.

— Хочешь очень умным быть?

— Ну, ладно, прощай.

17. Всё больше и больше схожусь с отцом моего друга. Однажды вечером он разговаривал со мной о литературе, о том, как и что он читал в молодости,

цитировал на память Некрасова, Щедрина и Гаршина. Слушал, как зачарованный. Передо мною развёртывалась картина жизни огромных людей, необыкновенно умных, талантливых, при одном взгляде на которых стореть можно от счастья.

Было поздно. Из тёплой, освещённой красивой висячей лампой комнаты, где мы разговаривали вдвоём, я перешёл мысленно в свой угол за перегородкой. От тепла, пахнувшего на меня во время нашей беседы, я перенёсся в тот холод, безразличие, которыми так насыщена обыкновенная жизнь и учение. Мой старый друг встал меня провожать. У выходной двери я вдруг загорелся и сказал, взявши крепко его за руку:

— Благодарю вас...

Он, видимо, почувствовал, что со мной происходит, но я уже захлопнул дверь и убежал.

— Нет, нет, я не один и не совсем кругом меня чёрная бесконечная пустота. Вот так надо жить, как сейчас. Это — «настоящее». Этим кончился мой кризис.

18. Опять экзамен и опять математика. Я уже сделал всё, что требовалось, и свёрнутая трубочка бумаги с решёнными задачами у меня в руке. Выразительные жесты кое-кого из товарищей обращены на меня. Я беру промокашку, проделываю в ней маленькую дырочку и, тихонько передвигая пустой листок, осторожно записываю решение задач. Сократ заметил мои эволюции.

— Вы решили?

— Да, — только вот поправить немного.

— Покажите.

Мне неудобно показать, ибо в кулаке зажата роковая записка.

— Что же вы? Покажите.

Я сую руку под стол и бросаю комочек с запиской в парту.

— Вы всё сделали, как следует, теперь уходите.

Я ухожу, но с досады громко хлопаю дверью. Сократ полез в мою парту и уже развернул записку. Вне себя, бежит он за мной и кричит:

— Идите в шестой класс и там ждите меня!

Я повинуюсь, негодую на неожиданные для меня действия математика. Через несколько минут ко мне присоединяются ещё двое, — как раз следом за мной идущие

по «успехам», — третий и четвертый ученики. Мы ждали полчаса. Входит математик, уже изменивший весь свой добродушный вид.

«По распоряжению г. директора, всем вам за попытку обмануть преподавателя сбавляется годичный балл по поведению, и, как таковые, вы лишаетесь следующих вам наград».

Значит, и он такой же, как и все. И он не может понять, что помощь — преступление. Теперь уже никого из учителей не осталось, на кого можно возлагать надежды.

*

Вот он — новый этап жизни маленького человека. Он из душевного «низа» перешёл на чистый заманчивый «верх». Здесь он будет учиться «настоящему».

Действительность скоро показала ему, что он должен быть очень благодарен четырём прежним годам, от обстановки которых ему хотелось избавиться: он приобрёл капитал и теперь может жить на проценты; процентов хватит с излишним на все четыре года новой эпохи. Капитал этот — умение учиться, значительно облегчающий возможность приспособиться ко всем случайностям и обычаям. Я приобретаю в новых условиях ловкость, изворотливость, умение пользоваться обстоятельствами: всё это нужно для того, чтобы, возможно меньше тратя сил на учение, остальные силы тратить на свою жизнь, на «развитие», по гимназической терминологии. Материалы для упражнения всё те же: жалкий Иловайский, лицемерный закон божий — бич и проклятие наше, безжизненный Незеленов, латинский и греческий синтаксис и экстенпорале, и только математика дышала чем-то свежим. Явления борьбы продолжаются и приобретают большую напряжённость: она уже нравится, как спорт, сопряжённый с риском. Мы из гимназии устраивали не совсем безопасную игру, но это и было привлечение отрицательных реакции на учение преобладают.

А тут же, в том же маленьком человеке, идёт сложная жизнь, развёртываются способности, желание быть активным, вносить свою долю в общую товарищескую среду, возникают острые вопросы, развёртываются драмы, провалы, надежды сменяются разочарованием. Всё это пока ещё свежо, нет усталости, пренебрежения к важным сторонам жизни, и разочарование не длится долго.

Жадно ищется настоящий человек — кто бы он ни был: интересный товарищ, учитель или взрослый знакомый. И есть огромная готовность поверить «настоящему» человеку.

И вот на пути этой бьющейся жизни, едва засветившей свой собственный огонёк, стала глыба, плотина, мимо которой жизнь должна течь, сквозь которую она должна просачиваться и иногда прорываться. Да и можно ли назвать учение наше такой плотинной? Не лучше ли определить его словами «пошлость», в которой мы все должны были по непреложному какому-то закону купаться? Она обволакивала подростков в коридорах мятными лепёшками, гнусной фамильярностью, в классе чертями, великими переселениями народов, пешком — пешками, катехизисом. Скопляющая энергия находит выход под лавками, кафедрами, в подоконных нишах — лишь бы спрятаться, не быть участником скучного дела.

Со смыслом учения кончено. Мы учимся не из-за баллов, уже первые ученики начинают конфузиться за свои первые разряды и нелепые золотые доски. Скопляющаяся энергия борется уже не против личностей, как раньше, а против всей системы. «Своего» оказывается много. Начинаются неумелые, сильно заторможенные попытки помочь не только себе, но и другим. Молодёжь мечется, но то, что ей предлагается, что налажено, то не нужно. То же, чего хочется, — смутно, нестройно, бесформенно. Отсюда ряд бросаний из стороны в сторону, ряд начал без конца.

Вот то, что дала обетованная земля маленькому чиновнику в самом начале новой эпохи. Чиновник снял мундир и надевает его лишь для виду. «Государственная» система потерпела крах внутри, она лишилась всякого авторитета. Повторяем — это была русская система. Новая манера жить намечена.

Внешне приспособляться, внутренне жить по-своему

— такова эта манера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В шестом классе к нам прибавилось много второгодников, поступило несколько новых, и в общем класс составил из половины коренных учеников нашей гимназии и половины московских и провинциальных

пришельцев, потерпевших в своём учении те или другие катастрофы. Многие достигли изумительного умения проходить курс и не учиться. Из тридцати пяти — тридцати шести подростков и юношей (некоторых с усами и бородами) образовалась настоящая вольница, с которой учителя справлялись с большим трудом. Шестой класс давал какие-то «права». В силу этого для некоторых он являлся концом учения, последним годом, последним классом. Слава о нас худая. Почти все учителя говорили, что такого плохого класса никто из них не запомнит, и в заключение произвели «чистку», или «избиение младенцев»: половина только была переведена в класс седьмой.

Явления борьбы обостряются, способы учиться стали невероятно изощрёнными. Мой молодой родственник по примеру прошлого года опять побывал в деревне на Днепре и пережил несколько памятных моментов. «Своя» жизнь пышно расцветает.

1. На лето наш знакомец уезжает в Белоруссию на Днепр, в имение, которым управляет «дядюшка» — талантливый самоучка и очень интересный человек. К несчастью, он страдал запоем, жил двойной жизнью — тонкого, разностороннего сельского хозяина, создававшего из запущенного огромного имения культурную ценность, человека с большой инициативой и размахом, серьёзного, делового, знающего себе цену, и — жалкого, полубезумного маньяка, чрезвычайно подвижного, циничного, страшного ещё тем, что он редко терял сознание. Он был ядовит, язвитель и называл все вещи своими именами. В нём кипела желчь, и никому он не давал пощады. В его сарказмах было много правды, и его боялись. На четырнадцатилетнего подростка он имел огромное, ни с чем не сравнимое влияние.

2. В деревне. У меня в комнате стоит фортепьяно, взятое напрокат в Могилёве. Со мною ноты — Моцарт, Бетховен и Шопен. Я с величайшим трудом разбираю с листа; учу увертюру к Дон Жуану, Лунную сонату и ноктюрны. У меня составилось убеждение, что у великих музыкантов всё красиво, каждый аккорд, каждый звук. И меня очень огорчали всякие непонятные созвучия и диссонансы. Я был в полной мере самоучка; ни одного музыканта близко не видел и ни с кем не разговаривал

о музыке. Я был самой свежей, самой нетронутой наивностью. Кроме трудного ознакомления с музыкальными сочинениями, я много тратил времени на фантазирование и сочинение своей музыки. Она заключалась в маленьких, простеньких пьесах минорного склада в мендельсоновском духе. Но они мне казались дороги и значительны. Их я мечтал записать.

Своеобразно занимался музыкой и мой дядюшка. Полосы запоя у него сопровождались полосами музыкальных импровизаций. Он приходил в мою комнату ночью, пристально смотрел на меня (я притворялся спящим) и садился за фортепьяно. У него была и своя теория. Он не признавал никаких форм. Всё время иллюстрируя свою стихийную игру объяснениями, как надо играть и что хочет он изобразить в каждый данный момент, ударяя всей рукой, пальцами, кулаками, раскачиваясь из стороны в сторону, он играл страстно, перекидываясь руками из одной части клавиатуры в другую, втягивал голову в плечи, плакал, упрекал, негодовал и смеялся. Иногда его музыка и гневная речь достигали такого напряжения, что я испытывал самый отчаянный ужас.

Это продолжалось часа два-три. Обессиленный, разбитый, говоря с самим собой, он уходил спать и успокаивался. Но я не только испытывал страх. Я ощущал какой-то подъём, восторг, смешанный со слезами. Мне было и жалко дядюшку, как больного, несчастного, но я чувствовал в нём непонятную мне силу. И я сравнивал себя и не находил в себе никаких способностей. Я был себе жалок и ничтожен.

3. Уже месяц, как мой любимый дядюшка совсем здоров, весел, привлекателен. В усадьбе оживление. Работа по хозяйству кипит. Но я замечаю в нём моменты остановки, задумчивости. Я боюсь, как бы опять не «началось» всё снова.

Однажды вечером я снова увидел его искажённое, дерзкое, вызывающее лицо. Я не мог выдержать и ушёл спать. Но не спал, а думал. И мне пришлось в голову спасти его. А для этого нужна великая жертва с моей стороны, такая большая, чтобы она потрясла дядюшку с ног до головы.

Я решился бежать из дому. Уйти далеко за Днепр,

в то море кустов, которые густо разрослись на пойме противоположного берега. С собою ничего не надо брать. Я исчезну, буду жить в кустах, голый, грязный, как последняя собака. Пусть меня ищут. Пусть дядюшка, если он любит меня, поймёт, что нельзя выносить этой жизни с ним — жить и видеть, как он погибает. Он всё бросит, кинется искать, подымет всех на ноги и когда найдёт меня умирающим с голоду (я ярко рисую себе эту картину), то в душе его случится великое потрясение и он выплечется от своего отвратительного порока.

Так мечтал я, идя за семь вёрст к городу, красиво расположенному на высоком берегу Днепра.

Было прелестное утро. В воздухе, как натянутая струна, дрожали птичьих голоса и стрекот, и шуршанье, и шелест. Отойдя версты три, я уселся под деревом и ещё раз представил себе картину того, что произойдёт. Я был уверен в победе и, как на крыльях, летел к городу, где был мост через реку и на ту сторону. Часа через полтора я был в Могилёве. Было часов восемь, и на улицах встречалось много народу. Я чувствовал некоторое удовольствие от мысли, что мимо меня ходят люди и не подозревают, какой я хочу совершить героический поступок. В одном доме послышались из открытого окна звуки фортепьяно. Мне представилось вдруг, что так было бы просто — войти и попросить поиграть «в последний раз».

Но ведь это — смерть. Я умру. Меня не будет. И что же для меня, если дядюшка выздоровеет, а я не увижу и не услышу? А вдруг он с горя запьёт навеки? Мне стало жалко себя, и со слезами, медленно, нехотя, ощущая стыд перед собой и перед тем, что могут узнать, что я хотел сделать, возвращаясь домой. Дома была тревога. Дядюшка догадался и пылливо встретил меня. Я отвернулся и услышал, как он тихо пробормотал: «Почём знать, чего не знаешь?»

Запой продолжался; я же испытывал досаду, что нет у меня силы воли на то, что надо было сделать.

Через год он умер от разрыва сердца.

4. Я случайно нашёл в библиотеке старого дома историю философии Льюиса. Вот это настоящая книга для меня! И я решил изучить её так, как никогда не изучал ни одной книги. В ней — все философы, их жизнь,

их главные мысли. После неё я, наконец, стану умным, а то моя глупость становится уже очень досадной.

К сожалению, я не мог одолеть её целиком. Меня смущал язык, определения, специальные слова. В особенности я помню фразу из введения: «Противоположность, в сущности говоря, не между понятием индуктивный и дедуктивный, а между дедуктивный и опытный». В ней я чувствовал нечто существенно важное, но понять не мог, а просить не у кого, да и стыдно, поэтому я хотел разобрататься сам, призывал на помощь мои латинские познания. Но ни «наведение», ни «выведение» ничего не разрешили, и я с горькими слезами должен был признаться в своём невежестве.

А ведь все понимают? Что же я не могу понять?

И в дальнейшем я мог одолеть только биографии философов, самое же изложение философии было мне не по силам. Книгу я увёз с собой в Москву.

5. У меня в комнате висит старая французская гравюра — Дон Жуан и Гайде. Она заставлял меня часами стоять перед ней.

Юная пара, стройный, молодой Жуан, схватившийся за шпагу, его подруга, с ужасом и любопытством выглядывающая из-за плеча, пышная обстановка и главное — мрачный турок с ятаганом и пистолетами за поясом, рукой откинувший тяжёлую занавесь и с грозным и спокойным лицом раздумывающий над тем, что видит, — очень много говорили мне. Редкая картина после производила такое впечатление!

6. Гимназия. Мой товарищ Некрасов стал вдруг хорошо отвечать по «закону». Батяка ставит ему всё же четвёрки. Некрасов протестует:

— Что же, батюшка, я стараюсь...

— Вижу, что стараетесь и продолжайте, это очень хорошо. Вот по-смотрию и поставлю пять.

И Некрасов «старается». Он истово крестится, вызывается читать молитвы, знает все тексты наизубок. Батяка ставит, наконец, пятёрку. Подходит четверть.

— Некрасов, — читает батяка, — четыре.

— Как же, батюшка? У меня четыре с плюсом и пять...

— Но пять-то с минусом... Вы вот поучитесь ещё, тогда я поставлю...

— Да я и так стараюсь...

— Вот то-то и есть. С чего это вы вдруг вздумали стараться? То ничего, ничего, а то вот и пожалуйте...

— Мне, батюшка, нравится закон божий...

— А раньше что же: не нравился?..

— Раньше я не понимал, а теперь понял...

— Ну хорошо, — решил батяка, — теперь выведу четыре, а после, если будете так учиться, то пять.

Ещё одна четверть. Некрасов «старается» и получает пятёрки. В четвёрти батяка опять выводит четыре. Тот бурно протестует.

— Ну вот, вы хороший мальчик, а что-то говорит мне, с вами надо осторожней. — Он натянуто смеётся и колеблется.

— Я всё знаю, спросите...

— Знаю, что знаете. А вот ответьте мне: в Чудовом монастыре бывали?

— Бывал.

— А какие мощи лежат в палате направо от входа?

Некрасов оторопел. Он не знает.

— Ну, и не просите. Получайте четыре и будет с вас. Надо не только уроки учить, а и «дух» иметь настоящий, нравственный.

7. Перед уроком истории двое релетируют предполагаемый ответ.

Один — бедно одетый и нечёрсанный «Башмадер», другой — хорошо одетый, с глубоко сидящими глазами еврей, по слухам перешедший в католичество и поэтому имеющий кличку Жид-католик, на что не обижается.

«Башмадер» сидит у задней стены в проходе с мелом в руках.

— Смерть Карла Великого...

Тот быстро пишет мелом на ранце.

— Не видно, пиши ясней.

— Так, ты только ранец ставь прямой.

перестал работать в деревне, продукты и вздорозжали. Раньше можно было на сто рублей весь год с семьёй прожить, а теперь и в месяц не управиться. Ну, садитесь. — И олять вечная четвёрка с минусом.

11. У нас новый предмет — физика. Её мы проходим у Сократа по пре-мированному учебнику, чем гордимся отчасти. Я заинтересован и начинаю ломать голову над *регретшум mobile*. Вычерчиваю прибор, дома возжусь с двумя банками из-под килек, стеклянными трубками, сургучом и водой. Прибор не действует, и я приписываю неудачу плохой технике. В классе я собираю товарищей и объясняю им свой чертёж. Никто не возражает, моё изобретение признано... Входит Сократ. Ему кричат:

— Шацкий изобрёл *регретшум mobile*.

— Изобрёл? Ну, что же... пусть идёт к доске.

Я иду к доске, делаю чертёж, объясняю, и в голове у меня складывается ощущение ошибки. Я не очень твёрд. Наступает молчание. Сократ смотрит на меня, на доску и ставит в журнале «кол». Я в душе считаю его справедливым, хотя не раскаиваюсь.

12. Утром прихожу в класс, вижу, кто-то торопливо списывает у соседа латинский перевод.

— Разве задано?

— Конечно. Сегодня будет отбирать тетрадки.

Я присаживаюсь рядом и списываю перевод в свою очередь. Таким образом получается один источник и две копии, хотя надо сказать, что тот, кто сделал перевод, был плохим учеником, а я же один из первых. «Вот-то-вот» приходит и собирает тетрадки. Через несколько дней возвращает тетрадки обратно, но предупреждает, что некоторые ученики найдут в своих переводах очень низкий балл, который им поставлен за обман преподавателя. У меня в тетради стоит три с плюсом, а у моих товарищей, у обоих, по единице. Оба возмущены и заявляют, что они не списывали у Шацкого.

— Не знаю, — говорит «Вот-то-вот», — чем же объяснить поразительное совпадение в ошибках?

Тогда встаю я и самым серьёзным образом заявляю, что оба пострадавших у меня списать не могли и что я им своей тетради не давал. Формально я был

8. Обычные вопросы историка:
— Назовите Гогенштауфенов через одного.
— Перечислите всех императоров на букву О.
— Сколько было миров между Францией и Англией до Людовика XI?

9. Сократ возобновляет свою систему быстрых вопросов. Я получаю подряд 19 «колов». Он встречает меня на улице:

— Что-то скверненько у вас. Как бы я вам двоечки не вывел.

— Не выведете.

— Смотрите.

К концу четверти он перестает меня спрашивать. Я волнуюсь. Двойка не входит в мои расчёты. Начинаю напоминать, усиленно делаю задачи, черчу, жду. Он, видимо, хочет захватить врасплох. Как-то случайно, перед концом урока, когда мы начинаем складывать книжки, он вызывает меня. Происходит форменный поединок, в результате которого у меня четыре в четверти.

— Попотели? — добродушно роняет Сократ, ставя балл.

10. От спрошенного урока осталась одна страничка — «следствия открытия Америки». Их пять. Я твёрдо знаю их, но беда в том, что отвечать приходится мало, одну страничку. Я кончил.

— Это всё? — спрашивает историк, покачиваясь на стуле и играя небрежно бременом.

Я понимаю, что стул и бремено — это нарочно, чтобы меня «оскорбить», и отвечаю коротко.

— Всё.

— Больше следствий никаких нет?

— В учебнике больше нет.

— А вы бы сами придумали какое-нибудь...

— А как же это можно придумать?

— То-то и есть, что голова у вас, как решето. Вызубрить — ваше дело, а подумать — мы не можем. Вот, например, теперь провизия дорога? Разве это не следствие?

Я выражаю сомнение.

— Не догадываетесь? А дело просто: из Америки пошло много сырья, в Европе завелись фабрики, народ

прав; не я им, а они мне давали свои тетради, и я лишь наскоро успел поправить в них то, что бросилось в глаза, но на самом деле... но ведь «война», а на войне все средства допустимы.

«Вот-то-вот» принуждён был согласиться, а мы торжествуем. На душе всё-таки маленький осадок.

13. В гимназии волнение. Внезапно приехал помощник попечителя округа. Кругленький, маленький старичок со звездой — Садоков. У нас «большая» перемена — целых двадцать минут. Старичок, как-то ускользнувший от нашего начальства, очутился в классе. Мы окружили его. Невсколькими тихонькими вопросами об учителях, об уроках он заставляет разоткровенничаться. Мы тащим ему наш подпольный журнал, рисунки, стихи, рассказываем о наших талантах и оглушаем скромного на вид старичка. Мы спешим, ибо в дверях видим тревожную фигуру директора, не решающегося войти.

— Василий Иванович! — зовёт Садоков. Директор делает быстрый скачок на своих согнутых ногах.

— Чего изволите, ваше превосходительство?

— Какой у вас интересный класс: они меня поразили своими талантами, — снисходительно шамкает наш старичок. — Вы довольны им?

— Превосходный класс, ваше превосходительство, превосходный.

— Ну, я очень рад. До свидания, молодые люди!

Мы кричим: «До свидания, приходите к нам опять!» — в пику Ваське, который имеет весьма испуганный вид.

14. Всё больше и больше заводится у нас общение между собой. Целый ряд товарищей занимается специально каким-нибудь своим делом. Мой друг завёл у себя микроскоп, у другого — играют в шахматы, у третьего — литературные вечера, у четвёртого — лейденские самодельные банки, элементы, модели электромотора. Есть фотографы, любители ставить спектакли.

Там-то, во всех этих местах возникают беседы, сообщаются друг другу новые знания, рекомендуются книги. Там организуются кружки и царит иногда серьёзный тон. Это общение всё больше переносит центр тяжести наших интересов из класса в более важные для нас области. Там устанавливается дух критики и, наконец, полного

отрицания нашей системы учения. Там мы люди, там мы значительно, умнее кажемся друг другу. Здесь же из нас выдавливаются лишь сплошная глупость. И это нам ясно.

15. В первый раз с группой любителей оперы я на «Фаусте». Я в первый раз прислушиваюсь к оркестру, к массе получивших вдруг для меня какую-то значительность звуков. Они идут волнами, подымаясь, захватывая и опускаясь. Я не так, как раньше, слушаю оперу: тогда мне музыка мешала следовать за актёрами. Теперь я не замечаю актёров, что они поют и как двигаются. Я слышу общее нарастание и ослабление звуков и быстро и медленно смену — и наслаждаюсь изумительно. Лучше всего писать оперы, вот такую музыку, которая растёт, ширится и затихает. Теперь я занят одной этой мыслью. Из всех моих товарищей — я один без специальности. Я как-то занят собой, и многие другие товарищи, столь слабые и потерянные в классе, даже гораздо развитее меня. Я тайне решаюсь всех удивить и...

16. Мечтаю быть музыкантом.

В маленькой холодной квартирке, мезонине старого замоскворецкого домика, у окна, выходящего на крышу, стоит наше старенькое фортепьяно. Я пользуюсь всеми моментами, когда никого дома нет. Работаю над сонатой Бетховена ор. 27. Мне хочется добиться тихого, едва уловимого рокота триолей аккомпанемента первой части. И вот в этот таинственный рокот должна войти мелодия и висеть над общим фоном. Именно висеть, вроде как в воздухе, довольно высоко, и плыть. Так же тихо рокочет нечто в душе и так же плывёт надо мною мысль, и я сливаюсь со всей музыкой и весь нахожусь под её очарованием. Я не слышал дребезжащих звуков фортепьяно, но остро ощущал все неровности моей игры. Пальцы мои не очень мне повиновались.

Откуда-то я достал книжку — гимнастику пальцев Джаксона и серьёзно проделывал ряд упражнений. Почему-то мне в голову не приходило найти себе учителя-музыканта. Что-то слишком интимное было связано с моим представлением о музыке, и, быть может, в глубине была уверенность в своём большом таланте, который надо вызывать, и он как-то сам обнаружится, и тогда и

пальцы, и техника, и умение выразить переживаемое с р а з у обнаружат, какой я музыкант. Это отроческое «сразу» было главной опорой моих надежд.

17. Решил сочинить оперу. Либретто у меня готово. Это нечто сверхроманическое, на Кавказе, с монастырём, с молодым монахом, княжной, ущельем и разбойниками. Одна сцена выясняется в моих музыкальных мечтах — дуэт влюблённых беглецов на переднем плане и за деревьями — хор разбойников, освещённый костром. Хор составляет фон для дуэта. Либретто моё я пустил для критики по классу. Тетрадь моя вернулась, испещрённая юмористическими и серьёзными надписями, рисунками и советами. Одну критику я помню: «Герои всё время бегают и из этого не выходит ничего». Два месяца я занят был придумыванием хоров, дуэтов, арий, увертюры. Последняя была мною с великим трудом записана на нотной бумаге. Но, пожалуй, в моём увлечении было слишком много тщеславия и мало средств. Я охладел к композиции и решил стать пианистом.

В это время в Москве появился юноша-пианист Гофман. Я узнал, что он на два года старше меня. Наедине с собой я не считал невозможным, что в два года я могу «нагнать» и стать большим пианистом, ибо в наличности таланта я не сомневался совершенно.

18. Умирает Александр III. На заборах висят бюллетени. Я долго жил в казармах, среди военных, видел учения, маршировки, изучение «словесности», побои, слышал барабан, военные марши, знал, что такое в глазах солдат полковник, начальник дивизии, корпусный командир, переживал пышные церемонии парадов. В сознание вошло убеждение, что где-то есть всемогущий царь, награждающий орденами с грамотой и печатью, кому подают прошения на высочайшее имя; он снабжён всеми атрибутами бога. Он всё связывает, знает, и всё — дома, земли только временно чьи-то, а в сущности принадлежит ему. И вот его нет. На мгновение я остановился на мысли: его нет — и никого нет, пока не появится другой. Как же теперь будет?

На похороны нас повели в Кремль. Масса народу, скучная процессия; невозможность покричать и потолкаться сделали наши ощущения будничными.

Передавали слухи, сплетни, шутили, тайком, для тепла, тянули коньяк, принесённый кем-то в боковом кармане, в задних рядах смеялись и приплясывали. Про царя, говорили, что он был глуп и много пил и дрался. И как-то царь-бог выветрился из головы.

19. — Михаил Иванович, класс просит вас, ввиду смерти Александра III, рассказать нам про его царствование.

— Класс, класс просит... — презрительно говорит историк. — Депутаты какие! Чего вы? Разве не читали в газетах?

— Мы думаем, Михаил Иванович, — отвечает со скромным достоинством наш представитель, — что это относится к истории. У нас не происходит новая история, а говорят, что при Александре III очень много сделано хорошего.

— Ну, ладно. — Историк задумался, откинувшись на спинку стула и слегка покачиваясь. Мы складываем книжки — урока не будет!

— Александр III был настоящим русским царём. Он напоминает нам древнерусского богатыря — спокойного, могучего, не ведающего страха и глубоко преданного любви к своей родине. Он первый, со времени Петра Великого, стал носить исконную русскую бороду...

Мы не выдерживаем, смеемся и кашляем. Историк обрывает свой патристический рассказ и сердито говорит:

— Не стоит говорить для пустых голов. Для вас ничего нет святого. Не буду же подвергать осмеянию священного прах русского царя.

Мы очень сожалели, что «сорвалось». Урок всё-таки начался.

20. — Батюшка, чем был замечателен Александр III?

— Почивший государь император Александр Александрович, — поправляет батька. — Так вам может Михаил Иванович рассказать...

— Мы и хотим обратиться к нему, да долго ждать, а хотелось бы теперь, пока память о нём свежа...

— В нём я вот что ценю, — говорит смягчившийся «иезуит», — он был настоящим православный царь. Пишут про царей, что они благочестивейшие: так он воистину

был таков. Сподобился я видеть его в соборе — он прикладывался к мощам святых угодников. Станет, осенит себя широким крестным знаменем, поклонится в пояс и опять по-русски, по-православному перекрестится. Редко мне доводилось видеть такое благочестие. А вы вот, простые смертные, как креститесь? Стоял я недавно на молитве, видел, как вы молитесь: ведь молитва перед учением — возношение просьбы всевышнему. Что же у вас делается? Вы, Кузнецов, лба не перекрестите; вы, Иванов, повертите ручкой около живота — и всё. Разве так крестятся? Это — неуважение к таинству молитвы, это — неверие...

Не рады были мы, что затеяли патристический разговор. Впрочем, и борода историка и крест батьки послужили источником ряда анекдотов.

21. Весна, захожу на квартиру к Митьке. Он живёт в верхнем этаже бокового флигеля, один в пяти комнатах. Дверь отворена, комнаты пусты, но где-то слышен гнусавый голос нашего воспитателя. Он почему-то ласково, но упорно твердит непристойное ругательство, твердит настойчиво, без отдыха. Заинтересованный странным его поведением (быть может, он пьян?), на цыпочках вхожу в комнату. У окна в клетке скворец, которого Митька в розовой рубашке обучает «речи». Он увидел меня и не смутился.

— Вот упарился с ним, — деловито сообщает он мне, — прошлый скворец скоро научился, а этот что-то непонятлив. Что тебе? (он всем говорил ты). — И мы перешли к делу.

22. Бурный год кончился «великим вифлеемским избиением младенцев».

Целую половину класса под теми или иными предлогами не допустили до экзаменов, провалили, выпустили с аттестатами «без права поступления в высшие классы». Экзамен был продолжителен, в актовом зале, не по домашнему, как раньше. Мы ходили встревоженные, опасаясь за судьбу свою. «Великое избиение» продолжалось пять недель. Голова ломилась от массы сведений, её заполнявших. Перед глазами с отчётливостью всплывали страницы, строчки, параграфы учебников. Зубрили

по целым дням и невероятно устали. Это была прелюдия к заключительной драме — выпускному экзамену восьмого класса.

*

Такова наша эпоха бури и натиска в гимназии. Шестнадцати-, семнадцати-, восемнадцатилетние подростки и юноши со всем напряжением молодых сил устраивают в классе и вне его свой мир. Государственная тема действует, вызывая, как и прежде, многочисленные отрицательные реакции. Но она оценивается уже по своим внутренним свойствам, а не только внешне неприятна. В «реакциях» проглядывает некоторая злость, насмешка. Ядовитая шутка радостно приветствуется.

В чём же дело? А в том, очевидно, что слишком велика разница между тем, что яростно растущая молодёжь ощущает в себе, и той пошлой атмосферой, которая густой пеленой обволакивает класс.

Раздражение учителей растёт. Они единодушны в оценке своих противников. Противники становятся опасными: намеренно откровенная беседа с ревизором нам это ясно указывает. В обращении учителей сквозит презрение — некоторые из них молчаливо-корректны, но кое-кто и не выдерживает. Каждый урок рассматривается как битва, и изобретательность врагов становится изумительной. Не учат, а ловят, уличают. Не учатся, а отбиваются.

Но молодёжи нужно пробовать свои силы, поразмяться: она из класса устраивает буйный табор, с трудом укрощаемый. Царят смех, шутки, карикатуры, сатиры.

Но в то же время из общения между собой, из книг, театров и библиотек вырастает богатая и серьёзная по-своему жизнь. Шут и гаер в классе решает высшие вопросы в тесной комнате вместе с товарищами; закоренелый лентяй роется в книгах Румянцева музея. Мой молодой родственник не один философствует, ищет выхода в музыке, в сочинительстве: этим полон всякий. Скептиков разочарованных мало. Гораздо больше верят в себя, в свои нетронутые силы. Эти силы расходуются без удержу. Но мало того, что их расход огромно: путь наш порывист, случаен, идёт толчками. Молодая энергия не умеет работать. Её единственное умение — сражаться с определённо враждебной стихией казённого, обязательного, дающего «права» учения.

В мае происходит генеральная битва, кончающаяся разгромом неорганизованного противника. «Система» не желает больше выдерживать удары: она делает подбор наименее опасных и манит их возможностью приобрести те «права», которые даёт аттестат «зрелости». Намеченный раньше метод — **внешне приспособляться, внутренне жить по своему** — оказался очень трудным. В последние классы перешло более специализированное, изолированное умение приспособляться. «Своя жизнь» оказывается слишком большой помехой. Принцип — проходить курс, не участь, — достиг совершенства в своём применении. Он сокращал массу времени. И является вопрос, как же это свободное время потратить? На разумное дело нужна сноровка. Не разменялась ли она на бесполезную борьбу? С этим вопросом можно перейти к следующей эпохе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В памяти моей смутно разделяются седьмой и восьмой годы учения. На эту пору уж не возлагается никаких надежд. Учителя все изучены с головы до ног, от манеры спрашивать до интимных привычек и семейной жизни включительно. Предметы нового ничего не вносят: они нужны для того, чтобы сдать экзамен на аттестат «зрелости», который представляется делом весьма сложным. За этой последней преградой брезжит какой-то новый мир без уроков. Но он пока далёк, и остаются всем надоевшие будни. Искусство приспособляться дошло до невероятной быстрых способов готовить уроки в классе, во время пяти- и десятиминутных перемен, на том уроке, на **котором** не спросят, к тому — на котором спросят.

Интересны эти термины во множественном числе: спросят, спросили, задали — как будто уроки ведутся всей группой учителей, как целым.

Молодёжь раздумывает о будущей судьбе: но не в стенах гимназии она найдёт нужные ей ответы. «Коренных» учеников мало. Больше половины новых, принятых с большими предосторожностями в седьмой класс.

(Маленькая статистика: из 29 учеников первого класса до восьмого добрались 3, из 35 учеников второго — 5, из 35 шестого — 18.)

1. В начале года появляется наш историк в рясе. Он неловко ходит в непривычной одежде, короткие волосы придают ему какой-то незаконченный вид. Он, видимо, смущён, а для нас весьма и весьма любопытен. Перед нами сложное явление, не очень понятное. Мы втайне смотрим на нового батюку с некоторым пренебрежением: Михаил Иванович стал на ступеньку в наших глазах ниже. Слово «карьера» встаёт в уме первым. Мы толковали: «О-о... он далеко пойдёт!»

После годичного акта мы окружили его в коридоре. Некоторое время длилось неловкое молчание. Между двумя сторонами произошёл немой обмен мыслей. И результат этого молчаливого разговора невольно сказался в его первой фразе: «Ну, вот видите, какой я теперь стал?»

На это мы ничего не могли сказать, но некоторый конфуз за него ощущали.

2. У нас упрочился коллективный способ готовить уроки. На каждый предмет есть свои специалисты. Они и готовят уроки постоянно и тщательно. Это не только их личное дело, но известного рода общественная повинность.

Перед началом уроков, утром, во время всех больших и малых «перемен» можно видеть в классе несколько групп учеников, тесно облепивших «специалиста». Специалист переводит, объясняет, толкует, отвечает на вопросы. Он должен знать в совершенстве манеру спрашивать того учителя, к которому готовится группа. Он не должен касаться глубины предмета, его возможных интересных сторон. От него требуется только дело, только внешняя его оболочка, чтобы искушённый в словесной борьбе ученик мог воспользоваться ею для ответа на данный случай. Если же увлечённый специалист заходит в своих объяснениях дальше, чем это требовалось для ясных всем практических целей, то его немедленно обрывают:

«Ну, завёл машину! Ты дело говори»... и, случалось, отходили к другой группе, где это «дело» было поставлено более практично.

«Система» была в своём роде гениальна. Она сводила время учения до чрезвычайно сокращённого минимума. Гимназисты предвосхищали идеи Тейлора.

3. Коллективная система давала только основной план ответа. Сами ответ вооружался вспомогательными средствами. Отвечающий был не одинок. Вокруг него работала тоже своя группа помощников. Шептали, одобряли, раскрывали книжки на нужных листах, писали карандашами, мелом, пальцем по воздуху. Если дело касалось переводов с латинского и греческого и отчасти французского, немецкого (это были слабые противники), то огромную помощь оказывал подстрочник. В пользовании им доходили до виртуозности: он так же быстро появлялся в книжке, как и исчезал при попытке учителя его обнаружить. Некоторые ухитрялись прикрепить эту маленькую, тоненькую книжку на резинках, помещённых в рукаве. Бывали, конечно, и большие ошибки и неудачи, кончавшиеся карами, довольно серьёзными. Бывали и комические переводы вроде такого: «Греческие воины ходили по зале, обнявши колонны», но в общем вспомогательные средства оказывали значительную помощь.

4. Рядом многочисленных опытов, сознательных и бессознательных, психология учителя вообще и спрашивающего в частности была изучена с большой тонкостью. Раньше, чем экспериментальная психология оказалась полезной педагогу, она была практически использована учениками. У них в руках был метод. Это был метод целостного подхода к личности. Я не был в психологических экспериментах из последних. Вот один случай.

Перевод из Горация. Я поздно пришёл и вижу, что коллективная группа уже кончила свои занятия со «специалистом». Ни перевода, ни первых значений слов я не знаю. Импровизировать нельзя перед педантичным «Вот-то-вот». Но я знаю, что он меня вызовет. Обдумываю план действий. «Вот-то-вот» любит хорошее чтение стихов. Это я делаю в первую очередь: два три раза прочитываю вслух с должными удареиями все двадцать пять стихов урока. Таким образом создаётся впечатление. Затем надо внушить латинисту некоторую долю уверенности, что я знаю урок хорошо. Нужно быть спокойным, неторопливым. Третий момент — сообщаю соседям, что ничего не знаю и требуется помощь. Это пока всё, ибо уже «Вот-то-вот» входит, серьёзный, в синих очках, размеренным шагом. Минута напряжённого внимания.

— Шацкий,— произносит он.

Я важно встаю, вынимаю платок, сморкаюсь, кладу его около себя, не спеша раскрываю книжку и слегка небрежным тоном называю отрывок, который мне следует перевести. Звучным, твёрдым голосом начинаю читать. «Вот-то-вот» ощущает удовольствие. Когда я кончил, он приятным тоном говорит мне: «Ну, я вижу, вы хорошо приготовились. Давайте теперь разберём хорошенько грамматические особенности языка, установим смысл и первые значения слов». И он начинает спрашивать весь класс, добиваться более точных выражений. Я слушаю внимательно. Дело доходит до меня: я важно даю тот ответ, который нужен наивному латинисту.

Мне это всё начинает нравиться. Я всё больше и больше вхожу в свою роль, актёрствую, рисуюсь. Мои слова и движения спокойны и слегка небрежны. Перевод уже почти разжёван, и мне остаётся лишь его отделать под вкус педанта, любящего больше точность чем вольность, передачу своими словами.

Победа за мной. После урока мы обсуждаем эпизоды поединка, давшего некоторые новые подробности в процессе обсуждения личности «Вот-то-вот».

5. Часты наши обращения к учителям с просьбой рассказать, выяснить, дать характеристику, разрешить некоторые вопросы на общую тему.

Для этого мы обыкновенно выдвигали депутата, умеющего держаться с достоинством и обладающего некоторым престижем.

Так, мы просим «грека» прочесть нам подряд большой отрывок (а лучше целую песню) из Гомера. Наша мотивировка такая: чтобы проникнуть в дух эллинской речи, нам недостаточно самим читать: ибо это и отрывочно и полно досадных ошибок. Нам бы хотелось послушать настоящее чтение. Поэтому... и т. д.

Учитель польщён и обещает нам доставить это удовольствие. В назначенный день он принимается за свой нелёгкий подвиг. Величие Гомера его несколько смущает. И он слегка покашливает. Я отмечаю тщательно все случаи лёгкого кашля. Это меня заняло. По окончании чтения, продолжавшегося целый урок (какое счастье!), мы благодарим «грека». Он уходит довольный. Я же сообщаю классу свою статистику: в течение 50 минут «грек» «поперхнулся» ровно 181 раз.

6. Разнообразными способами мы сокращали время учения. Но на что тратились свободные дни и часы? Мечты, надежды, порывы, искание смысла учения, заботы о развитии, поглощение литературы, бесформенные, но горячие споры, увлечение талантами, своими и чужими, восторженность, стремление классную жизнь наполнить содержанием — в общем утихли. Нам ребячество не пристало. Мы отчасти скептики, отчасти циники. Но есть кровь, темпераменты, вкусы, жажда разнообразия. Есть, наконец, трудное положение полувзрослого, есть, словом, жизнь без фундамента, а единственный фундамент — учение — опостылело и тягостно. Оно есть лишь подготовка к экзамену на аттестат зрелости, который стоит в конце как труднейшее и опасное испытание. Но пока оно не пришло, мы развлекаемся.

Юноши растекаются по улицам, влюбляются, ищут встреч, свиданий, наполняют свой досуг письмами, записками, преследованием гимназисток, институток, женской рабочей молодёжи, становятся героями похождений, о которых создаются грязные легенды. Пора смутных желаний, мучений, священных с переходным возрастом, прошла. Всё ясно, известно, взвешено. Рассказывают о секретных средствах обезопасить себя от опасных болезней, передают рецепты, рекомендуют врачей.

Огромное место занимает театр. У нас организована группа, обнимающая чуть не половину класса, записных театралов — любителей оперы и драмы. Мы дали слово не пропускать ни одного представления «Фауста» и «Гугенотов». У нас есть любимцы: в классе мы поём басами, баритонами и тенорами речитативы и оперные арии. Мы становимся клакёрами в итальянской опере за бесплатную ложу. У нас карточки артистов с их автографами. Я рассказываю о своём разговоре с тенором Мазини, храню карточку певицы Арнольдсон в своём ранце и полагаю, что она приносит мне «счастье». Так произошла смена иконы на фотографический портрет. Я начинаю после перерыва снова петь и подражаю различным певцам. И теперь моё заветное желание — петь в опере.

Наши развлечения сопряжены с риском. Нас ловят на улицах по вечерам дежурные надзиратели, запрещают посещать театры без разрешения. Война переносится из стен школы в более широкое пространство. Разговоры с нашим Митькой носят специальный характер: он

охотно делится своим опытом относительно «девочек», знает наши похождения, даёт советы.

Мы заинтересованы драмой, происходящей среди педагогического населения флигелей при гимназии: один из учеников соперничает с педагогом из-за его кухарки. Кажется, у него родился сын, и молодого отца лишили золотой медали за реальную «зрелость».

7. Я останавливаюсь на математике. Один из моих товарищей имеет опасную славу. Он по неделям пропадает, не показывается в классе. Ходят слухи о его кутежах и связях. Но он превосходный математик. И есть особенный шик, что, шутя справляясь с алгеброй и тригонометрией, он едва-едва выходит из двоек по латыни и греческому. Я схожусь с ним. И часто мы сидим в его жалкой комнате-лачуге и решаем сложные математические проблемы. Он значительно превосходит меня своими познаниями и внушает почтение своим жизненным опытом. Я окончательно решил идти на математический факультет.

8. К нам поступил новый ученик, откуда-то с запада, серьёзный, черноглазый, бледный и необыкновенный — Заремба Адам. За ним было что-то политическое. И это окружает его известным ореолом.

С ним знакомится наш батька.

— Заремба... — спрашивает он.

— Это я...

Испытующий взгляд.

— Вас Адамом зовут?

— Да.

— Вы, что же, иноверец?

— Нет, православный.

— Как же вас Адамом назвали?

— Адам — православное имя, только редкое, — спокойно объясняет Заремба.

Батька сердится.

— Хорошо, хорошо. А когда вашего ангела празднуют?

— Не знаю. Я никогда не праздную...

— Нехорошо... — раздельно произносит «иезуит», — нехорошо... Не простой вы человек... Посмотрим, посмотрим, как вы дальше будете...

Заремба держал себя очень осторожно. О нём в гимназии были какие-то «сведения». И все учителя были сухи с ним.

По догматическому богословию он учил всё чрезвычайно тщательно, и «иезуиту» подловить его не удавалось. Но зато отвечал он не просто; всегда в его невозмутимом голосе чувствовалась какая-то ирония. Батька едва мог выносить его и иногда угрожал плохим баллом по поведению, намекал, что ему лучше было бы перейти в другую гимназию. Заремба обыкновенно предлагал ему спросить его из «старого», чем вызывал досадный возглас: «Учить вы учите, а сердцем не принимаете...»

Батька сожалел, что Заремба хорошо знает, как опасно не быть настоящим.

9. В восьмом классе потребовался для ссылки какой-то библейский текст. Никто его не может сказать. Рядом со мной сидит приятель, страстный любитель оперы, Генрих Быдрин. К нему обращается неожиданно батька.

— Ну, а вы не знаете ли? — Тот отвечает.

— Вот это хорошо. Хороший вы мальчик, Выдрин. Как вы свою веру хорошо знаете! Вот бы вам креститься...

— Зачем же, батюшка, мне и так хорошо!

— Ну, какое уж хорошо! Так говорится только, а в душе, небось, кошки скребут...

10. — Вот что, господа: преосвященный будет на экзамене. Любит он задавать всякие вопросы; избави бог ошибиться или не знать; не стерпит. Спросит вас, кто знает, например, имена девяти архангелов?

В классе никто не знает. Лицо «иезуита» становится испуганным.

— Ну, а вы, Никольский?

Никольский встаёт и начинает перечислять: Михаил, Гавриил, Рафаил... перече́л восемь, а на последнем замаялся.

— Ну, что же? Неужели вы не знаете?

Лицо батьки темнеет, он напряжённо ухватился за кафедру и ждёт ответа. Никольскому что-то шепчут. Он слегка растерян, не расслышал и вторых говорит:

— Сатанаил...

«Иезуит» подпрыгивает, вскрикивает, махая руками: «Кошунство!» Мы развлекаемся.

11. Отношения между учителями и учениками внешне корректны. Но иногда взаимное непонимание прорывается. «Вот-то-вот» очень озабочен тем, что мы, переводя Virgiliya и Горация, позабыли всю грамматику. Он после ряда неудачных ответов и видимого нашего легкомыслия перед будущим испытанием говорит в раздражении: «Грызайте, то вот, грамматику!»

Кто-то хотел объяснить ему свои затруднения и начал речь свою словами: «Я думал...» Латинист нервно обрывает его: «Думают только голландские петухи, а вам надо учить и знать!»

С наиболее приемлемым для нас Сократом тоже вышла история: молодой человек задремал, Сократ его «подловил» и поставил в неловкое положение, требуя повторить вопрос... Тот молчит, Сократ спрашивает:

— Почему же вы не достаиваете вниманием то, что происходит в классе?

Молодой человек возражает:

— Я полагаю, что всякий умный человек повторит свой вопрос...

Это ему стоило больших неприятностей и объяснений.

Новый учитель истории — с язвительной улыбкой, спокойным тоном, с густо-чёрной бородой и очками на длинном бледном лице — нас выводит из себя. Он сразу отменил нашего вечно Иловайского и предложил ученик Виноградова, по которому мы должны были повторять к экзамену историю. Учиться у нового историка очень трудно. Он не подходил под выработанный нами стиль учения. Историк рассуждал, требовал исторических взглядов, обобщений, высмеивал наши неумелые попытки подладиться под его «стиль» требований, упрекал в нелогичности и намекал довольно прозрачно в некоторых случаях на нашу глупость. Это мы переносили с большим трудом, были страшно оскорблены и даже жаловались на его отношение к нам «Вот-то-вот», нашему классному наставнику. Имел ли он при этом некоторые затаённые намерения, был ли в его язвительных речах известный педагогический приём, или он проявлял лишь свой личный темперамент? Во всяком случае новый

историк был для нас явлением неожиданным, трудно поддающимся выработанным в нашей среде способам психологического эксперимента. Мы его не понимали и вступили с ним в откровенную борьбу, но всё же подтягивались и отвечали с некоторой опаской.

Как жалко, что он появился слишком поздно...

12. Попробовали поговорить с «греком» на тему: «Зачем мы учились греческому языку?» Он видел насмешливые лица, чувствовал наши тайные мысли и не решился доказывать то, что в наших глазах казалось явно безнадёжным. Его аргументация носила характер уловки: «Вы сейчас, вероятно, думаете, что изучение греческого языка было для вас бесполезно. И я думаю, что сейчас вы этого не поймёте. Но вот вы будете учиться в университете, займётесь серьёзной деятельностью, тогда и поймёте как следует ту большую пользу, которую вы получили от изучения классического языка и литературы». Шаткость его доводов была очевидна и для него и для нас. Одно было ясно, что мы учились, сами не зная, зачем. Лучшего приговора нашему учению дать нельзя было.

13. У нас появились своеобразные специалисты. Не желая тратить своих сил попусту и не рассчитывая на то, что, занимаясь хотя бы только во время перемен, они могут благополучно дойти до конечного пункта гимназического учения — момента допущения к экзамену, несколько мудрых юношей избрали такой путь. Из пяти «главных» предметов — закона, русского, латинского, греческого языков и математики — они выбирают два, по которым получают четвёрки или пятёрки. Остальных же предметов совсем не учат. Таким образом (рассчитывали ловкие знатоки обычаев восьмого класса), на окончательных выводах отметок им «натянут» и допустят к экзаменам.

Так и случилось.

Один из них выбрал латинский и греческий языки и весьма радовал своими успехами наших педантов. Зато у Сократа каждый раз, как наступала его очередь отвечать, он вставал и молча смотрел на него. Математик кивал головой и ставил «кол». Это вошло в обычай. Однажды всё же мы были удивлены: вместо того чтобы оставаться на месте, «колист» отправляется к доске,

стирает губкой всё записанное, берёт в руки мел и совершенно верно говорит текст теоремы. И учитель и ученики поражены. Но оказалось, всё было только маленьким изменением метода: подумав немного, молодой человек кладёт мел и отправляется на место при дружном смехе зрителей. Сократ, улыбаясь, заметил: «Только зря время провёл».

Другой заявил нашим классикам, что он очень любит философию. Этого было достаточно, чтобы получить со стороны латиниста и «грека» заботливую поддержку, пятёрки и защиту перед другими учителями.

Третий избрал специальностью закон и математику, совершенно бросив остальные предметы и пользуясь лишь нашей коллективной помощью подготовки к урокам.

Меры эти были очень обдуманы и дали нужные результаты. В самом деле, нельзя было не допустить к экзамену учеников с пятёрками по «главным предметам».

Я томился. Мне учение опостылело. И дела мои стали неважны. Дошло дело до намёка, что моё очевидное для всех нежелание учиться может кончиться «провалом» на экзамене. Это меня оставило безучастным. Я был отравлен атмосферой школы. Во мне возникли опять давнишние надежды: когда выйду из гимназии и стану студентом, то там начнётся «настоящее» учение. Теперь же лишь бы кончить. Скукой и надеждами заканчивались две половины гимназического курса.

14. К экзамену все допущены: и мудрые «специалисты» и обыкновенные смертные. Последний месяц посвящён пробным экзаменам, имевшим целью приучить нас к необычайной обстановке. Проба происходила в актовом зале за отдельными столиками для каждого ученика.

На «русской пробе» Цветаев дал тему: «**Детство, отрочество и юность**». Сидя за своим столом и ощущая всю несообразность обстановки для сочинения, «долженствующего выявить литературность изложения, правильность мышления ученика и умение его надлежащим образом пользоваться усвоенным курсом литературы», я испытывал большое искушение ничего не написать и подать лист пустым.

Но вдруг в голове мелькнула мысль: не изобразить ли тему в виде трёх картин из жизни ребёнка, подростка и юноши? У меня загорелось. Мне стало безразлично, что мой «стиль» будет признан неприличным. И я ожив-

лённо, сосредоточенно набрасываю мои картинки. Не написать ли стихи-ми? Но первые строки показали, что стихи не выйдут скоро и времени на них не хватит. Я и так просидел без дела добрый час. Горячо принимаюсь за работу.

Первая картина.

Лето. Голубое небо. Облака тают. На пороге дома сидит дед и ласкает маленького внука. Они разговаривают об облаках, о том, что за ними, почему не падают, о бабочках, и нельзя ли летать, как они, о зайце, которого внук спугнул за старым кирпичным сараем, о том, что можно есть много, много и вырасти таким большим, что «выше всех, всех». И ещё, зачем пелух кричит, когда все спят? Внук ложится на траву и засыпает под горячим солнцем, раскинув ручонки.

Вторая картина.

Весна. Играют мальчики и девочки. «Он» только что хотел отлучиться, поскользнулся, упал. Над ним смеются. В досаде «он» начинает драться. Его выгоняют из игры. Он убегает к речке, на которой плывут редкие льдины. Его разыскивает девочка — приятельница. Между ними возникает сначала бурный, а потом мирный разговор. Они садятся в лодку и едут среди льдин, отталкиваясь от них вёслами. Немного жутко, особенно ей. Он храбрится. Ему хочется, чтобы их увидели с берега и испугались. Они едут на другую сторону — на большую песчаную отмель, наполовину залитую водой. Пусть их хватятся, соберутся на берегу, станут кричать — тогда можно, как ни в чём не бывало, ехать обратно.

Третья картина.

Буря. Кавказские горы. Темно. Юноша выходит из сакли и подбирается к скале, у которой должны быть «она» и его предполагаемый соперник. В руках у юноши кинжал. У сакли никого нет. Он ждёт. Вдали слышна её песня, песня сквозь грохот грома и вой ветра. Он кричит в ответ. Приходит «она». Буря стихает. Разорванные облака плывут над горой. Девушка карабкается снизу. Он свешивается, держась за сук дерева,

и помогает ей взобраться на площадку. Объяснение. Она искала его. Оба счастливы.

Времени было мало. Наскоро переписав, я отдал свою работу Цветаеву и напряжённо ожидал, что он скажет. Через неделю он принёс наши пробные работы в класс. Он довольно подробно остановился на некоторых сочинениях, говорил о грамматических и синтаксических ошибках, о величине сочинений, о том, что нужно сочинению «предпосылать» план со вступлением, изъяснением темы, изложением, развитием и заключением. О моих картинах он упомянул вскользь, назвал их оригинальным способом изложения, не свойственным сюжету и требованиям экзамена, где требуется рассуждение, а не описание. Его, очевидно, более всего тревожило то, насколько мы можем удовлетворить внешне формальным требованиям экзамена, с которым играть не приходится.

Итак, моя попытка была легкомысленна. Отзывалась мальчишеством... и только. И только? — спрашивал я себя в душе. И только.

15. Мы понемногу вступаем почти со всеми учителями в сделку. Нам довольно прозрачно намекают на то, какие могут быть отрывки греческие, латинские, немецкие для перевода. «Француз» только не делал ничего в этом отношении. Поэтому, насколько зависело от представителей гимназии, мы все — и учителя, и ученики — сделали всё возможное, чтобы правительственный экзамен сошёл благополучно. Хуже дело обстояло с теми, присылаемыми из округа. Их было четыре — русская, латинская, греческая и математическая. Какими-то таинственными путями мы узнавали эти темы (вернее, две-три по каждому предмету, из которых выбиралась где-то настоящая; и она уже появилась у нас в большом запечатанном конверте с печатями, и директор держал конверт за углы, показывая его, и торжественно вскрывал).

Перешёптывание экзаменаторов, задача занумерованных листков, и мы все садимся в машину, которая будет пущена в ход, даст такие верные сведения о нас, каких никто не знал и даже мы сами.

Проще и последовательнее всех учителей оказался «немец». Он не действовал намёками, случайно обронёнными словечками, а прямо вошёл в соглашение со всеми учениками

относительно тех отрывков, которые им будут назначены на экзамене. Я выбрал второе действие «Мари Стюарт» и монолог Вильгельма Телля. Экзамен же мой происходил так: «немец», нерешительно поглядывая на меня, предложил сценку между Марией и Елизаветой. Я не очень хорошо знал её. Поэтому смело раскрыл книжку на монологе и прочёл по-немецки и перевёл чуть не стихами всю предложенную для перевода экспромтом вещь. Экзаменаторы одобрительно кивали головами. После моего ответа «немец» выскочил из-за стола и горячо пожал мне руку. Многим ученикам другие учителя могли бы сделать то же самое.

Я испытывал странное чувство. Казалось бы, такой опытный гимназист, каким я был, не мог особенно затрудняться такими привычными делами, как экзамен. Но что-то у меня не выходит так, как у всех. Мне ужасно тошно, и я не в состоянии довести дело до конца. Мне что-то мешают. Я уверен, что ничего не знаю толком, что все мои сведения пусты, нелепы, не нужны. Вечное притворство, игра случая, извращивание, необходимость прятать «своё» и жить какой-то внешней оболочкой — делают для меня нашу гимназическую среду постылой. У меня нет больше сил, я завижусь моим более трезвым товарищам, которые принимают то же, что и я, но как необходимое зло. Но несносна мысль быть, как все. И я предпочитаю отойти, бросить борьбу и копаться мыслью в своей слабости, чем участвовать всем напряжением воли в последней битве. Я был уныл и тревожен. И вместо подготовки к экзамену валяюсь на кровати и тщетно стараюсь понять, что же такое меня тревожит.

16. Хочу встрепенуться. У меня такая мысль: встать рано утром и пойти, когда ещё никого нет, в Кремль, в сад, посидеть, подумать в тишине и поймаю то доброе настроение, в котором чувствую такую необходимость.

Весеннее утро было прелестно. Я ходил по дорожкам сада и за стеной и внутри и выбирал подходящее место для размышлений, останавливался, приглядывался к лавочкам, деревьям, стене, близко или далеко стоящей, к тому, насколько место было в стороне, присаживался и опять бродил, опять искал. Мне трудно было найти себе место, а это было очень важно. Сначала найти, потом сесть и «начнётся» прилив животворящих, подъемлющих

мыслей, и я буду знать, что мне делать с собой; ко мне вернётся спокойствие и хладнокровие, я стану выше того, что сегодня же будет там, в актовом зале, с его судейскими столами и стенами, отделанными под мрамор, торжественными членами присутствия и сжавшейся кучкой подсудимых. Я, наконец, примостился и стою наверху, на холме, опираясь на чугунную решётку.

За рекой внизу расстилается Замоскворечье. В утреннем тумане его линии не отчётливы и вся смесь колоколен, труб, крыш как бы повисла в воздухе. Где-то там затерялось и моё место суда, моя гимназия. Что же нужно мне? Я чувствую, что нужно мне охватить своим умом всё, что вижу, сразу, одним общим охватом мысли, и для этого как раз подходит моё место на высоком холме.

Представилось мне, что во всех бесчисленных домах копошатся люди, рядом друг с другом, каждый по-своему, и я старался как можно ярче представить их копошенье, их двигающиеся, сидящие, спящие тела, их обыденную обстановку — самовары, кровати, часы на стене, картины, лампы и лампочки с обугленной бумажкой вместо абажура. Всё это движется по какому-то закону. И я вливаюсь сюда же со своим движением. Что мне делать придётся делать, как найти своё место и закон движения? Что мне делать сейчас? По-настоящему надо бы всё это бросить, всех бросить и искать настоящей жизни, настоящей людей. Где-то они существуют, где-то идёт настоящая, не призрачная жизнь. А то, что я делаю, та жизнь, в которой я участвовал, это призрак; вот это я понял теперь. Но хоть и призрак, а всё же он властно требует моих сил.

Моё напряжение падает. Я устал и прилива бодрости не ощущаю. Через какой-нибудь час я буду стоять перед зелёным длинным столом и буду наугад брать билет и, стараясь поймать связность речи, буду рассказывать про Карамзина, Пушкина или Крылова. Надоевший учебник Незеленова, отбивший всякую охоту размышлять о литературе, вспомнился мне своими примелькавшимися страницами.

Я иду в гимназию и чувствую себя ещё хуже, чем раньше. И напрасно через час добродушный Цветаев делал большие глаза, подсказывал и ставил «наводящие» вопросы. Я кратко, вяло и холодно отвечал на то, что было связано по учебнику с именем Гоголя в русской

литературе, и потерял последний ресурс, отказавшись прочесть «с чувством и толком» пушкинский «Кавказ», который мне раньше так нравился. Меня отпустили, тихо переговорив между собой, мои судьи со снисходительным сожалением. Они всё-таки дорожили блеском ответов. А между тем этот «Кавказ» я и хотел сказать, чтобы все почувствовали его смысл так, как чувствовал его я. И там, в Кремле, стоя наверху, я и хотел пропитаться этим ощущением далёкого огромного вида. Оно очень подходило к моему настроению.

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины...

и дальше —

А там уж и люди гнездятся в горах,

И ползают овцы по злачным стремнинам.

Я так «по-своему» хотел подготовиться к русскому экзамену. Но ничего у меня не вышло, и с досады и на себя и на других я скомкал и спугал ответ. Мне казалось, что все на меня смотрят не то пренебрежительно, не то с сожалением. Я опять упал, желая поступить не как все, но, оставшись один, упорно думал: «Я всё-таки чувствую в себе силы великие».

«Быть, как все» или «не быть, как все» — стало отныне моим главным мучением.

17. Великая страда кончилась. В актовом зале директор объявляет результаты, жмёт всем поочерёдно руки и говорит прощальную речь, в которой, покачиваясь с ноги на ногу, дребезжащим голосом, заикаясь и выговаривая *p* вместо *л*, он упоминает о духе учебного заведения, в котором мы имели честь учиться; о накопленных нами знаниях, которые будут освещать нашу жизнь; о поддержании достоинства нашей гимназии в стенах университета; о науке, которая превращает «землю в небо»; тут он запутался и стал делать обычные гримасы, стараясь поймать убежавшую мысль. Передние ряды слушателей стали протискиваться в задние. Послышался смех, замаскированный кашлем и сморканием... «И небо в землю...» — с усилием докончил, наконец, растерявшийся Васька. Это был последний анекдот, завершивший огромную их серию за все восемь лет.

Гурьбой мы вышли из гимназии.

— Братцы, давайте топить учебники!

Мигом всех как бы потрясло... И жалкие остатки учебников, залежавшихся в партах, были уже в руках, и радостная кучка зрелых людей чуть не бегом бросилась к реке. Какая удачная выдумка, носившая столь глубокий символический характер!

Мы кричали «ура», бесновались, сыпали текстами, латинскими и греческими цитатами, изображали учителей, крепко шутили и хохотали, раздирая книжки на отдельные листочки. По воде поплыла стая белых пятен. «Эх, лучше было бы торжественно сжечь!» — пожалел кто-то.

Обряды сжигания и потопления были довольно распространёнными в гимназической среде. Они не были простым озорством, а символической реакцией, имевшей и свой смысл и своё основание.

На следующий день была устроена попойка и инсценирована сцена оргии, с которой сняли фотографию и послали как последнее «прости» директору.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Восемь лет школы крепко засели в голове простившегося с нею юноши. Он всем сердцем ощущает, что годы учения были «не то», он стремился найти для себя настоящий выход; он знает своё бессилие в работе и ищет того, что могло бы его встряхнуть, захватить, заставить энергично и со смыслом действовать. Он весь полон исканий. Но быстро искание превращается в тягостное блуждание по высшей школе. Юноша не может совладать с тяжким наследием предшествующих лет. Он отравлен неумением работать. Но всё же он более свободен. В нём вспыхивают среди преобладающего настроения душевной пустоты проблески мысли — свежей, здоровой. Прошлое слишком для него ярко, размышления становятся всё глубже и упорнее. Неудовлетворённый университетом, он переходит в Петровскую академию уже со сложившимся намерением работать с детьми. Но здесь он захватывается жадной реальной деятельностью и со всей силой бросается на первую возможность начать осуществление мечты о детском царстве. Он хорошо помнит себя «маленьким», и робкая мысль двенадцатилетнего мальчика стала методом педагогической работы. Его попытки записать свои детские

воспоминания были первой педагогической подготовкой. Они дают ему основную материал для размышлений. Вот некоторые из них за ряд последующих лет.

1900. Как досадна молодость! Часто не знаешь, что делать, что нужно и что не нужно? Что полезно, целесообразно и что вредно? Что имеет смысл и что смысла не имеет?

Собственно говоря, впечатления от природы самые простые. Стоя один и видя и слыша все её движения, шорох, шелест, чувствуя тепло, ощущая эти цвета, яркость света, видя тень и колебания — всё-таки стоишь один, сам с собой и сообразно со своими мыслями даёшь своим впечатлениям ту или иную окраску, направление, оттенок, который хочешь. Ты сам владеешь собой и своими ощущениями. Лёгкость впечатлений, их яркость и соответствие твоим мыслям, твоему душевному складу, самая ненужность их объяснений, как будто природа говорит своё «так» и ты говоришь это вместе с нею и это именно нравится, приводит тебя в радостное состояние.

С людьми же не то. Тут нужен труд, нужна осторожность, запас деятельного участия и искренность, чтобы в них увидеть ту же природу. Ведь очень просто посмотреть на личного мальчугана, грязного, исцарапанного, бегущего босиком по городу, выпрашивающего, пристающего, курящего и возбуждающего отвращение, подумать, что если ему дать воспитание, то он мог бы не хуже кого другого и говорить по-французски, и по-английски, носить перчатки, напяливать лощёный цилиндр и быть изысканно вежливым и с презрением смотреть на мальчишек; это с ним может случиться так же, как с принцем, который попадает в другую обстановку, смотря по тому, что с ним будут делать — говорить, давать есть, одевать и окрывать роскошными условиями жизни. Те же отбросы общества, на которых мы смотрим с такой гадливостью, страхом или сожалением, были такими же детьми, как и все. Мы чужды им потому, что в своё время, когда нужно было, никто не дал им подходящей обстановки.

И я думаю, что всё ценное в человеке — этот резервуар ценностей в ребёнке — всегда в нём остаётся; только от тех или других внешних причин заросло корой, и мы чувствуем отвращение, потому что заросли сами.

Каждый день мы проходим мимо всяких людей, и многие из них могли бы быть в сто раз лучше, талантливее и полезнее нас, если бы они были на нашем месте, а мы худшими, если бы были на месте их...

1901. Всё яснее и яснее чувствую тяжесть тех прочно сложившихся условий, которые заполняют почти всю общественную жизнь.

Если проследить жизнь одного ребёнка, как она началась и как к собственной, оригинальной его личности примешивалось то, что выработано обществом (потому что обычно при воспитании, как и всяком вообще влиянии на детей, хотя бы и самом сознательном, выявляются не собственные воззрения — они только кажутся собственными, а на самом деле воззрения того общества, к которому они принадлежат), если внимательно остановиться на этом, то не отличишь самого человека от того, что отпечатала на нём среда. Ходить, сидеть, есть, пить, одеваться, говорить — всё это связано с тем, что на этот счёт выработано, установлено. Если в этих общественных формах видеть нечто исторически необходимое для того, чтобы легче было обходиться друг с другом, как тротуары и железные дороги служат для более удобного сообщения, то надо заметить, что это удобство стоит для человека, желającego от жизни смысла, слишком дорого.

Разумеется, если говорить, что я надеваю штаны такого-то фасона, таким-то установленным способом беру нож и вилку, так-то ем рыбу или котлеты (это не всё равно, как есть, чтобы было прилично), засовываю салфетку за воротник или расстилаю её на коленях, не задаю неприятных вопросов, хотя бы они были очень существенны, и вообще всё делаю так, чтобы во всей своей фигуре, разговоре, обращении не было резких уклонений от среднего типа, если это всё поддерживать, оправдывать необходимою держаться выработанных форм общежития для того, чтобы легче было всем людям жить и сразу понимать друг друга, то на этом можно успокоиться и считать себя правым. Это своего рода экономия сил.

Но если видеть (это-то и есть на самом деле), что такая экономия построена на желании каждого получить побольше выгод от жизни, поменьше тратить сил, быть подальше от всего ужаса жизни, требующего

не только сострадания, но и реальной помощи, реального дела, без боязни вида страданий (ах, я не могу, не в силах), то нельзя отнестись просто, безразлично к выработанным формам жизни. Они будут тяготить. Они мешают, застилают. Так и кажется, что это чистое, святое, стремящееся к «норме» общество — какой-то оазис среди нужды, среди раскрытых ртов, жаждающих пищи, среди пересохших языков, настороженных ушей, отчаянных сердец, ждущих настоящей жизни и не знающих её.

1902. Лучшее средство в деле воспитания — это дать проявиться в душе ребёнка какому-нибудь хорошему чувству, и, смотря по силе этого проявления, на душе тогда останется более или менее глубокий след, память о пережитом, которая направляет волю. Пусть узнают дети про себя, как они могут быть честны, искренни, благородны, просты, добры, деятельны... Пусть они запомнят хорошее движение своей природы и станут верить себе. Это очень важно.

1903. Школа, школа и школа. Новый уклад жизни, новых людей должна дать школа. Поэтому то, что необходимо настоящему человеку, должно быть намечено в детском и юношеском возрасте. К этому надо подойти со страшной осторожностью и пониманием. В деятельной, благородно-осмысленной жизни человек проявляет только лучшие стороны самого себя, а не то, что дают ему другие. Воспитание человека должно быть воспитанием его самостоятельности, и в этом стремлении не нужно останавливаться на полдороге. Ново, старо ли это, я не знаю, но думаю, нужно всех учеников вести так, чтобы они весь труд — и умственный и физический — выполняли сами. Нужно, чтобы они делали открытия, сами составляли те грамматики, арифметики и геометрии, которые ничего не дали нам в школе, кроме диплома и права поступить в университет. Нужно, чтобы уже дети создавали свою жизнь. С этой точки зрения, весь метод преподавания должен быть совершенно иной. И это нужно мне выработать. Но прежде чем идеи будут ясны, нельзя приниматься за дело.

1903. Я задыхаюсь; мне тесно. Мысль о возможности для меня настоящего дела уничтожает все те ничтожные перегородки, эгоистические и пошлые, по существу, привязывающие к обыденной жизни. Когда я подумо,

что у меня достанет сил достичь желаемого — увидеть вокруг себя свежие, здоровые человеческие вольные детские лица и знать, что я сберёг для их будущей жизни тот капитал, что в них заложен, душа делается радостно спокойна и ничего, ничего больше я в жизни для себя не хочу...

*

Вот что сохранилось в памяти от полутора десятка лет юной жизни. Можно по-разному оценивать изображённые здесь случаи. Взятые отдельно, они имеют несколько анекдотический характер, но в связанной массе они приобретают известное значение. Их можно рассматривать как педагогические явления, протекавшие в связи с определённой средой. И, естественно, подойти к мысли, что приведённые выше на первый взгляд невинные, а следовательно, и типичные случаи есть нечто иное, как реакция на среду. Гимназическая среда, весь уклад привычек, обычаев, правил, вся педагогика, так сказать, образовались не случайно под влиянием той группы учителей, которая руководит учениками и которая находится в тесной связи со всем укладом общественной и государственной жизни того времени. А время это было 88 — 96-е годы, время царствования Александра III и начала царствования Николая II. В маленьких замечаниях, относящихся к каждому году, мне приходилось говорить неоднократно о «русской» системе. Вот она-то, эта «русская» система, и царила в нашей гимназии. Как и в общественной жизни, так и в жизни детей она вызывала явления противоречивости, более или менее скрытого. Как там, так и здесь она окутывала живые существа мелочностью, мешанством, заставляя тратить массу усилий на пустяки. Но нужно было жить и нужно было учиться; это можно было сделать, употребив известную энергию на приспособление. Приспособиться в глазах ученика значило — изворачиваться, лицемерить, лгать, пользоваться слабыми сторонами власти. Не упражнение памяти, сообразительности, трудоспособности, интереса вызывала наша система, а упражнение в способах приспособляться. Система была внушительна и авторитетна только по внешности. Внутри она была слаба. И действительно, только опытный первокурсник был вполне ею покорён: уже со второго класса начинаются протесты, критика, возмущение

пока против отдельных личностей, восседавших на кафедрах, вооружённых журналами, баллами, правами карать и миловать. Само учение как-то ещё завлекает. Но уже в четвёртом классе четырнадцатилетние мальчики начинают томиться, скучать и испытывать огромное желание освободиться от малопонятного дела. И четвёртый год кончается страстными надеждами на свободу, которая начинается с пятого класса. Надежды начинают осуществляться, но своеобразным порядком.. Система терпит крах, она не в моде, она потеряла всякий внутренний авторитет и критикуется именно как система; расцветает разнообразная своя жизнь, она бьёт ключом, и два мира — мир молодёжи и мир системы — сталкиваются остро. В результате — разгром, «избиение младенцев» и тщательная фильтрация неприятных элементов.

Два последних года совсем другие. Здесь наблюдаются апатия, ослабление сил. Борьба предшествующих лет даром не прошла. Юность в глупине души презирает своих сильных противников. И вот всё больше и больше вырастают снова надежды на освобождение, на «настоящее» умение, настоящих людей — надежды больше, чем умения работать. Его, пожалуй, и совсем нет. Жизнь молодёжи становится пошлой, узкой, исполненной грубого цинизма. Её силы ушли на пустяки. Она и сама не знает, какой смысл был в этих ежедневных шести часах сидения в классах; не знают этого и сами их руководители. Есть одна реальная цель — получить аттестат зрелости, ибо он даёт права. Но ведь молодости нужна своя жизнь, она мечтает, она ищет, философствует, жадной группой окружает учителя, сумевшего сказать искреннее слово. Молодость жаждет найти себя, оценить свои силы, ей нужно примериться к жизни. Ничего этого нет в нашей «системе», и в недоумении, связанные общей целью обязанностей учиться и учиться, обе стороны дёргают её, тянут к себе и создают уродливые отношения и тратят большие запасы сил.

Какая-то в общем фантастическая жизнь, чуждая близкого, тёплого, ясно ощущаемого всяким живым существом реального биения вопросов и тревог каждого дня, каждого месяца, каждого возраста.

Кому нужно было это систематическое обессиливание, уничтожение ценных сил молодёжи? Часто говорят,

что буржуазная эпоха была умна, расчётлива, хорошо знала, что делала. Но наши картинки говорят обратное. Эта школа, которая должна была дать больших и маленьких столпов общества, была глупа и бездарна. Даже своего настоящего дела — подготовки нужных для тогдашнего строя своих людей — она не смогла выполнить, ибо на деле преобладали отрицательные реакции. Закон божий разрушал веру, история вызывала насмешки, трагическое выражение латиниста «Грызите грамматику!» уничтожало всякий смысл изучения классических языков. Мы выходили невеждами, не умевшими работать над своим делом, да и дела-то не знали. Всё это очень хорошо чувствовали и... топили учебники.

Но не одна «система» тут потерпела крушение: потерпел крушение самый принцип учения — подготовки. Мы не жили, а готовились. Мы привыкли готовиться, отрываться от реальных ценностей быющей в нас жизни. Мы упражнялись в этой подготовке систематически, постоянно. Всегда по этому и больше питались надеждами и погружались в фантазию, в призрачное дело, которого нельзя понять. Этот принцип и создал главную массу уродливостей и анекдотов. Педагогика, применявшаяся к нам, имела ясный, определённый метод: она действовала путём **з а м е щ е н и я** всего того богатого материала, который скопился у молодёжи, материалом своим, специальным, требующим работы лишь памяти и внимания. Материал этот не только замещал — он и оттеснял, сжимал то, что не могло и не должно быть сжатым. Отсюда колоссальное сопротивление, которое само по себе требовало энергии и истощало силы. Если нас никто не считал интересными, то мы сами себя считали таковыми. Мы становились самонадеянными и отучились работать.

Какая глупость — заставлять молодёжь тратить силы на пустяки!

Крепко засело в памяти юноши стремление искать выход. Он пока ищет, примеряется, оценивает. Искание превращается в тягостное блуждание по высшей школе. Но там вспыхивают новые проблески мысли, свежей, здоровой. Прошрое для него слишком ярко, мысль становится всё упорнее, и он начинает жаждать реальной работы с детьми.

Он помнит хорошо себя «маленьким».

этого положения, посмотрел вниз в партере пустое место и до конца оперы просидел там.

3. Летом занимался педагогической работой. Мой патрон, замоскворецкий купец, весьма настойчиво убеждал меня, что плата 20 рублей в месяц за занятия с двумя учениками очень хорошая, что его приказчики получают гораздо меньше.

Жил на даче около Москвы; часа четыре занимался, готовя своих учеников к осенним экзаменам, часенко выслушивал педагогические советы купца, настойчиво рекомендовавшего мне, если ученики не будут слушаться, не стесняясь дёргать их за уши. В работе с учениками у меня был единственный методический приём: предлагать самостоятельное решение новых задач в возможно большем количестве.

4. Первая лекция в университете. На кафедре стоит высокий красивый старик внушительного вида и важно, основательно поучает студентов: «Я очень рад, что вас собралось на мою лекцию много, но должен вас предупредить, что чем дальше мы с вами будем заниматься, тем больше ваши ряды будут пустеть, и к концу года останется лишь небольшая кучка слушателей. Это происходит перед моими глазами, как постоянное явление, ежегодно и объясняется тем, что студенты не работают, лекции не записывают и не составляют после них конспектов, а математика есть такой предмет, в котором отдельные части курса весьма тесно связаны друг с другом и если из общей цепи связей выпадает хоть одна, то понять курс в дальнейшем почти невозможно. Советую вам серьёзно заниматься, приступаю к изложению своего курса».

Я сидел, слушал почтенного профессора и внутренне усмехался про себя. «Неужели, — думал я, — есть такие студенты, которые поступают в университет и не работают? Вот уж я-то таким никогда не буду». К сожалению, на первой лекции у меня под руками не оказалось тетрадки, и возникновение, по крайней мере, первых связей я утратил навсегда.

5. Всё-таки я ещё борюсь и силуюсь понимать то, что говорится на лекциях. Сам записывать я не умею, так как слышу много совершенно незнакомых мне терминов.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(1896/1897 учебный год)

1. Я иду на математический факультет — трудно сказать, почему, — во-первых, потому, что я получил за последние два года круглое пять по математике, и, во-вторых, потому, что мне казалось, что карьера инженера является самой прибыльной, а для того, чтобы быть настоящим инженером, необходимо получить математическую подготовку. Но надо иметь в виду, что к концу восьмого года обучения в гимназии я ставил себе вопрос, который никак не мог решить, а именно — что такое алгебра?

2. Чрезвычайное удовольствие от студенческого мундира. Особенно сильно я заинтересован в том, чтобы попасть в новом студенческом облачении на открытие оперы в Большом театре. Билет у меня был на галёрку, но студенческий сюртук, заказанный в магазине, ещё не был готов. Вспоминаю, что у одного товарища летом была свадьба, на которую было сшито три студенческих мундира с золотым шитьём. Спешу на квартиру уже после того, как опера началась (я пытался проникнуть в театр в тужурке, но это было запрещено). Мать моего товарища вынесла мне три мундира, я скоро примерил один из них, насилиу застегнулся, нацепил шпагу и побежал в театр. В антракте в своём блестящем облачении хожу по коридору, а за мною толпы студентов и курсисток. Слышу их разговор: «Видели дурака?» Не вынес

Пытаюсь разговаривать с товарищами, знакомлюсь с тем, как другие записывают лекции, наконец, начинаю так же, как и многие, искать «курс», который, как мне передавали, был где-то, когда-то напечатан. Действительно, некоторые счастливицы имеют редкий экземпляр курса «Теория детерминантов». По-видимому, единственный способ не отстать от курса — это списать его для себя целиком. Очередь на списывание очень велика, и я должен сложить оружие в борьбе. Через две недели я констатирую свою отсталость.

6. Перед глазами проходят новые личности профессоров. Вот не большого роста, с розовым лицом, крашенной бородой и волосами Бугаёв. Про него студенты знали, что он является глубочайшим математиком, светилой науки и с этой стороны к нему чувствовалось большое почтение. Говорит он разное. Когда объясняет нам дифференциальные исчисления, то понять ничего нельзя, но изложение своего курса он пересыпает анекдотами, философскими заключениями, соображениями о том, как нужно играть в шахматы и что такое математика, и с этой стороны он нам кажется простым и доступным. У меня складывается такая привычка: понимать не понимаю, а на лекции хожу.

7. Маленького роста, подвижной, задорного вида Млодзеевский, внешне он чрезвычайно увлекателен и прекрасно говорит. Его увлечение и глубокая уверенность (которую он внушал всем), что его предмет является невероятно важным и интересным, привлекает большое внимание слушателей. У меня также обнаруживаются какие-то проблески понимания, чувствую, что он читает что-то хорошее.

Профессор этот был немного театрален. Однажды после начала лекции открывается дверь и входит быстрыми шагами опоздавший на лекцию студент. Млодзеевский прекращает чтение и, скрестивши руки на груди, поднявши голову, презрительно смотрит, как опоздавший, сначала храбро, затем всё более и более виновато, насилию доходит до своего места. Когда студент уселся, профессор снова продолжает свою лекцию. После конца лекции ему особо усердно аплодировали.

8. Химия заставляет меня вспоминать наш химический кабинет в гимназии, где рядом со спиралью

Румкорфа и электростатической машиной стояла большая бутылка с крепкой азотной кислотой. Эта бутылка иногда открывалась любознательными гимназистами, и мы нюхали, чем она пахнет, и после этого долго кашляли. Здесь было чрезвычайно интересно; на столах стояли разнообразные стеклянные сосуды; профессор с помощью услужливого ассистента производил с ними всевозможные манипуляции, в результате которых получались иногда довольно эффектные изменения. Скоро мы заметили в профессоре одну слабость: он любил оканчивать лекцию эффектно и сопровождал свой уход демонстрацией громких взрывов. Среди студентов довольно часто происходили такие разговоры: «Ты сегодня пойдёшь на химию?» — «А что?» — «Сегодня будут взрывы!».

9. Физику читал большой профессор, у него был ассистент, державшийся с большим достоинством. Про него студенты говорили, что он знает физику лучше, чем «сам». Я помню длительные приготовления для воспроизведения опытов Фуко, помню большую старую конструкции Аत्वудову машину, около которой нервничал профессор, а ассистент пожимал плечами. В общем, мне казалось, что университетская физика похожа на ту физику, которую мы проходили в гимназии, только там мы имели перед собой учебники с рисунками, а здесь очень много делается опытов.

10. Среди товарищей выделяется высокий, плотный, чёрный студент-математик. Он часто беседует с профессором; говорит громко, самоуверенно и объясняет студентам непонятные места курса. Я ему слегка завидую.

11. Жизнь свою поддерживаю уроками. Один из них был на краю города; приходилось ходить ежедневно вёрст за восемь и заниматься с тремя учениками за 25 рублей. По тогдашним временам это были блестящие условия.

12. Еду в старинной московской конке, которую было вообще довольно легко обогнать быстрыми шагами, в вагоне вижу знакомого студента-математика. «Ты куда едешь?» — «Я еду на урок». — «А чем ты занимаешься?» — «Английским языком». — «Да разве ты знаешь?» — «Нет, я и читать не умею». — «Ну, а как же ты занимаешься?» — «Да я английские слова читаю по-латыни; родители

учеников — купцы, не понимают, ну, а с учеников спрашиваю, чтобы они читали так, как я». — «А если узнают?» — «Пока ещё не узнали, а узнают, конечно, выгонят».

13. Обычная картина лекции через три месяца после начала. В большой аудитории, расположенной амфитеатром, в самом низу, около кафедр, сидит небольшая кучка студентов, которая внимательно следит за лекцией. За ними в верхних рядах студенты читают книги, романы, газеты. Ещё выше можно встретить студентов, спящих на лавках, играющих в шахматы и тихо разговаривающих друг с другом.

14. Год подходит к концу. Оглядываюсь на своё пребывание в университете. Начало показало мне, как слабо я был подготовлен. Я пришёл к убеждению, что взялся изучать такую науку, к которой у меня нет никакого интереса. А ведь математика была предметом, наиболее привлекавшим моё внимание в гимназии, в то время как ни от латинского, греческого или русского языка, ни от иностранных языков, ни от истории у меня не осталось импульсов для их дальнейшего изучения.

Как и многие студенты, начинаю знакомиться с тем, что делается на других факультетах; посещаю лекции юридического факультета, но статью юристом считаю для себя некоторого рода падением. Посещаю публичные лекции Тимирязева, Ключевского и даже рискую пойти в анатомический театр. Вид трупов, распластанных на столах, студенты, копошащиеся вокруг них, а также отвратительный запах навели на меня своего рода ужас, и я стал скептически относиться к работе медика.

Тем не менее, на что-то решиться надо.

15. Всё-таки я держу экзамены. Подыскиваю группу, студентов, с которыми можно было бы готовиться, и изучаю те пути, благодаря которым можно было бы выдержать экзамен без особых познаний. Математические книги я достал, начал их изучать, но для меня становится совершенно ясным, что срок слишком короток и что нужно как-то особенно изловчиться, чтобы получить хотя бы удовлетворительную отметку. Приглядываясь к своим товарищам, я заметил, что многие из них находятся в таком же положении, что для них вопрос о ловкости сдачи экзаменов играет гораздо большую роль, чем само знание предмета.

Письменные экзамены по начертательной геометрии у профессора Младзеевского были организованы студентами весьма остроумно. Все парты, на которых помещалось около 200 человек, были тесно сдвинуты, в середине была посажена группа студентов-математиков, которые должны были быстро решать задачи: для каждого студента были свои задачи, которые раздавались профессором. Профессор ходил кругом и никак не мог добраться до середины и разрушить наш штаб. Я так же, как и прочие, неподвижно сидел на одном месте, вычерчивал всевозможные кривые, не имеющие никакого смысла, и ждал, когда у меня появится нужный для меня листок. Часа через два он был у меня в руках и я, чётко переписав, сдал свои задачи профессору.

16. Каждый день на экзаменах повторялась одна и та же картина. Я махнул рукой и бросил экзамены, с отчаяния решив перейти на тот факультет, на который удастся. У меня был один знакомый профессор на медицинском факультете. Я его попросил написать бумажку декану, что он сдал охотно, и я перешёл на медицинский факультет, вычеркнув, таким образом, один год из своей университетской работы и твёрдо решив заниматься по-настоящему со следующего года.

17. Куда шло вообще моё время, которого у меня оставалось довольно много?...

В одно время с университетом я поступил в частную музыкальную школу, где занимался игрой на фортепьяно. В этой же музыкальной школе я стал обучаться и пению. В театр ходил чрезвычайно часто, посещая, главным образом, оперу.

Вопрос о средствах для существования стоял передо мною в это время весьма остро. Уроки были ненадёжные, так как постоянно появлялся какой-нибудь конкурент, который соглашался обучать моих учеников за более дешёвую плату, да и сам процесс репетиторства становился для меня всё более отвратительным...

18. Забастовки были довольно часты; признаюсь, я им радовался, так как этим оправдывалось моё ничегонеделание. Но забастовки интересовали меня больше как проявление смутного протеста и темперамента и мало возбуждали во мне желание разобрататься, в чём их суть. Помню, что меня неприятно поразило замечание одной замоскворецкой жительницы, мимо

которой я проходил после бурного митинга в университете. Женщина серdito на меня посмотрела и сказала: «забастовщик».

19. Несколько раз в неделю я посещал Румянцевский музей. Единственный интерес, который во мне прочно установился за время учения в гимназии, это страсть к книгам. Огромный зал, установленный книжными шкапами с невероятным количеством книг, атмосфера тишины и занятости, которые царили в библиотеке музея, тихие торжественные шаги и разговор шёпотом настраивали меня на самый серьёзный лад. Я уделял много времени изучению каталогов, выставленных в читальном зале, выбирал оттуда по названиям те книги, которые так или иначе могли меня заинтересовать, больше всего я выписывал книги по психологии, и, снабжённый целым рядом записок, я стоял и терпеливо дожидался пока их отыскивали и приносили мне. Затем, взяв с чувством большого удовлетворения всю эту огромную кучу книг, я раскладывал их перед собой на столе, вооружался карандашом и бумагой, читал, выписывал, чувствуя, что делаю какое-то своё дело.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(1897/1898 учебный год)

1. Все тягостные настроения первого года мною забыты. Теперь я начинаю работу со свежими силами, берусь за новое дело, буду заниматься, буду работать.

Студенты распределены по группам; в каждой группе по 8 человек. Моя группа занялась изучением остеологии. Мне казалось, что не стоит тратить так много времени на совместную работу, что гораздо лучше изучать скелет самому, а самая процедура занятий казалась мне чрезвычайно лёгкой. Тут всё было понятно; запоминать латинские названия по книге не представляло для меня никаких затруднений; держать в руках и разглядывать разнообразные человеческие кости, находить в них бороздки, отверстия, бугорки, гребни было очень легко и казалось мне слишком простым и недостаточным серьёзным делом. Таким образом, я предпочитал заниматься один и от группы несколько отстал.

2. Слушаю других профессоров. Конечно, лекции по физиологии и анатомии гораздо более понятны, чем

по математике. Всё, что говорили профессора, можно прочесть и в книжке, и, таким образом, дело обстояло совсем не так, как в предшествующем году. Теперь уже можно было не бояться пропустить лекцию, потому что догнать с книжкой в руках было довольно просто. На лекции также ходить было незачем, ведь дома можно прочесть книгу, да не одну, а несколько. Моё хождение в Румянцевский музей и страсть к чтению книг усилились.

3. С уроками я покончил, так как считал, что не имею никакого права оказывать плохого влияния на ребят, моих учеников. Я не хотел поддерживать ту же самую бессмысленную систему занятий, которая казалась мне отвратительной ещё во времена гимназического учения...

4. Чрезвычайно сильно пристрастился я к музыке; поступил в университетский хор и весьма часто, пользуясь правом ученика этого хора, бывал бесплатно на генеральных репетициях симфонических концертов, которые я посещал довольно усердно и слушал их очень внимательно. В этой деятельности мне всё нравилось — и дирижёр и оркестр, каждый из участников которого выполняет свою специальную роль, нравились орановки, которые делались на репетициях, указания дирижёра, огромный зал, возможность сосредоточиться; и, наконец, жадное стремление проникнуть в смысл музыкального творчества и выполнения привлекали меня с необычайной силой.

Если бы я не потратил так много времени на гимназическое учение, если бы я не должен был делать так, как все, т. е. после гимназии идти в университет, если бы у меня была подходящая музыкальная среда — я бы наверняка избрал музыку своей профессией.

В процессе восприятия музыки я старался музыкальные впечатления перенести на литературные образы, и, если это мне удавалось, я считал, что музыка даёт то, что нужно, т. е. даёт возможность более глубоко философствовать и представлять себе живую картину человеческой жизни, но музыку, как таковую, я тогда ещё недостаточно понимал.

5. Иногда приходилось бывать не только на репетициях, но и на симфонических концертах. Помню, какое

сильное впечатление получил я первый раз от огромного зала, залитого светом, от зрелища толпы, подчинённой одним и тем же переживаниям, от парадного вида эстрады, дирижёра, музыкантов и от гула рукоплесканий, которыми обычно сопровождалось каждое отделение программы. Была у меня тогда одна идея, которая несколько раз приходила мне в голову: встать у одной из колон, у входа, около тех ступеней, которые ведут в главный зал, выбрать момент, когда оркестр тихо играет и вся масса присутствующих напряжённо слушает, выбрать этот момент тихого захвата музыкальными переживаниями, вынуть револьвер и застрелиться.

6. У меня обнаружился голос, которым интересуются в музыкальной школе, и я мечтаю перейти из этой маленькой частной школы в консерваторию. Мой круг знакомых всё больше и больше расширяется, появляются новые знакомые, басы, баритоны, тенора, сопрано, контральто, которые ютились вокруг музыкальных школ и частных профессоров пения. Постановка голоса, разговоры об артистах, об особых приёмах тех или других учителей пения, о старом итальянце профессоре, который делал чудеса с голосами, захватывали меня...

7. От своей университетской группы я отстал, и мои редкие появления в ней сопровождались неприятным ощущением отчуждённости от общей работы группы, которая занималась довольно усердно. Я свои занятия откладывал всё дальше и дальше, видя некоторые препятствия, мешающие мне заниматься. Главным препятствием был некоторый тайный стыд перед товарищами за свою слабость. Я увидел, что не умею работать, не знаю, как взяться за дело, что если я начну заниматься вместе с другими, то быстро обнаружу своё неумение. Таким образом, работа с группой в данном положении была для меня исключена, и нужно было искать выхода только в самостоятельных занятиях.

8. До зачёта осталось три дня. Кажется, это был уже крайний срок, после которого никакие зачёты не принимаются. Таким образом, мои занятия на медицинском факультете подвергались весьма серьёзному риску. Я иду к профессору и спрашиваю его, когда он может принять от меня зачёт. Профессор, который меня ни разу на занятиях не видел, пожал плечами и сказал, что если

я хочу, то он может со мною поговорить в четверг (разговор происходил во вторник). Я сделал вид, что для меня это ничего не значит, и сейчас же отправился в остеологический кабинет с книгой в руках и начал заниматься. Меня охватило сильнейшее возбуждение; я вдруг почувствовал особое наслаждение от этих занятий в одиночестве, от сознания того, что я смогу сделать в два дня всё то, над чем мои товарищи работали так долго, что я смогу доказать, что я не отстал от группы, что с будущего полугодия возьму себя в руки и буду работать по-настоящему.

Приходил я на занятия в 8 часов утра и уходил в 10 вечера. В кабинете было темно; горела электрическая лампочка под синим колпаком; из студентов никого не было, так как все уже сдали свои зачёты; я сидел один и работал с большим воодушевлением. В день зачёта я сделал себе проверку и остался ею доволен; на все вопросы профессора ответил без ошибок. Не знаю, подозревал ли он мой трюк, но на прощание с удовольствием пожал мне руку. Таким образом, я всё-таки кончил полугодие с некоторой уверенностью в себе, но я не замечал того, что основным источником моего удовлетворения было то, что я стал, как все.

9. Эта мысль — «быть, как все» и «быть, не как все» — меня очень волновала. С одной стороны, я видел, что у меня всё идёт, не как у всех, отсюда и вытекают те тревоги и мучения, которые мне приходилось испытывать, с другой стороны, я никак не мог согласиться с тем, что мой удел быть, как все. Я сознавал отлично, что многие живут, работают и действуют с неизмеримо большим смыслом, чем я. Я признавал, что в моей деятельности, которая бросала меня от одних интересов к другим, которая сводила меня с самыми разнообразными людьми, в этой жизни нет той линии, которую я должен был бы проводить и проведением которой я бы удовлетворился. Всё это было так, но решение всех этих важных жизненных вопросов я постоянно откладывал на более дальний срок.

10. К занятиям по анатомии, к работе над трупами я уже приступил наравне со всеми и быстро вошёл в атмосферу дружной совместной работы. Группа подобралась очень живая, и всем хотелось отличаться;

осведомлялись о сроках, когда должна быть сделана та или другая часть работы, так как хотелось весь цикл занятий проделать весьма серьёзно. Для начала мы содрали с черепа нашего трупа всю кожу и тем самым привели в страшное негодование прозектора, который на нас весьма сильно рассердился и упрёкал в большой самонадеянности. После этого мы несколько притихли и стали более осторожны.

11. Гораздо более часто прибегали мы, пожалуй, к помощи служителя (оказавшегося большим знатоком анатомии), чем к помощи прозектора. В целом ряде технических случаев мы пользовались его советами, но в особенности помню один случай, когда мы работали над мускулами живота, и живот вдруг сразу опал и воздух из него со свистом вышел. Служитель пришёл со стеклянной трубкой, вставил её в отверстие, надул и завязал. Нам это тогда казалось верхом реализма. Под конец занятий мы получили для самостоятельных работ отдельные части туловища. Мне досталась нога; я ходил вместе со служителем в анатомический театр и упрашивал его выбрать мне ногу получше, что он и сделал за небольшое вознаграждение, и я, отделив мускулы весьма тщательно, испытал от этой работы настоящее артистическое удовлетворение. Сдать все зачёты не представляло для меня никаких затруднений. Я уже чувствовал, что вполне наладился и что овладеть этими областями науки будет для меня весьма легко и очень интересно.

12. Но это настроение продолжалось недолго. Я опять стал бывать на симфонических концертах, а вся работа университета, работа моей группы, слушание лекций, сдавание зачётов — всё это мне стало казаться опять тем, что делают все. Началась новая полоса отчуждения от университетов, и я всё с большей и большей силой ощущал стыд при встрече с товарищами. Бывали такие моменты, что если увидишь знакомого студента, который едет на конке, то предпочитаешь сойти с неё и идти пешком, лишь бы не услышать какого-либо вопроса, связанного с занятиями в университете.

13. Подошло время экзаменов. Держать их было в сущности легко. Нужно было прочесть ряд книг, гораздо более понятных по содержанию, чем математические книги, поработать главным образом памятью, а ко всему

этому выработать в себе некоторое искусство успешно участвовать в лотерее экзаменов. Некоторые из них прошли для меня благополучно.

Один из экзаменов остался у меня в памяти, а именно экзамен по ботанике. Профессор был с большими странностями, он предпочитал экзаменовать студентов ночью. Я пришёл к нему в два часа. В аудитории было совершенно темно; над столом экзаменатора горела электрическая лампочка. Профессор был несколько возбуждён, пил крепкий чай и мирно беседовал с очередным студентом. Простая обстановка домашнего уюта, непринуждённости мне весьма понравилась. На ближайших скамьях спали студенты, дождавшиеся своей очереди. Когда подошло их время отвечать, их будили, и они шли разговаривать с профессором. Так же как и другие, я подошёл к нему, выслушал несколько вопросов, на которые, по видимому, я затруднился ответить, и профессор за меня ответил сам. Поговорив со мной некоторое время, указав на то, что я сам несколько задерживаю ответы, а то можно было бы кончить экзамен раньше, он отпустил меня, поставив удовлетворительную отметку.

14. Конечно, держать экзамены я бросил в самой середине. Я решил, что всё, что здесь происходит, не отвечает моим запросам, что мне нужно вообще искать нового места для приложения своих сил. Для меня было очевидно, что переход ещё на один факультет будет сопряжён со значительными затруднениями, ибо это было вне всяких правил. Поэтому пришлось употребить максимум усилий и пустить в ход ходатайства нескольких моих университетских знакомых. Одним из самых важных было знакомство с канцелярскими работниками, имея которое я и наметил переход на естественный факультет. По совету моих покровителей я написал заявление ректору и в ответ получил предложение бросить Московский университет и перейти в какой-нибудь провинциальный. Соображения ректора о том, что столичный университет предьявляет ко мне требования больше, чем я могу выполнить, меня весьма оскорбили, но, в конце концов, вопрос разрешился для меня благоприятно, меня зачислили на первый курс естественного факультета... Была у меня в то время ещё одна мысль: ввиду того, что я весьма сильно запутался во всяких

жизненных делах и потерял значительную долю надежды на то, что из моей работы в университете что-нибудь выйдёт, попробовать сжечь все копию, бросить науку, бросить мечту о консерватории, бросить музыку и поступить в железнодорожные рабочие. Но это была только мысль, которая неоднократно приходила мне в голову, а осуществления своего она не получила.

15. Я встречался со студентами, так называемыми «обломками ко-раблекрушения». Многие из них прошли путь, подобный моему; многие ко-чевали с одного факультета на другой, стараясь и не умея приспособиться к новому укладу работы. Обнаружилось чрезвычайно много случайностей в выборе факультета, обнаружилось огромные недостатки, связанные с отсутствием рабочих навыков, которые не давались средней школой, и в общем у всех замечался упадок энергии и некоторое неверие в успешность нового периода своей работы.

16. Музыка и пение я всё-таки не бросил. Настойчиво толкаясь в двери консерватории, осенью я держал экзамен и был принят на стипендию в класс пения...

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

(1898/1899 учебный год)

1. Два года остались позади. Я не считал их для себя решающими. Жаль было, что они так прошли, но ни неудачные результаты прежней работы, ни моё тягостное состояние от неумения ориентироваться в университетской работе, в научных книгах, в распределении своего времени — всё это ни в коей мере не повлияло на возобновление давнишней надежды на настоящую работу.

К началу 3 года у меня даже образовалось два плана работы; с одной стороны, научная работа, с другой — артистическая. В это время я не только перешёл на естественный факультет, но и поступил в консерваторию в качестве ученика по классу пения профессора Мазетти.

Эти два плана были совершенно не согласованы друг с другом, они даже не связывались определённым образом с будущей деятельностью, а просто они удовлетворяли двум главным потребностям моего характера: выявлению себя со стороны артистической и со стороны научной. У меня было твёрдое решение и здесь и там

работать с максимальной интенсивностью, на что, как мне казалось, должно хватить и сил и времени.

2. Я присутствую на лекции профессора Мензбира «Введение в зоологию». Спокойный, ровный тон, глубокая уверенность в своём предмете, интересные и новые вопросы, которые поднимались им во время первой лекции, — всё это меня чрезвычайно заинтересовало, а главное, всё то, что говорилось на лекции, я мог понимать. Записывать я не записывал, но следить по книжке за тем, что говорилось на лекции, я мог вполне. В первые же дни, может быть и недели, я выработал в себе несколько приёмов работы, заключающихся в том, что известные части курса я прочитывал заранее. На моём столе появились естественнонаучные книги, из которых я предпочитал более толстые.

3. Меня поражает другой профессор — Тихомиров. Он на первом же курсе, собирая довольно значительную аудиторию, читал, как мы выражались, против Дарвина. С учением Дарвина я был знаком по любимой мною книжке «Жизнь растений» Тимирязева. О «Происхождении видов» я слышал и привык до некоторой степени считать дарвинизм научно доказанным. Но вот я вижу почтенного человека, который весьма решительно и чрезвычайно смело разбивает перед нами, студентами первого курса, теорию Дарвина с начала до конца; он приводит целый ряд фактов, которые, по его мнению, опровергают дарвинизм, и, говоря, он довольно часто указывает на те силы, которыми руководствуется человечество, и что не может быть объяснено наукой. В общем, среди нашей студенческой массы он большого успеха не имел; мы пожимали плечами и всё с большим и большим интересом прислушивались к тому, что говорил профессор Мензбир.

4. Всё, что меня интересовало и могло заинтересовать на естественном факультете, связывалось, главным образом, с именем профессора Тимирязева. Среди студентов было довольно сильно распространено мнение о том, что Тимирязев преследуется правительством за своё направление, за свою смелость, за пристрастие к Дарвину. На его лекции сходились громадное количество студентов, а так как он довольно часто болел, то поэто-му

сравнительно редкие его выступления были своего рода сенсациями.

Но я видел его и в более близкой обстановке. Он проводил так называемый демонстративный курс для студентов. Курс этот состоял в том, что вечерами в большом зале выставлялись до 50 столиков с микроскопами и при каждом микроскопе была лампа, освещавшая препарат по физиологии растений. Мы переходили от одного микроскопа к другому, Тимирязев тут же присутствовал, лично объяснял препараты, задавал вопросы, мы ему также задавали вопросы, и в то же самое время он вёл весьма живые разговоры, в которых оспаривал того или другого профессора, указывал в различной форме на то, с чем нельзя согласиться в его утверждениях.

Обстановка этих занятий производила на меня чрезвычайно сильное впечатление. Я чувствовал, что, с одной стороны, начинаю приближаться к пониманию сущности научной работы, а с другой стороны — на меня весьма сильно действовала и сама личность интересного для меня человека. Я представлял себе, что наступит когда-нибудь время, когда я пойду к нему, поговорю с ним по душе, объясню ему то, что меня тревожит в моей настоящей работе, и получу от него указания, как мне дальше вести свою работу, благодаря чему я, наконец, и встану на ноги. Но это были только проекты, а пока же я занимался скромным делом — изучением тех препаратов, которые были выставлены на демонстративном курсе.

5. То, что было связано с университетом, было для меня всё-таки ещё той областью, к которой я так или иначе должен был примениться, а в консерватории я чувствовал себя, как рыба в воде.

И профессор итальянец, про которого шли слухи, что он делает чудеса с голосами, и раздающиеся отовсюду, из всех комнат звуки голоса, скрипки, рояля, флейты, контрабаса были для меня чрезвычайно привлекательны. Простые, непринуждённые, полные экспрессии разговоры товарищей-певцов о голосе, о знаменитых артистах, о профессорах, об успехе среди публики, о выступлениях, о том, кому какую удаётся взять высокую ноту, — всё это для меня было такими переживаниями, в которых почти не участвовал мой рассудок; здесь нужно было не думать, а отдаваться этим впечатлениям, переживать их

и давать простор тем запросам, которые, как я ощущал, были чрезвычайно сильны.

Я не представлял себе, что могу быть серьёзным деятелем искусства; для меня всё то внешнее, чем жила окружающая среда, было главным влиянием, и пока вопросы личного успеха являлись самыми насущными. Таким образом, серьёзные жизненные задачи, связанные с университетом, весьма легко и просто смешались с личным отношением к искусству, которым я пропитывался в консерватории.

6. По странной случайности соединение этих двух элементов — науки и искусства я нашёл в лаборатории по гистологии.

Один из лаборантов в ней был тоже ученик консерватории — бас. Обращаясь к нему с целым рядом вопросов по работе над препаратами, я в то же время завёл с ним разговор, и весьма интересный, — о постановке голоса и о достоинствах того или другого профессора. В нём я видел пример возможности осуществления работы по двум планам — научному и художественному. Но насколько я мог убедиться из бесед с моим новым руководителем и товарищем по пению, вторая часть, т.е. художественная, имела для него большее значение, а на свою научную работу он смотрел как на заработок.

7. Возможности работы в лабораториях всё больше и больше расширялись; я чувствовал, что, с одной стороны, могу регулярно работать, а с другой — твёрдо руководствоваться своими планами. Я чувствовал, что становлюсь на ноги.

Первый мой дебют в химической лаборатории сопровождался довольно большими неприятностями. В особенности много забот и огорчений доставляло мне обращение со стеклянной посудой. Несколько пробирок, которые я взял впервые в свои руки, под лёгким давлением пальцев сейчас же лопнули; попытки очистить колбы при помощи ёршика оказались также весьма неудачными, а так как за всю битую посуду приходилось заплатить, то в первый месяц моей лабораторной работы я должен был внести из моей тощей кассы 4 р. 50 к.

Но все эти вопросы были довольно быстро приведены мною к благополучному концу, и я стал работать так же, как все, не чувствуя от этого никакой

неприятности; я так же стал сдавать зачёты, делать задачи по качественному и количественному анализу и стал чувствовать, что всё больше и больше вхожу в какой-то весьма сложный большой механизм научной работы.

Разумеется, все те приёмы, которыми я овладевал, были обычными рутинными приёмами, но я за них хватался потому, что они давали мне то ценное, в чём, я уже это чувствовал, я особенно нуждался: при их помощи я боролся со своей, ставшей для меня досадной, неустойчивостью в работе.

8. Стал я заниматься и литературным трудом. Одно какое-то жалкое издательство искало дешёвых сотрудников. В качестве приложения оно хотело издать серию романов в переводе с иностранного языка на русский. По рекомендации одного из студентов, моих приятелей, я получил от редакции весьма серьёзное и ответственное поручение: перевести на русский язык большой роман Золя «Мадлен Ферра». За эту работу я засел с величайшим воодушевлением. В общем, мне нужно было перевести около 30 печатных листов, за которые, как мы стоворились с редактором, я буду получать 10 рублей с листа. Все свои свободные часы я употреблял на этот перевод; словарь не сходил с моего стола. В начале дело подвигалось чрезвычайно медленно, но уже через неделю я заинтересовался как самим стилем изложения, так и способом литературного перевода, стремясь, чтобы он в полной мере отражал те настроения, которые переживались героями романа.

Иной раз мне приходилось не спать целые ночи, потому что я как-то не мог делать эту работу регулярно, механически, а мог её выполнять только тогда, когда чувствовал известный подъём, известное возбуждение интереса к этой работе. В конце концов у меня скопилась довольно толстая пачка заботливо переписанных мною бумаг...

Гордый сделанным мною подвигом, я направился в редакцию сдавать свою рукопись. Секретарь редакции прежде всего осведомился у меня о том, на что мне нужны деньги. Этот вопрос меня несколько озадачил. Затем он отвёл меня в сторону и сообщил, что дела издательства сейчас весьма плохи, что всё, что редакция может предложить мне за перевод этого романа, это

100 рублей. Я вознегодовал, но он меня успокоил тем, что, может быть, ему удастся выцарапать для меня ещё 20 рублей, причём посоветовал взять их как можно скорее, потому что возможно, что завтра будет уже поздно. Я должен признаться, что 100 рублей были для меня в то время суммой довольно крупной; я взял деньги, оставил рукопись в редакции и о её дальнейшей судьбе никаких сведений не имею.

9. Для меня стало вполне ясным, что больше давать уроки я ни в коем случае не могу. Во-первых, это слишком скучное дело; во-вторых, я настолько критически относился к себе и к своим педагогическим способностям, что считал нечестным при таких условиях чему-нибудь обучать моих учеников; в-третьих, я как-то начинал ощущать, что между тем, чему приходится учить моих учеников, и между тем, как и чему нужно их учить, существует очень большая разница. Довольно определённо помню свои настроения при мысли о том, что своими уроками, даванием их я поддерживаю всё то нелепое, с моей точки зрения, учение, которое происходит в средних школах.

В материальном отношении такое моё решение было чрезвычайно опротивевшим и доставило мне много огорчений.

10. Подошла волна забастовок. У меня уже образовалось скептическое отношение к студенческим волнениям и между мной и одним из моих приятелей студентов стали происходить весьма ожесточённые дебаты на тему о целесообразности забастовок, с одной стороны, и о важности культурной работы, с другой. Я считал, что всякое участие в этих политических волнениях для молодёжи — пустая трата времени и что было бы лучше, если бы она, желая действительно работать на пользу народа, брала от университета всё, что он может дать, и в дальнейшем претворяла бы в жизнь. Если же ставить вопрос так, как он ставился огромной массой студентов, то ясно, что они, волнуясь из-за политических причин, не замечали того, что у них не создаётся никакой подготовки для будущей общественной работы.

Эти споры вносили большое ожесточение в личные отношения, и благодаря этому я стоял несколько в стороне от студенческого движения.

Однажды все лекции были прекращены; студенты высыпали на улицу, на Моховую у манежа. В это время появился разъезд жандармов и пешей полиции. В толпу студентов энергично врывается студент в бобровой шинели и светло-синей студенческой фуражке; на лице его написано самое открытое негодование. Он мне был знаком и обратился ко мне с вопросом: «Что здесь происходит?» Его вид вызвал у меня какую-то гадливость, и я резко спросил его: «А вы что, студент или нет?» Он удивлённо поднял брови и посмотрел на меня с величайшим презрением.

11. Забастовка была в университете, а в консерватории занятия продолжались. В один из январских дней 1899 года мой профессор пения попросил меня остаться, чтобы помочь ему в разговоре с новой ученицей, которая, как ему говорили, имеет выдающийся голос.

В класс вошла, робко поглядывая на профессора, новая певица. Она начала петь; голос был действительно чудесный, свободный, приятный. Профессор расцветал от удовольствия и просил меня передать своё хорошее впечатление молодой певице, которая спросила меня с сомнением: «Что же, будет профессор со мной заниматься?» Мазетти засмеялся и ответил, что он будет заниматься много и серьёзно и что он надеется на очень большой успех. Это была Нежданова.

12. Я чувствую себя, несмотря на то, что работал по нескольким планам, на твёрдых ногах. Всё идёт у меня чрезвычайно удачно, и я даже стал чрезвычайно спокойно относиться к экзаменам, настолько спокойно, что выработал в себе несколько хороших правил для сдачи экзаменов. Правила эти состояли в том, чтобы по возможности меньше во время экзаменов быть в студенческой среде, слишком тревожной и волнующейся и тем самым действующей отрицательно на своё собственное состояние духа. Поэтому я вычислял возможно более точно время, когда мне нужно явиться к ответу, сдавал зачёт или свой очередной экзамен и сейчас же уходил.

Мои правила сослужили мне плохую службу в сдаче экзаменов по анатомии растений у Тимирязева. Когда я пришёл, точно вычислив время, то оказалось, что Тимирязев уже всех проэкзаменовал и ушёл к себе на квартиру. Несдача же экзамена означала оставление

на второй год. Я пошёл к Тимирязеву на квартиру. Он встретил меня чрезвычайно любезно, снял с меня пальто, повесил фуражку на гвоздь, попросил в кабинет и самым любезным тоном спросил, чем он может быть мне полезен. Его любезность привела меня в величайшее смущение. Мне было очень неприятно объяснить ему, что я пришёл только для разговора и указания причин, почему я не явился на экзамен.

Настроение профессора моментально изменилось, он вскочил с места, заходил по комнате и стал сердито упрекать меня за небрежность, за неправильное отношение к научной работе и в заключение сказал, что он сделать ничего не может. Я ему ответил, что неприятности от этого случая и сам переживаю в очень сильной степени и не могу упрекать себя больше, чем делает это он, но что в настоящее время суть дела в том, как выйти из этого положения, и вот за этим-то советом я к нему и пришёл. Он много успокоился и предложил мне сходить к декану факультета, от которого зависит самая возможность назначить для меня новый срок экзамена. «Хотя,— добавил он,— это вне всяких правил и является самым настоящим баловством». Тут он снова начал кипеть и осыпал меня упреками, но я твёрдо настаивал на том, чтобы он написал мне бумажку, в которой попросил оказать мне содействие. В конце концов, он это сделал, дал мне записку к декану. У декана повторилась почти та же самая сцена.

Он сказал, что даже если бы он и хотел, то сделать ничего не может, потому что на естественном факультете экзаменов по анатомии растений больше не предполагается. С его ответом мне опять пришлось идти к Тимирязеву. Он мне посоветовал идти к декану медицинского факультета и попросить его о том, чтобы на экзамене по ботанике, на котором должен быть ассистентом Тимирязев, мне было разрешено экзаменоваться по анатомии растений. Тут он мне сам предложил написать записку, в которой определённым тоном сообщал о сущности вопроса. Декан медицинского факультета прежде всего спросил меня, есть ли у меня личное письмо Тимирязева. Когда я ему его отдал, он сказал, что ничего не имеет против, но вся ответственность за это беззаконие падает на Тимирязева. Я не помню более приятного ощущения, как то, когда я сдавал этот экзамен

у Тимирязева. Это был не экзамен, а беседа двух научных специалистов, по крайней мере, так ставил дело он сам; он больше интересовался вопросом о том, как я оцениваю некоторые научные вопросы, связанные с этим курсом, чем допытывался о моих знаниях. Мы разговорились, и он обещал на следующий год дать мне возможность работать в лаборатории под его руководством.

13. Энергично готовлюсь я к экзамену по неорганической химии. В течение нескольких дней написал формулами все стены моей комнатухи на чердаке. Но, очевидно, со мною что-то случилось, потому что вечером накануне экзаменов я вдруг почувствовал, что у меня всё вылетело из головы, но так как я уже выработал для себя некоторые правила, то решил отложить всё в сторону и прозвезсти над собой эксперимент, заставить возобновить работоспособность своего мозга. Этот план или эксперимент состоялся в следующем: я решил пройти возможно более быстро десять тысяч шагов вокруг большой клумбы в палисаднике, что и выполнил. Эти десять тысяч шагов заняли у меня около двух часов. Освежённый физически, я вернулся в свою комнатуху и приступил к обсуждению моего положения. Так как я всё-таки не мог возобновить в своей памяти всех химических формул, то я решил напирать в своих ответах главным образом на сущность дела и поэтому при окончательной подготовке выделил как раз те билеты, в которых говорится об основных химических законах; деталями же я совершенно не занимался.

По счастливой случайности мне попался один из этих билетов. Весьма основательно и нарочно медленно я рассказал профессору содержание моего билета. Моя уверенность передалась ему, и он, поставив мне «весьма», отпустил меня с замечанием, что, очевидно, я настолько хорошо усвоил курс, что больше меня спрашивать не о чем. В душе же я был убеждён, что это далеко не так, что я пустил в ход своеобразный фокус.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

(1899/1900 учебный год)

1. С гораздо большей силой, чем раньше, я очутился во власти намеренных мною двух планов своей работы — художественного и научного. Из НИХ

художественная часть с самого начала года меня захватила заметно сильнее, но хаотическая среда, в которой приходилось осуществлять этот план, ставила передо мною весьма серьёзные новые жизненные вопросы, и я хотел бы более внимательно разобратсья в этом плане.

Основное, что двигало меня, это, разумеется, успех, успех на артистическом поприще. Главная надежда у меня, конечно, могла быть на голос. Я замечал, что не только у меня, но и у всех моих товарищей, обладавших различными голосами, и дурными и хорошими, была надежда на то, что всё это временно и случайно, что благодаря какому-то счастливому стечению обстоятельств, благодаря какому-то чуду наступит такой момент, когда откроется особенный, небывалый голос.

В этом великом соревновании я мечтал выйти на первое место. Я уже начал выступать публично. Одно из этих выступлений мне особенно памятно. Мы с моим товарищем басом решили попробовать наши силы в католической церкви и спеть на французском языке «Круцефикс» Фора. Дело было осенью, в церкви было довольно темно и холодно; пыльные хоры, организист в шубе, но блестящее освещение церкви внизу создали особый подъём у молодых артистов. Мой товарищ перед началом дуэта говорит мне: «Ну, я покажу им, как петь» — и затынул ремнём потуже живот, затем, поставивши палец перед грудью, начал изо всех сил первую фразу дуэта. Мне, конечно, нельзя было ему уступить и я, напрягши все силы, повторил его фразу возможно более громко. Следующую часть дуэта он пропел с ещё большим воодушевлением. Таким образом, чередуясь друг с другом, мы дошли до конца дуэта с таким напряжением своих сил и, очевидно, с таким эффектом, что даже заметно было, как публика стала на нас обёртываться; мы были чрезвычайно поражены таким успехом. «Ну, как?», — спросили мы по окончании дуэта организиста. Он ответил уклончиво, но лютбезно: «Очень хорошо, но только, пожалуй, слишком громко для церкви». То, что было громко, казалось нам верхом совершенства, и мы остались довольны своим выступлением.

2. Вообще, как мне казалось, успех культуры силы звука был наиболее сильным средством, побуждавшим молодых певцов заниматься. Часто перед началом

урока приходилось видеть, как певцы становились в гордую позу у рояля, тыкали в самые высокие ноты и старались доказать, что сила их голоса значительно превышает силу голоса товарищей. Басы брали ноты баритонов, баритоны — теноров, а тенорам уже приходилось действовать только в самых недостижимых для всех регистрах своего голоса. Надо отметить, что эта тенденция, ставка на силу наблюдалась главным образом среди певцов: певцы, по-видимому, были более озабочены приятностью голоса.

Наличие большого числа систем сильно затрудняло работу в области пения; заимствованные друг у друга разнообразные системы мы сразу применяли к себе. Кто доказывал, что звук нужно опираться на сильное сокращение диафрагмы, и тут же для этого рекомендовал соответствующие упражнения, к числу которых принадлежало и такое, довольно часто применявшееся: нужно было лечь на кровать, положить на живот пять-шесть кирпичей и медленно дышать. Другие системы рекомендовали набирать в лёгкие как можно больше воздуха и затем медленно его выпускать, считая шёлотом. Максимальный предел такого быстрого шёлота доходил до 250. Певец задыхался, лицо его краснело, но цифры быстро сыпались одна за другой. Была система, которая искала звуковую точку в голове. По их представлениям во время пения эта точка должна всё время звучать. Была система, которая абсолютно запрещала громкие звуки, и по её рецепту нужно было прежде всего уделять много времени на тихое произношение при заёмном дыхании слога *па: па, па, па*.

Одним словом, трудно даже перечислить все те рецепты, которые предлагались разнообразными профессорами пения. Многие из них говорили, что система, на которой они основывают свои правила, идёт от тако-го-то знаменитого певца, что эту тайну удалось сохранить единственно им, а каждый из нас, слыша друг от друга об этих системах, сейчас же применял их к себе. Ученики упражнялись весьма разнообразно, то тихо, то громко; то работали лёгкими изо всех сил, то, наоборот, задерживали дыхание, поджимали живот или искали точку в голове и, таким образом, переходили почти ежедневно от бурного восторга к мрачному отчаянию. То же было и со мною. К весьма большому моему

удивлению, учитель, у которого я занимался в консерватории, — Мазетти — ни о каких системах не говорил, а предлагал только побольше петь упорно, соблюдая точно музыкальную меру среднего голоса, без всякой форсировки звука. Это меня, а также многих моих товарищей, весьма тревожило, но певица, с которой я познакомился в прошлом году, — Нежданова — работала весьма скромно, добросовестно, не входила ни в какие разговоры относительно разнообразных систем и в то же время чрезвычайно быстро оказывала большие успехи.

3. Я удивлялся отсутствию какого бы то ни было стремления к развитию музыкального вкуса, музыкальной культуры среди многочисленных кадров певцов и певиц. Эта часть вообще была на заднем плане, и, по-видимому, в этом был огромный недостаток.

С тех пор, как я начал заниматься пением, моё стремление получать от музыки, как таковой, наслаждение, стало у меня в значительной степени ослабевать. Я проникаюсь весьма большой верой в своего учителя и месяца два работаю по его плану, обнаруживая некоторые успехи.

На одном из первых своих выступлений, на консерваторском вечере мой успех был констатирован всеми. Я пел тихо, не напрягаясь, ритмично, но когда подошёл к своему товарищу басу, с которым пел в католической церкви, то он отнёсся к моему способу пения весьма скептически; он мрачно заявил, что это верный путь потерять голос.

4. Параллельно шла и моя университетская работа, и параллельно шла упорная борьба двух планов. Я начал сознавать, что выполнение обоих одновременно будет для меня не по силам. С другой стороны, ясно чувствовал, что если в университетских работах я мог приучать себя к той регулярности в занятиях, в которой у меня чувствовался огромный недостаток, то в консерваторской работе всё это основательно разрушалось. Если в связи с университетом у меня являлась мысль о моей дальнейшей общественной деятельности, то в работе художественной передо мной стоял только успех и осуществление его во что бы то ни стало. Все мои эмоциональные запросы довольно полно удовлетворялись моими музыкальными занятиями, и когда я попадал в

консерваторию, когда выступал на вечере, слушал исполнение моих товарищей или ожесточённо спорил, как все другие, о преимуществах итальянской системы постановки голоса, я чувствовал себя легко и удовлетворённо. Но поскольку это возбуждение проходило, у меня опять возникла мысль о моей будущей работе и о том, что консерватория не научит меня работать и оттолкнёт от общественной работы будущего. Отсюда, наряду с внешним успехом в той или другой области, в обоих планах возникала очень большая унылость, борьба и искание выхода.

5. Через полгода я этот выход нашёл. Я решил проверить у своего профессора и директора консерватории Сафонова, который принимал большое участие в моей судьбе и весьма поощрял мою музыкальную деятельность, оценку моих способностей, поставив такой ультиматум, что могу остаться в консерватории только при условии, если мне будет дана стипендия (35 рублей в месяц), иначе я работать не смогу. Хотя я и занимался в консерватории бесплатно, тем не менее моя выходка весьма поразила моих покровителей и директора, который рассердился и сказал, что он не может поощрять капризы учеников. «В таком случае, — заявил я, — я должен уйти». Он сердито мне ответил: «Ну, и уходите, чёрт с вами». Профессор всё-таки уговаривал меня, указывая на то, что моё решение является не практическим и что голос мой — это капитал, который принесёт мне большую пользу. Но так как он не принял никаких шагов, чтобы принять мой ультиматум, то я прекратил работу в консерватории.

Надо отметить, что для меня самого многое в этом поступке было неясно. Я решил рискнуть и потерпел неудачу, сделал это так, что в буквальном смысле сжёг все корабли. Без сомнения, мною была проявлена истинная храбрость, бравата, гордость, но, насколько я помню, особенно гордиться мне было нечем, так как особенно ценных качеств в моём голосе не было, да я и не работал над тем, над чем нужно было работать, т. е. над своим серьёзным музыкальным образованием. Всё же бесспорно и то, что если бы я в это время не ушёл из консерватории, то, по всей вероятности, моя жизнь и дальнейший путь были бы совершенно иными.

6. Итак, я бросил консерваторию и стал искать работу в университете. Работа, которую я вёл так же, как остальные студенты, была по существу той минимальной работой, которую делали все, и если бы я оставался в этом положении, то для меня лично, в моих глазах, мой разрыв с консерваторией был бы совершенно не оправдан. Я отлично видел, что работу нужно искать не в обычных лабораториях, а в тех уголках научной деятельности, которые сосредоточились в научных кабинетах, руководимых профессорами.

В первую очередь я отправился к Тимирязеву, прося его дать мне возможность заниматься специально под его руководством. Он развёл руками и сказал: «Ну, знаете ли, у меня нет никакой лаборатории и никакой возможности получить её. Может быть, года через два-три что-нибудь из этого выйдет, но сейчас сделать абсолютно ничего не могу». Это было действительно так. Тогда я обратился к проф. Мароховцу, у которого была лаборатория (хотя весьма плохая) по физиологии человека. Профессор выслушал меня чрезвычайно любезно, похлопал по плечу и сказал: «Вы, коллега, совершенно напрасно торопитесь; сначала вы должны сдать курс физиологии человека, а затем уже, на четвёртом курсе, вы порабатаете в лаборатории. Вот так будет лучше». Я ему на это возразил, что это будет слишком короткий срок для работы и из неё ничего дельного не выйдет. «Чего же вы хотите?» — спросил он меня. «Я прошу вас позволить мне уже сейчас, не дожидаясь третьего курса, на котором вы будете читать свои лекции по физиологии человека, работать в вашей лаборатории, и если верно то, что я ничего не знаю, то позвольте мне мыть хотя бы тарелки. Во всяком случае, служителем-то я уж могу быть, а за это время я познакомлюсь со всем аппаратом вашей лаборатории и постепенно войду в курс вашей работы». Он весело засмеялся и сказал: «Но это, дорогой друг, полно чуждества: студент и вдруг служитель в лаборатории! Это, конечно, ни к чему не приведёт, потому что никогда от мытья наших тарелок никто не становился и не станет учёным, иначе все бы наши служители через пять-десять лет работы выходили бы в профессора, но этого не бывает; вы слишком недооцениваете научных знаний, и это, конечно, ваша ошибка».

Таким образом, и этот путь был для меня закрыт, и

оставался только один путь обычной студенческой работы, сдачи обязательного минимума — одним словом, всё толкало меня на то, чтобы «быть, как все».

После моего категорического шага в консерватории я должен был сам себе поставить гораздо более обширные задачи. Но для меня было очевидно, что по-настоящему добиваться того, чего мне хотелось, я совершенно не привык, и путь быстрых решений, всё равно, обоснованных или необоснованных, путь «сжигания кораблей» опять стоял передо мной. У меня опять с отчаяния возникла та же мысль, которая была и раньше: бросить университет и пойти куда-нибудь на работу.

Эти настроения, конечно, не могли не мешать обычному течению занятий. Я чувствовал себя среди своих товарищей каким-то «неприкаянным». Единственное, что можно было бы ещё осуществить, это проделать маленький курс занятий по анатомии растений у ассистента Тимирязева. Но курс был слишком краткий, чтобы я мог почувствовать от этого известное удовлетворение. Во всяком случае, хотя у меня под руками не было никакой работы, я всё-таки довольно часто встречался с Тимирязевым и был одним из немногих студентов, которые сидели у него на лекции в то время, как весь университет бастовал.

Как раз подошла очередная полоса забастовок. Однажды к нам на лекцию пришла группа студентов-депутатов и потребовала беседы с Тимирязевым. Депутаты сказали ему, что они пришли за советом. Дело в том, что большое число студентов было в это время арестовано, и они спрашивали у Тимирязева, как им быть, настаивать ли на дальнейшей забастовке в университете или кончить её. Тимирязев ответил, что самая главная работа — освободить товарищей. «Если вы думаете, что забастовка ухудшит их положение, то, конечно, надо её прекратить, если же дальнейшей забастовкой можно настоять на их освобождении, то тогда надо бастовать». Скажать же о том, что выйдет из всего этого, он не может, так как обстоятельство дела ему неизвестно. Так депутаты и ушли. Я помню, как мы стояли у окна и Тимирязев весь дрожал от негодования, когда увидел наскок казаков на студентов, перебегание толпы с одного тротуара на другой и группу студентов, отправившихся под конвоем полиции в манеж.

7. Сцена у Мароховца. В его кабинете накопилась масса студентов. Около стола небольшое пространство, по которому взад и вперед, ходит растрёпанный студент. Между ним и профессором происходит ожесточённый спор. Профессор призывает всех кончить забастовку. «Благодаря этой забастовке, — говорит он, — положение в университете, и не только в университете, но и в стране, становится всё хуже и хуже». Студент резко его прерывает: «Я считаю, что так и нужно, чтобы было хуже, потому что только тогда все поймут ясно, к чему приведёт самодержавный режим». Профессор входит в величайшее возбуждение, встаёт, ударяет кулаком по столу и весь красный, захлёбываясь, бросает в толпу бешеные фразы: «Ну, да, чем хуже, тем лучше, но вы знаете, что это такое? Это безумное учение анархистов. Вы хотите разрушить всю культуру, науку и на этом месте всеобщего разрушения построить какой-то фантастический мир неизвестного лучшего будущего. Неужели же за этими безумцами вы пойдёте? Нет, — обращается он к нам, — слова вашего товарища убеждают меня всё больше и больше в том, что по этому пути мы не должны идти, что мирное предложение занятий в университете есть главная наша обязанность».

Надо сказать, что в те времена такие слова, как: «долгой самодержавие», «позор убийцам, палачам» и т. д., — наводили панику на слушателей. Студенты смотрели на своих товарищей, которые дерзали на эти фразы, с известным уважением и с большой опаской. Слова студента наэлектризовали толпу, а он обратился к ней с предложением: «Довольно нам слушать этих жрецов науки. Наша обязанность, товарищи, — сейчас же прекратить все занятия в университете. Пойдёмте снимать с работы». В сильном возбуждении толпа бросилась за ним, и комната профессора опустела.

8. Это была только очередная полоса забастовок. Весной мы опять держали экзамены, и от моих поисков разумной научной работы не осталось почти ничего. Я действительно стал «как все» и научился целому ряду приёмов, которые дали мне возможность, почти ничего не делая, выдерживать экзамены и получать соответствующие отметки. Некоторые моменты были для меня

довольно серьёзными, например экзамен по физике. Среди студентов распространился слух о том, что профессор режет всех подряд. Я, верный своему обычаю приходить к моменту, когда наступает моя очередь, пришёл тогда, когда была названа моя фамилия, но так как я не был ориентирован, то решил пока не идти, а явиться позднее, что могло быть и плохо и хорошо.

По-видимому, здесь я ошибся, и когда медленно подошёл к профессору, то он, только что проваливши одного студента, сердито мне заметил: «Почему вы не являетесь вовремя?» Затем он посадил меня рядом с собой и предложил тянуть билет. Я почувствовал, что пропал, что он меня так же быстро, как и многих моих товарищей, срежет; нужно было искать средств к спасению, но их было очень немного, и, таким образом, положение моё было чрезвычайно критическим. Всё же я сделал попытку выйти из этого опасного положения. Я взял лист бумаги, но у меня под руками не оказалась карандаша. Профессор подозрительно меня опросил: «В чём дело, почему вы не готовитесь?» Я говорю, что у меня нет карандаша, и в то же самое время я заметил, что у ассистента профессора освободилось место и там лежит карандаш. Я решительно встал и перешёл к ассистенту. Сделано это было так быстро и так решительно, что профессор не решился вернуть меня назад, и я чувствовал себя в безопасности. Чтобы дальше прекратить всякую попытку профессора вернуть меня обратно, я сразу же заявил, что желаю отвечать совершенно без подготовки.

Ассистент скучным безразличным тоном стал меня спрашивать, стал задавать вопросы. Ответы мои были весьма осторожны и, видимо, не всем удовлетворяли моего минутного врага. Он решил перейти в наступление и задал мне вопрос, касавшийся, насколько я помню, опыта с интерференцией звука, о котором я весьма сбивчиво рассказал. «Таким образом, — спросил он, — получается некоторое усиление звука? Откуда же, по вашему мнению, получилось приращение энергии на это усиление?» Я был захвачен врасплох. Единственное средство, которое у меня оставалось, это перейти в контрнаступление. Я ему весьма хладнокровно отвечаю: «А если мы возьмём рупор и будем говорить в него, то для всех, кто слушает, будет казаться, что звук гораздо более сильный, чем если бы он производился обыкновенным голосом, без рупора. Что же, «по вашему мнению», здесь

тоже неизвестно, откуда получилось приращение звука?» Он изумлённо посмотрел на меня; очевидно, моя выходка его несколько озадачила, взялся за ручку и поставил мне удовлетворительную отметку. Я был спасён.

9. Неизмеримо хуже обстояло дело с минералогией. Когда я пришёл в минералогический кабинет, то увидел, что все мои товарищи по курсу сидят и занимаются довольно странным делом. Они разделились по двое: один студент держит список, а другой разглядывает кусок минерала и говорит его название, студент со списком проверяет верность ответа, затем роли меняются, и дело продолжается дальше в том же духе. Оказывается, студенты, сложившись вместе по 20 колеек, купили у служителя кабинета тот список минералов, который должен предьявляться на экзамене, а так как над каждым минералом есть свой номер, то способ определения их оказался довольно прост: выучить список с номерами и находить соответствующий номер на каждом куске минерала. Знающие товарищи говорили, что сам ответ на билет может быть и очень плох, но, в конце концов, профессор всегда предлагает определение минерала, и вот этот-то простой способ многих уже выручал. Видя, что здесь нужно было работать памятью, я приступил вместе с другими к этому простому изучению минералогии и быстро запомнил несколько десятков цифр.

Как прошёл сам экзамен — не помню. Очевидно, на нём я обнаружил своё полное невежество. Кое-какие обрывки сведений по геологии оказали мне некоторую службу. Геологией я интересовался, но всё же ответ мой был весьма неудачен, и я ждал обычного конца. Профессор, взяв какой-то кусок минерала, дал мне его и спросил: «Что это такое?» Я посмотрел на номер и быстро ответил: «Благородный опал», но, очевидно, номера мною были перепутаны, а, между прочим, этот минерал я мог бы определить и без всякого списка, это был самый простой кремень. Тут профессор предложил мне уйти и вслед прибавил: «Хороши студенты, даже простого, кремня и то не знают».

В общем, минералогия, кристаллография считались у нас второстепенными предметами; в аналогичном

положении со мной оказалась довольно большая группа студентов. Все мы отправились к профессору и объяснили ему, что у нас по всем другим предметам отметки вполне хорошие, и только по минералогии мы ещё не успели подготовиться и в будущем обещаемся своей недостатком восполнить. Профессор был человек очень добрый и согласился всем нам поставить удовлетворительные отметки.

10. По зоологии я выгащил билет, относительно содержания которого у меня не было никаких представлений, но там ассистентом был профессор, у которого я сдавал в своё время зачёты по анатомии человека. Он посмотрел на моё смущённое лицо и сказал: «Да что его спрашивать, он у меня по анатомии работал». Таким образом, мне поставили весьма удовлетворительную отметку, ни о чём меня не спрашивая; такому счастливому обороту дела я весьма удивился.

Единственно, что было для меня приятно, это беседа на экзамене по гистологии. Здесь я обнаружил большую заинтересованность и понимание дела. Мои занятия вместе с приятелем певцом из гистологической лаборатории, лекции Мензбира и несколько прочитанных мною книг, а также то, что у меня сохранились рисунки, сделанные мною лично, произвели весьма хорошее впечатление на экзаменатора, и меня быстро отпустили с миром.

1900-й год *

1. Я назыву настоящее время своей жизни трудным, тяжёлым, и эта тяжесть почти вся от себя, от своего отношения к людям и к делу, т. е. к тому, чем должно заниматься. Я вижу, что мои убеждения, которые у меня жились о братском любовном отношении ко всем людям, о необходимости принести им как можно больше пользы, а для этого делать то-то и то-то, так-то и так-то,— все эти убеждения заслоняются той жизнью, которую я веду.

Дело приобретения знаний, это единственное дело, которому я должен, по мнению всех, отдавать свои силы и способности, своей невыясненностью, своей безотчётностью и тем, что оно не затрагивает моих стремлений, лишает меня равновесия. До сих пор я, как в лесу, среди этих знаний, и дурно то, что я провожу почти

безразлично мимо результатов и целей деятельности человека. Может быть, это происходит оттого, что я придаю слишком большое значение душевной деятельности. В этой душевной деятельности я запутался до того, что начинаю уже хронически страдать. Это обстоятельство должно было бы убедить меня в том, что одностороннее отношение к жизни никогда не приводит к равновесию.

Я уже привык к рассматриванию душевной деятельности как своей, так и других. Для того чтобы обратиться к науке, мне нужно, чтобы хоть начало моих занятий наукой опиралось на какие-нибудь душевные стремления, а если не иметь объединяющей разумной цели, тогда мои занятия будут носить тот характер, какой они имеют теперь,— только сдать экзамен и перейти на следующий курс, т. е. будут носить в себе тот же самообман, с которым сталкиваешься на каждом шагу.

Я всегда нахожусь в таком положении, что всё делаю как-то не так, как это надо делать, или по крайней мере всё это не так просто у меня выходит, как у других. Касаясь искусства и науки, я могу пока говорить только слова, а настоящего дела я никогда за собой и не знал. Что же мне вечно быть дилетантом в жизни? Везде хватать только верхушки? Ведь это как раз то, над чем я всегда смеялся.

Недостаток школы, системы я всегда чувствовал, но я боюсь, что теперь сам с собой ничего не сделаю. Я пришёл к тому, что я пока гость в жизни, в искусстве, в науке, что дилетантизм — моё будущее.

2. Каждый человек считает себя в глубине души добрым, умным, способным к полезной деятельности, и только наиболее чуткие к себе думают, что они лишь могут быть добрыми и великодушными. Это напоминает мне состояние лени. Разве не может быть лени в жизни, в добре, в великодушии? Всякий говорит про себя: «Я теперь зол, сердит, но я могу быть и добрым, когда захочу» — и удивляется, что другие не понимают его доброты.

Слова красиво сказанной фразы — то же самое для языка, что красиво шитая одежда для тела. Мы любим употреблять чужое, слышанное или вычитанное; при условии некоторой безопасности мы даже любим всё это сказать так, чтобы приняли за своё. Самостоятельность

мысли и даже проявление воли идёт, уменьшаясь от низших классов к высшим.

3. Плыть по течению и знать, что тебе нужно ещё многое, чувствовать это многое — при этой мысли становится жаль самого себя и, с другой стороны, почти невозможно быть самим собой. Когда я нахожусь в обществе, то как бы тверды ни были мои убеждения в правильности моих мыслей, мне трудно высказать их. Часто бывает, что говоришь с одним, другим, третьим и не замечаешь, как начинаешь других осуждать, а себя хвалить. Появляется уже некоторая легкомысленность, поверхностность, недомыслие и бесцельность, которые так безобразны, когда их заметишь... Бывает очень тяжело, когда вдруг среди разговора почувствуешь свою грубость, в такой момент появляется желание скорей всё кончить и уйти к себе; быть собой в такие минуты — большое счастье.

4. Быть серьёзным, особенно в глазах других,— это ещё не так трудно, трудно и почти невозможно быть последовательным. Отбрось мысли о живой жизни, которая тебя окружает, отрекись от своего внутреннего мира, не считай важным ни дружбу, ни любовь, ни искренность, ни проявление добра на деле, скрой себя и будь тем, что предлагают люди, что они хотят видеть и знать, стань безусловным рабом науки — ты серьёзен. То, что я чувствую, что я человек и хочу видеть другого человека, хочу знать, что он такое, хочу выйти из тесной ограды моего тела, в котором заключено моё я, это наивно, легкомысленно, а разрезать клопа поперёк или сказать, сколько в нём ножек, глаз, волосков, объяснить, как он питается и чем кусает — это серьёзно.

Итак, плыви куда все и знай, что только тогда будешь иметь спокойствие и возможность быть самим собой, когда будешь походить на всех, но не на себя. Стань против, и лишишься не только своего спокойствия, но даже и жизни. Будь серьёзен, задумчив, молчалив и важен, когда про тебя так думают; делай то, что к тебе идёт, а идёт то, что видят другие. Если ты считаешь для себя что-либо важным, то можешь ошибиться; считайся с тем, в чём видят другие необходимость, важность для тебя. Помоги нищему — засмеют, не подай барышне стула — подвергнут осуждению.

5. У каждого человека есть своё, в чём всегда проявляется сила его воли. Она зависит от приведения в ясность какой-либо мысли, от полного проникновения, охватывания всего существа какой-нибудь идеей.

Это уплывание всех оттенков мысли, их обобщение, так сказать, ясность и создано ту уверенность в себе, которая обуславливает силу воли. Сила эта тогда жива, когда она деятельно проявляется.

Смолоду нас лишают этого свойства характера тем, что не сообразуются с нашими влечениями, да и не умеют их разобратить и заставляют нас делать, любить и считать хорошим то, что ими, т. е. воспитателями, усвоено по привычке, без признака свободного влечения. То, что лишают нас силы воли, это принуждение.

6. Я должен оправдать и для себя и для других своё кажущееся безделье, т. е. то, что я не еду на урок. Отчасти это нужно для того, чтобы у меня время не прошло бесследно, а также и потому, что мне надо заняться основательнее ботаникой, физикой, физиологией растений, животных; что же касается уроков, то надо приучить себя к мужеству не делать того, в чём не видишь настоящей пользы, а следовательно, и смысла.

7. Оказывается, я был прав, когда желал этим летом уйти от всех и заняться каким-либо физическим трудом, т. е. наняться в деревенские рабочие, пожить среди людей совершенно иного склада, увидеть другую сторону жизни и научиться кипеть в этой жизни. Быть может, тогда мне удалось бы стряхнуть с себя этот гнёт бессодержательности и бессвязности моей жизни.

Я не сделал этого по множеству мелких причин и ощущению часто неуволимому, а частью потому, что такая кругая мера перевоспитания и мне самому показалась странной, т. е. я по отношению к себе не мог отрешиться от точки зрения других людей. Теперь эта возможность прошла, и я опять остался самим собой, таким, которому слишком многого недостаёт.

У меня есть близкое мне дело, которое заключается во влиянии на моего ученика. Должно приобрести его доверие путём откровенности и искренности цели. Надо следить за тем, чтобы не истратил он своих молодых сил даром или не положил бы слишком много сил на негодное в жизни, надо помочь ему разрешить те

мучительные вопросы, которые так остры и полны отчаяния в отроческом возрасте, чтобы, указав ему его ошибки, не допустить его сделаться равнодушным к своей жизни, чтобы отвлечь его от нездоровых и бесцельных мечтаний и обратить к целесообразному делу — всё это представляется мне крайне важным потому, что я помню свои мечтания, отчаянность, грубость, нервность и слабость, помню, как я рвался от всего этого, как страдал.

8. Конечно, если бы люди были вполне всем довольны, чувствовали бы себя удовлетворёнными тем, что имеют, то тогда не было бы никакого движения вперёд, не было бы разнообразия и в общем было бы очень скучно. Мысли о борьбе, о препятствиях приходят мне почему-то в голову; независимость, отсутствие косности и чистота моего я — вот что меня увлекает и нет слова лучше свободы.

Я бы очень хотел знать мысли, идеи, цели человека с определённой и твёрдостью характера, которого не покидала бы мысль с целесообразности его действий, человека, строгого к себе и скромного по отношению к другим, словом, такого человека, которого я для себя называю живым человеком, и такого человека я не вижу. Есть лишь бесценности, сколки с других, с манерами, со словами, вообще с внешностью, и это — подавляющая узость и односторонность.

Вопросы жизни каждый должен решать по-своему, т. е. дойти до конечных возможных выводов и до того или другого отношения к людям, к жизни, обществу, растениям, животным, миру, вселенной самостоятельным и ясно переживаемым путём, и я, как ребёнок, весь в этих вопросах и чувствую, что если я не в этих вопросах, если я не ощущаю их присутствия, то я не живу живой жизнью, я тогда такой же манекен, какого я ненавижу в других.

1901-й год

1. Я не могу ни слова сказать против тех людей, которые жертвуют собой для идеи, как это делает, между прочим, Вера и многие такие же честные и прямолинейные люди. Я глубоко уважаю их за их тихий, никому не известный героизм, и это не только слова, а я действительно в этом убеждён, но, с другой стороны, я верю

в то, что это не единственный путь. Если бы мне теперь сказали, чтобы я пошёл на пропаганду, то я счёл бы это простым и лёгким разрешением задачи своей жизни, так как чувствую, что моя настоящая жизнь мне и не дорога и не нужна.

Но как страшно подумать, что мои желания, до сих пор наполнявшие меня, желания делать то дело, над которым я мучаюсь, мучаюсь за себя, за свои уклонения от него, чтобы эти желания могли прекратиться по властному, грубому окрику жандарма.

Я говорю себе, что наметил для себя своё дело, и пока не приду к убеждению, что его нельзя будет делать, до тех пор не сдамся ни на какие укоры. У меня нет охоты быть орудием в руках какого-нибудь, хотя бы самого благородного дела. Я не способен убить, у меня нет фанатизма, и, кроме того, я убеждён, что идти на смерть, в тюрьму, на вынужденное лишение всякой деятельности на всю жизнь можно лишь тогда, когда ни в чём другом не видишь выхода.

Себя я знаю, знаю, что не буду хвалиться тем, что нашёл своё дело в жизни, знаю, что буду страдать от сознания недостаточности тех усилий, которые я вложу в жизнь, знаю свою привычку к размышлению, хотя бы от этого страдало дело, привычку к философствованию, которое похоже на «обломовщину», знаю, чего бы я мог достичь и как это уходит от меня по моей непростительной небрежности.

Правда, будь у меня другой характер, я бы мог то же самое сделать гораздо скорее. А всё-таки верю страстно, неуверенно верю в жизнь.

1902-й год

1. Иногда я говорю себе, что я никогда не гожусь. Теперь я могу сказать, что не гожусь даже на то, чтобы выдержат экзамен.

Как это случилось?

Мне кажется, что прошлая неделя была для меня каким-то помешательством. Я вставал ежедневно в 5 часов, садился за книги и, насколько это было возможно, вспоминал то, что нужно было отвечать на экзамене, т. е. проделывал всё то, что делали, делают и будут делать тысячи студентов.

Правда, я прочёл не всё, и страниц 60 оставалось ещё на последние два дня. Утром, накануне экзаменов, я отправился посмотреть, как держит первая группа. Обычная растерянность товарищей, возбуждённые лица, ясно показывающие свой страх, любопытные расспросы тех, кто уже успел ответить — слишком знакомая картина.

Я вернулся домой и опять сел за «книги. Мне представилось, как завтра я весь буду обращён в одно желание — не выпянуть незнакомого билета, как буду дрожать при мысли о таком вопросе, на который я не сумею ответить, и как жалостно буду смотреть на экзаменатора, чтобы он помог.

Неужели всё это будет со мною?

Я лёг, и мне представился весь ужас моего положения.

Если я не буду держать экзамена, то пропали потраченные шесть лет, пропали уходящие годы, будут разговоры всяких моих знакомых, будут расспросы, сожаления, а с другой стороны, для меня было так ясно, что мой завтрашний экзамен — это стыд перед собой, и я не мог себя превозмочь; наступила такая страшная апатия, такое физическое ощущение пустоты, что я хотя и сел за книги, но скоро понял, что не могу уже ничего ни выучить, ни повторить.

Что же, пусть будет, что будет, но я не могу подвернуться унижению.

Я сейчас же пошёл стовориться об уроке, который мне предлагали. Поговорил, согласился, взял деньги, чтобы отдать долг за тот взнос, который я внёс за экзамен, и, таким образом, неожиданно очутился в деревне.

Итак, вот результаты шестилетней жизни самообразования, поисков, стремлений, надежд и самоуглубления. Ничтожная, нелепая жизнь! Моя беда в том, что я гибну, быть может, оттого, что подо мною нет опоры труда, нет любви к деятельной жизни, а есть только слова о труде и о жизни. Это очень просто и не особенно весело.

Ближайшее будущее намечается пока довольно определённо: летом буду учить детей и смотреть за ними, причём буду занят целый день.

2. Желание получить образование имеет две причины. Первая — это вопрос самолюбия, т. е. желание не быть ниже других в общепринятом смысле, в умении

схватывать фразы и иметь почти готовые ответы на них, иметь вообще необходимый запас различных сведений, чтобы вовремя и к стати их обнаружить.

Я говорю об этой стороне образованности, стороне житейской потому, что, как я наблюдал, это действительно так бывает в нашем обществе. Если не ставишь себе такой цели, то обнаруживаются некоторые недостатки, которые служат причиной отчуждения от общества. В самом деле, будучи в обществе, нельзя не стоять на уровне обычных или так называемых развитых людей; нельзя быть в обществе и считать, что почти всякое сказанное тобой слово только обнаруживает твою неразвитость и, пожалуй, даже вызывает лёгкоенисходительное отношение. Тогда лучше молчать или избегать общества. Самое простое, это постараться уяснить себе нужные общественные знания и приучиться их выражать более или менее громко...

Все разговоры о литературе, искусстве, музыке, философии, суждение о направлении того или другого писателя служат лишь для того, чтобы доставить удовольствие, наслаждение себе тем, что тебя слушают другие, тем, что и им даётся возможность сказать кое-что на ту же тему. Очень редко эти суждения оспариваются, потому что спорить не есть хороший тон; высказываемая в разговоре мысль вообще не имеет большого значения, главное — это высказывание своих житейских мыслей, умение слушать, соглашаться, пожалуй, возражать приятно, удобно для всех.

Что же касается до тех молодых кружков, где всё привлекает своей непринуждённостью, горячностью, страстностью, то мне кажется, что тут слишком много неодолимого увлечения не сутью обсуждаемого, а словами, и поэтому в таких горячих кружках именуют успех только более смелые в речи и, пожалуй, более беззаботные в смысле продуманности своих суждений; тут, мне кажется, гораздо больше словесного вдохновения и, пожалуй, искреннего переживания процесса своей речи, чем важного и серьёзного желания участвовать своей частицей в жизни кружка, хотя бы и на короткое время.

Сколько я ни бывал в такой среде, мне всегда после казалось, что я получил такое же ощущение, как от

быстрой ходьбы, т. е. разгорячился, устал и хочется скорее лечь спать и отдохнуть.

Поэтому мне кажется, что приобретение знаний, необходимых для общественной жизни в той её форме, о которой я уже говорил, не может служить серьёзной целью.

Вторая сторона приобретения знаний — удовлетворение законной потребности (доступной решительно всякому более или менее стареющемуся серьёзно относиться к жизни человека), заслуживающее всякого уважения и поддержки, это — стремление к выяснению своего места в жизни, её смысла и цели.

Значит, есть три стороны знаний: знание самого себя, своих способностей, особенностей, привычек; знание других людей и знание общих научных истин и законов.

3. У меня мало что выходит хорошего. Я не нашёл ни того захватывающего дела, ни тех указаний о моём настоящем деле, которые могли бы мне быть полезны.

Во всяком случае, не касаясь того, почему существует такая непослывательность в воспитании детей, скажу просто, что мои ученики растут сами по себе, ни очень хорошие, ни особенно дурные, но способные в любой момент поддаться всякому влиянию, и дурному в особенности.

Ничего нового мне моё занятие с детьми не даёт, а следовательно, я не нашёл того, что искал. Моё влияние на детей ограничивается лишь тем, что они имеют около себя ласковую няньку, начинающую принимать своё дело не так близко к сердцу, как бы это хотелось, начинающую скучать от того дела, важность которого была так ясна. Всё-таки у меня остаётся чувство чего-то нерешённого. Но чего же?

Передо мною стоит мучительный вопрос: какая деятельность, какое знание может захватить меня всецело? Такие не решённые, но важные для меня вопросы существуют всюду, и хотя я считаю свою личную жизнь довольно жалкой, она всё-таки мне мила и что-то побуждает меня стремиться к знанию, двигаться вперёд, искать чего-то, и нет даже особенной беды в том, когда страдаешь.

Давно не раскрывал своих книг, и даже не стыжусь безделья, мне только досадно, что не умею распределить

своего времени равномерно и не заниматься сразу несколькими книгами, не отрываясь к другому, как я это делаю, а понемногу и постоянно.

У меня не ладится дело с моими маленькими людьми, которые у меня на руках. Я никак не найду в себе того, что бы меня заставляло каждый миг видеть в них зарождающиеся жизни. Я не могу вложить в своё обращение с ними того глубокого интереса, который должен был бы проявить.

4. Мне кажется неправильным тот взгляд, что нужно искать такой деятельности, которая дала бы удовлетворение для себя. Человек, который хочет работать, не должен стремиться к удовлетворению, ему всегда должно казаться, что то, что он делает — недостаточно, вот только такое сознание полезно.

В самом деле, многие деятели так называемых либеральных профессий, как, например, деятельность земская, журналистская, писательская, врачебная, утешаются тем, что их работа имеет ярлык хорошего, полезного общественного дела, но думают ли они о том, как они делают своё дело, что они в него вкладывают? Необходимо думать о том, что сам делаешь, в чём проявляется твоя личность, а не заботиться только о том, чтобы на твою работу приклеивался ярлык хорошей деятельности.

Если бы я начал делать, говорить, объяснять что-нибудь или начал бы заниматься с моими учениками хотя бы по самой лучшей педагогической системе, так разве они поверят мне, разве принесёт детям пользу моё искусство, если они не почувствуют во мне горячего интереса к ним, не почувствуют, что я участвую в их жизни. Чем больше я обживаюсь, приглядываюсь к жизни моих хозяев, тем больше я убеждаюсь в буржуазном направлении этой семьи.

Всё же я немного приспособился к педагогическому делу, и меня очень огорчает моё неумение. Единственное, что мне остаётся, это стремление быть как можно ласковее с учениками, но пока с непривычки это утомительно. И как мало остаётся времени для занятий.

5. Сижу один и думаю о прошедших годах, о годах, когда впервые начал понимать смысл науки; поневоле задумываюсь о том, что произошло за это время. К сожалению, я должен признать, что знания мои очень

бесвязны и отрывочны. Самое большое, что я имею, это более или менее ясное понятие о содержании каждой из наук. Я не говорю уже о критическом к ним отношении, но даже элементарных познаний я имею чрезвычайное мало, а ведь всё-таки я занимался.

Ну, конечно, очень хорошо то, что я довольно ясно сознаю, чего мне не хватает и при некотором терпении смогу достигнуть желаемой высоты знаний, т. е. возможности их обобщить и направить твёрдо к определённой цели.

6. Я решил не заниматься чем попало и не получать деньги за такие занятия, в которых я сам не уверен. Но то, что я мог бы делать, как раз, по моему мнению, не может быть моим настоящим занятием, занятием оплачиваемым, так как у меня нет для этого ни достаточных знаний, ни опыта. Ни даже особенной любви к этому делу, а ведь дело влияния на ребёнка — это очень серьёзное дело, и в этом случае я обманывал бы и себя и семью. Ну, да как-нибудь справлюсь; надеюсь на будущее, на будущую серьёзную, ответственную и трудовую жизнь.

Через год кончу естественный факультет и, пожалуй, могу даже остаться при университете, могу заняться научной деятельностью. Хотя это и возможно, но с моим характером, с таким малым запасом знаний и с такой малой способностью к усидчивости очень трудно взяться за эту работу.

Делать же это дело надо так, чтобы и цель и место, которое ты занимаешь, были бы определённой практической деятельностью врача. Всё же надо бросить мысль о науке и заняться частной и часто неудачной попыткой приложения науки к жизни.

Быть чиновником, учителем — вот всё, что мне дают мои познания в практической жизни. Сюда же надо прибавить и занятия искусством. Об этом пока ещё мало думаю.

7. Уже долгое время я подвергал себя своему суду, или, вернее, осуждению.

В эти последние дни, когда приходилось уже подавать всякие бумаги и прошения, чтобы закончить университетскую жизнь, как-то невольно вспоминаются прошедшие — страшно подумать — шесть лет учения. Я

испугался того, как мало я знаю из всего того, что должен был знать, как я мало образован и, главное, как мало подготовлен и умственно и духовно к какой-либо деятельности. В особенности живо вспоминаю свою попытку самовоспитания и самообразования; я должен признать их порывистость и малорезультатность. Вспоминаю свою попытку действовать на других без достаточной уверенности в себе и без достаточных знаний. Всё это вышло как-то по-детски, робко, пожалуй, восторженно.

За всё это время, которое я могу назвать для себя подготовительным, я приобрёл привычек к делу, к мышлению, а только разве к настроению.

Что же это настроение мне дало? Как оно на мне отразилось? Что казалось мне великим, сжигающим всё негодное, направляющим все мои стремления к добру? Как оно воспитало во мне те свойства характера, которые могли бы не дать мне опуститься, как опускаются такие люди? Что я вынес из того, что признаю бессмысленность многих установлений формбуржуазной жизни? Что я вынес из отрицания банальной деятельности, которую я наблюдаю в обществе чиновников, служащих, торговцев, жандармов? Что я вынес из отвращения к пошлым разговорам о льготах, о наградах, о политике по газетным статьям, о пожарах и т. д. и т. д.? Какой след остался у меня из целого потока всевозможных исканий, слов, мечтаний, надежд, которыми я наполнял своё время?

Можно ли думать, что это обнаружится тогда, когда мне придётся встретиться с настоящим делом?

Почему же я до сих пор не мог найти этого дела?

Пока же я замечая только то, что я запутываюсь всё больше и больше в бессмысленности, и если дело пойдёт так дальше, то придёт время, когда у меня уже не станет сил сломить всю долголетнюю инертность.

Нужно искать выхода, и этот выход найден: уйти от этой жизни, бросить проторенную дорожку и попасть в такие условия, где бы стоящее дело стояло перед глазами, где бы шагу не мог ступить без труда, без работы, где бы мог увидеть людей, живущих своей рабочей жизнью, т. е. попросту говоря, уйти на известное время в рабоче, чтобы те блага, которые меня окружают, блага цивилизации, образованности издали показались бы в настоящем своём значении, чтобы научиться

пользоваться всеми этими благами и не отступать перед неудобствами жизни, которые всегда могут грозить тебе в подобных случаях.

Я ищу хотя бы маленького дела, но такого, которое по существу своему, если в него углубиться, могло бы дать удовлетворение. Я хочу научиться пониманию того, как отыскивать и находить цель и смысл в деле, хотя бы сравнительно ничтожном, потому что грандиозное, яркое, бьющее в глаза дело, ясное для всех, создающее известность, о чём мы все мечтаем, пока молоды, состоит из многих незначительных по размеру деятельностей.

Ведь не в том сила, чтобы захватить побольше, удовлетвориться известностью и в этой известности находить награду (а после, привыкнув, делать дело только ради этой самой славы), а в том, чтобы твёрдо, бескорыстно выполнять настоящее жизненное дело ради него самого.

Но справлюсь ли я с этим? Не ошибочно ли надеюсь на себя, когда считаю себя способным выполнить эту задачу, вопреки мнению всех, среди сожалений, вздохов, обещаний хорошего и удобного положения, среди пророчеств, что это добром не кончится и т. д.

Таким образом, моё положение — это сознание дурно направленной воли, неумение работать, непоследовательность моей жизни, сожаление, быть может, позднее, о даром потраченных годах и слабая уверенность в своих силах.



НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда проходит много лет жизненной работы, чувствуется глубокая потребность отойти от неё, оглядеться, посмотреть и проверить её в своих мыслях. Я должен признать, что мне выпало на долю великое счастье участвовать в свежем педагогическом деле, сильно захватившем всех его участников, проторившем собственную тропу в педагогике. Оно началось в эпоху первого сдвига русской жизни, началось как будто случайно. Много таких случайностей было во все последующее время. И они часто прежде казались такими. Но теперь я вижу, что это были только кажущиеся случайности и что в действительности во всей работе, со всем её разнообразием, мечтами, самообольщением, неудачами и успехами, была определённая линия, была некая закономерность, быть может, только ощущаемая, а не познаваемая, которая вела её от одного этапа к другому, развивая и укрепляя то верное, что было нащупано вначале педагогическим инстинктом.

Мечтой моей юности было создание детского царства. Тяжкие психические раны, которые нанесены были моей жизни бесплодными годами учения в средней и высшей школе, вызывали протест, который претворился в искание выхода. И этим выходом были дети, их звонкие голоса и кипящее движение. Протест поддерживался инстинктом; из инстинкта выросла педагогическая мысль, оформившая направление работы.

Перед глазами прошло много педагогических явлений, фактов. В сознании они текут в тесной связи, зависимости друг от друга. Тысячи детских темпераментов, сотни взрослых, работавших с ними, отложились в памяти; передаваемые словесно и отмеченные в многочисленных записях, они создают огромное собрание человеческих документов, требующих большой работы над ними.

Работа над ними приводит к пониманию эволюции педагогического дела — самой важной идее, которая должна быть понята педагогом.

Эволюция работы и искание форм, путей, методов, связи, причин и следствий педагогических явлений тесно спаяны друг с другом. Мне кажется глубоко ненормальной, не соответствующей духу дела и его сути обычная консервативность педагогической деятельности. Она, как и дети, должна быть живой, деятельной, переходящей от одной формы к другой, движущейся, ищущей. Поэтому пусть она ошибается, пусть постоянно стоит «на пути», пусть будет сложна и трудна — лишь бы жила и двигалась.

Цель этой книги, первая часть которой печатается сейчас, — изображение цельного педагогического процесса, для чего даются только материалы, сопровождаемые сильным анализом.

Работа эта прежде всего нужна самому себе. Но мне кажется, что для педагога может быть безынтесна картина постепенного развёртывания педагогического опыта, идей и тех условий, среди которых они создавались и направлялись. Если читатель найдёт в этой книге нечто простое, знакомое, если он, следя за радостями и неудачами небольшого сравнительно кружка педагогов, сумевших в тяжких условиях русского быта удержать свои идейные позиции молодости, найдёт для себя некоторую опору для своего нелёгкого труда, — то цель можно считать вполне достигнутой.

Содействовать развитию ума

И любоваться радостей расцветом,

Следить, как ты знакомишься сама

С диковинным неведомым предметом,

И видеть, как растёшь ты, — счастье в этом.

(*Байрон, «Чайльд Гарольд»*)

Кн. III, CXVII.)

ВМЕСТО НАЧАЛА

— Вот что я решил: у меня есть хороший урок на лето — заниматься с двумя мальчиками, свободно, как хочу и чем хочу. Я уже согласился, потому что так жить мне очень трудно. Но теперь я хочу отказаться ехать в деревню и жить с вашими ребятами. Вся эта жизнь — и учение и возня с уроками — мне надоела... Я что-то всё тяну, чего-то жду... Мне нужно раз навсегда отрезать и начать работать по-своему.

Устиныч (А. У. Зеленко) молчит.

— Ну, что вы скажете?

— Позвольте мне задать вопрос... Вы хорошо обдумали? Я хочу быть откровенным и потому выскажу вам своё опасение: в вас, насколько я мог приглядеться, есть некоторая доля барства (я не уверен, это мне только кажется), и вы, пожалуй, станете тяготиться чёрной работой и бросите. А это будет и мне и вам тяжело. Не правда ли? Я по себе знаю...

Меня эти слова несколько задевают, но стараюсь быть сдержанным.

— Мне кажется, вы очень ошибаетесь. Я, конечно, не знаю, на что пригожусь, но я так давно думаю о детях, и мне так завидно стало, что новая работа начнётся без меня, что я окончательно...

— Вы-то окончательно сейчас, а после (вы не обидитесь на меня?) станете каяться, что всё идёт не так, как вам это представлялось. Вы спросите, а как же я сам? Но мне-то уже всё равно — я так много рисковал, что сейчас меня ничто не пугает; у вас вся жизнь пойдёт по-другому, и из-за меня, и в этом случае я боюсь, боюсь ответственности за чужую жизнь.

— Полагаю, всё-таки, что это уж моя забота — отвечать за себя.

— Ну, вот вы и обиделись. Давайте так сделаем: вы знаете Луизу Карловну — она человек трезвый и спокойный. Если она посоветует вам взяться за это дело, тогда и мне будет легче. Она в курсе всех моих затей. Сделаем так... Ладно?

— Хорошо, я говорю.

Я ушёл от Устиныча очень разочарованный в нём, в том, что он не понял моего порыва и моей «жертвы». Я досадовал на себя, и самолюбие моё было сильно задето: меня оценили не сразу. Хотелось бросить всё, махнуть рукой. Но, остыв немного, в тот же вечер я направился к Л. К., которая постаралась отнестись ко мне много проще Устиныча и внушила мне даже некоторую уверенность, что я не так уж плох и что дело может пойти, если только не мешать себя лишними иллюзиями.

Дело, о котором шла речь, было такое.

Устиныч предполагал прожить с кучкой ребят всё лето на даче и начать создавать с ними нечто вроде республики по американскому образцу. Будущий товарищ мой и приятель только что вернулся из Америки, усвоив себе «американский стиль» и облик. Наклонность к пионерству и подвижность в нём всегда были. Дело стояло только за кружком людей, который мог бы с ним вместе взяться за новую работу. Всё, что им говорилось по этому поводу, правда, не было сколько-нибудь определённо. Был намечен только первый шаг. Но свежест и привлекательность подхода к детям были заманчивы, в особенности для того тоскующего российского студента, которым был я в то время. Я искал выхода в реальном деле. Не нужно было и ясного плана. Нужно только начать жить, а там сама жизнь укажет, что делать.

Всегда прекрасно начинать новую жизнь и с самого начала. Поэтому, вероятно, есть так много привлекательного в робинзонаде — этой вечной идее освежения жизни. Мы оба попали в полосу стремления к примитивной обстановке, радовались на себя и щеголяли тем, что у нас ничего нет — ни денег, ни квартиры, ни посуды, ни мебели, ни даже приличной одежды. В особенности весело было, что на двоих имеются одни выходные штаны, купленные к тому же на Сухаревке.

Хорошо было и то, что в старой, полуразрушенной даче, где мы хотели перевернуть новую страницу педагогики, стояла одна кровать, не было ни стола, ни стула, но зато был старый камин, который страшно дымил. И с наслаждением товарищ мой (архитектор) полез на крышу чистить трубу своими средствами. С особым удовольствием мы разводили огонь, ложились на полу, подвешивали чайник на проволоке и бесконечно пили чай с клюквенным экстрактом вместо лимона — самым вкусным напитком, который мне когда-либо прежде доводилось пить. Так же бесконечно, до позднего вечера, до тяжести в глазах, мы мечтали и строили планы будущего и разрушали настоящее. 27-летний студент и 33-летний архитектор были сами, как мальчики.

Теперь, через много лет, вспоминая тогдашние свои настроения, я определённо вижу, что в тех первых мыслях, в тех первых шагах были заложены все основы дальнейшей работы, так сильно углубившейся и развившейся с той поры. В первых настроениях закладывался фундамент развитых последствий идеи. Не случайным мне кажется совпадение задора нашего с общим трепетом жизни 1905 года.

Тому, как идёт начало, я придаю огромное значение. Как бы трудно, как бы неудачно оно ни было, всё же в нём всегда развиваются корни будущей работы. Это сейчас, когда перед глазами проходит 15 лет дела, мне особенно ясно. К этой идее мне ещё придётся вернуться и, вероятно, не один раз.

Теперь же отмечу те мысли, которые обсуждали мы весной 1905 года в старом, заброшенном и пустом доме под Москвой в любимое время вечера: него чая, размешивая сахар деревянными палочками вместо ложек.

Не надо никакой предвзятости — начнём попросту жить и будем вводить в эту жизнь то, что лучше всего создаёт живую детскую атмосферу, будем считаться только с тем, что мы увидим, а не с тем, что мы придумаем. Мы не должны быть связаны, мы должны построить детское дело, внимательно следя за жизнью. У детей нет предрассудков, они — настоящие творцы, полные верных инстинктов, чувств и мыслей, они лишены традиций, их подвижность и оригинальность — наши главные помощники; размыров той помощи, которую окажут нам дети, нельзя достаточно оценить.

Дети во всём свете одинаковы — везде у них нечто своё, детское, они очень общественны и чрезвычайно быстро ассимилируются друг с другом. На всём свете и во всех странах у детей масса общих игр, занятий, привычек; русские ребята в Америке — настоящие маленькие американцы. Поэтому надо держаться только того, что является общим для всех детей; так же общие основы только и могут дать настоящую постановку детской жизни.

У нас дети должны почувствовать себя маленькими распорядителями своей общей жизни; наша колония — это детский кружок, который сам для себя создаёт законы. У каждого из нас, взрослых, есть воспоминания о совместных предприятиях, шайках, играх, кружках. Мы всегда собирались вместе подальше от взрослых и сами устраивали свою жизнь и всегда делили из этого тайну. Теперь нам надо так устроить, чтобы все эти «тайны» были самым законным делом. Только это и дорого. Дети не могут жить нормально вне свободного общества детей. Нужно дать им возможность создать своё общество. Самое главное у детей — их общественные инстинкты.

Мы — товарищи детей. Мы должны делать всё, что делают дети, и не должны цепляться за свой авторитет, чтобы не подавить ребят. Мы должны самым точным образом подчиняться всем правилам, которые вырабатывают дети. Чем больше они будут видеть в нас участников их жизни, ревностно исполняющих общие обязанности, тем лучше. Пусть они за нами замечают все промахи наши, тогда мы легче сойдёмся с ними и добьёмся искренних отношений.

Дети гораздо серьезнее, интереснее и умнее, чем мы предполагаем. Итак, поменьше готового: пусть дети

изобретают, добиваются и ошибаются, мы будем им помогать, лишь бы только они побольше проявляли инициативы и интереса.

Мы оба вспоминали свою детскую жизнь — свои шалости, игры, споры с родными, борьбу со школой, и всё более и более проникались уверенностью, что все обычные воззрения на детей должны быть перевёрнуты. Нас радовало, что перед нами действительно новое дело. В этих беседах прошло несколько дней, самых милых и интересных, какие я только помню.

Но долго мечтать нельзя было. Время шло. Приближалась половина мая. Скоро должны были приехать дети, а у нас ничего ещё нет, да и сами-то мы не готовы, не попробовали сами той жизни, которую хотели вести. А в этой жизни, конечно, хорошо помечтать, но есть в ней и трезвое дело — поддержание жизни своими силами.

Начнём с кухни. Надо попробовать сварить обед — хотя бы простые щи.

Так как у обоих пионеров практических навыков в этом деле не было, то пришлось больше полагаться на логику.

Мы берём эмалированную кастрюлю. Она ставится на два кирпича. Под неё чашка со спиртом. Ведро с водой и умывальный таз на табуретке под руками.

— А вот что: нужно мыть капусту?

— По-моему — нет: а то она потеряет кислоту...

— Нет, так нет. А сколько её класть?

— Да сколько... Кладите половину кастрюли. Я думаю сварить щи погуще.

— Мясо мыть?

— Ну, конечно.

— Посолить воду сейчас надо?

— Да, да, только когда — не знаю: теперь или после, когда вскипит?

— Думаю, сейчас лучше: и мясо, и капуста, кажется, варятся в солёной воде.

— Ладно, только давайте солить не много, а там будем пробовать.

Всё делается не без тайной, хотя и скрываемой робости. Каждый из нас имеет в душе всё-таки смутное опасение за исход дела, но никто не подаёт виду. Прошёл час.

— Ну, как дела?

— Как будто положили капусту много...

— А что?

— Лезет из кастрюли...

— Как лезет?

— Разбухла.

— Так вот что... снимайте ложкой, а потом мы её поджарим с маслом и луком. И выйдет у нас отличная солянка.

Я удивляюсь опытности и находчивости товарища и начинаю выбирать разбухшую капусту.

— Всё-таки очень много положили.

— Да, сразу не угадаешь.

Мы весело хохочем над собой.

— Слушайте, она что-то давно кипит, может, уварилась?

Я пробую: совсем сырая.

— Ну, а мясо как?

— Что-то ещё жёсткое.

— Надо подлить спирту.

Проходит ещё час.

— Знаете что? Мне хочется есть...

Ну, как же быть? (Я почти уверен, что обеда нам не сварить.)

Товарищ идёт прямо к цели:

— Что-то наша с вами кухонная логика хромает. Давайте лучше закажем яичницу с хлебом.

И кастрюля с полусырыми щами отставлена, мы бьём яйца, распускаем масло и скоро принимаемся за еду. А щип нам доварили в сторожке.

Итак, практика жизни сразу показала своё досадное лицо. Пионеры сошли свою неудачу маленькой случайностью, которая, впрочем, и действовала как своего рода предостережение: у знакомых была взята поваренная книга, и два-три дня мы оба в Москве усердно посещали кухни знакомых (что даже вошло у нас в обычай) и держали советы с практическими людьми. Продолжать опыты самообучения показалось скучным, и мы оба отложили дело до приезда детей, с которыми вместе станут преодолеваться все практические трудности общежития. «В наши планы,— утешали мы себя,— не входит предоставление детям всего готового, во всяком случае, мы обойдёмся без кухарки, и неудачи при варке пищи возместятся интересом живой работы и свободной жизни».

Один из московских приютов соглашался отпустить к нам на лето несколько мальчиков. Мы были предупреждены попечителем, высоким, худым стариком — местным домовладельцем, что дети очень озорные.

— И как вы с ними справитесь, уже не знаю. Сладу с ними нет: в приюте все с ними с ног сбилось. Ещё хорошо хоть то, что я им даю острастку, учу их, ну, и бояться всё-таки. Положим,— прибавил он,— у нас всё больше бабё с ними занимается, да рядом живут старухи-богадельки — они, конечно, справиться не могут. Тут нужна мужская рука да пруттик, тогда дело и пойдёт. Берите их хоть совсем, и нас бы освободили, а мы станем брать девочек — с ними попроще.

Как-никак, а «система» была обрисована попечителем очень ярко.

— Вы, батюшка, сходите туда, сами посмотрите: может, и не возьмём наших сорванцов. Свой-то глаз вернее, обманывать вас не буду. Да, кстати, вы ведь понимаете по строительной части: одна стена там мокра, и зимой и летом от неё «прозябание» идёт, так может что и посоветуете, потрудитесь для доброго дела.

От старика мы пошли в приют с «прозябанием».

В низком месте, среди зловонных немощёных закоулков с узкими мурёными проходами, рядом с большой лужей стояло одноэтажное старое здание. Два-три старухи-богадельки, низко кланяясь, со смиренным любопытством указали нам, куда идти. Нас ждали. Мы вошли в комнату мальчиков. В ней было душно, окна закрыты, и на всём — на стенах, вещах и лицах — лежал общий серый тон не то от скрытой скуки, не то от света, проходившего сквозь запылённые и грязные окна. Пол был вымыт, и, видимо, в комнате прибрали до нас; тем не менее казалось, что всё было покрыто неистребимым слоем пыли.

У каждой наскоро прибранной кровати стояли мальчики в одинаковых серых заплатанных штанах и куртках — наши будущие товарищи. Тут же находилась и заведующая приютом, не старая ещё особа с измученным лицом и торопливыми движениями. На нас она глядела с некоторой опаской.

Мы преувеличенно весело подошли к ребятам и стали здороваться. Неуверенно поглядывая на заведующую, подали нам дети свои руки.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте... Тебя как зовут? А тебя?... Ишь, какой здоровый... Ну, как живёте?

— Хорошо,— осторожно поглядывая на заведующую, ответил кто-то из ребят.

— Что же вы делаете?

— А ничего, вот платье зашиваем, уроки учим.

— Часто играете?

— Нет. Нам тут нельзя, мы балуемся. Вчера Колька целый день в чулане просидел.

— Почему?

— У старух окно камнем разбил, вот ему и попало...

Ребята заискивающе смеются, видимо не зная, как мы отнесёмся и к шалостям и к наказанию. Меня поразила их речь — унылая, тихая, сквозь зубы, с почти неподвижным ртом.

— Давайте-ка,— говорит мой товарищ,— поговорим с вами, как следует. Вот я сяду здесь, а вы рядышком, на кровати, что ли, поближе, поприятельски...

— На кровати нам нельзя.

Мой приятель конфузится.

— Ну, нельзя, так принесите лавку, если есть.

— Да, ничего, они и постоят, вы не беспокойтесь,— вмешивается заведующая.

Устиныч садится на кровать, рядом сажает мальчугана и кладёт ему руку на плечо.

— Вы слышали, что вас хотят взять на дачу?

— Слышали,— разом отвечают мальчишки.

— Так на дачу поедем с вами мы вот вдвоём. Жить мы хотим так: всё мы будем делать сами — и на кухне стряпать, и комнаты убирать, и огород копать, и картошку сажать, и самовары ставить. Сделаем себе сами кровати, лавки, столы. Там есть у нас река, будем купаться. Будем читать, играть, рассказывать сказки, петь, кто что знает.

— И мы с вами?

— И вы тоже, что вы, то и мы. Нравится вам жить так?

— Ну, что их спрашивать? — не выдерживает снова заведующая. — Конечно, понравится.

Ей тон моего товарища кажется немного фальшивым.

— Скажите спасибо, а то ещё «нравится»...

— Спасибо, спасибо,— раздаются дружные голоса.

— Только уже, сказать по совести, озорники ребята

большие. Мы все бьёмся, бьёмся с ними, поверите — измучилась, сладу никакого нет — все женщины. Один у нас Василий Иванович, да и тот редко заглядывает.

Ну, ничего, авось не «съедят». Пока прощайте, ребяташки. А скоро, через неделю, мы зайдём за вами и поедем в колонию.

— Приходите к нам скорее,— говорит один бойкий на вид мальчуган.

— Ладно, придём. Да вот что: вы играете в городки?

— Играли раньше, а теперь нам не позволяют.

— Хорошо, я попрошу, вам позволят. Я принесу их вам хоть завтра и будем вместе играть. Пока прощайте...

— Прощайте, прощайте... А вас как звать?

— Нас? — смеётся Устиныч. — Меня вот Акула, а его, здорового тако-го — Кит.

Все смеются, и мы ушли, провожаемые всё такими же осторожными старушечьими взглядами. Как-то совестно было оставаться долго, спрашивать, осматривать помещение, выслушивать жалобы и фальшивые разговоры смотрительницы, заведовавшей этой кучей мусора.

Поразительной казалось мысль поместить рядом живых мальчишек и старух: как будто нарочно, чтобы возбуждать постоянную внутреннюю войну и озлобление. Снаружи всё это покрывалось чинными, лицемерными поклонами и покорными словами. А по праздникам — «учение» старика попечителя: «случается, когда и подерёшь... нельзя без этого».

Мы вышли. Наружный воздух показался даже свежим. Невольно мы остановились и взглянули друг на друга.

Два мира, два уклада и два мировоззрения и грядущая борьба — вот о чём хотелось сказать себе.

— Ну и духота же. А ребята славные. Как их придушили... Завтра же принесу городки, пусть постучат здесь хоть палки.

— Смотрите, как бы не отняли старухи на толку,— смеётся Устиныч.

— Ничего, не отнимут. Надо только скорее ехать в колонию.

Рано утром на следующий день я пилил в саду Петровской академии, где я ещё числился студентом, жерди на городки и биты. Завязал всё в кулёк и с некоторым

трудом дотачил их до приюта. Ребята сразу схватились за рогожу.

— Балуете их, а не стоит... они вон даже поблагодарить и то не умеют. Что надо сказать? — обращается заведующая приютом к мальчикам.

— Спасибо, спасибо! — кричат ребята. — Нам можно сейчас идти?

— Ну уж идите, а то бы не стоило: вчера, как с цепи сорвались, насилу успокоила после того, как вы ушли.

Сыграв с ребятами несколько партий и обратив внимание на то, как грубо спорили они друг с другом, я попрощался со всеми «за руку», что, заметно, ещё было неловко для ребят, и ушёл. Городки остались лежать раскиданными по двору.

Через неделю я стоял с партией мальчиков на улице, поджидая трамвая. Первая партия (приютских детей) с товарищем уехала на извозчиках. С ними были узлы с бельём и некоторые вещи. Вторая, которая должна была ехать со мной, состояла из школьников — «свободных людей». Мальчиков провожали родные. В руках и тех и других были узелки.

— Смотри, Васька, не балуйся. А вы, господин учитель, не давайте озорничать: чуть что — да и за вихор,

— Ну да, за вихор, — отзывается сын, — тебе бы всё за вихор...

— А как же вашего брата? Церемониться, что ли? Голову зажал про между ног, да и ремнём или лозой постегал, постегал, — гляди, и в люди попадёшь, — развивал свою педагогическую теорию отец рослого краснощёкого мальчика с круглым, открытым и приятным лицом.

— Я вас очень прошу, не давайте потачки моему Ваське. Ты смотри, я приеду, погляжу, как ты там; если что, так домой в кузницу.

Васька стоит и улыбается. Я проникаюсь симпатией к славному мальчугану и возражаю отцу:

— Ничего, мы с ним и так поладим.

Трамвай подъезжает.

— Ну, Христос с вами, поезжайте. Смотри, пиши, если что... Уж вы, пожалуйста, приглядите за моим... Сеня, деньги взял?

— Взят, взял — вот они, — подымается рука, в которой зажаты деньги.

— Ты в платок завяжи, платок-то есть у тебя?

Мы уезжаем. Москва, приют, попечитель с прозябанием, школа, кузница остаются на месте. Нас ждёт совсем другая, новая жизнь. Я верю в себя, верю в детей. Только бы скорей приехать и начать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дача была хорошо приспособлена к робинзоновской жизни. В самом деле, в ней ничего почти не было. За неделю до отъезда из Москвы мы обошли всех знакомых, получили парусины и роздали её для шитья матрацев, целый мешок со старой посудой, буфет, кое-что из белья и платья, раздобыли столярный инструмент, семена и даже пианино. Наша восторженность и уверенность в себе заражала многих, и вещи, а также и небольшие деньги мы получили без особого труда. Если дом наш был плох, то особенно плохо было с кухней, которая помещалась в тёмном, сыром, полуразрушившемся подвале. Одна балка потолка повисла и грозила падением. Печь и плита разваливались. Пришлось всё наскоро чинить, сложить плиту заново, что мы и сделали общими силами вместе со стареньким местным печником. Варить пока пришлось на спиртовке.

При доме был небольшой мусором, хламом и остатками старых сарайчиков двор, за ним парк в одну десятину, около четверти десятины заброшенного огорода и дальше кустарник, разросшийся до большого лесочка на берегу Клязьмы. Перед домом через дорогу стояли стены старого каменного строения, а за ним полторы десятины луга. Всей земли было около четырёх десятин. Рядом с парком шёл забор закрытой шёлковой фабрики. Неподдалёку виднелось несколько дач — квартал бывших фабричных служащих. От деревни Щёлково мы были в полуверсте. На другом берегу реки день и ночь гудела большая фабрика. Река была запружена, грязноватая, покрыта иногда нефтяными пятнами и очень глубока.

Хлопот нам самим по устройству было очень много. Спешно пригласили рабочих — подпирали балку, чинили плиту, которая дымила, исправляли колодец. Купили сена и набили мешки для сена. Дети спали на полу. По неволе, отдавшись спешным хозяйственным заботам, пришлось предоставить детей самим себе.

Надо отметить одно обстоятельство: как ни мечтали мы о том, чтобы дети до всего дошли своими усилиями, всё ж мысль о том, что дети могут «дойти» одни, без нашей помощи, практически не осуществлялась нами, да и не по духу нам была она. Мы хотели жить и работать вместе с детьми, а не быть только зрителями детской жизни. И в нас обоих было очень много энергии. Дело, очевидно, зависело от известного «такта» вмешательства, которого нам, впрочем, не всегда хватало в должной степени. И это почувствовалось в первый же вечер, когда, пообедав тем, что было привезено с собой, и осмотревшись, все собрались на лужайке в парке.

— Ребята, давайте играть, — предлагает Устиныч.

— А во что?

— В салки.

— Я салка.

— Нет, давайте считаться.

— Чего ещё? Я салка, и ладно.

Игра сразу началась.

— Сидячего не салить.

— Ты не поддавайся, а то вон из игры.

— Ты что же сапишь — я сидячий.

— А, так ты сидячий?

— Вот тебе, коли ты сидячий.

— Э, две салки, две салки — это не по правилам.

И в спину протестующего ударяет сильный кулачишко. Мальчик спотыкается о пень и падает. Игра испытывает ряд превращений. Быстро выделяются двое — сын кузнеца, так понравившийся мне своим открытым лицом, Вася Таланов, и маленький, худенький, шустрый и весь сбитый, жилистый Жегунов. Они заодно. Оба зорко следят за остальными и, чуть кто хочет подняться с корточек, налетают и полушутя, полувзаправду быют. Кулачок принимает уже специальный вид: сжаты четыре пальца, а большой прижат к ладони. Удар наносится костяшками пальцев. Приютские растеряны, жмутся, но всё никак не могут дать отпора. На них обращены все усилия нападающих. Трое школьников имеют покорный вид и мало принимают участия в игре, переходящей уже в бой. Жегунов делает чудеса. Он носится, прыгает, всё видит и издаёт победный клич. Он в упоении. Вася берёт больше ростом и силой.

Мы оба обмениваемся замечаниями, восхищаемся «игрой первобытных инстинктов» и сами, пожалуй, увлечены живостью происходящего. Но дети уже разгорячены. Игры уже нет. Начинается драка. Мы видим, что дело идёт плохо, вступаемся и разнимаем ребят. Жегунова пришлось крепко схватить за руку; он вырывается и уже глядит злыми глазами. Вспышку пришлось унимать с большим трудом.

Мы позвали всех ужинать. Дети были сильно возбуждены и долго не могли лечь спать. Не скоро заснули и мы, несмотря на утомительный день. Мы оба испытывали ощущение людей, впервые бросившихся в холодную воду. То, о чём думали, о чём в своё время переписывались, когда приятель мой был ещё в Америке, уже началось. Раздумывать некогда — надо работать, жить сейчас.

Первые впечатления от детей были смутные. Все они казались как-то одинаковыми, все были дети, как дети; внешние различия, положим, сразу бросались в глаза — глуповатый Мишка с раскрытым ртом, вялый Страхов, весёлый Вася, подвижной, как ртуть, Жегунов, один медленный, другой здоровый, третий с какой-то обидой на лице. Но если создастся настоящая обстановка, то выявится и то настоящее, что есть в них, думаем мы.

— А всё-таки какой интересный этот Жегунов, — говорю я, тайно желая, чтобы высказался Устиныч, который как-то странно молчалив. — А, что вы думаете?

— Да так, чувствуется много в нём силы; есть в нём и природный ум, по-моему.

— Таланов тоже свежий человек. Я, признаться, больше люблю задорных — с ними скорее дело сделаешь.

— Пожалуй, они скорее всего помогут нам и других втянуть.

— Заметили вы, как приютские сразу выделились?

— Да, да, они какие-то неискренние, нам, пожалуй, вроде как не верят. Обратили вы внимание, как они всегда косятся глазами?

— Ну, подумайте, какая жалость: сколько уже загубленных, и так рано, сил, когда они тратятся не на своё, детское, а на всякие ненужные и нелепые препятствия; эти старухи, грязь, вечное шпыняние, старый «прозритель», который «учит по воскресеньям». Воображаю, что они там раздвывают тайком.

краску. Мы идём на лужайку за сараем и намечаем место. Лужайка покрыта травой. Когда-то здесь был огород — видны следы гряд.

— Ребята, отметим себе площадку — хотя бы такую. (Я делаю десять шагов в ширину и длину.) Теперь сразу все за дело и до обеда вскопаем всё.

— Ну, чего: мы ещё столько же успеем.

— Что ты? В три раза можно больше вскопать: смотри, сколько народу.

Я посмеиваюсь про себя: ребята дошли до «дела», и всё пойдёт чередом.

Сдерживая свою радость, я говорю:

— А знаете, как копать? Вот смотрите, я покажу. Раз, два, три... так же с другой стороны, теперь с боков — готово, тащите.

Все дружно подсовывают лопаты под отрезанный дёрн и напрягаются.

— Ещё, ещё, ну, ещё.

Кусок вывернут травой вниз.

— Ладно, знаем теперь. Давайте, кто с кем.

Начинается работа. Я хожу от одних к другим. Подбадриваю. Уже не сколько здоровых кусков лежат рядом с первым. Прошло минут десять. Я сам копаю в упоении. Но первый пыл у ребят уже остыл. Кое-кто сидит. Работают двое-трое.

— Что же так стоишь, помогай мне,— говорю Васе, успешему стать моим приятелем.

— Жарко, надо рубашку снять.

Почти все снимают рубашки. Но дело что-то мало двигается вперёд.

— Устали? Так давайте отдохнём.

Сразу все кидают лопаты и растягиваются на траве.

Немного погодя двое моих работников вскакивают и лезут на берёзу. Все смотрят с интересом. Берёза толстая, руками охватить нельзя, но кривая, так что лезть не так трудно.

— Ну-ка я,— полез один, другой, за ним третий, и скоро я остаюсь один, а мои товарищи на берёзках и уже добираются до грачиных гнёзд.

— Ребята, давайте работать, отдохнули...

Но у ребят что-то не видно большой охоты снова приняться за лопаты. Я начинаю раздражаться: так всё хорошо пошло, и вдруг почему-то эти

— Ну, у нас они должны выправиться.

— Давайте помнить с вами, дружок, что дети — везде и всегда дети, и если мы найдём настоящий, товарищеский тон с ними, то с них скоро слетит эта шелуха, которой покрыта их жизнь. Это-то и есть и было для меня самое интересное...

Я жадно впитываю слова моего товарища, верю и удивляюсь ему.

— Завтра примемся за дело — я с половиной ребят на кухне, а вы с остальными айда на огород. Ладно?

— Идёт,— говорю я деловым тоном.

— Ну, спать... Ещё вот мне хотелось бы сказать: хорошо ли, что мы имеем отдельную «комнату, куда будем уходить отдыхать, читать и вообще жить своей жизнью?»

— Дружок мой, американцы говорят: «Живи сам и давай жить другим». Так мы должны жить и с ребятами. У нас есть своё дело, есть и, конечно, общие со всеми ребятами дела. Мы имеем свободные часы отдыха от работ, как и все они, как и всякий из колонистов. И, по-моему, в комнату к нам можно войти, только постучавшись. Это заставит детей ценить и работу и время наше. Согласны вы?

— Согласен-то согласен, а всё-таки, какие мы будем товарищи в глазах детей, если у нас своя жизнь, отдельная от них?

— А как же иначе? Жить можно общей жизнью, работать на деле вместе, но личная жизнь должна существовать. Ведь в том-то и беда нашего воспитания, что у ребят выправляется своя, детская личная жизнь, как было в приюте.

— Ну, хорошо, поздно, мы ещё всё будем выяснять, и лучше на деле.

— Ошибёмся,— подхватывает Устиныч,— надо идти на ошибки, быть заранее готовыми к ним.

— Ладно, спать так спать,— говорю я, уже закрыв глаза. Вспоминаю озлобленную фигуру Жегунова, вырывающего свою руку из моей. Я крепко держу её, и мне приятно ощущение своей силы.

На следующий день — первый день работ — мы разделились. Четверо остаются на кухне с Устинычем, а я с остальными иду на огород. Нас семью. Лопаты наши новенькие, английские, смотреть приятно; у них чистые дубовые ручки, и сталь окрашена наполовину в ярко-красную

берёзы. Всё-таки сдерживаю себя и, чтобы действовать на ребят примером, принимаю за работу сам. Ребята увлеклись гнёздами; в некоторых оказались птенцы. Все кинулись смотреть. Ко мне присоединились только двое, да и то больше поглядывают вверх, чем помогают мне.

Вдруг кто-то сверху придумал новое развлечение.

— Ребята, пойдём купаться.

— Купаться, купаться.

И все мигом скатываются с деревьев; мои помощники устремляются первыми по дорожке к реке.

Мне досадно и на себя и на детей. Первый опыт работы, очевидно, неудачен.

— Купаться,— говорю,— нельзя одним; после обеда пойдём все вместе. Река глубокая, можно утонуть. Лучше давайте кончим работу; ведь и половины мы не сделали, а скоро будет и обед.

Ребята остановились. Кое-кто берёт лопату и нехотя втыкает в землю.

— Какая-то земля крепкая, трудно очень жарко.

И я работаю один, один заканчиваю делянку, а мои товарищи стоят рядом с лопатами в руках, разговаривают, сдержанно смеются, некоторые даже высказывают свои впечатления от моей работы.

— Вот это кусок, так кусок.

— Червей-то сколько выковыривается.

У двоих начинается маленькая война, и лопаты обратились в ружья. Чувствую себя скверно, ребята явно ждут, пока я кончу, и, очевидно, считают неприличным уйти. Я с горечью замечаю:

— Если вы не хотите работать, то чего тут и смотреть. Шли бы куда-нибудь.

Но ребята уже занялись своим делом: расположились рядом группой в тени и что-то рассказывают друг другу интересное, потому что на меня и мою работу, которую я так подчёркиваю как выполняемый мною долг, уже обращают внимания. Троиخ ребят нет. В это время из кухни показывает-ся озабоченный Ваня Страхов:

— Давайте лопатку: надо уголь нагрести...

— Скоро обед?

— Сейчас. У нас котлеты... сами делаем и в муке валяем, и сквозь машину вертим...

Схватывает лопату и бежит обратно.

Я ощущаю и стыд и зависть. Устиныч сумел заинтересовать ребят, а я нет.

— Собирайте лопаты, пойдём обедать,— говорю я огорчённо.

Три лопаты остались на месте.

— А эти братья?

— Кто взял, тот пусть и относит,— устанавливаю я как будто «свое правило» (на чём себя тут же и ловлю; мне хочется хоть как-нибудь выместить свою досаду) и ухожу. Что-то пробежало между мной и ребятами, и мне было больно.

А в кухне, куда я зашёл, работа кипела. Я уже давно с завистью поглядывал, как из подвала выбегали то тот, то другой колонист — кто с ведром, которое тут же выплёскивалось, кто к колодцу за водой, кто с пустой кринкой, которую потом, полную молока, бережно нёс назад. Раза два показывался и Устиныч в фартуке, весь измазанный мукой: один раз принёс большую охапку дров, а другой — на палке выносил кадушку с помоями вдвоём с помощником. Я наблюдал за ними. Устиныч поставил кадушку на землю, продел палку в ушки, так что один конец оказался много короче другого; мальчик взялся за длинный конец, а мой приятель за короткий, подняли и понесли, оба засмеялись. Я представил себе, что на кухне кипит работа, ведутся звонкие разговоры, все довольны, оживлены, хохочут,— словом, установилась атмосфера, которую так легко удалось создать Устинычу. И не важно, что молочный суп подгорел слегка и что неуклюжие котлеты рассыпались, всё же ему удалось схватить ту тонкую нить солидарности, общей работы, радости труда, которая должна, по моему мнению, так волшебно раскрываться, если дети чувствуют себя по-настоящему свободными. Значит, товарищ мой «работал» с детьми, а «принуждал» их к работе. Поэтому-то ему и удалось, а я возвращался с таким тягостным чувством.

Но я стараюсь не подавать виду.

Обед прошёл очень весело. Повара с торжеством приносили кастрюли. Стол был накрыт, и даже в банке из-под консервов красовались цветы.

— А вы что наработали? — спрашивает довольный Устиныч у моей партии. — Вы-то видите наши труды, а нам пришлось готовить всё из купного, не из своего. Небось, ребята копают, а у самих слюнки текут

на морковку, на репку, на картошку. Айда все посмотреть на огородников.

Идём, останавливаемся у нашего развороченного дёрна. Три лопаты всё ещё валяются рядом.

— А это, должно быть, усердные работники оставили, чтобы после обеда сейчас же бежать на работу? — смеётся Устиныч.

Ребята хохочут; не выдерживаю и я.

— Вот спросите у них, много ли галчат они сосчитали?

— Вот вы как тут работали: оно и любопытно — залезть на берёзу, да и сверху посмотреть на работу, а то так с земли не видно — больно много земли копать.

Мои ребята смущены.

— Ну, завтра мы сюда пойдём, а ваша партия в кухню. Посмотрим, какой обед у вас выйдет.

Но на следующий день мой товарищ уехал в Москву. Я с пятью помощниками начал работу на кухне, остальные пошли на огород.

Кухня тёмная, сырая, с прогнившим полом, в сенях над головой торчит ещё одна балка, в соседней с кухней комнате с остатками праечного уст-ройства грязно, темно и сыро. Часть кирпичного фундамента выпятилась внутрь. Окна пыльные, покрыты паутиной.

Принялись мы за дело прекрасно. Ребята так и толкались под руками, и каждый требовал себе дела. Я наскоро, наспех даю то одному, то другому, намечаю задачу — подать нож, принести воды, соли, начистить картошку, подложить в плиту дров, вымыть оставшуюся после вчерашнего невымы-тую посуду (всё-таки кое-какие грехи остались). Сразу всем было дело и всё наспех. Затем некоторые стали дожидаться, настойчиво спрашивать, что делать дальше. Я задумываюсь, моё творчество начинает иссякать.

— Ну, вот хотя бы возьми окорёнок, поставь в него всю грязную посу-ду отдельно и начни мыть.

Работа затягивается.

Кое-кто начинает исчезать и подолгу не появляется.

«Опять вчерашнее», — мелькает у меня в голове.

Прибегает Жегунов, посланный за водой.

— На огороде ребята друг в дружку землёй кидаются,— радостно за-являет он.

Это возбуждает общий интерес, и я, взволнованный

массой дела, которое к тому же плохо клеилось, выбегаю из подвала по-смотреть и разразиться, наконец, долго сдержанным негодованием.

Действительно, на огороде уже битва, и один из моих помощников, ос-тавив ведро с помоями, с увлечением кидается землёй. Я страшно огорчён и громко высказываю это, стыжу ребят тем, что оставить их одних нельзя.

Ребята нехотя берутся за лопаты.

Я чувствую некоторую фальшь своего положения и, недовольный со-бой, ребятами, кухней, огородом, возвращаюсь назад.

Обед мой что-то не ладится, плита плохо горит, помощники как-то слишком безучастны. Я машу на всё рукой и начинаю работать, никому (ни-чего не говоря. Я ожесточён против своей судьбы. Немного погодя являет-ся депутатия:

— Очень жарко; можно идти купаться?

— Ведь сказано, нельзя без старших.

— А все уже пошли.

— Как пошли? Беги сейчас и скажи, чтобы вернулись! — кричу я воз-буждённо.

Депутаты уходят, но долго не появляются обратно.

Представляю себе, что дети уже купаются, и это очень страшно, но я уже пришёл в отчаяние и продолжаю ожесточённо раздвигать плиту. Выхожу за дровами — кругом тихо, никого нет. Мои помощники тоже куда-то скры-лись. Я подождал в нерешительности, не пойти ли на реку, захватить, ули-чить, раскричаться и сорвать своё растущее недовольство, но чувствую, что это будет нехорошо, и возвращаюсь в свою «постыглую» кухню. Свет мне не мил. Вдруг слышу отчаянный крик и, замирая от страха, жду: утонул кто-нибудь... Крики ближе и громче. Я не выдерживаю и выскакиваю из кух-ни;

— Что такое?

— Змею видели, как она плыла через реку: голову подняла, шипит, а сама вся извивается.

Я принимаю сухой, оскорблённый тон, ничего не говорю по поводу того, что у всех подозрительно мокры головы, и заявляю с оттенком горечи:

— Обед готов. На стол хоть можете накрыть, или это я тоже должен сам?

Все молчат и с большой готовностью бросаются

накрывать на стол, предупредительно ташат кастрюлю со щами, режут хлеб и после обеда, которым преувеличенно довольны, заявляют все, что посуду вымоют сами.

Я немного утешен, иду в свою комнату, ложусь на кровать и через полчаса зову ребят:

— Через час собирайтесь: пойдём купаться на новом месте.

С огородом мы так и не справились. Мы только и вскопали, что небольшой кусок в первые дни. Для остальной площадки нам пришлось пригласить соседку-огородницу, которая явилась с плугом, бороной и лошадей и в один день вспахала всю землю. Это уже было в конце мая. Навоза достать было негде, да и земля наша вышла «неразделистая». Интерес к огороду иссяк. Первые неудачи, наше неумение и то, что нельзя было рассчитывать на скорый результат от наших трудов при полной непривычке ребят, лишили работу той привлекательности, которую она должна была бы иметь. Всё-таки наши попытки не сразу прекратились и кое-что мы посадили и посеяли «для примера». В конце концов на лучшем месте, за сараем, где густо разрасталась крапива, появились и капуста, и горох, и редиска, и немного картофеля. Скоро, впрочем, всё это заросло сорной травой, полоть которую охотников среди ребят не нашлось. Усилили наши средоточились на сравнительно узком пространстве нашего дома и отчасти двора. Остальное было явно не по силам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жить рядом с детьми было и легко и очень трудно. Эта работа была неровна, шла как-то полосами, которые следовали друг за другом почти без всякой видимой связи, неожиданные для нас. Всякий раз, как шла живая работа и игра, возня, песня, шутки, купание, бег взапуски, прогулки, чувствовали мы себя легче и быстро проникались надеждами и строили планы на будущее; но когда наступали полосы усталости, оживление спадало, появлялось ощущение того, что дело идёт как-то «не так», что есть много воя, просов, которые надо разрешить сейчас, не откладывая, но на то нет ни сил, ни мыслей, и тогда отношения с ребятами, такие естественные, близкие в моменты

оживления, казались искусственными и ложными. Вот тогда и было очень трудно. Особенно часто это бывало по вечерам. Мы оба сильно уставали. Хотелось тишины, спокойного обмена мыслями, попить чаю с «клюквенным экстрактом» и лечь спать. Но тут и «начиналось».

Дети все спали в одной большой комнате на полу; кроватями служили парусиновые мешки, набитые сеном. Наша комната отделялась от комнаты детей столовой и коридорами. Начинается возня, крик, плач... Вот кто-то подбежал к двери:

— Кит, а Кит, Васька дерётся, не вели ему.

Больно и досадно, и не знаешь, что делать...

— Не надо жаловаться, небось пустяки какие...

Начинаешь сердиться не то на себя, не то на жалобщика, не то на «них», производящих там шум и возню. Раздражение требует выхода. Иду к детям. У них вдруг стало тихо. Насторожились. И я это чувствую. Мне досадно, хочется самому на шуметь, накричать. Всё-таки сдерживаюсь.

— Что такое у вас? Кто меня звал?

Никто ни звука. Вижу — некоторые закрылись одеялом с головой. Что-то начинаю говорить укоризненно. Впечатление получается такое, как будто говоришь в пустое пространство. Чувствую, мне не по себе, повертываюсь, хочу уходить.

Немного погодя в комнате у детей начинается движение. Кому-то хочется смеяться, кто-то хохочет в подушку, закрывает рот рукой. И вдруг прорывается оглушительный смех, сразу, со всех концов комнаты. Затем раздаётся дружное шипение, потом опять хохот.

Постою, постою перед дверью и отправляюсь к себе.

И так почти каждый вечер.

Приходилось самому часто засыпать с сознанием чего-то недоделанного, недодуманного.

Об этом мы с Устинычем не говорили друг с другом. Эти впечатления, очевидно, были слишком «своими», личными. Но мы оба страдали от них, хотя, может быть, и не в одинаковой степени. Нам не хотелось признаться в своей слабости, оба делали вид, что это не важно, обойдётся, что всё это «пока». «Пока» можно говорить себе, что ещё дети не привыкли, что наша жизнь слишком нова для них, но всё-таки ясно было,

что дети ещё не идут навстречу, что между нами и ими стоит стена (мы её называли смягчённо перегородкой)... Устиныч переживал это более благодушно: он был твёрдо уверен, что «всё образуется». Я же страдал и от того, что не могу так непосредственно чувствовать детей и верить им, как он, и от той мысли, что, стольким пожертвовавши для детей, не встречаю открытого признания с их стороны. «Они должны же почувствовать сразу, кто я и как ко мне надо относиться», — так рассуждал я сам с собой. При таких условиях какая же разница между той педагогикой, против которой мы как будто протестуем, и нашей работой? Как бы то ни было, искать выхода надо.

Что же делать? Если есть «перегородка», то как её сломать? В ответ на это мы выработали свою теорию.

Дети легче понимают друг друга, чем мы их, поэтому нужно, чтобы один-двое из ребят поняли нас, а остальным они сумеют растолковать, что нам нужно, и более убедительным способом, чем то мы сами можем сделать. Завязать такие дружеские связи можно в беседе, во время работы, прогулки. Эти первые друзья возьмут на себя почин без нашего даже участия, к ним присоединятся незаметно и другие. Короче сказать, нам было трудно, и мы ждали помощи от ребят... Вполне естественно, мы за помощью обратились к тем ребятам, которые выделялись из общей среды... У нас такими были бойкие друзья Вася Таланов и Ваня Жегунов. Мы с ними стали советовать о наших делах, поручали ответственные дела — сходить в лавку, затопить плиту, посмотреть за книжками, которые кучкой лежали на окне, они чаще других входили к нам в комнату; у них часто бывали ключи от погреба; с ними мы перекидывались замечаниями, словечками.

Результаты сказались очень быстро. Оба приятеля бросили свои шалости, стали деловиты, и всё стало кипеть в их руках. Они как-то «сразу» поняли нас, первые брались за свою работу, и мы быстро почувствовали большое удовлетворение от сознания правильности своего «метода». Нам стало «легко». К этому времени нашего «благородушия» можно отнести и название наших прозвищ в колонии. К Акуле и Киту присоединились Таланчик, Генерал, Страшкин-Бурашкин, Лягушечка, Жиган,

Бабушка. Ребята были веселы, мы были полны радостной уверенности в себе и в своих маленьких товарищах.

Тем более тяжело было выдерживать первый серьёзный удар жизни. Как-то за домом приятель мой увидел неожиданную сцену: наш друг Таланчик сидел верхом на Генерале, бил его по голове и тихо повторял: «Пойдѐшь, пойдѐшь?» При виде Устиныча он вскричал и убежал со смехом... Сначала показалось всё это игрой, шуткой, которая зашла немного далеко. Но всё-таки мы стали приглядываться, и скоро выяснилось, что эта «шутка» была не что иное, как вымогательство: для наших друзей, так помогавших нам в налаживании трудовой жизни, наиболее слабые должны были бегать в лавочку за папиросами. Как жестоко было для нас убедиться в том, что не всё то, что нам представляется, на самом деле оказывается правдой, и очень хотелось обвинять кого угодно: сначала детей, потом их среду, семью, только не себя. Удивлялись мы тому, что сами угнетаемые больше всего защищали своих угнетателей. Чувствовалась слепая, упорная сила товарищества, и очень немного нужно было времени на то, чтобы превратить наш весёлый дружный, как нам казалось, кружок в два лагеря — «мы и они», в учителя и класс — в тайных врагов, в лучшем случае находящихся в состоянии вооружённого мира.

Несколько раз мы не могли удержаться и шли по скользкому пути, пытаясь, обращаясь к искренности детей, к чувству товарищества, предлагая защиту против обидчиков; всё это воздвигало стену между нами и ребятами; мы чутьём быстро улавливали это и останавливались. И опять начался новый период непринуждённости, веселья, оживлённой жизни. Мы отдавались течению, успокаивались до первого случая...

Кое-как мы разобрались в первом серьёзном деле и особенно серьёзного значения факту угнетения не придали: утешились тем, что всё это «пока», а после такие явления пройдут сами собой. Мы посмеялись над курильщиком, прозвали его Махоркой, дали понять ребятам, что мы знаем, постарались не приходить в ужас и повторяли рассказ о том, как Таланчик сидит на Генерале и шипит: «Пойдѐшь, пойдѐшь?», а здоровый Генерал лежит, как ни в чём не бывало, и пыхтит. Все смеялись. Таланов стыдливо опускал глаза и улыбался.

Несколько дней у нас повторялась фраза: «Ну-ка, Таланчик, расскажи, как за махоркой ездил, покажи, как из ушей дым пускать». «Скажи, Генерал, сколько в Таланчике весу?» «На ком сегодня за махоркой поедешь?» У нас даже создавался в воображении и метод воздействия путём шутки-иронии. Этот метод завоевал большое место в нашей педагогике. Хорош он был прежде всего для нас самих, так как служил хорошим громоотводом при накоплении значительного запаса раздражения, что иногда всё же случалось. Но не всегда, впрочем, удавалось вовремя призвать на помощь спастительную шутку. Так было в памятной «истории с молоком».

После случая с Таланчиком, несмотря на наше желание обратиться всё в шутку (хотя с некоторым оттенком коварства), отношения наши с ребятами стали несколько напряжёнными. Назревал какой-то перелом. К досаде нашей, среди ребят пошли разговоры о Москве. Мы насторожились. К стати, некоторым ребятам «с воли» нужно было купить сапоги. У нас оказались кое-какие деньги. Сапоги были куплены в лавке, но только в собственности колонии, а не лично ребятам, как мы им объяснили. Вдруг двое-трое заскучали и захотели ехать в Москву. Мы согласились не без внутренней опаски. Ребята надели новые сапоги и уехали. Среди оставшихся пошли разговоры, что они не вернутся: «Чего им, получили даром сапоги, и довольно», — высказывался Ваня Жегунов, с некоторых пор подчёркивавший свою привязанность к колонии. Мы ждали, и, к радости нашей и к некоторому разочарованию наших маленьких «знатоков жизни», все приехали обратно. Странно, но это обстоятельство несколько охладило приятельские отношения наши с Жегуновым и Таланчиком. Они стали молчаливы и даже стали высказываться в том смысле, что у нас скучно, и некоторые из ребят поддакивали им. «Как же скучно, когда мы играем, сказки читаем, гуляем, сколько хочешь?» «Неужели лучше в Москве?» И, к нашему огорчению, почти все ребята «с воли» не считали, что в Москве хуже: «там свободней, товарищей много»; сейчас же начались увлекательные рассказы про «стенки», «уличных жуликов», «влип» и т. д. Всё более и более выяснялась разница между колонией и московской улицей. К досаде нашей, определённо стояли за колонию

«приютские». Мы заметно были огорчены. Наша досада подмечалась ребятами; знатоки жизни Таланов и Жегунов давали снисходительные советы, довольно неожиданные для нас.

— Скучно у нас потому, что не наказывают. Вот Иван Иванович в школе «двинет» по шее, так у него не забалуешься, — с видимым удовольствием объяснял Вася, и нам пришлось узнать про несколько подвигов Ивана Ивановича, который вызывал, к удивлению нашему, некоторое даже почтение к себе со стороны слушателей.

Итак, наши ближайшие друзья сами говорят о наказаниях и что без них толку не выйдет. Задача наша усложнилась. Приходится бороться не только со средой, семьёй, улицей, а с самими ребятами и за них же самих. Мы растерялись. Наше настроение несколько оживилось с прибытием в колонию трёх новых ребят, братьев, Серёжи, Гриши и Коли из полуинтеллигентной знакомой семьи, которые быстро вошли в общую жизнь и повысили колеблющееся доверие ребят к нам, особенно старший, положительный и самолюбивый Серёжа, оказавший вообще нам в колонии большую помощь. На эту полосу колебания и растерянности пришёл случай с молоком, о котором было упомянуто выше.

Утром пришла старуха-сторожиха при даче и заявила, что в погребе раскрыта дверь и побиты кринки с молоком. Устиныч с ребятами пошёл посмотреть. Всё это было верно.

— Кто это сделал?

Ребята молчат. Устиныч высказывает своё негодование. Старуха говорит:

— У вас ребята все за молочком лезут в погреб, то один, то другой. Нельзя ничего спрятать. Надо узнать, кто это сделал, и хорошенько проучить, чтобы было неповадно. А то, — пояснила она, — вы всё лаской да уговорами, а они, вишь, какие разбойники. На них кринок не напасёшься.

— Ну, хорошо, это мы обсудим, — говорит Устиныч и собирает всех ребят. Ребята нехотя и смущённо собираются.

— Не знаете, какая там кошка сливки слизала? Надо бы сказаать ей, что она одна лакомится, а другой не попадёт. Мне и то обидно. Ну, кто там в погреб зашёл по дороге? Подымай руку, кто был там...

— Никто не ответил на шутки Устиныча. Он меняет тон и начинает сердиться.

— Если так, то я считаю, что это очень серьёзно. Мы должны жить, как товарищи, чтобы ничего не скрывать друг от друга. Если это случилось, давайте все подумаем, как это исправить. Теперь надо, чтобы мы знали, кто это сделал. Наказывать никто не будет, только нужно, чтобы у нас не делалось ничего тайком. Ну-ка, кто храбрый? Пусть скажет, как это случилось.

Ребята как замерли.

— Ну, я вам вот что скажу: если мы не можем верить друг другу, то здесь жить нельзя, и я не хочу, да и Кит (я был в Москве) то же самое. Какое же у нас товарищество, если мы будем тайком делать и покрывать друг друга? У нас нет таких начальников, которых надо бояться.

Гробовое молчание. Устиныч ждёт, но внутри у него разгорается досада.

— Я спрашиваю: нравится ли вам жизнь в колонии, на свободе, как мы живём?

— Нравится, — раздаются голоса.

Ребята выжидают.

— Ну, если мы этого случая не раскроем, так значит, у нас нет доверия, мы здесь не будем.

— Мы не знаем, что молоко разлил.

— Ну, как же не знаете? Я не допытываюсь, чтобы наказать, а только чтобы у нас никакой тайны не было... Ну, как же?

Продолжительная тишина, никто ни слова.

— Если так, то я не могу здесь жить. А без меня и вам нельзя. Надо собираться в Москву.

Ребята окончательно замкнулись. Прошло ещё несколько минут томительного молчания. Устиныч решил пойти напролом.

— Собирайте ваши вещи. Сейчас поедем на поезд.

Тихо ребята расходятся, идут в свою комнату, завязали узлы, мешки и сундучки.

— Все собрались?

— Все.

— Ну, идём.

Процессия направляется на станцию, до которой две версты. Для всех

и Устиныча очевидно, что поворот дела совершенно неожиданный. Но отступать поздно. Дело зашло слишком далеко.

Устинычу не по себе. Судя по упорству ребят, надежда на благоприятный исход плохая. Прошли более половины пути всё так же молча и напряжённо. Жарко, устали от тяжести узлов и от странного оборота дела.

— Давайте сядем в лесу, передохнём, — говорит Устиныч. Он чувствует всю фальшь своего положения. Неожиданное пассивное сопротивление ребят заставляет искать выхода из тупика, в который он зашёл. Да и у ребят как будто нет уверенности, что так может всё дело кончиться.

Устиныч сам видит всё это. Ему дело уже не представляется таким трагическим.

— Я хочу с вами поговорить вот о чём, — начинает он, и ребята, видя его другим, придвигаются к нему ближе и готовы ему помочь и поддержать его. — Вы видите, как я люблю колонию. Без вас мне будет очень скучно. Так хорошо мы с вами играли, работали, гуляли, шалили, и вдруг мы стали как вроде чужие. Вот и теперь я иду и думаю: неужели всё так просто — взять и бросить колонию? У нас уже наладилось всё, и живём мы по-своему и день за днём лучше устраиваемся. Теперь мы с Китом задумали сами дом построить, завести лошадку, кур, свою корову, сено косить, и так мне жалко стало, что я не могу потолковать с вами, как следует... Скажите мне по-товарищески, не жалко вам колонию?

— Нет, все ребята хотят жить, как жили, только нельзя выдавать товарища, — серьёзно объявил Серёжа. — Ты думаешь, что кто-нибудь молочно украл, а там было совсем не так: на погребе дверь провалилась и кринки побила.

— Что же это она сама?

— Нет, не сама, а из-за наших ребят; только кто, — мы не хотим говорить, тут никто не украл, это напрасно...

— Ну, если так, я тебе верю, Серёжа. И все ребята знают про это?

— Все знают.

— И давайте на этом кончим и айда домой. Кто скорей добежит, айда, ребята.

Все путешественники как сорвались с места, кто-то даже узелок забыл.

Так разрешился сложный педагогический эксперимент. Ребята были очень деликатны и не рассказывали мне, как произошла катастрофа, и не старались задевать Устиныча, который чувствовал себя не совсем ловко.

После всё разъяснилось: Мишка полез на погреб, прыгнул на дверь, та сорвалась, и мальчуган провалился на лёд, переколотивши две-три кринки. Мигом ребята решили никому не говорить, чтобы Мишке не попало. Дело всё раздула старуха-сторожиха, пригрозившая пожаловаться и раскрыть все проделки колонистов, изрядно ей досаждавших. Ребятам стало досадно, что их Устиныч вдруг стал на точку зрения старухи, стал её расспрашивать и от неё пошёл к ребятам. А со старухой у них была уже тайная война. В конце от этой истории остался лёгкий налёт досады, смущения. В нашей жизни наступал критический момент. Нужно было переходить к новым формам общей жизни, проводя в жизнь ясно и резко те начала товарищества, которые сплотили ребят и чуть не отделили нас окончательно от них. Наша совместная с ними жизнь висела на волоске. И мы решительно пошли навстречу ребятам. Старуха стала относиться к нам с этой поры очень подозрительно.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Мы с Устинычем обсуждаем наши дела и находим, что у нас для ребят мало разнообразия в жизни, жизнь главным образом в труде; только и есть, что кухня и уборка. Это — только поддержание ежесуточной жизни, то, что повторяется и приедается. Надо пустить в ход созидание.

— Я — архитектор, — говорит Устиныч, — и люблю строить. Строить, созидать — самое детское занятие. Нам нужны доски, гвозди, молотки, пила и рубанки. Надо пустить в ход эти воспитательные средства. Завтра я куплю на складе доски, а ты поезжай в Москву к Кенцу за инструментами. Расскажи ему про колонию. Он, быть может, даст и даром. Денег-то у нас мало.

Мелькает в голове новая мысль — строить. Я убеждён, что всё это страшно важно, и мой горячий рассказ в Москве солидному Кенцу в его известном

инструментальном магазине на Мясницкой подействовал, к моей величайшей радости: мне было дано инструментов на целых 53 рубля, и даром. С торжеством возвращаюсь в колонию. В руках у меня тяжёлый ящик. Ребята обступают и требуют немедленного осмотра инструментов. Я распаковываю ящик: в руках у ребят новенький блестящий топор, молотки, стамески, рубанки и тяжёлое точило.

Ждать некогда. Мы призываем архитектора наладить инструменты и пристроить точило. Уже вещи расхватили по рукам, так что насилу удалось их собрать. Вечером новое торжество — привезли доски и брусся. Воз уже стоит на дворе, извозчик медленно развязывает верёвки, и мы все смотрим на его спокойные и безучастные движения. Нам хочется поскорее приняться за разгрузку.

— Куда вам класть?

— Мы сами сложим...

Все бросаются, путаются, захватывают побольше, бросают как попало в сарай и бегут за новыми.

— Хватит вам баловаться, портить, — говорит извозчик, берёт деньги, даёт расписку, получает «на чай» и уезжает.

— Надо сложить доски в порядок, — говорю я.

— А что делать будем?

— Я — ящик.

— А я столик.

— А я лавку в кухню, можно?

Сзади меня слышится шум: это Генерал и Форсун повздорили из-за рубанка. Я отнимаю инструменты, укладываю их в ящик и запираю в сарай.

— Завтра начну себе кровать делать, — объявляю ребятам.

На утро отправляюсь в сарай. В руках у меня чертёж. Я уже обдумал вечером устройство своей кровати. За столярное дело пришлось приниматься в первый раз, и я побоялся прикасаться к сложным инструментам вроде рубанка, который надо было, кстати, наладить и наточить. Я решил обойтись без строгания и действовать только пилой и молотком. Мои движения медленны и осмотрительны. Кругом ребята; они тихо наблюдают за мной, несколько поражены моей торжественностью. Я действую один. Подымаю доску, примеряю к своему

росту — из тесины выйдут две продольные и одна поперечная планка. Соображаю вслух. Ребята очень задеты. Беру длинный брус, стараюсь отмерить ножки. Начинаются советы; бегут в дом, измеряют высоту нашей единственной кровати, спорят, наконец, приходят к соглашению. Беру уголь и начинаю размечать размеры. Ребята помогают, держат доски, подкладывают обрубки дерева, чтобы удобнее было пилить. Пилить трудно, зубцы не разведены. Конец доски обламывается.

— Дай выпилить кончики, я умею.

Передаю нетерпеливому помощнику пилу, за которую ухватывается сразу несколько рук. Митом разгорается спор. Я вмешиваюсь, устанавливаю очередь, приношу другую пилу, топор, два молотка и заявляю, что работа всем будет. Стараюсь сохранить спокойствие. Хотя это сделать трудно. Со всех сторон голоса:

— Мне что делать?

— Я кончил.

Не получившие немедленно ответа занялись уже своим делом — пробуют вколачивать в стену гвозди, рубить стену топором, раскалывать маленькие обрезки. Уже в руках и рубанок тупой, неналаженный; им строгаются доски. Прибежал из кухни Мишка, схватил рубанок, поставил торчком большой гвоздь и заколачивает его в доску. Я немного растерян, хотя внутренне удовлетворён стихийностью происходящего. Энергично вмешиваюсь, потому что моё дело совсем ушло из моих рук.

— Теперь, — говорю, — давайте кровать собирать.

Собираем доски, ножки, поперечины. Начинаем скреплять гвоздями. Кровать быстро принимает определённую форму. Советуемся, как её укрепит; приколачиваем угольники, для чего пришлось расколоть, обтесать топором две дощечки.

— Готово, — говорю я, и начинается испытание кровати: вся компания садится и старается раскачать её. Кровать не поддаётся. Мы с торжеством все берёмся за неё и вносим в дом, ко мне в комнату, кладём с полу матрац, подушку, накрываем. Кровать удивительно приятна на вид. Ребята бегут в сарай и сейчас же хотят понадевать себе кровати. Но зовут обещать, и за обедом я уговариваю дожидаться приезда Устиныча, который должен направить пилы и рубанки и пристроить

точило. Я руковожу событиями и поэтому внутренне торжествую. Ребята очень расположены ко мне.

К обеду приезжает Устиныч. Мы рассказываем ему наши новости. Он очень всё одобряет с видом большого знатока, что производит некоторое впечатление. После обеда мы идём в сарай, собираем инструменты. Устиныч пробует пилу и говорит, что она совершенно тупая и не разведена. Осматривает рубанок и раздражается упрёками: рубанок носит следы ударов по гвоздю — это невозможно. Топор соскакивает с ручки и тоже тупой. Устиныч устанавливает факт огромного беспорядка. Я слегка сконфужен и досаую на то, что он не оценил нашего оживления. Но и сам смотрю на нашу работу другими глазами и сознаю в душе, что наша работа скорее носила вид битвы с досками и инструментами, чем дела.

Все мы во власти авторитета мастера. Напильником точится пила, в руках у Устиныча оказался странный инструмент — разводка, которой он сгибает в разные стороны поочерёдно зубцы пилы. Вот пила готова. Мы пробуем пилить — о, совсем другое дело! Во всех просыпается желание немедленно пилить всё, что есть кругом, но важный Устиныч берёт пилу и вешает её на гвоздь.

Теперь очередь за точилом. На ручку насаживается камень, он ставится в деревянный ящик, в который почему-то надо налить воды.

— Течёт, течёт! — кричит кто-то.

— Ничего, — спокойно говорит Устиныч, — потечёт и перестанет.

Предстоит удивительное — вертеть ручку точила. Устиныч точит топор, затем принимается за рубанки. Странное слово «шерхебель» поражает слух. Он узкий, и железка не прямая. Устиныч ставит доску на ребро и даёт Серёже в руки этот узкий рубанок. Им строгать легко, стружка так и летит.

— Вот им надо сначала, а потом-этим рубанком, тогда дело пойдёт, — объясняет Устиныч.

Всё, что тут происходит, слишком размеренно, спокойно. Из ребят остаётся немного. Я ухожу с ребятами купаться. Потом чай, затем общая игра в городки перед дачей на дороге, и прохождение, которые должны обходить нас, неодобрительно поглядывают на шумную компанию и двоих чудаков-учителей, босоногих и увлекающихся игрой не хуже ребят.

После ужина мы все идём в комнату ребят и намечаем, где поставить будующие кровати.

— Последний раз на полу; а завтра будем спать по-человечески, — говорит Устиныч.

Он приносит табуретку, садится и начинает рассказывать индейскую сказку. Ребята, полураздетые, сидят на полу кружком. Сказка кончена.

— Ещё, ещё!

Устиныч рассказывает новую. Кое-кто уже заснул. Упорные слушатели желают слушать бесконечно, «всю ночь». Но Устиныч встаёт, относит одно из крикунов на постель и говорит:

— Я устал и сам спать хочу.

Ребята размягчены, говорят «спасибо» и укладываются. Мы уходим к себе, вслед отворяется дверь:

— Акула, а Акула.

— Что тебе?

— Спасибо, доброй ночи.

— Ладно, спи до завтра.

Мы завариваем чайник и пьём необычайно вкусный чай и дружески и одушевлённо беседуем.

В этой беседе обнаружилось, что Устиныч был только наружно спокоен. У него созрел план провести в нашей среде организацию самоуправления.

— До сих пор, — выяснял он мне свою мысль, — только говорим о детской самостоятельности, а на самом деле всё делаем за них мы сами. Надо их подтолкнуть к тому, чтобы у нас образовалась своя детская республика, чтобы все дела колонии решались ребятами и чтобы мы сами были товарищами не на словах, а на деле, подчиняясь общему решению, как бы оно нам ни казалось неправильным, если только оно состоялось. Мы можем агитировать, спорить, но показывать полную готовность подчиняться общему решению. Поэтому я заведу эту музыку, а ты веди трудовую сторону жизни.

— Это прекрасно, — оживлённо отвечаю я. — Мне давно казалось, что чего-то у нас не хватает. Это, действительно, новое, что мы внесём.

— Ну, не совсем новое: Америка давно живёт этим, — напоминает мне мой мудрый товарищ.

— Нет, конечно, нет, но новое для нас, для наших школ; вот что надо вводить всюду, чтобы школы

превращались в такие детские общества, и тогда на детей обратят внимание, — горячо возражаю я.

— С этим я не спору, но ведь ясно, что сначала надо нам самим преодолеть себя и дать ребятам конституцию, — засмеялся Устиныч.

— Теперь все требуют конституции, — подхватываю я, увлечённый новой мыслью, — а никто не подумает о конституции для детей — мы и начнём эту работу.

И мне представляется, как идея, зародившись и укрепившись в маленьком миреке, разольётся широко и послужит грандиозному делу освобождения детей. И наше маленькое дело, такое крошечное по размерам, мне кажется страшно важным, глубоким, современным. В голове моей вихрь новых мыслей. Мы проговорили до глубокой ночи.

Счастливая жизнь.

На следующий день проснулись сравнительно поздно. Ребята уже встали. Я слышу шум и стук в сарае. Вскрываю, наскоро одеваюсь и бегу. Работа у детей в полном разгаре: уже одна кровать сделана, сколочена кое-как, вся шатается, но лицо мастера сияет полным удовлетворением. Я критикую, предлагаю свою помощь, насилию могу добиться того, чтобы мой юный товарищ согласился на некоторые переделки. Кое-как мы укрепляем зыбкое сооружение. Я обращаюсь к остальным ребятам, увлечённым своим делом.

— Вчера мы пробовали мою кровать, — говорю я, — она выдержала столько народу; давайте и теперь только ту кровать выпускать из мастерской, которая выдержит испытание.

— Ишь ты, ты сядешь и всю кровать раздавишь, — смеётся скептически Серёжа.

— Ничего, у нас будет крепко, это только всё Мишка хочет поскорее.

Мой совет приводит к тому, что ребята стараются забивать как можно больше гвоздей для крепости. Скривившиеся гвозди загибаются и приколачиваются, а рядом вбивают новых два, три гвоздя. Это логично, и с их точки зрения спорить очень трудно. Кровать за кроватью вносится в дом. Повара только отстали. Устинычу приходится напрягать всю энергию, чтобы удерживать своих помощников на кухне. Некоторый успех имеет его предложение устроить какие-то особенные кровати с

возвышением под голову и с парусиной вместо досок под матрац. Повара имеют вид заговорщиков и таинственно совещаются с Устинычем после обеда. Устиныч с поварами берут топор и пилу и отправляются в лес. Через некоторое время они возвращаются с нарубленными и напиленными жердями, которые ставят в сарай. На следующий день новый ряд кроватей снова готов. Изобретение Устиныча оказалось действительно остроумным, но очень хрупким, и постепенно все кровати приняли одинаково топорный, неуклюжий вид, сильно нуждающийся в опоре стены. Как бы то ни было, комната ребят стала совсем другая, завелись в ней новые порядки.

Оживление в детской среде и подъём среди нас, взрослых, были очень большие. Дети как-то применились к нам, и эта полоса дружности захватила почти всех. Рабочая горячка перекинулась и на всю жизнь колонии; оказалось, что устраивать надо не только кровати или свою комнату, а свою жизнь. А она, кстати, не очень шла в порядке, и поддерживать её в условиях самого примитивного общежития приходилось нам самим, и то с большими усилиями. Устиныч теперь начал вводить свою «конституцию».

Это было за вечерним чаем. Я был в Москве. Устиныч после чая попросил всех остаться поговорить о колонии.

— У нас везде очень грязно. Почему это так? Раньше спали на полу, это понятно, а теперь кровати, и всё-таки ужасная грязь. Скоро стыдно будет приглашать кого-нибудь в гости.

— Никто не слушается: метут всё под кровать; на кухне не убирают, тарелки бросают так, вытирают полотенцем, а оно грязное. Кости и шелуху бросают в угол, под лестницу, а там вонь такая, хоть нос зажимай,— заявляет Серёжа.

— А что же можно с этим сделать? Неужто так оставить?

— Чего тут сделаешь, когда никто не слушается.

— Почему никто не слушается? Да и кого у нас слушаться?

— Ну, как кого — тебя, Кита, — всё-таки старшие.

— А вы вот как,— хитро смеётся Ваня Жегунов, —

вы нас наказывайте. А то всё прощаете да прощаете, никто и не боится.

— Мы и не хотим, чтобы нас боялись; мы хотим жить по-товарищески. Ну, я накажу, ты передо мной будешь смиренный, а за спиной мне же кулаком грозить.

— Это как Иван Ивановичу?

— Ну да, ему. Разве за вами уследишь? Нет, я хочу вам предложить так сделать: давайте каждый раз за вечерним чаем обсуждать про наших дежурных, как они своё дело сделали — комнаты убирали или на кухне. Хорошо они работали или нет? Если плохо, то пусть опять делают своё дело сначала, оставим их на второй день.

— А если ты или Кит? Вы тоже будете с нами?

— Конечно, мы так же, как и все. Если я плох, то и меня на второй день. А то что же такое выходит? Кто не подмёл пола, грязь развёл, а мы и свою работу делать и его? Это не по правилам, пусть каждый за своё дежурство и отвечает.

Ребята заинтересовались.

— Значит,— говорит медлительный Лягушечка,— у нас теперь будет сходка.

— Вот, вот, сходка, она и правила всем пропишет.

Я приехал на следующий день. Ребята бегут навстречу и наперебой кричат:

— У нас каждый день сходка. Генерала на второй день дежурить оставили.

Мы с Устинычем переглядываемся.

«Сходка» — это было нечто безусловно новое, что вошло в новую жизнь, и, как всё новое, прививалось не так-то легко, несмотря на свою привлекательность для детей. Они были задеты за живое, но не умели длительно проявить свой интерес. «Вести сходку» приходилось нам, хотя началась она всё теми же вопросами:

— Ну, как у нас сегодня повара?

— А уборщики как?

Укрепили значение её некоторые случаи из нашей жизни, оказавшиеся своеобразным и очень трудным испытанием прежде всего для нас самих.

Очень скоро двое уборщиков, как оказалось, совсем не мели комнат; их заставили дежурить ещё раз. Пострадала и партия поваров, оставивших кухню неприбранной. Виновные защищались сперва на сходке

очень ретиво. Но когда дело разъяснилось, то они, к моему удивлению, как-то сдались и на следующий день выполняли своё дело аккуратнее обычного. Но уже когда им пришлось снова вступить в дежурство (это было через пять дней), они оказались ревностными контролёрами и довольно сурово принимали своё дежурство от предыдущей партии, заставив товарищей доделывать то, что, по их мнению, было плохо сделано. И более развитые предупредительно приглашали других проверить свою работу, чтобы избежать разговора на «сходке».

Попался и я со своим товарищем Мишкой. Он должен был вымести спальню и как будто сделал это. Но, как оказалось после, смёл весь сор под одну кровать и ушёл. Кто-то из колонистов случайно взглянул под свою кровать и увидел там кучу сора. За нами, сотрудниками, вообще следили с особенным интересом: очевидно, в умах ребят разрешался сложный вопрос о нас, и было бы большой ошибкой с нашей стороны, если бы у нас слово расходилось с делом.

Сбежалась вся колония. Меня подняли на смех. Ребята кричат:

— На второй день!

Пока, быть может, только в виде шутки; некоторые считают шутку неуместной и оправдывают меня: «Виноват, ведь, один Мишка». Тут возник и теоретический вопрос об индивидуальной или коллективной ответственности.

Одно было мнение:

— Ведь Мишка мёл, он и отвечай.

Другие возражали:

— Дежурят-то вместе.

Я вмешиваюсь и спешу объяснить, что считаю себя виновным вместе с Мишкой, на которого не должен был полагаться, и, по правилу, мы должны отвечать оба. Я видел удовлетворение в глазах ребят; очевидно, они сочли бы неправильным исключение меня из общих порядков. И то, что я подчинялся без спору, было, очевидно, им приятно. Следующий день мы с Мишкой дежурили опять при добродушных шутках колонистов.

Был и ещё случай, гораздо серьёзнее.

По вечерам мы всегда собирались перед домом играть в городки. Ребята стали играть очень хорошо, и партии собирались почти равные. Серёжа в игре почти не

уступал мне. Он был очень меток. Однажды нашей партии что-то не повезло. Я промахивал удар за ударом. Серёже в пылу игры вздумалось подымать меня на смех, и в особенности, когда он заметил, что я раздражаюсь. Чем дальше шла игра, тем больше я кипятился и тем больше ребята стали принимать участие в смехе надо мной. Шутки, как я чувствовал, заходили несколько далеко, но я никак не мог справиться с собой. Наконец, ребята стали попросту меня дразнить. В досаде на себя, на неудачную игру, на ребят, которые скажут передо мной, я не выдерживаю, отталкиваю сильно Серёжу, который вертится тут же, и заявляю:

— Я больше не играю, это не игра, а безобразие. — И уйду к себе в комнату.

Я взволнован, обижен, огорчён страшно. Чувствую, что вышло совсем «не то», что я дошёл до того, что ещё немного и мог бы ударить того же Серёжу; представляю себе, что ребята меня ненавидят, что всё рухнуло между мной и ими, что мне нужно бросить колонию и уехать.

Прислушиваюсь. У ребят тихо. Слышно, что все вошли в дом и собрались в столовой. Ведут какой-то оживлённый разговор, но поддерживаются говорить громко.

Я жду. Кто-то подходит к двери. Стукнул.

— Что тебе?

— Тебя зовут на сходку.

Мне невыразимо стыдно. Не знаю, что будет. Но, внешне спокойный, иду. Ребята серьёзно сидят за столом. Их лица немного торжественны, особенно у Серёжи, который заметно волнуется. Мне он неприятен всё-таки.

— Мы собрали сходку, — говорит Серёжа слегка дрожащим голосом, — против тебя. У нас в колонии драться нельзя, потому что в драке можно и повредить что-нибудь. А потом, если у нас станут драться большие, то это будет плохой пример для ребят.

Он замолчал.

Вижу, что с напряжением ждут, что я скажу. Мне тяжело и стыдно за себя, но отвечать надо, и я не знаю, как начать. С внутренним вздохом начинаю объясняться.

— Я признаю себя виноватым в том, что сильно ударил Серёжу. Только это я сделал не потому, что хотел побить его, а потому, что не мог сдержаться. Я вышел из себя, и если бы был спокоен, то, конечно, никого

не ударил бы. Всё, что я могу сделать, это попросить извинения. Я виноват, вот и всё; если хочет Серёжа мне поверить, что я это сделал не нарочно, то пусть и извинит меня...

Все притихли. Серёжа протягивает мне руку, и мы миримся.

Удивительно прочувствовали ребята всю эту сцену. Я представлял собой довольно нелепую фигуру. Серёжа скромно торжествовал, кое-кто из ребят смотрел на меня с испугом. Гроза прошла. Настроение маленького кружка было тихое, сосредоточенное. От меня ждали чего-то; я чувствую перелом и начинаю говорить, увлекаясь победой над собой и втайне над ребятами.

— Это вы сделали очень хорошо. Так и надо делать. Вот я и большой и сильный, никто из вас со мной не справится, а сходки я послушаться должен. У нас часто ребята боятся тех, кто сильнее. Я думаю, что надо бы перестать бояться и говорить на сходке. Все с одним сколько хочешь справятся. Ваше дело — никого не давать в обиду, стараться жить так, чтобы одни не брали верх над другими только потому, что у них кулаки побольше.

— Господа, — предлагает Серёжа, мой обвинитель, — давайте поставим, чтобы все следили за обидчиками, чтобы жаповались на нас не со-трудникам, а всей сходке. А то какие мы товарищи? Подымай руку, кто согласен.

Сразу все подняли руки.

— Ну, это ещё что, — заявляет Илюша, — надо записать и к стене прибить. Кит, записывай.

— Все согласны?

— Согласны, согласны!

И тут же на стене появилось первое правило колонии: «Если кто кого обидит, то жаловаться на сходке».

Удивительная была эта сходка. Когда первый напряжённый момент прошёл и стало свободней, кое-кто едва начал шуметь, смеяться, но сейчас же получил замечание:

— Чего ты смеёшься? Тут серьёзное дело, а ты ничего не понимаешь.

И шалун сразу замолчал.

Эту сходку я считаю коренным случаем в колонии. Это был перелом, после которого пошли совсем другие отношения между нами и детьми и у них между собой. Сходка стада приобретает авторитет. Любопытно,

что наши прежние друзья Таланчик и Жегунов как-то стусевались. Они от-носились и раньше презрительно к нашим сходкам, но теперь потеряли всякий авторитет. Наш уклад жизни им не нравился. Они стали погово-рять, что хотят уехать потому, что у нас «нет настоящих наказаний». Поче-му-то они пустились на хитрости. Ваня написал письмо домой, что Талано-ву у нас голову проломили. Неожиданно приехал отец его, который был очень удивлён, увидав сына в полном здравии. Я ему откровенно рассказал про наши порядки. Кузнец послушал, насмешливо улыбнулся мне, заметил:

— У вас — вы меня извините, я человек простой, неучёный — дело не пойдёт.

— Почему же?

— Да слабы вы очень. Вот если бы вы зажали моему Ваське голову промеж колен да всыпали ему «хороших», я бы вам в ножки поклонился. Васька, собирайся, домой поедем. Поблагодари господина учителя, соби-рай узел и на машину. Да ещё вот есть тут у вас Ванька Жегунов. Мы с его семейством знакомы. Так отец говорил, в случае чего и его сынишку взять.

— Хорошо, пусть едет с вами, если хочет. Так вы говорите, мы слабы очень?

— Да уж как есть, господин учитель; не обижайтесь на простое слово. А затем пожелаю вам всего хорошего. Васька, готов?

И здоровый кузнец зашагал с двумя мальчиками. Я посмотрел ему вслед. Вася обернулся и на прощанье махнул картузом. Всё-таки жалко, что из колонии как-никак, а уезжают ребята. После их отъезда у нас оста-лось двенадцать колонистов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Коллеблющиеся настроения и у нас и у ребят прошли. Мы сжились друг с другом, привыкли к новым отношениям, перестали постоянно и упорно держать друг друга в сфере напряжённого наблюдения. Это сказывалось в той предупредительности, с какой ребята шли на всякую работу с нами вместе, в лёгкости улаживания недоразумений, в большой мягкости взаим-ных отношений, в атмосфере весёлого смеха и шуток, в общем, хотя и не-определённом ещё, интересе ко всей нашей жизни. Мы

создавали оазис, уютный, милый уголок жизни, который поневоле стал противопоставляться жизни, текущей вокруг нас.

Но главное, конечно, было в нас самих с Устинычем. Мы кипели. Мы были исполнены задора и тех максималистских настроений, которые заставляли тех, кто так или иначе соприкасался с нами, относиться к нам с известной осторожностью и некоторой склонностью признать нас, наши идеи, наши методы, несмотря на их неясность и расплывчатость. Нас стали посещать, и к посетителям мы относились несколько свысока, считая в глупине души себя пионерами нового дела, а их людьми отсталыми. К характеристике наших отношений отмечу такой факт: в столовой у нас висел оставшийся в доме нелепый ландшафт. Мы его перевернули кверху ногами и дали ему название «Перевернутое мировоззрение» и иной раз шутя объясняли посетителям, желавшим у нас видеть везде тайный смысл, содержание картины.

Одно нам удалось безусловно: мы постигли тайну собственного вращения в детство. С детьми мы были сами почти дети. Эти настроения заражали их. Они окрасили в свой цвет и нашу трудовую жизнь и наши бедседы, занятия и внутренние отношения. Всё это приняло интенсивный, почти стремительный характер. Работа наша давала большое удовлетворение. Наши обычные общественные работы — кухня и уборка комнат — стали привычными. Неприхотливые обеды и ужины частенько готовились уже без нашей помощи, хотя стол наш всё-таки страдал большим однообразием. У каждой партии были, конечно, свои блюда, которые больше удавались, и поэтому она их преимущественно и готовила. Таким образом, большая часть ребят могла действовать на кухне самостоятельно, прибегая, конечно, иногда за советами ко мне или Устинычу. Разумеется, были неудачи: несолёный суп, невероятно кислые щи, подгорелая каша. Мы снова эти маленькие неприятности довольно добродушно. В общем, кухня всё время была довольно привлекательным делом. Не то было с уборкой. Здесь всё время были нелады, да, пожалуй, и наша собственная комната отличалась больше нравящейся нам примитивностью устройства и обстановки, чем чистотой и порядком. Мы решили быть не очень требовательными по отношению к ребятам, ясно видя, что убирать постели, мести полы и наводить красоту

требует слишком большой настойчивости, да и сами мы, пожалуй, не чувствовали себя достаточно компетентными в этом скучном деле. Мы пошли на компромисс, установили некоторый минимум требований, довольно аккуратно выполнявшихся.

Но нас всех охватила настоящая строительная горячка. Сначала мы выстроили деревянный клозет, вырыв яму, обложив её досками. Незатейливая будка самого обычного вида, похожая на «настоящую», несмотря на непривлекательность своего назначения, всё-таки доставила нам большое удовлетворение. Два дня мы рассматривали свою работу и гордились ею. Она сообщила нам некоторую уверенность в своих силах. И вдруг возникла мысль о постройке настоящей террасы у дома, высокой террасы на столбах. Очень казалось нам заманчивой мысль Устиныча пропилить стену в доме, чтоб сделать выход на террасу.

Но этого мало. Мы решили пристроить ещё лестницу снаружи. Крыша должна была крыться толем; словом, все наши мечты сосредоточились вокруг этой постройки. Привезли брёвна, доски — много досок и толстых, и тонких. Пока Устиныч ставил столбы с партией ребят при помощи верёвок и подпорок, мы со старшими принялись наперебой строгать доски. Материал был сухой, рубанки направлены, и дело у нас спорилось. Вечерами мы оживлённо обсуждали, кто сколько приготовил досок и какую доску трудно было строгать, у кого попадались сучковатые доски, кто начал строгать «против шерсти». Чтобы облегчить работу, мы решили делать размеры террасы по размерам досок. Пока стояли столбы с насаженными на них поперечниками, всё наше предпрятие казалось фантастическим. Но блестяще разрешился на общем совете вопрос о балках. Устиныч объявил, что наши тонкие брёвна не годятся для них, и мы решили поставить доски на ребро, сделав между ними деревянные распорки. Это сразу поставило дело на реальную почву. И когда мы увидели, как интересен и красив этот ровный ряд досок, на которые так легко настилать пол, мы поверили в свои силы окончательно.

Работа приняла необыкновенно интенсивный характер. Уже не было определённых часов. Наша мастерская была открыта целый день. Инструменты и гвозди лежали тут же. Каждый мог брать, что хотел;

привлекало главным образом вколачивание гвоздей, и стук раздавался непрерывно целый день. В работе наблюдалось и распределение сил. Нас было три партии; первая строгала доски, вторая их переносила, третья закрепляла на месте. Доходили до того, что наши повара, на короткое время вырвавшись из кухни на соблазнительный стук молотков и топоров, выбегали снизу, чтобы вбить гвоздик или «немножко построгать». Едва начали настилать пол, как мы уже мечтали, как будем и пить чай и обедать на террасе, как мы будем принимать гостей. Спорили о том, сколько народу выдержат наши балки, будет ли в дождь протекать крыша. Наконец-то наша терраса была готова. Можно себе представить, с каким торжеством мы пили на ней чай в первый раз. Время протекало необычайно живо, непринуждённо, и три недели, пока мы были ею заняты, в колонии царило очень приподнятое, бодрое настроение. Нам с ребятами стало очень легко.

Другие стороны жизни были не так ярки. Много времени уделялось игре, главным образом в городки. Однообразие её как-то мало отражалось на ребятах. Мы сами, пожалуй, увлекались ею не меньше наших маленьких товарищей. Иногда только овладевало нами специально игральное настроение, и мы отдавали целый вечер последовательным играм, самым обычным детским — прятки, жмурки, палочка-выручалочка, казаки-разбойники, кошки и мышки и т. д. Но доминирующей игрой были городки. Мы довольно хорошо специализировались: у нас оказались некоторые из ребят особыми любителями, создавались состязания, игроки достигали искусства выбивать почти всякую фигуру одним ударом. Игра эта возбуждала и борьбу самолюбий, как в памятном случае со мной.

Вечера мы проводили — и это тоже стало привычным — в беседах, общих разговорах, рассказах. Читали дети очень мало; книг было у нас очень немного, да и то случайных. Часто пели. Здесь дело было поставлено очень просто.

Дети собирались вокруг пианино, кто-нибудь из нас аккомпанировал, и довольно грубо, нестройно, но с большим жаром мы исполняли весь свой незатейливый репертуар, в котором военные песни играли значительную роль. Некоторые ребята оказались довольно музыкальными. Они быстро научились подбирать на пианино наши песни. К большому удовольствию наших музыкантов мы

разыгрывали эти песни в четыре руки. Это чрезвычайно их занимало; у любителей почти всё свободное время уходило на бесконечное повторение той песни, которую удалось подобрать. Скоро пришлось устанавливать даже специальные правила для игры на пианино. Иногда всем хотелось играть. Тогда к инструменту придвигалась лавка, музыканты — трое, а то и четверо — усаживались рядом, и каждый, отмежевав себе определённую часть клавиатуры, играл своё, не стесняясь музыкой соседей. Это считалось в порядке вещей. Но бывало и так, что занимали места и простые смертные, которые пробовали, как звучит инструмент, по-своему. Если по клавишам гуляла целая ладонь или кулак, это ещё можно было вытерпеть. Но когда вместо рук начинали ударять или кулак, то это считалось неуважением к музыке и порчей инструмента, и виновные лишались на сходке права играть на несколько дней.

Был у нас с Устинычем поднят вопрос и о занятиях. Но нам хотелось чего-нибудь такого, что не отзывалось бы школой.

В этом отношении имели большое влияние воскресные экскурсии к нам московских рабочих, продолжавшиеся почти всё лето. По нашему боевому настроению мы обладали большим избытком сил. После первых двух-трёх недель непривычной работы мы быстро втянулись в неё, и нам хотелось захватить побольше. Не одни дети привлекали нас. Нам казалось, что страдает не только детская школа, но и школа взрослых. **Смутно мерещилась нам колония как место оживлённой, интересной человеческой работы, привлекающей различные круги лиц и разные возрасты.** Устиныч был весь полон желанием свести у нас разных людей друг с другом и дать им при этом свежие и сильные толчки. У него быстро (быть может, внезапно) явилась мысль объединить между собой воскресные московские школы для взрослых во главе с Пречистенскими классами для рабочих. Объединение это выражалось пока в форме совместных экскурсий разных школ к нам в колонию, где мы предлагали нашим гостям чай, помещение для отдыха, купание, а затем ряд лекций: Устиныч читал об Америке, кооперации, общественных движениях и по географии, а я — краткий курс по физиологии растений. Для опытов мне нужна была маленькая

лаборатория, которую я и устроил в нашей комнате. Дело было очень интересное. Лекции происходили под открытым небом. Мы оба очень увлекались. Конечно, жизнь колонии была предметом оживлённых бесед и с рабочими и с руководителями, многие из которых учительствовали в Москве. Ни я, ни, кажется, Устиныч не были осведомлены в педагогической литературе, и мы больше высказывали принципиальные соображения «от себя». Это столкновение нашего маленького общества с внешним миром показало, что наша работа и наши идеи не совсем безразличны, что они многих даже серьёзно задевают и для многих наша затея казалась чрезвычайно интересной. Мы с радостью убеждались, что на нас смотрят, если не с настоящим признанием, то с большой осторожностью. Внешний мир, ворвавшийся к нам, был полон совсем других настроений, чем мы. Это был 1905 год. У нас в сарае каждое воскресенье после чая и наших лекций происходили маленькие политические митинги. Расходившиеся по окрестности группы распевали революционные песни. Население мешанского Щёлкова стало относиться к нам подозрительно. Вокруг колонии заходил стражник. Задача культурной работы, то социальное начало, которое мы непосредственно проводили в жизнь, эти новые отношения с детьми и взрослыми, эта опьяняющая свобода творчества и бесконечные горизонты будущего заставляли вести своё дело, которое казалось очень важным, нужным, новым.

— У нас своя линия,— говорил Устиныч,— у нас своя конституция и революция, только сейчас. Мы не хотим ждать...

На этой почве у нас возникали горячие споры с нашими посетителями. Предметом споров были политика и культура, интерес и общественный долг в работе, свобода и принуждение. В общем эти споры проходили довольно мирно, благодушно, с большим желанием понять друг друга. Некоторая часть рабочих была на нашей стороне. Дети были тут же. Они присутствовали на митингах, были свидетелями споров и чувствовали себя чужими. Нас они слегка ревновали к гостям. Наиболее развитых из них заинтересовали опыты на лекциях. Они просили заниматься с ними, и я с радостью начал свою работу. Лабораторийка моя была скромна, примитивна и именно этим очень меня радовала. Я решил попробовать

заниматься химией со всеми желающими и объявил о начале занятий колоницам. Все захотели «слушать лекции»; я проштудировал «Школу химии» Оствальда. Мне было интересно попробовать, как серьёзные вещи могут укладываться в детских головах. Это была первая моя школа. Дети схватились за неё, очевидно, из чувства подражательности, мне же мерещилось создание новых методов.

Эта школа была очень хорошо принята. Дети сидели тихо, торжественно, особенно вначале. К моим стаканам, трубкам и жидкостям они относились с очень большим почтением. Я старался каждому дать какое-нибудь дело. Всякий прибор дети составляли сами, гнули трубки, отвешивали вещества для опытов, отрезали стекло, наливали и зажигали спирт. Они были очень осторожны. Почти ничего не было разбито. Со всей техникой старшие освоились настолько быстро, что я привлёк их в качестве ассистентов на мои лекции для экскурсантов. Впрочем, моя маленькая аудитория не была достаточно устойчива. Маленьким стало скучно. Их занимали, конечно, опыты или «фокусы», как говорились у нас; старшие же просиживали часа по два за налаживанием приборов. Попутно шли у нас всевозможные разговоры и уже на разные темы. Тесный кружок, образовавшийся во время нашей «химии», свобода, непринуждённость и возможность многое предложить самим создавали прелестную атмосферу, очень сближавшую нас. Я сам был не прочь блеснуть эффектом некоторых опытов, в особенности в связи с добыванием кислорода или производством взрывов. Ребята затаивали дыхание, я заранее предупреждал их о том, что будет, принимал меры предосторожности. Блеск огня или треск маленького взрыва производил сильнейшее впечатление.

Дети гордились своими познаниями. Однажды на лекции, когда мои помощники особенно блестяще выполнили своё дело, самостоятельно поставив опыт с добыванием углекислоты, и когда всё это произвело своё впечатление на слушателей, они небрежно заявили мне:

— Ничего они не знают; ты говоришь, говоришь, а должно быть, мало они поняли.

Занятия эти продолжались всё лето, хотя с меньшим оживлением. Маленькие совсем перестали принимать участие. Я тоже немножко остыл, видя некоторую случайность моего небольшого опыта, который был

отзвуком соприкосновения нашего тесного, живого мирка с внешней жизнью. Связи с нею было, впрочем, мало. Мы заметно ограждались от деревни, относившейся к нам или безразлично, или враждебно. На это указывали разговоры о нас прохожих (дача наша стояла на проезжей дороге, между двумя деревнями), насмешки над ребятами в лавке, когда они бежали за покупками, преследование со стороны деревенских ребятшек. Нас опасались, в особенности в связи с постоянными и всё более многолюдными (до 100 человек) экскурсиями рабочих. С половины лета по тропинке, сзади нашей усадьбы, частенько стал попадаться местный стражник. Всё это не могло содействовать нашему сближению.

Пока эти нелюди нас мало тревожили. Слишком много интереса было в нашей собственной жизни, и задача, которую мы непосредственно поставили себе, казалась и очень важной и очень сложной.

Всё придёт своим чередом в наши руки, в нашу «обработку», пока же мы заботливо отстраняли от себя те дела, которыми мы не могли сами руководить. Поэтому и в этих кругах рабочих и их руководителей мы не только хотели давать то, что от нас требовали, т. е. сарай для бесед, самовары и лекции, но и старались выявлять своё отношение к тем школам, откуда наши гости к нам приходили. Частенько приходилось спорить. Мы горячо восставали против «нянек», которых было довольно много в рабочей среде и в среде воскресных школьников. Мы отстаивали «инициативу», самостоятельность и самопомощь и ставили в пример взрослым жизнь наших детей, которую в пылу спора мы достаточно идеализировали. К нам осторожно прислушивались, но руководители, как политические, так и педагогические экскурсий, кажется, не очень были довольны нами.

Этими экскурсиями не ограничивалось наше соприкосновение с внешним миром. Очень большое место занимали у нас наши собственные экскурсии и простые прогулки, которые вошли в обычай, и более длительные путешествия, на один-два дня, вёрст за 15 — 25 от колонии, которых было сделано несколько в течение лета. Под конец лета одно путешествие вёрст за 35 от нас заняло целых четыре дня. Экскурсии знакомили нас с жизнью совсем другого уклада. Это мы считали очень важным.

Больше всего мы любили простые прогулки в

окружающую нас природу. Обыкновенно выбирали хороший день. Мы стоваривались накануне, шли гулять обыкновенно после обеда. Нас охватывало всех ощущение свободы от всех рамок жизни, от работ, от узких пространств комнат, кухни, двора, ограниченности нашей дачи. Неподаляку от нас шла цепь пригорков, пересечённых оврагами, открывались лужайки среди леса, где можно поиграть, повозиться на тёплой траве, разгорячиться и отдохнуть в тени. В нашей жизни, такой внешне скромной, серой, примитивной, не хватало эстетики. Здесь, в природе, мы все наслаждались, и трудно сказать, кто больше — дети или их руководитель. Обыкновенно мы не назначали цели прогулки, а шли от горки к оврагу, от леса к лугу, залитому солнцем, бродили, то рассыпаясь по кустарнику, то вновь собираясь в кучу. Приходили в голову мысли, которые тут же осуществлялись — они всегда почти были соединены с игрой, так же мгновенно возникавшей, как и проходившей. Иногда мы брали с собой железный чайник и кружки. Разводили костёр, кипятили воду и пили чай с ягодами. Всё это так обыкновенно, просто, внешне незначительно, но нам давало очень много. Надыхавшись, устав, опалённые жарой, мы возвращались домой в прекрасном настроении, и жизнь наша получала всегда свой очередной толчок, исходивший от избытка сил. Тогда как-то мы с Устинычем улавливали всё значение детского «избытка сил», который постоянно искал выхода и выливался в самые случайные и разнообразные формы, не исключая ссор и потасовок, которые в этом случае не так уже сильно нас огорчали. Всё возникало и потухало, враги, которые сейчас же становились закадычными друзьями, — это так по-детски просто и логично. Но не всегда логика жизни, протекавшей перед нашими глазами, была нам понятна, и мы создавали формы организованной борьбы со «злом» (при помощи решения наших «сходок»). Во время прогулок сходок не бывало.

Несколько раз в течение лета мы ходили за 15 вёрст в Пушкино в гости к нашим друзьям, людям довольно самостоятельным, чрезвычайно интересовавшимся нашим делом и поддерживавшим его материально. Там жила и общая наша приятельница, Луиза Карловна Ш. Эта жизнь была очень далека от нашей. Довольно скромная обстановка наших друзей казалась ребятам «страшно богатой». Они были тихи, робки и казались слегка

подавленными. Мы обыкновенно ребята оставляли одних. Их занимали хозяева, большие любители цветов. Ребята ходили по дорожкам, усаженным розами, гелиотропом и ирисом, с очень большой осторожностью. Порядок, пределы их сильно стесняли. Самым интересным и новым удовольствием было катание на лодках, где наши колонисты порядком оживлялись, становились опять самими собой. На даче мы обыкновенно ночевали. И лучше было спать на сеновале, где можно было повозиться, чем в гостиной на мягких стульях и диванах, среди стесняющих вещей. К этому миру ребята относились, по нашим наблюдениям, так же, как к хорошему новому платью: чисто, хорошо, можно даже полюбоваться, но чужое, будто не веришь, что оно твоё, чувствуешь себя неловко. «Вот хорошо-то», — говорили ребята в один голос, но скорее спешили домой. И дома после таких впечатлений не казалось плохо. Два раза в лето ходили мы вёрст за 20 в одну детскую колонию, которая имела прислугу и жила по-старому. Ребята невольно сравнивали своё житьё с укладом жизни детей, который резко отличался от нашего. «У нас» и «у них» было предметом самых оживлённых разговоров. Мы явно гордились своим житьём.

— У них все приказывают — хочешь, не хочешь, а слушай, сходов нет, никто не умеет сходы делать. Как я рассказывал им про нас, так никто не верит, — объяснял с чувством большого превосходства наш положительный Серёжа, — и я говорю им: приезжайте к нам, мы свой балкон строим, а на кухне теперь варим сами, что хотим. У нас Шацкий и Устиныч слушаются сходы и дежурят наравне со всеми. Мы учим химию. Только вот чисто у них везде, а больше ничего хорошего нет. У нас веселее.

Вот была суть ребячьих мыслей, которыми мы оживлённо обменивались, направляясь домой. Этот детский мир, столь отличный от нашего, давал обильную пищу для наших товарищей. Они явно начинали ценить свою колонию и с большим достоинством держали себя в гостях. Нам казалось, что некоторые, наиболее развитые из них, даже начинали понимать те идеи, которые были вложены в наше дело. Иногда это сказывалось особенно ярко. Однажды на пути мы увидели лесную сторожку и решили остановиться, передохнуть и позавтракать. Старуха-сторожиха дала самовар, хлеба и молока, и ребята со смехом и шумом расселись за столом под дёрвями.

— Кто у нас сегодня уборщики?

— Кит должен с Мишкой...

Мы с Мишкой ставим самовар на стол, режем хлеб, завариваем чай и раздаём сахар. Старуха неодобрительно наблюдала.

— А кто это такие с вами? Учителя, что ли? Устиныч засмеялся, глядя на ребят. Они замялись.

В самом деле, кто такие мы с Устинычем?

— Не учитель, а товарищ, только старший, — стал объяснять с некоторым сомнением молчаливый обычно Лягушечка.

Серёжа счёл нужным разъяснить дело точнее:

— Учитель жизни, — заметил он с важным видом и, обернувшись к Устинычу, сказал ему тихо. — Да разве она поймёт?

Такое признание со стороны 14-летнего мальчика чрезвычайно порадовало меня. Его слова были маленьким отзвуком того милого, задумчивого общения с детьми, которое установилось у нас в это время. Бывали дни, часы и моменты, когда мы были действительно «товарищами» наших колонистов. Дети всегда чутки. И нам трудно было установить ровный тон в общении с ними, часто он сбивался на тон покровительственный или насильственный. В ответ мы всегда имели отпор, замкнутость, и близкий, казавшийся таким простым детский мирок становился далёким, странным, и между нами вырастала зловещая «перегородка».

Раз мы во время прогулки сделали привал около железной дороги. Шёл поезд. Илюша неожиданно вскочил, побежал к рельсам и почти перед самым паровозом хотел перескочить на ту сторону. Всё произошло мгновенно. Устиныч бросился за мальчиком, догнал, схватил крепко за руку и с нервным раздражением стал кричать на него:

— Это безобразие, чёрт знает что. Никогда тебя не возьму на прогулку, а теперь никуда не смей отходить от меня. Я тебя в Москву отправлю.

Илюша молча смотрел прямо перед собой; глаза его остановились. Он начал плакать, всхлипывать и, наконец, разразился сильнейшим припадком слёз. Он рыдал, вырывался со злостью из рук крепко державшего его Устиныча.

— Я сам... уйду... — слышалось сквозь судорожный плач. — Пешком пойдю... в Москву... если тут ругают, как... собаку... опять бить... начнут, как там... так и здесь.

Он долго не мог успокоиться. Мы испугались, старались утешить, уговорить. Весь обратный путь прошли мы под тягостным впечатлением непонятности этого случая. С Устинычем он долго избегал встречаться, пока не прошло острое чувство обиды и не состоялось его полное (и тоже не без слёз) примирение с Устинычем. Илюша был один из пяти приятских ребят. Весь режим жизни приюта, конечно, никак не мог развить в них чувства собственного достоинства. Печать приниженности, неискренности, унижения лежала на их лицах. Они постоянно при разговоре, при прямом обращении к ним по привычке смотрели в сторону, говорили своеобразным, общим всем жалобным тоном, почти не разжимая губ. Долгое время за едой у них оставалась привычка закрывать левой рукой свою миску и смотреть при этом исподлобья, внимательно следя за тем, как разливался суп, раздавалось мясо или каша. Мы обращали на это внимание и добились того, что дети развернулись, стали открыты и мало отличались от «свободных». Поэтому-то случай с Илюшей был так поразителен. Когда первый приступ досады, раздражения и упреков прошёл, то мы стали даже гордиться в душе Илюшей. К нему стали особенно внимательно и ласковы, впадали до некоторой степени в сентиментальность. Устиныч в конце концов подружился с Илюшей.

Но вот в Москве уже, когда Илюша опять попал в приют, так как жить ему нигде было, пришлось встретиться с ним на улице:

— Как живёшь, Илюша?

— Ничего.

— Помнишь, как жили в колонии?

Илюша молчит.

— Что ты так? Опять попадает?

— Нет, только раз Василий Иванович за волосы оттащал,— ответил мальчик совершенно равнодушно.

— Ну, а ты что же?

— Что из этого? Надо привыкать.

— Как же в колонии, помнишь, на железной дороге?

— То колония, а то Москва, — совершенно резонно ответил Илюша, и почувствовалось много в этом ответе

тайного упрёка за то, что ему пришлось вернуться в ту же жизнь, откуда он был вырван на короткое время... Сказано было всё и понято было в тот момент и ребёнком и взрослым тоже всё.

— Ну, прощай пока, Илюша.

— Прощайте, — ответил унылым прежним тоном мальчик, и это «вы» тоже было слегка больно. Мы разошлись.

Но всё это было после. Пока же мы в упоении от ребят не замечали ещё досадного лица реальной жизни.

Мы стали привыкать к далёким расстояниям. Под конец решили сделать целое путешествие вёрст за 35, в имение к нашему знакомому помещику. Мы основательно подготовились, взяли с собой хлеб, крупу, масло, чай, сахар. Идти решили не торопясь, делать большие остановки, по дороге купаться, где можно, собирать и жарить грибы, сделать на полпути большой привал, разложить костёр, достать в деревне картофеля и печь его на костре. С нами была и карта, по которой мы заранее познакомились с названиями мест, через которые нам придётся идти. Дело было для нас серьёзное. Все ждали этой прогулки с нетерпением. Она вышла очень удачной по настроению всех участников. Горевал только наш Мишка, у которого разболелась нога, и его пришлось оставить на попечение сторожихи в колони. Раза два мы по дороге запугались, желая сократить путь по нашей карте. Один раз попали в довольно затруднительное положение, решив общим советом идти через лес напрямик. Дорога вначале была хороша, потом как-то стала стираться и под конец совсем пропала. Тут пришлось идти наудачу, но кое-как справились по солнцу, вышли из лесу и, как оказалось, даже несколько сократили дорогу. В имение мы пришли под вечер. Нас ждали... На утро мы знакомились с новыми местами. Большое хозяйство, хорошо обставленный скотный двор, масса животных произвели своё впечатление.

— Когда-нибудь и у нас так будет, — заметил скептически Серёжа, — с деньгами отчего всего не устроить.

Но в общем чужая обстановка и сложность большого хозяйства быстро утомили детей. Они запросились домой. К общему удовольствию мы поехали назад по железной дороге. Это путешествие было последним...

Каждый раз, когда мы сталкивались с внешней

жизнью, мы испытывали особый подъём у нас внутри. Шла деятельная работа ума под новыми впечатлениями. Как-то вышло, что очень много в том внешнем, что мы наблюдали в разных как бы формах, было сходного между собой. И мы сравнивали своё и чужое. Везде был порядок, приспособленность, достаток. Но везде те, кто нас принимал, кто был хозяевами, не делали сами того, что нам было привычно. И с этой точки зрения нам было привычно рассматривать внешнюю жизнь и оценивать свою. У нас плохо, бедно, но «мы сами»; у нас нет кухарки, а «мы сами»; эти внешние впечатления сближали колонистов между собой всё больше и больше. «А затем у нас есть то, чего нет нигде, — это сходка». Даже воскресные экскурсанты подвергались своего рода критике: «с ними приезжают «учителя», которые всем распоряжаются, говорят им сами, а остальные только слушают», «сходки делать не умеют», — такие были обычные замечания среди ребят. Самое же критическое отношение к себе вызывали факты пренебрежительного или снисходительного поведения посетителей к нашим колонистам. Этого, пока жили, и мы с Устинычем не выносили.

Разумеется, детская жизнь шла, как она всегда идёт, со всей её подвижностью, неустойчивостью и движением, и эта полная, разнообразная, весёлая и шумная жизнь протекала неровно. Полосы одушевления сменялись моментами развала. Были и стычки, нелады и между ребятами и в хозяйстве. Сходки наши давно уже стали не только хозяйственным регулятором, на них стали разбираться не только действия наших дежурных, как вначале, но и весь распорядок жизни, взаимоотношения и правила поведения. Нам почти удалось снять с себя обязанности выслушивать жалобы, примирять, улаживать ссоры и распорядиться. Это всё уже делала сходка, авторитет которой очень усиленно поддерживался нами. Ребята видели, с каким удовольствием и готовностью мы поддерживали выполнение её решений всегда по данному «случаю», без установления строго выработанных и постоянно действующих правил. Мы совершенно не думали об «уставе» колонии. Иногда общим ходом сходки выяснялось какое-нибудь новое важное положение, которое обсуждалось горячо, но скоро забывалось. И не беда, если приходилось возвращаться по какому-нибудь

новому поводу к прежним решениям, повторять их. В этом, по-нашему мнению, сказывалось движение детской мысли. Один из таких постоянно повторяющихся мотивов был вопрос о наказаниях, вообще стоявший очень неопределённо.

Однажды на сходке пришлось разбирать ряд всяких нарушений — кто-то подрался, кто-то выругался «чёрным словом», и тут же оказалось, что несколько дней подряд наши дежурные делают всё спустя рукава. Очевидно, мы были в очередной полосе разлада. На сходке, ввиду многочисленности всяких неполадок и того, что почти все оказались в виноватых, зашла речь о том, как быть: начать как-нибудь наказывать или положить на «совесть»? Конечно, все виноватые, после того как разобралось их дело, голосовали вместе со своими обвинителями.

В конце концов решено было дать всем неделю на исправление, а после уже наказать. Настроение ребят было очень серьёзное, и я после сходки попросил всех немножко повременить.

— Я хочу задать товарищам колонистам один вопрос,— сказал я несколько необычным тоном.

— Задавай, задавай! — сейчас же откликнулись ребята, насторожившись.

— Вот что я хочу спросить: не делал ли кто из вас чего-нибудь такого, что всеми считается нужным скрывать от сотрудников? Мне всё равно, кто это сделал, я не об этом спрашиваю; мне только хочется узнать, может, вы скажете сейчас, как вы нас с Устинычем считаете — товарищами своими или начальством; раньше вы постоянно жаловались друг на друга, хотели, чтобы разобрали всякое дело, может быть, чтобы мы вас наказывали — это значит, что вы смотрели на нас как на начальство. А теперь у нас сходка. Так вот, если мы все товарищи и на всякого можно на сходке сказать — и на меня, и на Устиныча (помните, как Серёжа говорил про меня), то хотелось бы узнать, много ли у нас скрытого.

Последовало молчание.

— Я не знаю, ясно ли говорю?

Смущение ребят очевидно.

— Все молчат. Значит, я буду думать, что мы настоящие товарищи, что у нас всё открыто. А то ведь

спрашивают меня, когда говорят про нашу колонию, какие тут порядки: «Так вы же с ребятами только говорите, что товарищи, а небось за спиной что у вас делают, вы ничего и не знаете». Так как мне говорить, товарищеская у нас колония или нет?

Ребята недоумевают, что надо им сказать, и не решаются. Выручает мой соратник Мишка:

— Я вот кружку разбил и не сказал.

— Ну, ладно, кружку разбил, а ещё кто?

— А я сахар брал.

— Так, ты сахар брал, ещё кто?

— И я, и я, да что — все после чая в карман сахар кладут.

Я смеюсь. Смеются и ребята.

— Сеня, ты чего же молчишь? Ведь ты курил — все видели.

— Ну, что же, курил, а теперь бросил, чего ты лезешь.

Смех и оживление разрастаются.

— А Серёжа трубки брал в «химии», а мне дал погнуть, — неожиданно говорит Генерал.

— Да, а от нас заперлись, — говорят, мы не понимаем.

Я вижу, что Серёжа сконфужен, и говорю ребятам:

— Вот видите, какая куча всяких тайных дел. Только напрасно никто из вас не говорил об этом прямо на сходке. Я думаю так: сахар отчего же не брать, если бы у нас было волю. А его мало, денег не хватает. Сахар даже очень полезен, и хорошо бы его давать побольше, только как бы совсем не остаться без него, если будем брать, сколько кто хочет. Про курение можно сказать наоборот — оно дело вредное, в особенности для маленьких. Но всё-таки, если кто курит, то пусть это делает при всех, а не тайком. Я и Устиныч будем только жалеть об этом, но ещё хуже, если Сеня закурит, а я войду, и он папиросу в рукав спрячет. Это мне будет обидно. Ещё вот Серёжа с Генералом трубки гнули вроде как тайком от нас, потому что ребята про это знали, — ведь мы были бы очень рады, что он сам дает то, что показывается на занятиях. Тут ничего ни плохого, ни стыдного нет, а, наоборот, очень хорошо. Всё-таки хорошо, что мы обо всем здесь говорим и не боимся. Да и, правда, чего бояться — наказаний у нас нет.

— Ну, да вот всё-таки стыдно сказать...

— А если начнём подозревать того, кто ничего не сделал, разве это не стыдно? Это ещё хуже, по-моему.

— Ладно, Кит, чего тут толковать. Если товарищи, то так и жить надо дружно. Это всё так, а не со зла...

— Давайте постановим на сходке правду говорить.

— Подымай руки.

— Смотри, теперь чур не врать.

Мы хохочем и встаём, очень довольные друг другом.

Я весел, шучу, вожусь с ребятами. Настроение только что кончившейся сходки меня страшно ободряет. Я давно не испытывал такого подъёма. Ещё одна пробитая брешь в искренности. Весь день дети были особенно ласковы и предупредительны со мной. Меня это чрезвычайно трогало. Ребята улеглись после моей сказки. Я вышел из дому. Была лунная ночь. Я в удивительном настроении, полон наслаждения. Сажу на пне, на пригорке... Сзади, с боков берёзы, орешник полукругом, так что чувствуешь их сейчас за собой. Передо мной внизу долина с чуть слышным журчанием воды в речке. На противоположном берегу тёмная, молчаливая полоса высокого клёна. Жутко кажется войти туда — войдёшь и исчезнешь. Верхний край этой тонкой полосы, весь в зубцах, извилинах, ясно вырисовывается на чистом небе. Направо и налево всё кажется сероватым от лёгкого тумана, далеко разносится шум поезда, лай, голоса, грохот запоздалой телеги, но как-то смягчены эти звуки и стали чуть слышными и тонкими.

Жаль шевельнуться. Так понятны мне красота и смысл тишины. Лунный свет заблещет туман и полосами светит сквозь тёмный лес. Обернёшься назад, посмотришь: на белых стволах берёз, на прозрачной листве, сквозь которую просвечивает ясное небо, — лесная сказка природы. Из-за окутанных тенью кустов блещат белые пятна бересты везде — и близко, и подалее, в глубине перелеска. Слегка отделилась молодая берёзка и вся вырисовывается на небе. Самое полное наслаждение. А рядом, в голове, яркий и неразрешимый вопрос... Что же это?

Тихое небо, тихий свежий воздух вверх и везде. Мысль раздвигает эту прелестную, уютную, понятную по простоте и близости картину до всего огромного, безграничного мира и сопоставляет со всем

неизменным движением моё движение, мою жизнь, как пылинку. Но что-то вложено, часть общего в эту пылинку, и она спрашивает, потому что чувствует себя оторванной. Что будет со мной, моими мыслями и моими ребятами?

Свежо. Я тихо встаю и иду в дом. Мне хочется сохранить в памяти и этот день и эту ночь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы оба были захвачены жизнью с детьми. Нам казалось, что в наших руках уже есть основная нить работы с ними. Дети теснились около нас, и мы испытывали огромное наслаждение от признания своей удачи. Мы стали до некоторой степени фанатиками, на что с некоторым огорчением указывали нам наши ближайшие друзья. При встречах со знакомыми мы могли говорить только про нашу колонию; остальное было мало интересно. Говорить и в особенности убеждать приходилось довольно много, хотя бы из-за того, что нам постоянно не хватало денег, и одно время мы по очереди с Устинычем объезжали знакомых и собирали средства по мелочам — и деньгами и вещами. На нашу работу в общем смотрели как на своего рода «американское» чудожество, но всё-таки прислушивались. Многие в наших рассказах казались странным, но во всяком случае привлекательным. Чувствовалось нечто свежее за всем тем, что мы передавали. Действовало довольно сильно и наша собственная убежденность в значительности нашего дела. Поездки из колонии были досадны. Хотелось как можно больше времени проводить с детьми.

Жизнь наша не стояла на месте. Уже с утра, когда ещё дети не вставали, мы с Устинычем обсуждали предстоящий день и всегда находили нечто новое, что предложить им. Дело Устиныча было вводить новые комбинации в нашем беспорядке, в наших сходках, моё — отчасти приводить в исполнение, потому что мне приходилось больше бывать с детьми, а отчасти и выдумывать всякие технические улучшения в наших работах, к чему у меня была большая склонность.

Наша собственная работа была непрерывным кипением мыслей, предложений, планов. Каждый удачный день приносил новые предложения, новые быстрые

выводы; новый день строился как прямое продолжение предыдущего. Мы каждую минуту готовы были всё изменить, если встречался какой-либо новый факт, имевший в наших глазах существенное значение. Ещё Устиныч имел в голове какой-то план работы, более широкий, чем наша колония, — план, который он до поры до времени не раскрывал. Я руководился только непосредственным чутьём, инстинктом и чувствовал огромное доверие к уму моего товарища.

День шёл за днём, всё больше втягивал нас в радость общения с детьми. Но подходил уже август, и поневоле надо было думать о том, что будет дальше. Колония должна была во что бы то ни стало иметь своё продолжение. Слишком много личного было вложено в неё. Дело стало развёртываться предо мной в его пока смутной широте, и я был захвачен грандиозной перспективой новой работы. Грандиозной она мне казалась не по широте захвата, а по новизне своей. Это были идеи детского клуба и «Сетле-мента» (главная же прелесть была в том, что это всё было новое). Устиныч рисовал передо мной картины организованной и разнообразной формы жизни американских детей. Среди всяких детских кружков, обществ путешественников, натуралистов, робинзонов, спорта, друзей библиотеки и т. д. центральной организацией в Америке являются детские клубы, играющие огромную роль в воспитании американцев. Мы должны начать эту работу. Мы вступили в борьбу со школой, с мёртвыми педагогами, с обществом, наконец, с семьями, и эту борьбу будут вести с нами все те дети, которым мы дадим свой угол, где они станут распоряжаться по-своему. Мы будем опираться на сильно развитый инстинкт общительности в детской среде. Мы широко откроем двери. Дети станут свободно приходить к нам, группироваться в товарищеские ячейки. В нашем клубе проявится всё, что задвинуто в детях жизнью. Наш клуб должен положить начало освобождению детей. Пусть мы начнём с маленького, будем ждать, пока дети сами начнут создавать свой клуб, свой общественный уголок, вроде, как это вышло в колонии. Мы предложим им занятую для них организацию, своего председателя, секретаря в каждой группе. Пусть мальчики смешаются с девочками в общей работе — вот смысл не очень ясных, но захватывающих по своей привлекательности

идей, которые вскользь, по своей привычной манере, в ферме разговора со мной, заботливо спрашивая, что я сам думаю делать с ребятами зимой, как я сам рисую себе эту работу, — высказывал мой приятель. Мне было жаль расставаться с колонией. Как нарочно, чем ближе мы подходили к концу, тем теснее жались к нам дети. Нашей первой мыслью было, конечно, не расставаться с ними, они должны были стать пионерами новой работы, нашими ближайшими помощниками. Верили в то, что нам удалось создать не только общественные навыки у них, но и воспитать маленьких общественных деятелей. Устиныч стал надолго уезжать в Москву — он подыскал квартиру, принялся за её ремонт, приобретение мебели, книг, пособий для нового дела. Но этого было мало его неугомонной голове. В один вечер тихой беседы с ним я услышал и другой проект — ещё более туманный, но ещё более захватывающий. Он указывал на то, что работа только с детьми недостаточна: надо работать с их семьями, с округом, с местным населением, иначе культурная деятельность всегда оторвана от жизни. Самый действенный способ — это жить как культурный, доступный для соседей человек, квартира которого есть в то же время и общественное учреждение, незначительное по размерам, но близкое, понятное и развивающее большую возможность глубокого влияния. Конечно, можно работать в одиночку, но лучше собрать кружок людей, взаимно помогающих друг другу в общей работе. Здесь могут быть объединены люди разных уровней знания, искусства, техники. Не нужно благодетельности, но следует развивать в людях инициативу, взаимопомощь, самостоятельность, помогать им устраиваться по-человечески.

Можно начать эту работу вдвоём, сделать из своей квартиры специальный клуб, конечно постепенно, не сразу, привлечь других и дать им толчок для совместной товарищеской работы — вот то дело, которое, — говорил мне Устиныч, — больше всего хотелось бы делать.

Я старался смотреть на вещи просто. Меня больше интересовал процесс работы, движение, свобода, а главное — дети. Мне мерещилось нечто вроде свободной детской республики.

Устиныч устроил беседу с детьми о будущем клубе. Он рассказывал им про американских детей, их школы и жизнь. Нашим колонистам легко было слушать:

черты собственного житья проходили перед ними. Но, по моему впечатлению, несколько хуже было с нашими непосредственными планами, которые возбуждали определённый интерес только в Серёже; он сам стал указывать и на свою школу, из которой обязательно приведёт товарища в клуб. Серёжа был очень самолюбив, и ему улыбалась роль организатора кружка одноклассников. Приютские ребята все слушали про нашу затею хмуро. Илюша высказал своё мнение с большим оттенком горечи, что их в клуб пускать не будут. Мы утешили его:

— Ничего, придём, сами попросим, пустят.

Нам и в самом деле казалось это простым. Но мы не видели того, что суть дела была не в том, чтобы Илюше, Генералу, Мишке, Лягушке с братом ходить в наш клуб, а чтобы вырвать всех из затхлой атмосферы приюта. Где-то в глубине это шевелилось, но смутно; несомненно было одно, что в детских душах развёртывалась маленькая драма, что огонёк, только что разожжённый нашей колонией, готов потухнуть, оставив горький след. За Серёжей тянулись два его брата — Гриша и Коля-«Форсун». Обещал привести чуть не всю школу Ваня Боязнов — Бабушка, прозванный так за смешной рассказ про свою бабушку, которая увидела раз огромную луну, и от этого у них случился пожар, а после того, как пожар потушили, бабушка вышла на улицу, и «луны не было, вся сгорела». Но на Ваню надеяться было трудно, он был очень легкомыслен. Саня Степанов, служивший в типографии «в мальчиках», Курилка по нашей колонии, сомневался, отпустят ли товарищей — мальчиков типографии — в клуб.

— Это надо Николая Ивановича просить, а то у нас строго.

Страшкин-Бурашкин, получивший своё имя, вероятно, из-за своего застенчивого вида (фамилия его была Страхов), и весёлый баловник Сеня не знали, куда переезжали их семьи на лето.

Вдоволь намечтавшись о будущем, ярко представляю себе картину оживлённой работы клуба. Он мне рисовался таким простым, осязательным: я шёл к детям и начинал, увлекаясь, говорить с ними. Но что-то ставилось между мной и ребятами. Я скоро начинал смутно чувствовать, что моя картина, которую хотелось передать целиком, как она возникла в моей голове, как-то

бледнеет. Я расплывался, не находил слов. Мои маленькие сотоварищи сочувственно слушали, но больше как будто из участия ко мне, чем к моей фантазии. За ней, очевидно, не было реальной сути. Я спрашивал, но получал ответы довольно неопределённые. Они как будто жили во сне, в сказке, а теперь просыпались. Перед их глазами вставала опять прежняя жизнь — приют, улица, соседи, семья, двор, совсем другое, чем то, что прошло перед их глазами в колонии. Это были две жизни, совсем не спаянные между собой. Говорили ребята о будущем мало, некоторые отмахивались, что несколько меня обижало. Я начинал понимать вещи, как будто совсем простые, которых раньше я не понимал.

Было ясно, что колония спаяла разношёрстную группу и что составить из колонистов дружный кружок не удастся. Этого, конечно, и следовало ожидать, так как приглашение ребят в колонию было спешным и случайным. Это было большой ошибкой, потому что новую работу пришлось строить в очень незначительной степени как продолжение предыдущей. И ребята, с которыми мы так сжились, и дела, так быстро начатого, было очень жаль, — так жаль, что неприятно было думать о конце колонии. А конец приближался.

Нам хотелось сделать какие-нибудь выводы из своей работы. К этому мы подошли с двух сторон — мы устроили «экзамен» ребятам и себе самим.

Мы на три дня оставили ребят одних и затем устроили большую анкету перед самым отъездом.

Однажды на сходке Устиныч сказал ребятам, что мы хотели бы устроить колонистам «экзамен». Дети насторожились.

— Как в школе? — иронически спрашивает Серёжа.

— Нет, не так, а вот мы уедем отсюда с вашего согласия дня на три, вы останетесь одни, будете жить так, как мы привыкли уже жить. А мы посмотрим, как вы сможете обойтись без сотрудников. Сами вы всё знаете, варить приучились, топить плитку знаете как, пожара, думаю, не устроите. Деньги мы вам оставим. Провизия есть. Хотите попробовать?

Ребята отвечают не сразу. Серёжа начал первый:

— Чего там, всё сделаем и проживём, как следует. Даже лучше будет. Колония ведь наша, и мы хозяйничать должны приучаться самостоятельно.

Только вот, сколько чего выйдет, крупы, или сахара, или масла — это уже наше теперь дело?

— Ну как же, товарищи, можем мы уезжать? — несколько торжественно спрашиваю я.

— Уезжайте, можно.

— Скатертью дорога, — шутит Серёжа.

— Когда же поедете?

— Чего же ждать? Завтра с утра и уедем. Приедем через три дня и посмотрим, как вы устроились. Вот это и есть экзамен.

— Вот что, — говорит Серёжа, — вы только уезжайте подальше, а то будете вблизи да приглядывать; если уже сами, то совсем.

— Нет, зачем же, — возражает Устиныч, — Кит уедет в Москву, а я в Нижний, — вот как далеко.

— И через три дня вернёшься?

— Обязательно вернусь.

Ребята проводили нас на станцию. Мы всё-таки просили знакомых дам приехать посмотреть, что происходит у ребят. Они побыли один день, несколько часов, и уехали.

Через три дня мы вернулись. Подходим к даче, всё тихо. Обыкновенно-го шума и весёлых голосов не слышно. Мы входим во двор: никто нас не встретил. Чувствуем некоторую тревогу. Тихо входим в дом. Пусто внизу, слышно — топится плита. Мы спустились в подвал и там нашли всю нашу милую компанию. Они готовили обед все вместе. Наше появление было встречено с диким восторгом. Все наперебой хотели рассказать, как прошло время. Некоторые ребята как бы чувствовали, что мы тревожились за наш смелый шаг, и вроде как успокаивали нас.

— Всё было хорошо. Только скучно было. Купаться никому не позволено было ходить. Гулять — тоже не гуляли. В городки играли не на улице, а на дворе. С Серёжей занимались химией и ничего не разбили. Ложились спать — сказки рассказывали. И всё ждали, что вы приедете скорей, испугаетесь. А мы ничего. Приезжали две барыни в гости. Мы их угощали, во-дили гулять, на станцию провожали. Пойдём смотреть, какой у нас порядок.

Мы, сопровождаемые гурьбой наших прелестных товарищей, отправились на осмотр. Всё было на месте, убрано, подметено.

— Ну, как экзамен?

— Молодцы, молодцы... а сами не боялись?

— Ничего не боялись, только скучно было, а то всё ничего.

От наших знакомых мы узнали, что ребята замкнулись в даче, были очень тихи и держали себя с большим достоинством. Они были поражены, и наша воспитательная система получила новое признание.

Очень большое впечатление на всех — и взрослых, и детей — произвела наша заключительная анкета, после которой мы уехали в Москву. Мы пригласили к себе в гости знакомого статистика, составили 35 вопросов, на которые наши колонисты должны были отвечать, и начали беседы с ними поодиночке. Дети настроились очень серьёзно. Они называли наш способ опрашивания «исповедью», а нас окрестили «попами». Опрашиваемые очень заботились о том, чтобы никто другой не слушал их ответов. Многие в жизни колонии было подвергнуто критике, иногда довольно неожиданной. Несколько раз мы были уличены в непоследовательности, в том, что говорим одно, а делаем другое; особенно интересны были указания ребят на то, что мы не давали им воли, приказывали им, делали выговоры, сердились. Это были наши самые больные места: мы были сконфужены. Большинство утверждало, что выговоры и наше «самоуправство» были очень обидны. «Сотрудники часто сердятся, не разбирая дела».

— Ну, уж если сотрудник недоволен чем, то должен был бы жаловаться «сходке», а не сам распоряжаться.

Наш приятель-статистик посмеивался и этим слегка сердил нас.

Так в общем прошла жизнь нашей маленькой колонии. Оглядываясь пятнадцать лет спустя на ту работу, ⁴ я вижу в ней нечто иное, чем то, что мне казалось в то время, среди или после непосредственных впечатлений жизни с детьми. Чтобы создать это примитивное общество с известной стройностью организации, общество, маленькие члены которого начинали уже сознавать выгоды взаимного общения, нужно было пройти через много ошибок, потратить много сил. Что касается ошибок, то я их мало замечал, отдаваясь текущей так быстро и интересно проходившей жизни. Что касается сил, то личный запас в то время казался неисчерпаемым.

Большой, быть может, главной ошибкой был случайный подбор детей, с которыми нельзя было продолжать работу. В том же, что наша деятельность не может ограничиться колонией, наши мысли были совершенно определёнными.

Ошибкой была и та мысль, что дети, попав в нашу колонию, быстро станут свободными, стряхнут с себя налёт тех навыков, обычаев, суеверий, которыми уже снабдила их жизнь. Мы слишком сильно тормошили детей; они мало могли оглянуться. Вовлекая их в поток наших планов, предлагая им в очень большом изобилии, заставляя их подражать нам, мы радовались нашим успехам, не замечая того, что эти успехи внешние, непрочные. Мы шли быстрее, чем могли поспевать за нами дети. Поэтому постоянно появлялись ближайшие помощники — дети со способностью более быстро схватывать то, что мы хотели, и мы работали главным образом с ними, оставляя остальных в тени. Я думаю, много детских огорчений и разочарований было скрыто от нас. Мы ценили детей постольку, поскольку они легко или трудно шли на наши затеи. Тот запас истинно «своего», которым держится и укрепляется внутренняя жизнь, остался нетронутым. Мы потратили огромную энергию, мы были увлечены и чувствовали только общий тон нашей совместной жизни, не имея времени и умения подойти к отдельному ребёнку. Весь смысл дела заключался в том, чтобы иметь возможность пожить с детьми так, чтобы никто нам не помешал. Огромная разница была между началом и концом работы. Эта жизнь пробудила массу новых мыслей, определила ближайшие планы, создала возможность интенсивной внутренней жизни и дала удивительную бодрость в работе, веру в себя. Мы пошли на неё без определённого плана, без подготовки. Наши мечты были смутны, способ действий неустойчив. Отсюда была наша неровность в работе. Нам страшно хотелось только работать, уйти с головой в жизнь с детьми. В сущности, работая с детьми, мы думали о себе, выковывали рамки своей ближайшей деятельности. Это была большая внутренняя работа, взявшая в виде материала то, что непосредственно окружало нас. Занятые жизнью развёртывающихся впечатлений, мы не замечали ни сложности, ни трудности нашего пути, считая достижением то, что было только намёком, только первым

приближением к настоящей работе. Внутренне мы не разобрались в детях; с собой возиться не было времени. Нами руководил здоровый инстинкт, мы мало раздумывали. Но всё-таки мы жили, не отдавая себе в этом отчёта, напряжённой умственной жизнью, которая шла непрестанными толчками. У нас постоянно возникали, отвергались или укоренялись те или другие теории дела, мы с самого начала пытались построить основание, на котором могла бы развиваться дальнейшая работа. В некоторых важных отношениях инстинкт наш был верен — мы начали педагогическую работу с самого начала без предвзятых идей, так, как будто педагоги до нас не существовали. Определённо могу вспомнить, что я ещё не прочёл ни одной педагогической книжки; мало знаком был с педагогическими теориями и мой товарищ. Мы широко верили в детей и больше всего думали о совместной жизни с ними. В нашей собственной жизни стало проявляться много детских черт. Мы искали путей, и искание наше было здоровое. Мы мало ждали, а больше осуществляли. Отсюда проистекал оживлённый тон работы и быстрый рост нашего маленького общества.

Можно отметить, что в этой начальной работе, в которой было всё, кроме колебаний, начали выявляться две идеи, исходившие от наших характеров, в корне, конечно, различных. Жизнь в колонии с детьми была отращением нашей, дети жили в атмосфере, создаваемой нами. Мы были убеждены, что дети живут свободно, что они направляют жизнь колонии. Мы верили в то, что дети, очутившись в подходящей обстановке, **с р а з у** станут настоящими детьми, свободными, способными к естественной жизни, полной детских запросов. Но мы не видели того, что нам пришлось тянуть за собой нашу «республику», что рабские условия их обычной жизни сильно сказывались на их характерах и тянули назад. Мы не видели того, что перед нами собственно не было свободных детей и что была нужна длительная, упорная работа над заменой внешних наслоений — жестоких, ненужных, недетских — естественными, свойственными детской природе. Нам работа казалась лёгкой. Но по существу она должна была стать борьбой с жизнью. Мы чувствовали и это. Мы расширяли круг людей, которые вовлекались в нашу работу. Поэтому часть нашего времени ушла на взрослых в виде организации воскресных экскурсий

для рабочих. Естественно было для тех идей, которые смутно намечались нашей работой, расширять рамки дела. Ясно, что не продолжать дела мы не могли. И когда момент необходимости продолжения стал к концу лета близок, стали определяться и два характера первых работников и два течения, которые они бессознательно представляли. Я был склонен больше к замкнутой работе, мне нравился наш робинзоновский уклад, мне нужен был после долгих лет студенчества физический труд, и я явился сторонником трудового начала, интимной обстановки работы в оазисе. Устиныч, с его боевым темпераментом, американским захватом, организатор по природе своей, вводил общественное начало в колонию. Я радовался, когда дети работали, Устиныч — когда собиралась сходка. Я жил непосредственными впечатлениями каждого дня, Устиныч строил планы. Меня привлекало содержание работы, приятеля моего интересовала форма. Таким образом, наша колония поставила на очередь только два элемента — неоформленный труд и общественное начало. Во втором было больше определённости. В дальнейшей работе ясно стал преобладать интерес к социальным формам детской жизни. На эстетическую сторону и на умственную жизнь развиваясь более определённо при всяком толчке и так же потухая. Можно было отметить нашу привычку, как ещё новых работников, заботливо оценивать всякий успех — мы держались за то, что удавалось сразу, и бросали то, что на первых порах не пошло.

Так было с работой на земле.

Мы не сумели её организовать умело, подойти к ней. А она была бы очень важна. Наши игры были очень однообразны. «Городки» неуклонно процветали всё лето. Наша музыка была скучна по содержанию; в комнатах отсутствовали уют, красота. Чистотой мы тоже не отличались. Нас увлекал примитив — самодельные столы, лавки, полки из неооформленных досок, скреплённые наскоро бесчисленными гвоздями. Разница основного подхода и различие характеров наших определились лишь через несколько лет. Но в то время мы своими различиями поддерживали друг друга. Работа ещё не дифференцировалась. Ещё не пришло время. Поэтому она была так дружна, проста и оживлённа. Под конец лета,

перед мыслью о новом, дальнейшем, мы задумывались слегка, как-то между делом произвели небольшой подсчёт того, что делали, устроили экзамен себе и детям, наскоро создали опять не ясную, но привлекательную и по ширине и по интересу схему новой работы и, отмахнувшись от тех вопросов, которые всё же были досадными, вроде того, что делать с нашими колонистами дальше, с головой окунулись в новое дело, в новой обстановке, с новыми детьми и новыми товарищами, которые уже начали собираться. У нас остались сильные, яркие впечатления от прожитого кусочка жизни. Эти впечатления дали огромный толчок дальнейшей работе.

ДЕТСКИЙ ТРУД И НОВЫЕ ПУТИ

В настоящее время детская жизнь, детское образование и воспитание начинают занимать очень большое место в мыслях людей, и часто бывает, что те, кто стоит близко к детям, мало-помалу (на первых порах робко и осторожно) приходят к сознанию, что не всё в жизни детей для них ясно и определённо и что то, что мы знаем про детей и хотим для них сделать, нужно пересмотреть, передумать вновь и создать общими усилиями новое отношение взрослого общества к детям, считаясь с их запросами и требованиями.

Появляются откуда-то, неизвестные до сих пор, права слабых, почти незаметных существ; в Европе образуются уголки новой работы с детьми, хотя и редкие пока, а в Америке из таких же уголков, из отдельных начальных различных людей, кружков и обществ создаётся огромное социальное движение, стремящееся внести в детскую жизнь элементы свободы, самостоятельности, труда и солидарности.

Если дети что-либо думают, желают, мечтают, то надо сделать так, чтобы многое, находящееся внутри их, вылилось наружу, вошло в их текущую жизнь. Нужно помочь им: ведь им некуда уйти, нечем защититься, потому что взрослые присвоили себе одни, без всяких оснований, право знать, что именно нужно ребёнку, и такое же право не считаться с тем, что хочет ребёнок.

Такими мыслями было охвачено двое-трое людей,

поселившихся вместе с детьми в маленькой колонии, недалеко от Москвы. Это было два года тому назад.

Теперь же организовалось целое общество¹, поставившее своей задачей устроить в Москве уголок, где был бы простор детским стремлениям, где бы дети могли удовлетворять свои общественные и художественные инстинкты, где бы взрослые энергично приходили на помощь желаниям детей знать и трудиться.

Люди, образовавшие это общество, считают простоту и искренность главным основанием их отношений к детям. Поэтому, если дети могут открыто говорить про то, что они думают или чего они желают, то и взрослые тоже могут ясно и открыто высказывать перед ними свои мнения, искренно полагая и предупреждая детей, что они могут поступить по-другому, если не согласятся со взрослыми. На этой простоте и доступности взрослых, на том, что они больше знают и умеют, только и могло основываться их влияние на детей.

Два года всё, что делало наше общество, умещалось в жалких, наёмных помещениях; теперь же выстроен дом, наш дом, где всем нам хочется дать детям побольше радости и жизни, знаний и труда. Всё, что мы вносим туда, уже намечено было и, хотя бы в самом маленьком размере, осуществлялось за эти два года.

Мы имеем комнаты для детей-художников, для любителей фотографии, есть библиотека-читальня и большая комната для общих собраний, концертов, спектаклей, чтений и лекций, музей и мастерская наглядных пособий, несколько комнат для «детских клубов» — маленьких детских обществ, в которые группируются дети, более или менее подходящие друг другу по возрасту, по личным симпатиям или общим стремлениям; в этом же доме помещаются детский сад и школа, курсы рисования, черчения, столярные, слесарные, сапожные, переплётные и швейная мастерские.

Жизнь в доме начинается с утра и не прекращается до вечера. Каждая комната видит у себя и веселье, и серьёзные занятия, и чтение, и научные опыты. В доме мало найдётся пустого места во всё время дня, с 9 часов утра до 9 часов вечера, когда открыт наш «Сетлемент».

¹ Общество «Сетлемент», Москва, Долгоруковская, Вадковский пер., д. 5. (Примечание автора.)

Мы хотим, чтобы сами дети помогли нам и принимали ближайшее участие во всей жизни нашего общего с ними дома.

Как возникло и росло это дело, было уже описано довольно подробно в печати¹.

Теперь же мне хочется остановиться на некоторых результатах нашей работы с детьми, указать на те серьёзные чёрточки их жизни, которые дают возможность посмотреть с полной верой на ближайшее будущее нашего дела. Я хочу сказать про те интересные стороны жизни детей, которые приходилось наблюдать в нашей летней колонии, существующей теперь уже три года.

Весь строй колонии основывался с самого начала на полной самостоятельности детей в хозяйственных, общественных, нравственных вопросах, которые возникали в их среде. Взрослые стремились, насколько это было в их силах, быть помощниками и товарищами детей.

Колония управлялась общим собранием колонистов, где все — большие и маленькие, девочки и мальчики — имели совершенно одинаковые права. Все вопросы решались простым большинством голосов. Порядком на этих собраниях заведовал выборный председатель. Секретарь (тоже выборный) записывал все решения маленького общества.

Этими собраниями в течение трёх лет постепенно выработывался общий строй колониистской жизни, которая сложилась на третий год так.

Ежедневно от 9 до 12 утра происходили «общественные работы» на огороде, по дому, во дворе и т. д., обязательные для всех. Для правильно сти распределения работ была учреждена детская «рабочая комиссия», назначавшая на целую неделю все необходимые работы. Кроме того, из среды колонистов выбирались пятеро «распорядителей», которые и дежурили по очереди.

Каждый день во время «общественных работ» на кухне стряпали наши повара, в комнатах мели полы «уборщики» и «посыльные» отправлялись за разными покупками. После полудня всякий мог сделать, что хотел. Все колонисты должны были отбывать своё

¹ Журнал «Просвещение», № 1 — 7, и книга «Дети — работники будущего», издание «Библиотеки свободного воспитания». (Примечание автора.)

дежурство по очереди; каждая очередь «принимала» дежурство от своих предшественников. В случае неисправностей, старые дежурные должны были исправить свои работы или оставаться дежурить, по общему постановлению, ещё на день. Взрослые же сотрудники выполняли всё наряду с юными членами колонии.

Всё хозяйство — покупка провизии, выдача денег на мелкие расходы, отпуск продуктов поварам — лежало на обязанности выборного «эконома». Он выбирался на неделю и, в случае успешности ведения хозяйства, оставался на более продолжительный срок, как это и было этим летом с одним из колонистов, мальчиком лет пятнадцати.

Повара должны были записывать количество и цены всего, что им требовалось на кухню. Свои счета они отдавали эконому. Эконом в свою очередь сдавал отчёт в деньгах, выданных ему «заведующей деньгами», одной из старших девочек, выбранной на всё время. Она вела отчётность и хранила все деньги колонии.

Единственным наказанием было «замечание», делаемое общим собранием за проступки главным образом против общественности. После трёх замечаний виновный должен был оставить колонию. Впрочем, до этого дело не доходило.

Вся эта организация складывалась усилиями детей и немногих взрослых, живших с ними. Больше тут участвовали, конечно, дети — особенно в последнее время, потому что взрослые систематически уклонялись от руководительства. И в том, что дети довольно удовлетворительно справлялись с самостоятельным ведением хозяйства на 35 человек, живших в колонии последнее » время, ничего нет удивительного, так как эта сторона дела налаживалась уже два года, и большинство достаточно привыкло к различным хозяйственным обязанностям. Удивительно было другое. Это та степень трезвости мысли и разумности, которую дети проявляли к основной стороне колониистской жизни — к труду.

Дело в том, что наша колония не была постоянной. Мы случайно пользовались одним и тем же местом благодаря любезности владельца. Приходилось приезжать, ввиду непригодности помещения, довольно поздно — около 15 мая, приниматься сразу за огород, но даже при всей спешности работ нельзя было рассчитывать на то, что можно было бы пользоваться продуктами

огорода более или менее продолжительное время. Обыкновенно мы пользовались им недели две-три перед отъездом, с другой стороны, очень было трудно думать о серьёзном огородничестве, о парниках, запасах на зиму и т. п. Естественно, что такая неопределённость результатов наших работ создавала к середине лета довольно вялое рабочее настроение.

Это обстоятельство дало повод сотруднику предложить в шутку на одном из общих собраний совсем отменить общественные работы. Но дети почти единодушно решили на самом деле сделать так, чтобы работали только те, которые хотят, — словом, работать всем «на совесть», а не «по заказу».

На следующий же день началась очень оживлённая работа. Все, кроме одного, работали «на совесть», встав для этого даже в шесть часов утра.

Быстро образовалось общество, назвавшее себя «рабочим союзом». В это общество записались все, желавшие «работать, поддерживать колонию и учиться земледелию». Но такой энергии детей, впрочем, хватило на несколько лишь дней. И через неделю, когда происходило общее собрание нового «союза», решено было исключить тех, кто плохо работал. Исключённых оказалось довольно много. Но они не успокоились, а тут же составили своё «общество колонистов», с такими же целями, как и у первого «союза».

С этого момента начинается самая горячая, самая интересная часть жизни колонии. Дети работали с лихорадочным одушевлением. Соперничество двух обществ дошло до того, что раз проработали от шести утра до девяти вечера с небольшими перерывами. Понятно, при таких условиях вся наша работа (уборка сена) быстро пришла к концу, и, сама собою, среди колонистов возникла новая мысль, на которой мне особенно хочется остановиться.

Мысль эта состояла в том, что та колония, которая была у нас, нехороша, потому что в ней нет настоящей работы, а нужно создать такую колонию, где бы можно было вести своё хозяйство в самых разнообразных формах с таким расчётом, чтобы каждый колонист своей работой или всеобща, кому как по силам, могли содержать себя, не пользуясь средствами ни ни богатых людей, ни родителей. Тогда в колонии могли бы жить только те.

кто хочет содействовать общему делу, кто хочет работать.

И начиная с этого времени пошли оживлённые разговоры о будущем, о том, как теперь надо приготовить, образовать общество новых колонистов, заниматься зимой в Москве «по земледелию» и «слушать лекции».

И эти мысли, эти мечты уже теперь стали накладывать новый оздоровляющий отпечаток на все дурные стороны нашей колонии: если мальчики ссорились с девочками, то это не имело уже такого личного характера, как раньше. Теперь это — общее дело, потому что при таких условиях «ничего не устроишь».

Колонист ленится — «Ну, значит, ты не колонист: тебе всё равно, будет наша колония или нет».

И каждая ссора, каждая неудача, каждая неурядица принимала характер некоторого бедствия, приносящего ясно сознаваемый вред общему делу.

У меня перед глазами стоит то общее тягостное настроение, когда произошла крупная ссора между старшими и младшими мальчиками, которые обвиняли старших в обособленности, в отсутствии «товарищества». Ребята никак не могли прийти к соглашению, и, в конце концов, один из старших с чувством большой обиды и огорчения сказал: «Ну, тогда я отказываюсь от колонии».

Мне было жалко глядеть и на него и на остальных: как будто что-то хорошее отодвигалось от них, и они не могли повернуть к себе это хорошее.

Быть может, эти последние настроения детей, стремящихся к полному обоснованию своей самостоятельности, только временные настроения; быть может, это обычный прилив детской восторженности; быть может, дети и не сумеют пока справиться с такой серьёзной для них задачей, — но мне думается, что такие порывы не исчезнут совсем, что мысль о детской рабочей колонии не угаснет, возникнет ещё, и даже с новой силой, как удовлетворяющая очень серьёзным запросам детской природы.

В этой мысли есть всё, на чём можно было бы организовать новые формы детской самостоятельной жизни, основанной на независимом, подерживающем жизнь труде, — не игрушке, а нормальном, жизненном труде.

Удача такой организации даст много для детского дела вообще. Уже теперь приходится слышать от детей: «А может, и другие начнут, глядя на нас». И эти струйки сознательной общественной ответственности начинают уже пробиваться в нашем обширном детском обществе.

Я сказал слишком мало. Но если найдётся искренний человек, который согласится с тем характером отношений, который выяснен выше, то он сделает хорошо, если применит это своё сознание к детям, каких он знает.

Если же будет такой человек, которому наши мысли покажутся большой ошибкой, то пусть он выразит своё убеждение письменно или печатно или пожелает лично сказать об этом.

Тогда, при сочувствии и работе одних и критике других, среди ошибок и увлечений, может создаться общественными усилиями новая детская жизнь, радостная, и деятельная, и трудолюбивая.

НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ «ДЕТЕЙ — РАБОТНИКОВ БУДУЩЕГО»

(Краткий очерк возникновения и трёхлетней деятельности
московского «Сетлемент» с 1905 по 1908 год)

В начале 1905 года А. У. Зеленко, вернувшись из двухлетнего путешествия по Америке, Австралии и Индии, сообщил своим близким знакомым о своих наблюдениях над жизнью американского общества. В этой жизни его поразили тот огромный интерес, огромный труд и средства, которые вкладывают американцы в дело воспитания и обучения детей. Привезённые им книги, иллюстрации, отчёты различных школ, библиотек, колоний, площадок для игр и т. д. развернули поразительную картину необычайной настойчивости американцев, серьёзного труда, бодрости и силы, которую вкладывают в это дело все слои их общества — от миллиардеров, дающих огромные деньги, до простых работников на этом поприще, общими усилиями создающих великое национальное дело. **Дети являются работниками будущего** — эта мысль есть учебно-воспитательное знамя американцев, и в сфере внимательного, глубокого изучения детской жизни, школьных методов, создания живой, здоровой атмосферы и практической и жизненности обстановки, в которой живут и учатся дети, Америка даёт массу поучительного и ценного.

Идеи эти глубоко захватили людей, с которыми делился Зеленко своими впечатлениями. Работа с детьми давно привлекала их мысли. То, что говорил Зеленко, явилось лишь внешним толчком к тому, чтобы попробовать осуществить свои стремления.

Но нужна была большая осторожность в этом деле. Необходимо было проверить как свои силы, так и то, что новая работа является не плодом вполне понятного увлечения, а результатом твёрдого, желанного, горячего стремления дать свой труд на серьёзное культурное дело.

Начать практически осуществление новых идей удалось весной 1905 года двоим — А. У. Зеленко и С. Т. Шацкому. Они обратились в приют Суцёвского попечительства о бедных и городское Бутырское училище с просьбой отпустить с ними на дачу в Щёлково, под Москвой, несколько мальчиков, наиболее нуждавшихся в отдыхе.

Среди небольшого кружка знакомых удалось собрать на первое время 50 руб. Условия жизни на даче были так примитивны, что детям поневоле пришлось всё время серьёзно заботиться о себе. И действительно, всё, что нужно было для обихода, — мебель, столы, лавки, кровати — было постепенно сделано ими самими. Обо всём детям нужно было подумать: сколько и где достать провизии, как приготовить обед, ужин.

Оба руководителя колонии поставили себе за правило оказывать как можно больше доверия к детским мыслям и желаниям. Отсюда постепенно возникла в колонии атмосфера дружной семьи с искренними отношениями, без лжи, скрытности и притворства.

Детям колония стала дорогá. Они все с охотой принимали участие в обсуждении всего распорядка жизни и вносили сообща в эту жизнь много ценного, брали под свою защиту слабых, старались отучить некоторых товарищей от лжи, жестокости и небрежного исполнения своих обязанностей. Работали дети много и охотно и к концу лета смогли пристроить к даче большую террасу.

Порядок в колонии не устанавливался взрослыми: в этом не было необходимости. Он налаживался постепенно, выработываясь самой жизнью. Дети вкладывали много сил в установление его, поэтому они очень скоро стали его ценить.

И Зеленко и Шацкий должны были часто ездить в Москву — главным образом за тем, чтобы достать деньги. И замечательно было то, что в их отсутствие дети гораздо осторожнее старались вести себя, явно гордясь доверием к себе старших.

В результате этого первого опыта у всех, заинтересованных новым делом, сложились убеждения,

- что дети влияют друг на друга сильнее, чем старший на них;
- что все заботы воспитателей должны свестись к созданию дружного детского общества;
- что авторитет старших только тогда и действителен, полезен и высок, когда в нём нет принудительного элемента, и
- что дети, должны чувствовать доверие к себе со стороны старших, т. е. что для взрослых нужен авторитет не силы, а знания, опытности и любви к детям.

По переезде в Москву, в августе 1905 года, дети часто приходили на квартиру Зеленко и Шацкого и добивались узнать, что будет дальше. Они приводили с собой и своих товарищей. Уверившись в прочности связей между собою и детьми, бывшие руководители колонии вместе с несколькими своими знакомыми, присоединившимися к ним, решили нанять квартиру для детских посещений. В это время к двум первым участникам нового дела присоединились Е. Я. Казиминова, городская учительница, А. и К. Фортунатовы, студенты Московского университета, В. Н. Демьянова, окончившая Московскую консерваторию, Л. К. Шлегер, Л. Д. Азаревич, Е. П. Осатина и художница О. В. Гирш.

Суцёвское попечительство о бедных знало о работе кружка и согласилось принять новое дело под своё ведение. Председатель попечительства Прянишников принял во всём очень живое участие и оказал денежную поддержку. Таким образом устроился новый «Дневной приют для приходящих детей Суцёвского попечительства о бедных». Участники кружка стали со-трудниками попечительства. Дети, старые знакомые, стали приводить в приют своих товарищей. Появились и девочки, сёстры некоторых из них.

Целью руководителей приюта было — дать детям разумные занятия и развлечения, устроив в своей квартире нечто живое, радостное, привлекающее для них. Дети могли сами выбирать себе занятия, это вносило большое оживление в их среду.

Чтобы занятия не были простой забавой, дети приучались сообща об-суждать их. Это давало возможность взрослому незаметно и просто за-ставляя детей о многом подумать и устанавливало между детьми и руко-водителями доверчивые отношения. У каждой группы был

сотрудник, который и заботился о налаживании занятий. Весьма скоро при-вилось к этим маленьким группам детей название клубов. Клубом назвала себя группа старших детей, прочитавших статью об «американских детских клубах». От них название перешло и ко всем. И в приюте появились клубы: «Арбатский», «Художественный», «Кушнерёвский», «Тихвинский», «Заря», «Серебристый Ландыш», «Друзья».

Занятия были очень разнообразны: пение и танцы, рукоделие, рисо-вание, общее чтение, рассказы из жизни животных и растений, опыты по фи-зике и химии, детские журналы, делание различных приборов, астрономия. По праздникам дети ходили в театр, осматривали музеи и картинные гале-реи.

Чем больше руководители приюта познакомились со своими маленькими друзьями, тем более убеждались в том, что обстановка, в которой протека-ет жизнь огромного большинства городских детей, безотраднa, а иногда и прямо ужасна. Уже не говоря о том, что матери и отцы, занятые с утра до вечера, видят в детях только помеху, не имеют времени подумать о них и часто переносят своё ожесточение жизнью на детей, не говоря о бедности, грубости и грязи этой жизни, можно прийти в ужас от той нецелесообразно-сти, которой окружены они в условиях школьного образования. Дети конча-ют городскую школу в возрасте около 12 лет. С 15 лет они поступают на выучку какому-нибудь мастерству. И вот получается три года вынужденного безделья, шатания по улицам, вставания в 12 часов дня (это наблюдалось во многих случаях). Школьная грамота почти забывается, и, таким образом, все затраты на начальные школы являются почти бесполезными.

Можно с уверенностью сказать, что в самый опасный переходный воз-раст дети предоставляют самим себе и что в это время (от 12 до 15 лет) поневоле складываются те характеры, которые нередко приводят впослед-ствии людей к тюрьме. Эти годы — «школьное время» будущих преступни-ков.

Внести в жизнь таких детей серьёзные интересы, подходящие для дет-ского возраста, было первой задачей приюта. Дети должны быть детьми, а не подражателями взрослых. И вот дети жили жизнью приюта, имея про-стор для проявления своей инициативы. Это служило

драгоценным залогом того, что приют не отрывает детей от жизненной обстановки, создавая другую, невозможную вне стен приюта, но лишь даёт то лучшее, что могла бы дать эта обстановка и вне стен приюта — при умении ею пользоваться.

К весне 1906 года детские клубы посещало около 150 детей. Летом часть детей жила в колонии на прежнем же месте. Оставшиеся в Москве посещали площадку для игр при приюте и по праздникам ездили в загородные экскурсии по окрестностям Москвы.

В колонию на второе лето выехало 25 мальчиков от 10 до 16 лет и 8 девочек от 10 до 15 лет.

Было много страхов, что такая совместная, хотя и в отдельных домах, жизнь представит много опасностей, в особенности среди полудиких детей улицы. Действительность показала иное. Девочки сильно повлияли на мальчиков, отучая их от грубости, драк и брани, и уже в середине лета в колонии прочно установилась атмосфера дружной, деятельной семьи.

Все колонисты дежурили поочерёдно на кухне, как повара, убирали комнаты, ходили за провизией. Ежедневно до полудня все заняты были на общих обязательных работах в огороде, на сенокосе; когда подошло время, делали мебель, чинили постройки и т. д. В жизни колонии сказались преимущество внутренней дисциплины, основанной на сознательном отношении к порядку, на участии всех в его установлении, перед внешней, принудительной дисциплиной, держащейся только силой характера руководителя.

При этих условиях дети чрезвычайно охотно пользовались знаниями и указаниями старших, руководивших колонией, которые приобрели особый авторитет в глазах детей.

Много раз приходилось руководителям приюта посещать семьи. Родители во многом просили помощи, совета, как быть с детьми; руководители старались узнать, что родители считают нужным для их детей, и постепенно складывалась такая картина роста самого дела, явилась такая настоятельная необходимость создания новых форм работы, что нельзя было существовать далее на те случайные средства, которыми располагал приют. В августе 1906 года приют перешёл в другое, более обширное

помещение, при котором поселились и некоторые руководители, чтобы быть ближе к делу.

При приюте была открыта швейная мастерская для девочек, столярная и слесарная для мальчиков. Это было первым, очень осторожным опытом на пути расширения первоначальной работы. Уже месяца через два после начала занятий помещение оказалось слишком тесным для всех, кто хотел попасть в приют. Около двухсот детей посещало клубы, 30 подростков работало в мастерских и около 40 малышей было в детском саду. Между тем число работников было небольшое: к прежним десяти присоединились ещё четверо: М. и О. Полетаевы, С. Н. Варфоломеев и Г. Г. Черкезов — все с высшим образованием. Горячее участие в работе принимала и женщина-врач Е. А. Манжос.

Интерес московского общества к новому делу всё возрастал. Нашлось несколько лиц, взявших на себя обязательство вносить ежегодно определённую сумму денег на ведение дела. Содержание приюта с мастерскими и колонией обходилось в 3000 руб. в год.

Среди руководителей приюта образовались три группы. Одна группа, во главе с А. У. Зеленко, взялась разрабатывать вопрос об организации ремесленных мастерских, другая, с Л. К. Шлегер, стала готовить материалы для правильного устройства детского сада и экспериментальной начальной школы, а третья руководила занятиями в детских клубах приюта.

Разрешение на школу Л. К. Шлегер было дано ещё в 1906 году, когда ещё не выяснился окончательно вопрос о финансовой её поддержке, — поэтому школа была открыта только осенью 1907 года.

С разрешением открыты ремесленные курсы у А. У. Зеленко дело затянулось из-за того, что был поднят вопрос о субсидии министерства народного просвещения, который решён был в благоприятном смысле к концу 1906 года. Осенью того же года возникла мысль об организации общества, функционирование которого могло бы поставить на серьёзную почву всё, так быстро развивающееся дело.

Сама жизнь вылипла в определённые формы те идеи, которые были положены в основу работы нового общества. Работа эта поддерживалась главным образом доверчивыми, глубоководческими отношениями

сотрудников с детьми и их семьями. Работа эта должна была ободрять, давать толчки к развитию сил ребёнка, приучать его помогать себе и стараться достигнуть хотя бы и маленькой цели, но своим трудом, своими мыслями.

Она должна была создавать у детей привычку думать о других, укрепляя в них чувства человечности.

С другой стороны, эта работа требовала полного знакомства с жизнью тех людей, с которыми она велась.

Тип английских и американских культурных посёлков казался наиболее отвечающим идеям создавшегося общества, и так как во всех странах общества с таким характером культурной работы называются поселениями, то оно было названо «Сетлементом» и под этим именем зарегистрировано 7-го ноября 1906 года.

Непосредственной задачей «Сетлемент» было — дать возможность всем трём группам, образовавшимся из кружка руководителей приюта, работать легко и свободно. Все эти три группы глубоко объединились между собою общим взглядом на работу, которая должна была быть не внешней, идущей неглубоко, а связана с внимательным отношением и к маленькому и большому человеку.

Важно было видеть в детях не просто учеников, пришедших в «Сетлемент» поучиться читать, писать, пилить, строгать или шить, которым нужны только лучшие методы для передачи им всяких сведений, но и близких знакомых и, если возможно, то и друзей. Эту неуловимую, тонкую, но ясно воспринимаемую чуткими людьми чёрточку хотелось передать и детям, и только это заставляло участников «Сетлемент» так дорожить дружностью и бодростью работы в нём, пренебречь ради этого многими удобствами жизни и, поселившись там же, где шла их работа, устроить для неё культурную, чеповеческую обстановку.

Именно такая окраска сетлементской работы могла так быстро вызвать сочувствие в московском обществе и доставить «Сетлементу» средства для развития его деятельности.

В январе и феврале 1907 года собрано было около 40 000 рублей на покупку земли и постройку дома, которая началась тем же летом.

Главными жертвователями были представители московского купечества.

Тысяч на 15 было исполнено по дому бесплатных работ, затем для окончания дом был заложен за 12 000 р.

Третье лето в колонии прошло в две очереди около восьмидесяти детей. На многих сторонах её жизни чувствовалось, как морально выросли дети. Теперь руководители колонии могли настолько доверять им, что все почти заведование колонией держалось на детях. Деньги (иногда до 200 руб.) хранились у казначея — пятнадцатилетней девочки, которая вела всю отчётность. Она заслужила общее доверие и была выбрана единогласно. Закупкой и выдачей заведовал эконом, выбиравшийся каждые две недели.

Работы решено было сделать не обязательными для всех, как раньше, а свободными — пусть работает тот, кто хочет, и рвение к ним усилилось до такой степени, что в половине июля всё было переделано, и большинство колонистов отправилось в дальнее путешествие пешком за 100 вёрст к знакомому помещику осматривать его хозяйство.

В колонию, с общего согласия, был принят один несчастный подросток, почти уже погибавший от ужасной жизни, которую он вёл. Многие дети раньше сторонились его из-за его буйного характера. Его брат уже два раза отбывал наказание в тюрьме за кражи.

В детях возникло желание помочь ему, и их помощь всегда оказывалась чрезвычайно деликатным образом: через месяц, например, его избрали в экономы. Нужно было представить его гордость, которую он, совершенно искренне, и не старался скрывать! Он стал много мягче и просил трудника устроить так, чтобы его оставили в колонии на всё лето, «а то там я опять примусь за старое», — пояснял он.

Четверо старших колонистов взялись заведовать библиотекой. В комнате сотрудника устроилась читальня. И дети привыкли считать это местом для всяких серьёзных «душевных разговоров».

К концу лета выросли среди детей новые мысли о колонии в будущем. Дети мечтали о настоящем хозяйстве, колонии-ферме, где можно было бы работать уже вполне серьёзно. У колонии много забот требовал огород, который был разделан из-под луга. С самой весны и всё лето на нём шли оживлённые работы: готовились гряды, рассаживалась капуста, пополи, окупивали. Огородом

заведовали два мальчика, которые должны были следить за ним и сообщать всем, если понадобится какая-нибудь работа. Особенно много детей заботилось о картофеле, которого высадили двенадцать сортов в виде опыта. На нём применяли колониисты несколько способов посадки и обработки: глубокую и мелкую посадку, двойное и простое окучивание.

Детям был показан рядовой посев и посадка огурцов рассадой.

Огород удался на славу и оказывал большую поддержку экономному хозяйству колонии.

А это были городские дети, которым в редкость и деревня, и поле, и огород! Для многих видеть, как растёт и сажается капуста, картофель, видеть томаты, сельдерей, лук, редис — пришлось, действительно, в первый раз в жизни.

Успех маленького хозяйства колонии привёл к тому, что по единодушной просьбе детей сотрудник с величайшим внутренним удовлетворением начал чтения по земледелию. Чтения эти считались колониистами началом их подготовки к будущей сельскохозяйственной колонии. Их решено было продолжать и зимой.

Поздно осенью 1907 года «Сетлемент» перешёл в собственное, только что отстроенное, здание.

В новом доме, благодаря удобствам помещения, детские занятия пошли особенно успешно; развёртывались детские силы и способности, и ясно чувствовалась их связь с «Сетлементом», и жизнь его стала полнее и разнообразнее

Все три группы сотрудников «Сетлемент» могли теперь с новыми силами и определёнными надеждами приняться за свою работу.

Одна группа, как было указано выше, создавала экспериментальную народную школу и детский сад. Руководители школы, не удовлетворяясь той постановкой школьного дела, при которой дети, главным образом, пассивно воспринимают школьную науку, работая почти исключительно памятью, не удовлетворяясь таким «головным» обучением, не свойственным натуре ребёнка, стремились дать ученикам, кроме умственной, физическую и художественную работу. Ребёнок приобретает познания прочнее и глубже, если он сам изображает, как может, те явления или делает те предметы, о

которых ему говорят; таким образом у него систематически упражняются и зрение, и слух, и мускулы, приобретается некоторый навык к работе и развиваются творческие способности.

Эти соображения заставили руководителей школы дать в ней серьёзное место ручному труду и искусству.

Детский сад служил подготовительной ступенью к школе. Благодаря одинаковым методам работы дети, переходя от детского сада к школе, не чувствовали никакой разницы.

Ввиду большого участия в детских работах элемента творчества они с полным основанием могли быть выставлены в декабре 1908 года в Петербурге на выставке «Искусство в жизни ребёнка». Работы школы и детского сада получили там большую серебряную медаль от министерства торговли и промышленности. В школе было мальчиков и девочек 22; в детском саду — около 50 малышей.

Вторая группа с А. У. Зеленко во главе занялась устройством ремесленных курсов для подростков-учеников, находящихся «в ученье» у мелких хозяев-ремесленников.

Положение этих учеников очень тяжёлое. Они отданы «на выучку», но они же бегают по посылкам, нянчат хозяйских детей; по отношению к ним как-то узаконена обычная особенная строгость, граничащая с жестокостью. Отупелые, недославшие, полуголодные, они работают урывками, успевая лет в пять стать разве чернорабочими с примитивными приёмами дикарей.

А. У. Зеленко получил субсидию министерства народного просвещения, благодаря которой можно было открыть в доме «Сетлемент» мастерские — переплётную, слесарную и столярную для мальчиков и швейную — для девочек.

Много трудов стоило уговорить хозяев ремесленных заведений отпустить хотя бы по вечерам своих учеников на курсы.

Курсы задавались целью научить мальчиков чертежу, составлять несложные планы и рисунки, сообщить им сведения по технологии и приучить их к сознательному отношению к работе, как целому: обыкновенно же им ведь приходится делать отдельные части, роли которых они часто и не знают. Давался, конечно, и технический навык, лучшие приёмы работы.

Любопытно было видеть, с какими ожесточением набросились, и притом ещё после своего трудового дня, эти подростки на работу в новой, свежей, человеческой обстановке. Это было нечто стихийное, неудержимое, стремительное, как будто они хотели наверстать в короткие часы своих посещений всю бестолковость своего «ученья». Они с наслаждением ходили каждый день — то рисовать, то чертить, то слушать, как добывают железо, как делают чугуны, сталь, какие бывают сорта дерева и т. д.

В швейной мастерской, кроме обучения девочек шитью и кройке, обращено было большое внимание на развитие художественного вкуса у девочек: они много рисовали и набрасывали самостоятельные мотивы рисунков для вышивок. Девочки вели всё счётводство, причащаясь к самостоятельному ведению дела. Старшие, более подвинутые в работе, девочки постоянно помогали младшим.

Мастерская жила несколько обособленной от остальных частей «Сетлемента» жизнью, так как отнимала у девочек много времени. Но маленькие работницы очень заботились о своём развитии, и большой успех среди них имели беседы по естествознанию, анатомии человека и гигиене, которые вела с ними женщина-врач «Сетлемента».

Девочки сумели создать у себя хорошую общественную атмосферу.

Среди них была одна девочка из несчастной семьи, сёстры которой жили совсем разлаженной жизнью. Эта девочка была очень нервна, мало способна к работе и с очень неуживчивым характером. Она всегда была очень неряшливо одета, её грубость и дурной характер с первого взгляда мало располагали к ней. Девочки очень спокойно и терпеливо относились к её выходкам, сшили ей платье, кормили её на общие средства, делая это осторожно, не задевая её самолюбия.

Эта девочка, уже долго спущая после закрытия «Сетлемента», хорошо вспомнила о нём. Она пришла к сотруднице и попросила её выхлопотать ей паспорт, чтобы уйти от семьи и поступить на место. «Сёстры меня всё зовут с собой, а я и не могу: открывается «Сетлемент», как же я после покажусь туда?»

Третья группа руководила детскими клубами в приюте. Два года работы «Сетлемента» сильно повлияли на детей, на развитие их интересов к знанию, к труду, к искусству, на их взаимные отношения и, главное, многих крепко связали с «Сетлементом».

Границы между отдельными клубами стали заметно сглаживаться; дети начинали чувствовать связь интересов, присоединившихся к связям товарищества.

Это была новая детская жизнь, поддерживаемая самыми здоровыми настроениями.

Стали намечаться новые группы детей.

Одной из первых образовалась группа любителей земледелия. Она основалась в маленькой комнатке, приспособленной для занятий по естествознанию. Здесь велись беседы о жизни растений и животных, о составе почвы, о роли воздуха в земледелии. Здесь они делали опыты с различными почвами, знакомились с их способностью задерживать некоторые питательные вещества и с значением различных удобрений.

Здесь же приютилась смешанная группа мальчиков и девочек, жаждущих образования. Они очень интересовались химией, физикой, географией. Особенность этих занятий была та, что все три предмета тесно переплетались друг с другом.

Химия была, собственно, товароведением, так как дети делали из разных жиров и щёлочного мыла, устраивали сухую перегонку дерева и добывали светильный газ, получали дёготь, разлагали стеарин. Серьёзно занялись вопросом о том, что такое воздух, вода и огонь. Воздух взвешивали, узнавали состав, воду разлагали, наблюдали роль кислорода в горении.

Физика состояла в наблюдениях над давлением воздуха, температурой, образованием ветра, и в результате выясняли роль солнца как источника силы на Земле.

Сведения детей постоянно применялись к географии, которая велась в виде бесед самого общего характера.

Эта группа много читала. Некоторые из неё были большими охотниками рисовать.

Другая комната чаще всего видела у себя две группы: фотографов и астрономов. Фотографы были очень деятельны. Прежде всего они поставили себе практическую цель — сделать каждому по аппарату. Некоторым, это и удалось. Иногда вся группа, вооружившись

настоящими аппаратами, с сотрудником, страстным любителем фотографии, отправлялись за город «снимать».

Астрономия всегда нравилась детям. Но теперь появился в «Сетлементе» настоящий телескоп, пятидюймовый рефрактор. Для него была построена башня, пока пустая за неимением денег на купол. Но надежды любителей астрономии были, понятно, велики, и они часто собирались слушать про луну, звёзды и солнце.

Самым оживлённым помещением в доме была большая комната для ручного труда. Здесь стояли верстаки, стол со слесарными тисками, паяльная лампа, было много досок, лежали всевозможные инструменты и материалы. По утрам эта комната была занята школой или детским садом, по вечерам в разных углах кипела напряжённая работа: здесь мастерились электрические элементы, компасы, машины, звонки, которые затем ставились ребятам в своих квартирах; тут же делали модели разных построек, шла лепка из глины.

Все шкафы и полки были загромождены всякими вещами, созданными неутомимыми детскими руками.

Работы этой комнаты ручного труда были выставлены на той же выставке, о которой упоминалось выше. За них «Сетлементу» была недавно присуждена большая золотая медаль министерства торговли и промышленности.

При том значении, которое «Сетлемент» придавал детскому творчеству, само собой разумеется, что искусство, с его исключительно облагораживающим влиянием, должно было занять в нём большое место. Художник, скульптор и музыкант были любимыми гостями «Сетлементы».

Музыка хорошо прививалась в детской среде. Зародыш музыкальных интересов появился ещё в первой колонии. Пианино или рояль казались руководителям необходимыми участниками общей жизни. В новом доме создавался целый хор серьёзно относящихся к музыке ребят. Кроме пения, хоровой кружок проходил и начатки музыкальной грамоты. Он имел свой устав, строго следивший за аккуратностью посещений.

К концу года дело настолько наладилось, что хористы взялись за разучивание маленькой оперы — «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светояре» московского композитора Василенко. Её намеревались поставить на маленькой сцене в общем заде «Сетлементы».

Декорации взялся написать художник Симов, сотрудник Художественного театра.

Поставить оперу не пришлось из-за закрытия «Сетлементы».

Театральное искусство, понятно, было для детей одним из самых любимых. Спектакли имели ту хорошую сторону, что они очень объединяли детей. Обыкновенно в постановках участвовало несколько клубов: в одном находились декораторы, в другом — артисты, а третий брал на себя рядительство.

В течение года поставили «Недоросля», «Женитьбу», «Бориса Годунова», Чеховскую «Свадьбу», «Снегурочку», басни Крылова и фантастическую пьесу «Сон Ерёмушки, или Рождественская звезда».

Наиболее тихим местечком была небольшая комната, уютная по настроению, обыкновенно создававшемуся в ней,— читальня вместе с библиотекой. Здесь стояло два стола. И обыкновенно можно было застать там кружок детских головок, наклонившихся над большой книгой с картинами, и среди них сотрудника (или сотрудницу), который тихо ведёт какой-нибудь рассказ; тишина тут была законом.

Работа в библиотеке была довольно сложной, так как около 300 детей являлись активными её читателями. Книжки выдавались на дом. В каждую вкладывался листок с простыми вопросами по поводу прочитанного, куда ребёнок, при желании, мог писать свои ответы.

Такова в общих чертах была умственная, художественная и трудовая жизнь детского «Сетлементы». Влияние его не ограничивалось детьми. Оно переходило и на их родителей, которые заинтересовывались рассказами детей и приходили в «Сетлемент» познакомиться с сотрудниками. Матери особенно часто посещали женщину-врача, которая с величайшей охотой шла навстречу материнским заботам и их желанию посоветоваться о детях.

Некоторые из родителей, несмотря на свой трудовой день, предлагали своё участие в работе сотрудников: с их помощью велись рукоделие, черчение и фотография.

Начало общественной, складного человеческого общежития, совместной работы, взаимопомощи, заботы об общих нуждах были предметом горячих забот «Сетлементы». Детям уже привычно было заботиться о порядках в тех помещениях, которые были заняты ими. Они

самостоятельно предложили сотрудникам устроить хозяйственную комиссию из детей и сотрудников. Эта комиссия должна была заботиться о порядке по всему дому и составлять правила, обязательные для всех. Каждая группа выбирала двоих для участия в комиссии. Вот первые правила, составленные комиссией: 1) чтобы каждый клуб избирал своих дежурных по уборке комнат; 2) дежурные от комиссии должны следить за клубными дежурными и доносить комиссии, а комиссия — клубу; 3) после двух замечаний дежурный обсуждается на общем собрании; 4) чтобы в клубе был спикер дежурных; 5) сор, который выметают из комнат, сваливать в приготовленный для этого ящик; 6) уборку общей комнаты должны производить те, кто занимался гимнастикой или играми; 7) кто ставит вечеринку, тот после выметает из помещения сор; 8) ухаживать за аквариумами и террариумами; 9) клубисты могут каждый день приходить в «Сетлемент» от 5 до 9 часов только по делу; если придёт не по делу, дежурный может попросить о выходе; если не послушает, то дежурный может звать сотрудника.

В «Сетлементе» дети не были «отдельными посетителями», это было живое детское общество, создававшее себя участниками общего дела, общественной жизни.

Иногда это сознание выражалось особенно ярко. Как-то раз в воскресный день произошла драка на дворе «Сетлемент» между столяром, работавшим постоянно в мастерской, и каким-то крестьянином, привёзшим друга. Это узнали трое подростков. Они попросили собрать всех детей и на собрании высказали своё негодование на столяра при «Сетлементе». Он стал бить мужика и этим опозорил «Сетлемент». Столяра позвали для объяснений. Тот пришёл и стал оправдываться. Дети чрезвычайно внимательно отнеслись ко всему происшествию, но нашли, что нет оправдания человеку, побившему другого, и предложили столяру извиниться перед всем «Сетлементом». Столяру передалось настроение детей, он перестал оправдываться, сказал: «Прошу прощения у «Сетлемент» — и ушёл, заметное сконфуженный. В этот момент было отрадно наблюдать серьёзность детей, понявших, что в «Сетлементе» есть нечто такое, с чем грубость и неприязнь глубоко не вяжутся. В мае 1908 года «Сетлемент» был закрыт. В настоящее время идут хлопоты о разрешении вновь открыть его.

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА «ДЕТСКИЙ ТРУД И ОТДЫХ»

Общество «Детский труд и отдых» ставит целью своей деятельностью культурно-воспитательную работу среди подрастающего поколения Москвы.

Создавая наше общество, мы имеем в виду те коренные недостатки условий детской жизни, которые вытекают из неблагоприятных условий жизни города. Мы глубоко убеждены, что в деятельности городского общества существует пробел, всё более и более расширяющийся. Его необходимо заполнить. Пробел этот состоит в том, что жители города почти не тратят своих сил на устройство разумной, развивающей обстановки для городских детей. А между тем достаточно хотя бы немного приглядеться к их жизни, чтобы признать и весь ужас её и насущную необходимость прийти ей на помощь.

Две силы, действующие одновременно и в близком соседстве, дают ту или другую окраску городу: первая — сила культуры, создающая прогресс общества, находящая своё яркое выражение в школах, университете, музеях, картинных галереях, лекциях, театрах, концертах, и сила невежества, темноты, голода, тормозящая работу первой и, в противоположность ей, действующая всюду, днём и ночью. Эта сила и создаёт грозную опасность для детских умов и характеров. Наиболее деятельными элементами в ней являются отщепенцы общества, полудикари с сильно развитыми инстинктами хищничества. Нам случилось слышать рассказы детей о притонах, о

ворах, обсуждающих планы набегов на квартиры, об организации дозорной службы из ребят и подростков, о пятаках и гривенниках, получаемых детьми за работу. Деятельность этой профессии окружается ореолом героизма, таинственности и влияние её так же сильно, завлекательно и ужасно, как и всякой другой, основанной на нищете, невежестве и первобытных инстинктах.

Мы видим успех маленьких красных книжек, — пестреющих на улицах, — Пинкертон, Ника Картера и Шерлока Холмса. Наша литература не может бороться с ними. Так же бессильно и наше культурное общество в борьбе с живущими рядом с ним дикарями за лучшее будущее детей.

Нам представляется город со всем лучшим, что создают в нём люди, маленьким оазисом среди невольных врагов его культуры, поддерживаемых и направляемых отупелостью, нищетой и зверством.

В такой обстановке проходит истинное внешкольное воспитание и образование городских детей. И среди этой атмосферы растут будущие члены общества, огромная часть которых перейдёт не в ряды создателей культуры, а в число её разрушителей.

Правда, существуют школы, приюты, исправительные заведения. Но наши школы задаются целью только книжного обучения. Цели воспитания не входят в их деятельность. Срок пребывания детей в школах слишком короток, они бедны средствами, переполнены до невозможности вести в них деловую педагогическую работу. К тому же, в переходный, самый опасный для детей возраст, они не посещают школ, а болтаются по улице, оторванные от всего хорошего, что может дать культурная жизнь, завидуя и подражая уродливым проявлениям общечеловечности. Так проходит их время до 15 лет, когда они могут поступать в так называемое «учение».

Часто говорят о рецидиве безграмотности: люди когда-то умели читать, писать — теперь забывают про книжку, про свои школьные навыки. И вот в Москве безграмотных — 41%. В пригородах, где условия образования более неблагоприятны, из детей школьного возраста безграмотных — 21,5%. От 15 до 17 лет безграмотных — 27,8%, от 17 до 19 лет — 32%, от 20 до 24 лет — 36,6%, от 30 до 39 лет — 50% и от 40 до 49 лет — 59%. Многие из них никогда и не учились в школе, но многие,

очевидно, и забыли школьную науку. Эти проценты дают понятие о тяжести, которая лишним грузом волочится за движением культуры.

Приюты задаются целью главным образом прокормить, одеть, обустроить. Это, конечно, важно, но всё же страшно мало, и обыкновенно они не входят в близкое соприкосновение с окружающей жизнью и поэтому не могут влиять на неё, а создают некоторое подобие монастыря с размеренным, однообразным укладом жизни. Строй большинства приютов сложился так, что дети в них слишком пассивны, умственно вялы, несамостоятельны. Исправительные заведения, в сущности, изолируют так называемых порочных детей и исправительными названиями, вероятно, из чувства некоторой щепетильности. И им, чтобы быть последовательными, не следовало бы возвращать своих питомцев назад, в общество.

Строго говоря, все неудачи работы с детьми зависят от пренебрежения природными свойствами каждого ребёнка. А между тем людьми потрачено немало усилий на изучение особенностей детского склада. И то, что выработалось до сих пор истинной педагогикой, можно свести в общем к пяти положениям:

- 1) у детей сильно развит инстинкт общительности, они легко знакомятся друг с другом — игры, рассказы, неутомная болтовня служат признаками этого инстинкта;
- 2) дети — настоячивые исследователи по природе, отсюда их легко возбуждаемое любопытство, бесчисленное количество вопросов, стремление всё трогать, ощупать, пробовать;
- 3) дети любят созидать, устраивать часто из ничего, дополняя недостающее воображением;
- 4) детям необходимо проявлять себя, говорить о себе, о своих впечатлениях. Отсюда постоянное выдвигание своего я и огромное развитие фантазии и воображения — это инстинкт детского творчества;
- 5) громадную роль в формировании детского характера играет инстинкт подражательности.

Задача правильной работы с детьми состоит в том, чтобы дать разумный выход этим инстинктам, не притупляя никакого из них. Нужно всеми силами призвать на помощь детские силы, дорожа детскими запросами, и только таким образом можно то лучшее, что

выработано людьми, сделать более интересным, чем то, чем привлекает детей **у л и ц а**.

В чём худшее, что даёт улица? В беспорядочности впечатлений, в возможности получить навыки основательно что-либо сделать, размышлять, в создании неустойчивости настроений. Улица возбуждает нервы, создаёт дикие характеры, подавляет задерживающие центры и разумную волю. Но она привлекает быстрым удовлетворением детских инстинктов, любопытства, общительности и может действовать на детскую раздражительность.

Что мы можем противопоставить **у л и ц е** ?

Определённость впечатлений, настойчивость в работе, привычку к труду. Но это будет скучно. Да, но не всегда так. И это не будет так, если мы создадим простор для детской общительности, если мы предоставим детям возможность удовлетворять их потребности социализации, исследования, если создадим условия для проявления детского творчества. Таким образом, улица учит нас, чего надо бояться в детях, что надо им дать и как привлечь их к нам. Поэтому центром, основой нашей работы является детский труд, существенно отличающийся от труда взрослого тем, что он должен быть **о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м**. Мы считаем необходимым наладить по-больше форм человеческого труда, имеющих наиболее важное значение в жизни. Дети будут работать в слесарной, столярной, ткацкой, гончарной комнатах. Нам нужна будет кухня, где могли бы дети учиться готовить самые обычные кушанья для тех, кто не обедает дома. Необходимо устроить комнаты для скульптуры, рисования, для работ по естествознанию, куда могли бы уйти наиболее пытливые детские умы, и помещение для таких детских работ, для которых потребовался бы самый разнообразный материал, где широко и свободно проявлялось бы детское творчество.

Каждая комната будет давать массу материала для детской любознательности. Мы представим для иллюстрации работы хотя бы в гончарной комнате. Перед нами глина, мы знакомимся с её свойствами, выясняем, какую пользу принесли эти свойства давно жившим людям и что эти люди прежде всего стали делать из глины. Узнаём, как глина помогла человеку научиться писать и рисовать. Попутно узнаём про глиняные библиотеки вавилонян. Изучаем обжиг глины и как меняются при

этом её свойства. Перед нами проходят глинобитные, сырцовые постройки и наши кирпичные дома. Приводим сейчас же употребление сырой и обожжённой глины в связь с жарким и холодным климатом. При этом, вероятно, найдутся дети, которые сильнее заинтересуются географией. Более развитые дети поймут условия образования глины в природе, узнают её состав, и все дети ознакомятся с образованием ключей благодаря глинистой почве. Ещё проще будет отнестись к глине, как к материалу для лепки, и понять её значение для искусства, которое сейчас же появится на сцену: чашки, тарелки, горшки, которые могут раскрашиваться и покрываться глазурью и, как житейские предметы, употребляться в дело.

Такая комната-мастерская должна иметь огромное общеобразовательное значение, тем более, что в связи с нею будут и географические экскурсии за город, посещение музеев с их остатками старины и художественными произведениями. Такую же общеобразовательную деятельность можно развить и в столярной, и в слесарной, и в ткацкой комнатах. Везде дети поймут на самых обыкновенных, простых предметах, сделанных их же руками, как много и долго работали люди, сколько нужно было вложить искусства и терпения, чтобы достигнуть тех форм, в каких они являются в настоящее время. Мы решаемся утверждать, что наша глиняная чашка, из которой, быть может, будет хлебать щи какая-нибудь из семей наших соседей, даст детям массу удовлетворения и привлечёт к нам интересы ребёнка.

Всё, с чем дети познакомятся при помощи, рук, глаз, слуха, наверное, переработается ещё раз при помощи книжки. Поэтому библиотека должна занять в нашей работе большое место. Мы отводим ей и отдельным читальням несколько комнат. Пусть дети приходят к книге! Они должны иметь комнату, где будут тихо читать своё. Но будут комнаты, где всё захватывающее будет прочитываться вслух, где будут задаваться вопросы, где польются рассказы и чтения взрослых и детей.

Но мало дать детям работу, мало знакомить их с прошлым трудом людей, связывая в их представлении прошлое и настоящее. Важно привести детей в более близкое соприкосновение с тем, что даёт современная жизнь. Отсюда возникает необходимость широкого устройства экскурсий в музеи и картинные галереи Москвы

(знакомство с наукой и искусством), на фабрики и заводы (знакомство с трудом) и за город, чтобы дать понятие о другой, не городской жизни, с её трудом, её впечатлениями, чтобы детям была доступна природа, создающая условия, среди которых живут люди.

Мысль о деревне, о природе приводит к сознанию необходимости дополнить городскую работу общества. Мы должны иметь в виду создание постоянной детской сельскохозяйственной колонии недалеко от города, которая ввела бы детей, главным образом, подростков, в интересы важной человеческой деятельности, поддерживающей фактически жизнь и входящей в близкое соприкосновение с природой. Такая колония даст возможность детям всесторонне развить свои силы, основываясь на разумном, серьёзном труде.

Большое оживление в детскую жизнь нашего дома внесёт общий зал, где можно будет порезвиться и поиграть, где будут ставиться детьми свои спектакли, где будут происходить общие чтения с туманными картинками, слески и концерты нашего хора. Летом же всё оживление перенесётся на площадку для игр тут же при доме.

Так рисуется нам, в общих чертах, деятельность нашего общества. Его основные идеи являются, в сущности, расширением идеи музея как собрания результатов человеческой работы в области науки, искусства и физического труда, но музея, стоящего рядом с жизнью, постоянно движущегося, где основой всего будут не неподвижные предметы, с надписями или без них, около которых можно подумывать, поучиться, а живые люди, с одной стороны, стремящиеся передать детям всё лучшее, что они умеют или знают, а с другой стороны — посетители музея, дети, ставшие участниками его работы и общими силами создающие свой трудовой музей, сообразно с силами и способностями каждого. Наше общество надеется бороться с улицей при помощи самих же детей. Если дети причастны к создающей деятельности, если работа будет захватывать их интересы, их творческие инстинкты, то они сами и создадут для себя прочный оплот против того, что тянет их назад, что ожесточает, притупляет и отдаёт во власть диких инстинктов, создавая из них грозную опасность для культуры.

ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ МОЛОДОЙ ЖИЗНИ *

Дорогой Иван Иванович *, вы просите меня написать о Константине Фортунатове; мне трудно, хотя я и был очень близок с ним, сделать это, потому что на душу обрушилось тяжкое горе и потеря чувствуется слишком больно. Я ещё не могу представить его смерти; он всегда был такой живой, полный внутреннего одушевления, и вносил живую жизнь во всё, к чему прикасался. Это чувствовали все люди, которые имели общение с ним. Я не встречал более ясного, гармоничного, приятного человека. С ним было всегда легко. При всей простоте его души, при всей его скромности, никто не мог относиться к нему иначе, как с уважением: чувствовалось всегда что-то серьёзное в нём.

Он основывал с нами десять лет тому назад «Сетлемент». Первый собрал он свою группу подростков, с которыми занялся физикой и химией. Он быстро ориентировался в новом для всех деле, оригинально составлял программу своих занятий, предлагив детям задать себе ряд вопросов, и уже со следующего раза принялся за дело и в маленьком чуланчике устроился со своими самодельными приборами. Это было в 1905 году. Надвигалось тяжёлое время. Перестали ходить трамваи. Если нельзя было ездить из Петровско-Разумовского, где жил Константин, то можно было ходить. И он не пропустил ни разу своего дня и аккуратно был на своём месте, несмотря на 15 вёрст, которые нужно было пройти туда и назад.

Он был одним из самых молодых в нашем кружке, но к его мнению всегда прислушивались, и когда у нас наступали тяжёлые времена, когда начатое дело казалось слишком трудным, когда возникали сложные и запутанные вопросы, то часто слышалось: «А что скажет Константин?» — и он скромно излагал своё мнение, в

котором всегда была ясность и какая-нибудь свежая, оригинальная мысль. Он был очень скромн и по складу своей души и по внешности; но серьёзная складка его натуры не могла никому позволить относиться к нему легко или свысока. Он иногда говорил: «Я не знаю, что делать с моими ребятами...» Но у него с ними всегда царило спокойное, деловое настроение. Он умел находить в каждом занятии внутренний интерес, как будто для него самого было чрезвычайно важно устроить незатейливый прибор или опыт, и ребята втягивались в работу.

Константина нельзя было представить в роли наставника или руководителя: он всегда был товарищем и, не смотря на это, быстро приобрёл тот авторитет, который необходим для ведения каждого дела.

Он был богато одарённым человеком. Его запас знаний казался неистощимым. За свою короткую жизнь он успел проработать в разных областях: в науке, в педагогике, в политической партии, в общественной медицине, на войне, в полевом лазарете... И везде впечатление от его работы было одно: было очень жалко, когда он уходил к другому делу. Везде на него возлагали огромные надежды, везде он был серьёзен, оригинален и схватывал самую суть предмета. И всегда окружала его любовь людей, сталкивавшихся с ним. Его разносторонняя деятельность не была следствием натуры широкой, беспорядочной, мечущейся от одного к другому делу, что часто бывает у талантливых людей; всё это шло от глубокой души, полной сил, идущей своей дорогой. И та дорога, на которую он вышел, несомненно привела бы к тому, чтобы Россия гордилась им.

Он стал земским врачом, зарылся в глухой угол Калужской губернии, строил больницу и создавал широкую культурную работу в деревне. Два года провёл он там, а вокруг него уже закипела деятельная жизнь, уже разнеслась слава о хорошем, простом докторе, основался кооператив и стали надеяться люди...

Потеря Константина Фортунатова — огромная потеря, потому что никто из знавших его не сомневается, что ему удалось бы всё, чего он захотел бы добиваться; а он нашёл в своей жизни самую верную точку и в самое важное время.

Для всех, намечавших в работе своей отчасти тот же путь, которым шёл Константин, его потеря невозградима. Жить и знать, что не увидишь ясного и твёрдого Константина,— тяжело: его жизнь и ясные ум и душа были большим ободрением и поддержкой.

Преданный вам
С. Т. Шацкий.



ДОБРАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Новое издание книги, написанной восемь лет тому назад, должно быть известным образом оправдано, ибо современная педагогическая мысль и практика движутся так быстро вперёд, что многое в педагогических достижениях кажется устарелым, отжившим. Сами авторы ведут ещё напряжённую педагогическую работу, и для них самих прошлое является лишь этапом, ступенью, через которую необходимо было пройти, чтобы идти дальше, углубляя и расширяя области применения своих идей. Этап этот был необходим и по своим результатам плодотворен. «Бодрая жизнь» была очень одобрительно встречена педагогической критикой, которая, впрочем, имела тот недостаток, что была сочувственна, но не была критикой по существу своему. Для авторов это обстоятельство внушало некоторое огорчение: они не смотрели на свою работу, как только на списание известного ряда педагогических явлений, а как на попытку выяснить некоторые закономерности в развитии детского общества, и они старались указать на них в заключительных страницах каждой из трёх частей книги; в их глазах, следовательно, развитие жизни колонии имело своего рода теоретический интерес. Наблюдения над жизнью детского общества приводят к такому выводу: между основными сторонами детской жизни — физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным

развитием — существует определённая связь, обнаруживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те или другие изменения в одном направлении (это касается и форм детских деятельностей и их организации) вызывают соответственные изменения в другой области.

В данном случае была поставлена задача установить влияние организации физического труда на жизнь детского коллектива.

Это влияние кажется авторам достаточно выясненным в основных чертах; оно формулируется примерно следующим образом: виды и формы детского труда и его организация, претерпевая в своём развитии ряд нормальных изменений — всё к большому разнообразию в формах и большей стройности в организации, — влекут за собой соответственные изменения в социальной, эстетической и умственной жизни детей.

Первобытные формы труда сменяются кустарными и затем технически высокими; первичные детские организации случайного типа, быстро создающиеся и распадающиеся, приобретают всё более длительные формы и обуславливают в дальнейшем параллельный рост социальных навыков. Грубые формы детского искусства сменяются более совершенными, вызывая к жизни творческие силы детей. Развитие художественных запросов детей отражается на возникновении новых, интересных для них видов труда: дети строят планы и наполняются радостной тревогой осуществления. В конце концов выявляется идейная сторона детского общества, которая даёт сильный толчок умственному, самостоятельному запросам. Наступают, наконец, моменты, когда замкнутый период детского общения выходит за свои рамки, когда ему становится тесно и весь смысл своей дальнейшей жизни оно видит в общении с окружающим миром. Быстрота этого процесса всецело зависит от общественных условий, в которых растёт данное общество.

Такое общение, разумеется, должно быть деятельным: оно возможно и прочно при известной высоте организации своего труда. Весь смысл детского существования — в быстром превращении энергии мысли в энергию действия. Дети не могут ждать — им нужно действовать каждый данный момент.

Авторы указывают на ряд случаев, когда вопросы труда, его организации и смысла возникали в детской среде.

Они были многочисленны. Их разрешение всегда давало сильные толчки всему ходу детской жизни.

Таким образом, детский труд не являлся, как это представляют себе многие педагоги, средством научиться обслуживать себя, делать всё самому для себя, поделывать некоторые полезные предметы обихода, нужные для дома, для хозяйства, и не был тем материалом для умственной работы, что имеет в виду формула **с и н т е з т р у д а** и **н а у к и**, а имел прежде всего роль, организующую нормальное детское сообщество. И поскольку у детей вообще сильны социальные устремления, поскольку они ценят общество себе подобных, — труд, и труд производительный, всегда будет для них существенно необходимым.

Авторы не очень доверяют развитию социальных, эстетических или умственных навыков у детей, часто сильно стимулируемых односторонне настроенными руководителями, если они не поддержаны реальным, посильным, самодеятельным, производительным трудом, который создаёт прочную и ответственную основу деятельной детской жизни.

Всё дело в том, чтобы то лучшее, о развитии чего мы мечтаем для детей, было прочным.

Необходимо подчеркнуть также и методическую сторону описываемой работы: она проходила своеобразными этапами; каждый этап заканчивался установкой следующих форм, ясно вытекавших из предыдущих.

Это имеет определённую важность. Сколько горячих педагогических голов, мечтаая, в сущности, о чудесах, хотело и хочет всё сделать сразу, вовлекая детей в непосильную работу. Часто бывает, что мы, напав на некоторый успех, считаем, что задача решена, что волшебный ключ к детям найден и что нужно только одно — заботливо укреплять те приёмы, те формы работы, которые оказались удачными. Сколько сконструировано в теории детских республик, в деталях повторяющих организации взрослых! Какие требуются масштабы для работы, когда и малое достижение ещё не доведено до конца! Дети живут, растут, развиваются. Успех прошлого времени становится скукой сегодняшнего дня, и если руководители не подметят вовремя естественности надвигающейся смены одних форм другими, — наступает законный кризис, могущий и быть началом распада, и иметь

при известных условиях благотворное влияние для дальнейшей работы. А есть примеры и постоянного кризиса, подавляемого сильным авторитетом руководителей. Он лишь затушёван внешне, но по временам превращается в ураган. Примером такой кризисной работы авторы считают прежние средние школы.

Ясен отсюда тот практический вывод, который должен применить к себе педагог: нужно работать с детьми, всё время внимательно их изучая.

Итак, авторы смотрят на свою книгу не как на образец, которому следует подражать, а как на выявление внутренних пружин педагогической работы.

Поэтому для них имело особую важность описание трудностей, неудач и ошибок; надеются они так же поступать и в дальнейшем. Они стремились к простоте изложения. Всякая мысль о мгновенных опьяняющих удачах и о приподнятости всего тона описания казалась им ненужной и даже вредной. Педагогических чудес, как чудес вообще, не бывает, а есть серьёзный, подчас очень тяжёлый педагогический труд. Если кого-нибудь книга подтолкнёт на прилив бодрости в своей работе, то авторы сочтут свою задачу вполне выполненной.

Москва, 30.XII 1922 г.

В. Н. и С. Т. Шацкие.

Часть I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Со словом «дети» всегда связывается представление о чём-то неутомном, шумном, неустойчивом. Они так часто надоедают, так заставляют тревожиться, так много с ними хлопот, и почти никогда жизнь их не укладывается в те формы, которые, из чувства любви к ним, стараются ей придать. И сколько «дурных поступков», с которыми так трудна борьба!

Не происходит ли это от того, что в этих подвижных и часто слишком подвижных руках, ногах и головках накаплиется постоянно неиссякающий избыток энергии, которому надо дать хоть какой-нибудь выход?

Ребёнок хочет быть активным, ему надо разрядить свои силы, но условий, благоприятных для этого, окружающая его жизнь часто не даёт. Не нужно ли употребить все усилия для того, чтобы создать для проявлений детской жизни подходящие условия?

В особенности этот вопрос важен по отношению к городу.

При всей сложности городской жизни, при этом огромном скоплении вечно занятых своими делами людей, создающих худо ли, хорошо ли, но свою собственную жизнь, очень мало места для детской жизни с её особым укладом. Дети в городе живут жизнью взрослых; не понимая этой жизни и не разбираясь в ней, они принимают

эту жизнь со всеми её хорошими и дурными сторонами. Дурные стороны нашей жизни, как более яркие и внешне более понятные, находят в детях — раздражателях по самой своей природе — невольных, но верных последователей. Конечно, чем хуже жизнь взрослых, тем губительнее она сказывается на детях.

Авторы настоящей книжки имели много случаев наблюдать детей на окраине Москвы, в Бутырском районе. Эти наблюдения заставляют сделать один основной вывод. У детей нет детства. Тяжесть жизни вторглась в него и разрушила. Отсюда злорада, брань, кражи, азартные игры — всё, вплоть до пьянства и разврата.

Мы стояли лицом к лицу с этими явлениями; поэтому не удивительно, что захотелось страстно искать путей, которые помогли бы дать детям необходимые для них впечатления их *детской*, а не «взрослой», столь несвойственной им жизни. Захотелось помочь детям быть детьми. Естественным путём мы пришли к таким мыслям: нужно детей хоть на некоторое время вырвать из города, из той жизни, которая служит интересам лишь взрослых.

Чтобы разрешить эту задачу, мы с 1905 года стали жить с детьми в деревне, на даче, которая была временно предоставлена в наше распоряжение. Это была летняя колония, в которой не было прислуги, дети делали всю домашнюю работу сами, ухаживали за огородом и садом. Очень важно было то, что создавалось у нас детское общество, где развивалась своя жизнь с её особенностями, присутствиями детскому характеру. Много сил наших было употреблено на то, чтобы приучить детей жить вместе, работая сообща, помогая друг другу, и дать им почувствовать, что общими усилиями можно сделать гораздо больше, чем порознь¹. После трёхлетней жизни в этой летней колонии мысли наши, естественно, развились и укрепились, и важность продолжения и углубления нашей работы казалась нам совершенно очевидной. Но эти же мысли привели нас к постепенному сознанию того, что условия влияния такого уклада жизни, какой создавался нашей колонией, далеко не достаточны.

У нас была во временном распоряжении дача с очень

небольшим клочком земли, пригодная для летнего отдыха, но не для труда. Над нашей жизнью стояло, кроме того, сознание непрочности дела: одно лето мы живём, а на следующее, быть может, и не поедем. А между тем чувствовалось, что такая работа должна быть непрерывна, чтобы каждый следующий год можно было продолжать и усовершенствовать работу предыдущего года. Наш труд был мало разнообразен; иногда приходилось предпринимать какие-либо работы не ради того, что они были нужны для хозяйства колонии, а просто потому, чтобы не сидеть без дела.

Особенно недостатки эти стали чувствоваться, когда в дачах укоренились кое-какие трудовые привычки и стало ясно, что мы могли бы сделать гораздо больше, чем это позволяет наше неустойчивое положение. Нам нужна была не случайная дача, а свой кусок земли, где бы можно было постоянно, из года в год, уверенно осуществлять наши задачи. Но прошло три года, пока явилась такая возможность.

Зимой 1911 года М. К. Морозова предложила устроить постоянную колонию на её земле в Калужской губернии, обеспечив наше дело средствами на постройку необходимых зданий, устройство и оборудование колонии. Мы принялись энергично за подготовку к новой работе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Принимая близкое участие в работе московского общества «Детский труд и отдых»¹ мы решили и колонистов пригласить из числа детей, посещавших наш городской дом зимой, нам более или менее знакомых. Дети эти приходили на разнообразные занятия и игры, которые были устроены нашим обществом по вечерам, в свободное от школы время. Работа эта под видом детского клуба возникла в 1905 году и с тех пор продолжалась в городе каждую осень, зиму и весну.

Готовясь к новой работе, мы считали очень важным ознакомить детей с нашим планом жизни в колонии, чтобы наши мысли, хоть в самой элементарной форме, были понятны детям. Такая предварительная работа с

¹ Работа эта описана в книжке «Дети — работники будущего». (Примечание автора.)

¹ См. в данном томе «Задачи общества «Детский труд и отдых».

детьми шла с двух сторон: мы много вели разговоров с отдельными более близкими друзьями из детской среды и с целыми группами детей. Многие было предметом этих бесед, но в большинстве случаев господствовали две темы: жизнь в городе и жизнь в деревне.

Дети были недовольны своей городской жизнью: и скучно, и делать нечего, и очень много плохого, и воздух нехорош, и погулять негде. Многие из ребят ни разу не выезжали из города — для них деревня была особенно любопытна. Интересна могла быть и та жизнь, о которой мы рассказывали, — как это самим варить, печь хлеб, в огороде копать. «Значит, я повар буду, а ты огородник! А дворники будут у нас?»

Познакомили мы детей и с жизнью прежней колонии. Не раз читали вместе и книжку «Дети — работники будущего», где описана эта жизнь. Толковали о том, как хорошо всё делать самим, и не только работать, а и вообще стараться зажить в колонии лучше и интереснее, чем в Москве.

Из детей, бывших с нами в прежней колонии, не все потеряли связь с нами. Довольно много было и подростков и юношей, которые эту связь чувствовали глубоко и продолжали приходить к нашим сотрудникам, как к своим знакомым, и частенько советовались о своих личных делах.

Происходило это и тогда, когда в нашей работе произошёл перерыв¹ а после возникновения общества «Детский труд и отдых» младшие стали записываться на занятия одними из первых, старшие же появлялись у нас от времени до времени в качестве помощников. Во время какого-нибудь детского спектакля или концерта, бывавших по временам в нашем доме, всегда можно было рассчитывать, что после работы где-нибудь в мастерской или после занятий в училище бывшие наши колонисты прибегут помочь написать декорации, наладить занавес, украсить зал или навести порядок в раздевалке.

Когда явилась возможность снова устроить колонию, среди этой молодёжи мысль эта была встречена с

большим энтузиазмом, и те, кто мог быть свободен этим летом, изъявили своё желание ехать с нами.

Нам всем эта мысль пришлась по сердцу, хотя мы и не скрывали от себя некоторых трудностей. Дети вообще очень трудно уживаются с подростками — не то товарищами, не то старшими, как это должно было быть и в колонии. Многие, если не всё, зависело от личного такта, сознательности, веры и любви в наше дело среди этой молодёжи. В разговоре с ними мы не скрыли наших опасений за то, как преодолеть эти трудности. Во всяком случае, самое желание и видимая привязанность их были очень ценны.

Таких помощников, или «старших колонистов»*, в первый год было у нас пятеро в возрасте от 15 до 19 лет. Один из них с год только как вышел из «мальчиков» в «мастера» в одной из московских типографий, остальные учились в среднеучебных заведениях (Строгановском, Промышленном и Железнодорожном училищах).

Они в Москве очень помогли нам в смысле подготовки детей — будущих колонистов — к новой жизни. Они были свидетелями и участниками подобной же колонии, и, естественно, их рассказы, воспоминания, а главное — одушевление и радость по поводу новой колонии имели для новых ребят очень большое значение.

Большие разговоры были с детьми и о том, что жизнь в колонии всем покажется трудной, придётся нам много работать, что работа может быть и серьёзна и тяжела с непривычки, но что без работы колония такая, как мы себе её представляем, существовать не может. Но дети на всё были согласны, лишь бы поехать и попробовать новой жизни; трудностей, вероятно, не существовало у них в голове, а втайне было убеждение: «Всё, должно, пугают».

В марте начались подготовительные работы. Предложено было желающим заняться ещё в Москве устройством кроватей из деревянных брусьев, скреплённых деревянными рамками вместо ножек, сшить мешки для тюфяков, сшить и наметить кухонные полотенца и подшивать тканевые одеяла. Таким образом, можно было и себя проверить: кто в Москве не сможет хорошо работать, тому трудно будет в колонии, так как московская работа — игра в сравнении с будущими трудами.

Подъём духа был очень велик, дети работали два раза в неделю по два часа. Работа не успевала надоедать и шла довольно успешно. Мечтам и планам не было конца.

Тем временем на месте нашей новой колонии шли спешные работы. Место было живописное, среди перелесков, оврагов и ключей Калужской губернии, на границе Боровского и Малоярославецкого уездов. Оно было довольно уединённо и довольно-таки попорчено людьми: лесная вырубка, густо поросшая кустарником; земля — глина, трава — вейник и щучка, дерева — поросль берёзки, осины, ольхи и лозняка заставляли думать о трудной работе прежде всего, а остальное должно было « п р и л о - ж и т ь с я » .

Разумеется, самые трудные, но необходимые работы — корчёвка пней под огород, вырубка огромного количества сорных кустов и расчистка небольшого пространства перед новым домом — были произведены рабочими руками. Это важно было сделать скоро и до приезда детей: нужно было позаботиться о примитивных условиях для жизни, прежде чем примутся за свою медленную работу детские руки.

Но так хотелось поскорее, поскорее приняться за дело, что в первый год решили не дожидаться, пока всё будет готово, а ограничиться лишь самым необходимым.

Поэтому ранней весной плотники начали строить барак, большой, двухэтажный, с хорошей террасой и двумя балконами на север и юг по всей длине второго этажа. Кроме того, из остатков от постройки сколотили шалаш, куда поместили металлическую плиту: это было нашей первой кухней, первым центром работы в колонии. Постройка, как водится, затянулась, и поэтому в середине мая дом ещё не был готов. Руководители всё-таки решились ехать, чтобы побыть немного без детей, наладить первичное хозяйство и в тиши, наедине и на месте ещё раз всё обдумать.

Дом был ещё без стёкол, и двери не были навешены, но весна стояла чудесная, погода достаточно тёплая, впереди такая куча интересной работы по осуществлению заветной мысли. Подробности нам казались пустяками.

Опыт прошлых лет показал нам, что работа в кухне является для детей вполне понятной в смысле её

необходимости. Вёз того чтобы готовить «самим» пищу, жить «самим» в колонии — нельзя; для нашей жизни кухня было такое, же понятное слово, как и обед или ужин. Поэтому мы с самого начала обратили особое внимание на эту сторону, чтобы облегчить детям, по возможности, первые шаги на новом поприще. Было куплено много кухонной утвари, которую надо было ещё приспособить к месту. Такие вопросы, где расположить полки, где самовары, где стол, где кладовую, — были вопросами серьёзными. Надо было подумать об удобной доставке провизии, хлеба, как лучше размещать детей, где будут жить мальчики, где девочки.

Целый день проходил в различных хозяйственных заботах. Хорошо было бы, чтобы дети, приехавши, не почувствовали себя среди хаоса, чтобы можно было ввести их скоро после приезда в ощущение чего-то налаженного, организованного, чтобы переход от Москвы не был для них таким резким*.

Обсуждая все эти вопросы, мы порешили постараться избавиться от соблазна иметь всё как можно скорее; гораздо вернее будет жить самим так, чтобы детям ясно было наше личное живое участие во всём; не столько говорить о работе, как самим работать, считая, что колония не только для детей, но и для нас самих. «А остальное приложится», вспомнилось при этом любимое слово.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

26 мая мы ждали детей, которые приехали не все сразу: в первую очередь приехало 25, остальные должны были приехать через несколько дней. Уже железная дорога дала много впечатлений; наша же местность, после первого охватывающего каждого городского жителя впечатления простора, свободы, самый дом, так непохожий на городские постройки, не всех удивляла. Некоторые девочки даже казались разочарованными. «И мы тут одни будем жить? А не страшно это? Совсем, как в лесу!»

Впрочем, такие настроения были очень непродолжительны, и скоро дети все примирились с непривычной для них обстановкой. Многие же с самого начала были в восторге. Сейчас же, наскоро закусив, принялись

устраиваться: прилаживать кровати, набивать мешки сеном, а наиболее экспансивные забыли про всё и помчались в лес и овраг знакомиться с местами. Долго в этот вечер не могли уломиться ребята; разговоры то затихали, то снова разгорались, и большого труда стоило уговорить их лечь спать. Но сон был недолог: уже в 4 часа утра всех поднял на ноги неистовый крик: «Вставайте, вставайте!» Оказалось, что один из мальчиков, проснувшись и увидав, что солнышко всходит и на дворе очень светло и хорошо, решил, что самая пора всем вставать, и большинство мальчиков с неиссякаемым восторгом вскочили и опять побежали знакомиться с новыми местами.

Утром после чая мы попросили всех собраться, чтобы поговорить о нашей жизни и её порядках. Конечно, это первое собрание совершенно не носило характера организованного. Дети ждали, что будет. В Москве долго говорились, говорили, мечтали — теперь надо осуществлять.

Все сидели на лавках друг против друга и молчали. Говорить начали сотрудники. Детям был поставлен вопрос: «Есть всем захочется: кто будет готовить? На сегодня готовят сотрудники, а дальше как?» Среди детей было большое смущение. «Как же... мы не умеем», — высказался один кто-то за всех. «Неужели никто из девочек никогда не помогал матери готовить?»

Тут вызвались 2—3 девочки, остальные же объяснили, что матери не пускают на кухню: «Нечего тут мешаться!»

— Ведь это же не такая беда, если не умеешь: можно научиться, лишь бы была охота. Здесь выучитесь, дома будете матери помогать.

— И мальчики будут?

— Конечно, разве поваров не бывает? И они поучатся. Вот посмотрите, Шурка (один из старых колонистов) может сварить обед, а раньше не умел.

Ребята оживились. Одна из сотрудниц взялась первое время быть на кухне, пока все хоть немного попривыкнут.

— Теперь надо вам сказать, что повара будут делать на кухне: готовить обед и ужин, мыть кухонную посуду и стол и подметать пол. Надо со- ставить очередь, кто с кем будет дежурить на кухне. Нужно там троих, и

лучше, если будет один большой или хоть немного знакомый с кухней, а остальные двое маленьких.

Среди всеобщего оживления и суеты стал составляться список очереди. Дети столпились все около записывающего, переговаривались друг с другом, искали себе старших. С трудом составилась этот первый список. Не всем пришлось устроиться в той компании, где хотели, так как старших и относительно опытных колонистов не хватало на всех.

— Ещё вопрос,— говорит сотрудница,— кто будет ставить самовары, подавать чай, мыть чайную посуду? На каждый день надо троих. Я предлагаю так сделать, чтобы очередь поваров, отбив своё дежурство, на следующий день была уже уборщиками. Хорошо?

— Хорошо, хорошо!

— Но это ещё не всё: у нас теперь, как оказывается, каждый день занято шестеро. А что же будут делать остальные?

На некоторое время воцарилось всеобщее смущение.

— Работать где-нибудь,— последовал, наконец, нерешительный ответ.

— Где же работать? — Молчание. — Вот, посмотрите кругом дома, да и как раз около террасы: сколько валяется мусора, щепок, досок, обрубков от постройки! Если уж нам всем приходится здесь жить, то давайте для первого разу и приберём всё, чтобы видать было, живут тут настоящие люди или нет.

Все подымаются с мест, очевидно, начать хоть с чего-нибудь хочется.

— Это какая же работа? — слышится храбрые голоса.

— Подождите чуть-чуть, ещё не всё у нас кончено. Я вот предлагаю нашим колонистам на первое время собираться так же, как и сегодня, два раза в неделю, потому что сами увидите, что новых дел у нас будет сразу очень много.

— Ладно, все согласны. Теперь вот, что делать, куда убирать мусор?

— Делать надо вот как: стружки снесите подальше от дома, мы их сожжём, а щепки, доски и вообще, что

годится для топки, сложим около кухни, это будут наши дрова.

На этом и кончился наш первый разговор с детьми. Трое первых поваров и трое уборщиков пошли с сотрудницами на кухню и в кладовую, где хранилась посуда. Остальные с жаром набросились на щепки. Скоро оказалось, что руками таскать щепки и расчищать площадку от мусора неудобно: надо носилки, грабли, лопаты. Носилки тут же принялись наскоро делать, появились молотки, гвозди, пилы; железные грабли надо было насадить на палки. Сносить стружки для костра было весело в ожидании большого удовольствия развести огонь; щепок и обрезков быстро накопилось большая куча. Но подбирать мусор граблями, скрести землю, когда зубья то и дело зацепляются за корни, укладывать щепки в порядке, чтобы куча не развалилась, починять сломавшиеся тут же носилки требовало уже некоторых усилий над собой. Скоро загорелся костёр, и все столпились вокруг, любуясь огнём. Работа приостановилась... Такой же характер работ наблюдался вначале почти везде, кроме кухни, где всякий, даже совершенно непривычный к работе, понимал, что нельзя из кухни убежать, оставить дело, нельзя и медлить с работой, которая к тому же вся состояла из разного рода небольших задач — принести дров, воды, вымыть крупу, нарезать картофель, овощи и т. д. Да и как же бросить эту работу и уйти погулять, посмотреть, что другие делают, если при этих условиях колония может остаться без обеда?

Таким образом, успех работ тесно связан был с тем значением, которое они имели для житья ребят в колонии.

И чем больше мы жили с детьми, тем более убеждались, что путь учения к работе очень постепенен, очень сложен, несмотря даже на очевидное желание очень многих колонистов «поработать», хотя бы для того, чтобы этим доставить удовольствие сотрудникам, как это и было сперва.

Когда площадка вокруг дома была приведена в порядок, наступила очередь огорода. Другой работы и быть не могло: она была единственной, которая не ограничивала жизнь колонии настоящим, а таила в себе нашу заботу и о будущем. Но надо сказать, что эта

работа была очень трудна, и если бы не старшие колонисты, то с нею не пришлось бы справиться.

Тяжёлая глина была перед тем раз вслахана, нужно было перекапывать, разбивать большие комки, которые уже порядочно ссохлись в жаркую погоду, стоявшую в то время. Хотя время посадок было уже упущено, но нужно было побольше разрыхлить землю, чтобы подготовить почву для следующего года. Впрочем, и в этом году более удобные места огорода были удобрены, и кое-что посеяно — горох, редиска, салат и посажено несколько кочнов капусты, чтобы попросту показать детям, что их труды не так уже бесплодны даже в это лето.

Как был организован труд первых дней?

Дети видели сами, что дела у нас много. Мы предложили работать в два приёма: утром, когда ещё солнце не успело подняться высоко, и вечером, когда жара уже спадёт; в общем выходило по тому времени, которое до сих пор употреблялось на работу, 5 часов: 3 до обеда и 2 после него. Кстати, тут же установили и распределение нашего дня, вставать в 7 часов, в 8 — чай, после чая работать, в 12 — обед, в 4 — чай, после — работа, в 8 — ужин и в 9½ — ложиться спать. На работах в огороде, ввиду трудности, стали применять такую меру: через каждые 20 минут работы 10 минут дышать.

Во время отдыха дети усаживались где-нибудь в тени. Тут завязывались разговоры, в которых все принимали очень живое участие, критиковали наши порядки или, правильнее сказать, горячо обсуждали всё то, что никак не могло ещё наладиться в нашей жизни; сотрудники очень были довольны этими непринуждёнными беседами, которые заставляли детей шепельвить мозгами и вели к тому, что понемногу складывалось наше общественное мнение. Бывали и очень удачные моменты дружной и бодрой работы. Появлялась хоть маленькая, но всё-таки **радоcть труда**. Конечно, без старших такого оживления не было, ибо на первых порах пример играет всегда огромную роль.

В отдельных случаях можно было с особым удовлетворением отметить проявление даже интереса и, пожалуй, чувства некоторой ответственности за свою работу, которая, конечно, была очень примитивной,—

исполнить данную работу не потому, что она себе кажется важной, а потому, что об этом много говорят, что у нас надо работать, или потому, что этого хотят сотрудники.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Очень скоро по приезду детей жизнь выдвинула новые обязанности. Первое время за провизией и всем инвентарём смотрела одна из сотрудниц. На одной из общих бесед мы предложили детям выбрать кого-нибудь из их среды для того, чтобы выдавать поварам провизию, считать, сколько стоит продовольствие на каждый день, следить за тем, что из провизии у нас на исходе. Такой экономкой выбрали без всяких возражений девочку 11 лет, которая была известна уже своей положительностью и аккуратностью, на две недели. Эта экономка блестяще выполнила свои обязанности, и в виде особого признания её заслуг просили её после ещё подежурить неделю. Интересно было то, что дети немножко и гордились ею, особенно девочки. Её успех действовал на мальчиков: они решили доказать, что и среди них найдётся эконом не хуже. К тому времени, когда должен был кончиться срок экономки и нужно было выбирать ей заместителя, мальчики, главным образом маленькие, сговорились и выставили своего кандидата, который и был избран, несмотря на слегка презрительные возражения девочки, считавших область домашнего хозяйства своей специальностью. Мальчик оказался добросовестным, даже очень требовательным экономом.

Оказалось вообще, что наша некоторая «полоса» создавать новые должности: изобрели «хлебодара», который должен был резать хлеб; должность эта исполнялась до сих пор любителями и была не из таких уж лёгких: резать хлеб приходилось четыре раза в день и каждый раз немалое количество кусков. Затем выбрали «инструментальщика» — заботиться о наших инструментах, и ещё одного «писаря», или «секретаря», который должен был записывать решения наших собраний. Относительно необходимости собраний у детей не возникло вопросов, так как на них обсуждались вполне понятные детям наши хозяйственные дела; ещё,

пожалуй, более близко было для детей распределение дежурств, где приходилось самим заботиться о том, чтобы одному не приходилось дежурить чаще, чем другому; кроме того, было интересно подобрать для своей группы более или менее близких товарищей и, наконец, важно было получить в свою группу опытного колониста, что значительно облегчало работу. Интересовали ребят, конечно, более с внешней стороны и выборы.

Таким образом, дети стали принимать в собраниях более активное участие.

И постепенно на них, кроме всяких хозяйственных дел, стали подниматься вопросы о взаимоотношениях, обсуждаться несоответствующее нашим порядкам поведение кого-либо из колонистов; стали высказываться и мысли относительно улучшения жизни колонии.

Чаще же всего возникал боевой наш вопрос — о работах. Ещё при первых затруднениях старшие колонисты стали падать духом и высказывать нам, что «с такими лентяями ничего не выйдет», что «эти ничего не понимают», больше развлекаются, чем работают, а один даже, воспользовавшись случаем, когда пришлось работать в стороне от других, «прямо-таки заснул», и что «это ужасно».

Приходилось их ободрять, говоря, что всё это временно, у нас ещё есть хорошее будущее; напоминали им и начало их же собственной жизни в прежней колонии, когда сначала и не хотелось работать, а после привыкли и полюбили. С нашей точки зрения эти работы не были уж так плохи: ценна была ведь не самая работа, а рабочие настроения, которые появлялись всё чаще и чаще. Но нетерпеливой молодёжи казалось, что приучаться довольно было времени, пора уже и «по-настоящему».

Всё-таки хорошо было убедиться, что многие дети стали более сознательно относиться к делу и уже сами начинают высказывать недовольство работами, а не только старшие.

Объяснения неудовлетворительности работ были не очень различны и сводились, в сущности, к тому, что на работах должны присутствовать и сотрудники: и порядку больше, и веселее. Но сотрудникам было очень много везде дела, пока всё налаживалось, и не всегда можно было работать с ребятами. Думали, как поправить дело.

Старшие мальчики предложили выбрать «смотрителей», дело которых не «надзирать или там наказывать, а говорить, где какая работа, как её делать, поправлять инструменты во время работы и работать, конечно, самим». Против смотрителей не возражали и сотрудники, хотя неудача этой меры была довольно ясна. Но пусть колонисты призадумаются и ищут сами путей для улучшения работы. Так и сказали: «Пользу это вряд ли принесёт, но попробовать можно, может быть, и будет лучше». В связи с этим до некоторой степени нововведением возникло у нас крупное столкновение с девочками, среди которых образовались две группы — младших и старших; и именно старшие всё больше и больше высказывали своё недовольство колонией. Для сотрудников это было крупнейшим огорчением.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Эта группа старших девочек была нам хорошо знакома по Москве. Они были членами наших детских клубов и интересовались вышивками, делали ковры из разноцветных холстов, подушки. Часто приносили с собой работу из дому — кофточки, платья: им помогали кроить, подбирать цвета материй, разбираться в выкройках. Они же шили и народные русские костюмы для одного из наших спектаклей, которые были привезены в колонию и на девались ими по праздникам. Большинство из них готовилось в портнихи, так что выбор был вполне понятен. Работали они хорошо и с большим интересом.

Многие из них производили хорошее впечатление, когда приходилось беседовать с ними с глазу на глаз. Но видеть их вместе иногда бывало очень тяжело.

Без всякого видимого повода, от случайно брошенного кем-нибудь слова загорались среди них ссоры, в которые понемногу затягивались все. Тяжёлая жизнь их среды уже наложила на бедных подростков свою руку. Слушая их резкие и несправедливые упреки друг другу, видя эти возбуждённые лица, несдержанные движения, стараясь примирить спорящих, отвлечь их от нескончаемых пересудов, мы старались найти причину

таких настроений и видели её в условиях их жизни в Москве; представлялись иногда две семьи, живущие где-нибудь рядом в деревянном, тёмном и грязном доме, в одном и том же коридоре,— жизнью, которая знакома до мелочей всем соседям, живущим так же точно в вечной борьбе за текущий день, изливающей всю горечь, всю тяжесть, всю безвыходность своего издёрганного существования в громкой, ничем не сдерживаемой брани, попреках, мелких пересудах о своих и чужих делах.

Таков грозный запас впечатлений, накопленных юной душой,— впечатлений, от которых некуда уйти, чтобы оглядеться, которые оглушают и коверкают неустойчивую детскую натуру, а на девочек, более связанных с семьёй, чем мальчики, имеют особенно сильное влияние. Мы надеялись, что наши девочки в колонии отдохнут, оправятся от своей жизни, что смягчатся их ожесточённые уже так рано души. И, конечно, с ними не могло быть легко: они требовали особого попечения.

Мы сами всё-таки увлеклись желанием дать возможность пожить среди природы большому числу детей и поэтому несколько затруднили свою дачу.

В начале нашей жизни в колонии было много хлопот по налаживанию хозяйства, созданию интересных форм жизни; масса была новых наблюдений и мыслей, в которых мы ещё не успели разобраться. Дети же были убеждены, что ничто не может обойтись без старших, их собственная жизнь ещё не начала складываться, поэтому они шли к нам со всеми мелочами. Эти мелочи отнимали много времени.

Обратив все наши усилия на налаживание жизни маленьких, мы поневоле оставили жизнь старших немного в стороне. Из всех колонистов именно этим девочкам новая форма жизни и взаимных отношений в колонии, как постепенно ни старались их вводить, была наиболее непонятна: она слишком шла вразрез с привычным для них городским бытом, тогда как маленькие быстро восприняли всё без особой критики, как нечто должное.

Старшим колонистам наша жизнь была уже знакома. В старших же девочках, впервые очутившихся в необычной обстановке, инстинктивное чувство чего-то хорошего у нас и привычное им недоверие к добру постоянно боролись, что постоянно высказывалось в их разговорах и поведении. Они стали держаться особняком и

к жизни колонии относились как посторонние, как гости, которые приехали только посмотреть. В работах они участвовали постольку, поскольку к ним были предъявлены колонией прямые требования; но наша жизнь гораздо больше опиралась на проявления личных стремлений, девочки же к общей жизни относились пассивно и как бы выжидали приказаний со стороны трудников. Это создавало, конечно, некоторую разницу в отношениях к ним и со стороны взрослых, и со стороны детей, ставило их нашей жизнью в **особо бленное** положение.

Однажды их группа работала перед домом. Покопавшись немного с дёрном, которым обкладывали только намеченные нами дорожки, они сели в кружок, и начались обычные разговоры и смех. Ретивый «смотритель» подошёл к ним и предложил приниматься за работу, но получил небрежный ответ: «Тебе какое дело? Ишь какой сотрудник: стулай и работай сам!» Мальчик обратился за сочувствием к сотруднице, проходившей мимо, но та посоветовала оставить девочек в покое.

— Будем считать, что они живут на даче для отдыха. Уж как-нибудь нескольких дачников прокормим! — прибавила она.

Девочки, около которых происходил этот разговор, сейчас же бросили свои лопаты и грабли и ушли в комнату.

Подошло время обеда; девочки не выжидали долго, наконец показали все вместе с полотёнцами в руках, и молча прошли мимо колонистов, сидящих уже за столом.

— Купаться пошли,— раздался шёпот,— они не хотят ничего есть и пить, потому что они говорят, «не дармоеды».

— Ладно, а каши уж в кухне наелись и в полотёнце здоровый кусок хлеба завернули,— раздался чей-то смешливый голос.

Кое-кто засмеялся. Сотрудники просили не дразнить девочек и не приставать к ним.

— Может быть, тогда скорей обойдутся: почувдят, почувдят, а потом и совестно станет.

Жизнь колонии внешне не нарушалась: купание, чай, работы прошли своим чередом. Девочки вернулись с купания и оставались в комнате.

Событие было, конечно, крупное для нашего маленького мирка и держало всех в напряжении. Сотрудники не стали собирать детей для обсуждения вопроса, как быть, так как дело было слишком острое для них; кроме того, дети обыкновенно судят прямолинейно, строго, а в этом случае их резко отрицательное отношение к поведению девочек было совершенно ясно. Ждать, что дело обойдётся, тоже нельзя было, так как всё случилось именно потому, что девочек за массой работы предоставили самим себе.

Одному из сотрудников было поручено переговорить с ними. Разговор шёл с глазу на глаз. Девочкам было предложено несколько вопросов.

— Считают ли они, что в колонии может всякий делать, что хочет?

— Подчиняются ли сотрудники правилам колонии? Не мешает ли жизни всех то, как ведут себя девочки? Трудна ли работа в колонии, чувствуют ли они усталость, которая мешает им работать?

Девочки ответили, что надо подчиняться правилам, что сотрудники сами везде работают, что жизнь нетрудна и они не устают, но не считают, что их образ жизни мешает кому-нибудь.

— Мы только не хотим даром жить, чтобы нас не попрекали,— вот и не обедаем поэтому...

— Почему же ни с того, ни с сего вам сказали, что вы даром живёте?

— Мы сидели и отдыхали от работы...

— Вы считаете, что работаете, как следует?

— Этого мы не говорим; только неприятно работать, когда попрекают...

— Следовательно, вы считаете, что указание на вашу лень несправедливо?

— Нет, справедливо, только нам очень обидно...

— Я лично про себя скажу, что когда хлопочешь, работаешь сам, то очень неприятно видеть, как другие сидят и ничего не делают. Я наблюдал за вами и должен вам заметить, что ваша работа очень плохая и это очень мешает всем.

— Мы бы работали, если бы к нам хорошо относились.

— Я прошу вас в таком случае вспомнить, что было в Москве: вам так хотелось ехать в колонию; вам

говорили, что там прислуги не будет, всё придётся делать самим; вы просили поговорить с родителями, которые боялись отпустить вас так далеко, сотрудники уговаривали родителей. Поехали вы по своей воле и на всё были согласны. И сотрудники надеялись на вас, как на старших, что вы можете по хозяйству, что с вами будет легче. Не тут-то было: вы вносите раздоры, идёте против всех, заставляете даже маленьких смеяться над вами. Поехали вы свободно, следовательно, за вас, кроме вас же самих, некому отвечать. Ваше поведение показывает, что вам житьё здесь не нравится и вы не хотите участвовать в общей жизни со всеми. А общая жизнь такая — вместе для колонии работать, вместе и отдыхать. Теперь из-за вас и веселья нет, и сотрудникам не по себе, и дети всё любопытствуют, что-то будет. Если вы обижены, отчего вам не поговорить с тем, кто обидел. Вы говорите ли?

— Нет.

— Положим, и другие, глядя на вас, не стали бы работать, и сотрудники, обидевшись, тоже перестанут хлопотать, ведь колония не может существовать и дня! Итак, если вам здесь так не нравится, что вы хотите от всех отделиться, то лучше уехать в Москву, потому что то, что вы делаете, всем мешает. К тому же, если вас попрекают работой, то лучше показать, что можете хорошо работать, чем поддерживать плохое о себе мнение, со всем отказавшись от работы. Так или иначе, но я прошу вас обсудить мои слова. Придите после сказать мне, как вы решили, — оставаться или уезжать, потому что так, как теперь, нам очень трудно. Есть очень много малых, о которых надо думать.

Девочки ушли к себе в комнату и, поговорив между собой и с другими колонистами, забегавшими к ним, вышли к чаю весёлыми, как ни в чём не бывало. Они объявили, что «кончили всё» и куда из колонии не поедут, да ещё из-за таких пустяков; что всё это были «глупости затеяны».

После этого случая в течение всего лета недоразумений с этими девочками не было, и они мирно проработали вместе с другими, как ни было это трудно для их характеров. Много времени спустя почти со всеми у них наладились хорошие отношения.

Уместно здесь задать себе тот же вопрос, который стоял перед нами: как могли происходить такие факты, где проявлялось непонимание, отчуждение, недоверие, быть может, некоторого рода озлобленность в таких условиях, как это было у нас в колонии при совместной жизни и детей и взрослых, которые самым дружеским, любовным образом подходили к детям: ведь дети должны же были чувствовать правду инстинктом, на который мы же сами так часто надеялись, если не понимать умом своим. Как могла эта чистая детская натура, хотя бы и скрытая под грубой оболочкой, не раскрыться сразу, не потянуться всем существом навстречу такой ясной и деятельной любви к ним?

Как они, лишённые человеческой ласки, столь требуемой ими, не отозвались сейчас же на наши заботы, которые стоили нам затраты таких сил?

Как не засветилось в их сердцах чувство естественной благодарности в ответ на всё, что нашими трудами было предоставлено им?

Можно поставить ещё много подобных вопросов, которые в минуты уныния властно осаждают душу, но надо сказать и то, что дети не могут избежать влияния страшной силы жизни, и эта сила такова, что запрягивает душу ребёнка гораздо глубже, чем мы можем предположить, что эта жизнь слишком быстро заставляет определяться детские характеры, что они рано перестают быть детьми (нам случилось видеть мальчика, который в 12 лет испытал и знал про жизнь больше, чем многие взрослые), что путь к добру, требующий такой большой душевной работы, очень медленный, и поэтому возможность видеть хорошее должна быть осуществлена для ребёнка в течение целого ряда лет и без перерыва. Не лучше ли вместо того, чтобы ждать благодарности от ребёнка, видеть, как он, окрепши, хоть немного проявляет в жизни своей то лучшее, что вы могли передать ему?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как всегда бывает, всякие выдающиеся случаи, радостные и печальные, имели для колонии большое значение. Этими толчками двигалась вперёд наша жизнь. Одни случаи заставляли нас всех переживать

некоторый подъём, другие спланировали более тесно наше маленькое общество и служили поводом к тому, что у ребят возникли новые мысли и более сознательное отношение ко всему нашему укладу. В только что рассказанном случае девочки столкнулись с вопросом о нашей «свободе», с тем, что, живя в колонии, приходится отвечать, и очень серьёзно, за свои действия, что поведение отдельных колонистов связано с общей жизнью. Вскоре затем из колонии уехало двое мальчиков, несмотря на уговоры остальных. Они не могли примениться к работе, хотя физически и были сильнее многих, и убедились также, что в Москве для них гораздо свободнее, чем в колонии, которая наложила на них некоторые обязанности.

Их отъезд послужил поводом к большим разговорам относительно наших работ, которые были приняты (кроме кухни и уборки) детьми, как нечто должное, как своего рода повинность за возможность жить в колонии. Это было, правда, не очень тяжело — можно было отдохнуть и поболтать во время работ, но всё-таки понятно лишь, как законное требование со стороны сотрудников. И эти «обязательные» работы получили даже особое название в отличие от «необходимых» — «общественные работы».

Своим чередом, понемногу входя в обычай, шли наши собрания, на которых уже обсуждались не только хозяйственные дела, но и дела, касавшиеся внутренней жизни колонии. По-прежнему руководились они всецело сотрудниками, но дети больше принимали участия в обсуждении, чем раньше. Конечно, эти собрания были не единственным местом наших «общественных» разговоров. Быть может, гораздо большее значение имели маленькие, часто случайные беседы, случай к которым представлялся постоянно, так как и дети и взрослые — все жили вместе, в одном доме, и, кстати сказать, довольно тесно.

Детей было всё-таки больше, чем мы могли поместить более или менее свободно. Для сотрудников места было, пожалуй, ещё меньше. Так, одна сотрудница жила за холщовой занавеской во втором этаже, где помещались маленькие мальчики. Сотрудник довольно долгое время жил на балконе, а комната, где жили ещё двое, была единственной, где можно было собираться

всем вместе, попеть, поиграть, почитать, почитать, построить собрание в плохую погоду и принять гостей.

Естественно, что при таких условиях вся жизнь взрослых проходила на виду у детей, с которыми приходилось проводить всё своё время. Для нашей работы это обстоятельство дало очень много, особенно вначале, когда дети нас ещё мало знали (то внешнее знакомство, которое было в Москве, здесь, разумеется, было недостаточным). Таким образом, дети скорее почувствовали, что у нас с ними, худо ли, хорошо ли, общая жизнь, что влекло за собой простые отношения. Хорошим временем для бесед была ежедневная прогулка к реке на купание. Река от колонии довольно далеко — около двух вёрст, дорога почти всё время идёт лесом. Пока дойдёшь до реки, чего не переговоришь и чего не переслушаешь!

Жизнь наша становилась более складной. Появилась ещё новая должность — «дровосеков». От места, расчищенного под наш дом, осталось много осинника, надо было перепилить его на дрова. В огороде на первых грядах стало кое-что пробиваться. Появился у нас и добровольческий огородник. Перед домом была расчищена и усыпана песком небольшая площадка для игр со скамейками по сторонам.

Среди такой жизни, напряжённой для всех, физически утомительной, главным образом для сотрудников, которым приходилось много работать, двигалось вперёд наше дело, и, казалось, начинает налаживаться известная стройность; дети втягивались в работу, и можно было немножко передохнуть после горячего времени, как вдруг на колонию обрушилось несчастье, в первый момент ошеломившее сотрудников: у одной из девочек появилась скарлатина.

Мы в первую минуту растерялись. Девочку отправили с одной из сотрудниц в земскую больницу в Малоярославец, откуда пришлось везти её в Москву после долгих переговоров с железнодорожной администрацией. Сотрудница вернулась из Москвы совершенно измученная, но успокоила всех тем, что к нам едет врач, тоже сотрудник нашего общества, которая пробудет у нас весь заразный период. Что было делать с детьми? Казалось бы, лучше всего распустить колонию; но это значило бы разнести заразу по домам, по семьям, где

много маленьких детей. По совету врача решено было остаться в колонии, выждать, не заболееет ли ещё кто-нибудь, войти в соглашение с одной из московских больниц, чтобы приняли нашего больного без препятствий, а пока заняться дезинфекцией и выдержать двухнедельный карантин со времени последнего заболевания.

Вечером в день приезда врача * собралась все колонисты в общую комнату. Настроение детей на этом собрании было в высшей степени серьёзное. Все почувствовали, что над ними стряслась беда, и захотелось инстинктивно сжаться, быть поближе друг к другу. Наша сотрудница-врач очень серьёзно говорила о болезни, насколько она опасна, как нужно стараться быть бодрыми, уничтожать заразу, следить за чистотой и здоровьем. Мы очень боялись паники, безотчётного страха, но, к счастью, дети отнесли серьёзно и покойно; все решили написать родителям, чтобы не беспокоились. Никто из колонистов не захотел ехать к своим в Москву, что возможно было ожидать.

Вообще, несмотря на большое горе, нам всё же было отрадно видеть, что в трудную минуту дети собрались вокруг нас и отнеслись к нам с полным доверием и любовью. Потянулись тяжёлые дни для сотрудников. Каждое утро приносило новые тревожные ожидания, не заболел ли ещё кто-нибудь, не показалась ли сыпь, не покраснело ли горло у кого. Работы у нас почти прекратились, кроме кухни и уборки, которая теперь стала делом общим, а не только дежурных. Сотрудники с врачом во главе и старшие дети начали мыть все помещения раствором сулемы. Бельё, перед тем как отдать прачке, тоже вымачивалось в сулеме.

Через день после нашего собрания заболело двое мальчиков, которых сейчас же отвезли в Москву. Начали наскоро строить глухую перегородку в одной из комнат, чтобы можно было отделить подозрительного больного. Дети, впрочем, скоро освоились с положением и как будто перестали замечать его. Опять начались игры, шум, возня, просили начать пение, мечтали снова о прогулках, которые были пока прекращены, чтобы не встретить кого-нибудь из посторонних.

Так прошла первая неделя. Вдруг заболел ещё один мальчик. Его поместили в готовую уже отдельную комнату до выяснения характера болезни. К нему ходил

только врач, а есть и пить подавали через окно, рядом с террасой. Все ребята очень сочувственно относились к нему, а он сам был прямо трогателен: всё, не переставая, твердил, что это ничего, просто так, пройдёт. «Много раз бывало и всё ничего». Ребята же кричали ему, когда его красное лицо с жалким выражением показывалось в окне: «Эй, Костя, смотри держись, не выдавай!»

По счастью, тревога оказалась ложной, и, пробыв два дня в комнате, мальчик был, к великой радости остальных, выпущен на волю.

Эти тяжёлые три недели имели большое значение для жизни колонии: дети приобрели кое-какие культурные привычки, стали привыкать к чистоте и опрятности, увидели на деле, как можно бороться с ужасной болезнью и насколько это важно. Большую роль играла и наша обособленность. Ни мы, ни дети не имели сношений с внешним миром, и поэтому наша внутренняя жизнь шла всё это время ещё живее и сосредоточеннее. Сотрудники очень ценили бодрое, быть может, несколько приподнятое настроение тогдашних дней. Не мудрено, что освобождение наше от карантина было отмечено устройством праздника. Девочки уже с утра нарядились в шитые ими в колонии русские сарафаны и белые рубашки. К вечернему чаю повара наши отличились и приготовили какое-то пирожное, что было ещё в первый раз, поэтому всем казалось событием очень значительным. После чая начался концерт. Слушатели уселись на площадке перед террасой, а в окне общей комнаты показывались певцы, которые пели и соло, и дуэтом, и все вместе хором. Некоторые любители декламировали стихи и рассказывали анекдоты. Зрители и слушатели всё время менялись: певцы, окончив своё, бежали слушать других — декламаторов, а эти уступали место плясунам. Затем на площадке происходили танцы, после чего вся колония отправилась в поле играть в футбол. Дети очень остались довольны праздником, в особенности тем, что всё устроили сами, своими силами, и было очень хорошо. Лишний раз можно было убедиться, что дети могут довольно ствовать очень малым, в особенности, если сами его создают, и это малое может им доставить много радости.

Трудное, но хорошее было время!

Собрания наши продолжались. На них отразилось до некоторой степени то чувство общности, которое связывало колонистов во время борьбы со скарлатиной. Интересно проследить, как отразилось это чувство на сознательности отношения детей к тем или другим сторонам нашей жизни. Что касается до работ, то новые настроения имели на них очень большое, мало того, даже коренное влияние.

Как было раньше сказано, работы наши разделялись, по понятиям колонистов, на «дежурства» (кухня, уборка) и общественные работы. Если дежурства быстро наладились, как очень понятные и необходимые, как работы, результат которых был виден сейчас — в виде приготовленного обеда, ужина, чая, чистой посуды, то общественные работы на участках, где должны были быть наши «будущие» огород и сад, шли гораздо хуже. Поэтому на собраниях часто поднимался вопрос о недостатках наших маленьких работников. Все сознавались, что работы идут не как следует, но от этого дело не шло лучше. По нашему мнению, у детей в работах не было ясной идеи, с одной стороны, с другой — не было увлечения, трудовой бодрости: это была повинность, отбываемая ради того, что сотрудники «так говорят».

Однажды на собрании вопрос о работах был поставлен особенно остро, и сотрудница наша с огорчением сказала: «Если так идёт дело, то не лучше ли совсем отменить обязательные работы, чтобы работал, кто хочет». Неожиданно детьми это было понято, как предложение, которое тут же и было принято почти единогласно. Сотрудник, руководивший общественными работами, в этот день был в Москве, и на следующее утро, когда он вернулся в колонию, первыми словами, которыми дети встретили его, было: «У нас теперь отменили общественные работы: работает, кто хочет».

В обычное время пошли купаться. По дороге завязался очень интересный разговор у сотрудника с ребятами.

— Как вы скажете, почему отменились работы?

— Работают плохо — вот и надоело всё говорить да говорить: теперь пусть работает, кто хочет,

— А много таких, кто хочет работать?

— Мы не знаем. Я-то вот буду работать, потому что это полезно, а другие станут на меня говорить, что хочешь выставляться, ну, и не знаю, как быть...

— Как же в колонии жить тогда, если все откажутся: кто, например, будет варить?

— Что ты, про такие работы никто не говорит, — это не работа, а вот общественные... От таких никто и не отказывается.

— Какие же это такие работы?

— А ну, какие — на кухне поварают все, ничего нельзя сказать, потом убирать, пол подметать, за молоком ходить, за маслом, за картошкой. — «Ну, а ещё?» — «Вот огород совсем не так».

— «Почему же?» — «Да потому, что теперь всё равно не дождемся, а на будущий год, может, кто и не попадет в колонию, вот ему и неохота...»

Помолчали немного. Возникал новый и сложный вопрос о праве жить в колонии. Возник он раньше, конечно, и должен был возникнуть, ибо все наши разговоры о будущем, более ясное представление о нём, несомненно, связывалось и с пребыванием у нас каждого колониста не случайным, а постоянным. Чем больше ребёнок втягивался в жизнь колонии, чем больше она была ему по сердцу, тем острее становился этот вопрос.

Детям, не приученным жизнью к осуществлению хотя бы малой доли своих заветных желаний, была странна мысль о праве своём жить в колонии из года в год, о возможности своими усилиями, своей работой добиться этого права. Их недоверчивые сердца не могли этому сразу поверить. И приходилось очень настойчиво указывать, что каждый, взявший на себя какую-либо заботу о колонии, тем самым приобретает законное право считаться «своим» колонистом, приехать ещё и ещё раз, пока будет возможно. В голове копошилась мысль: «Это так говорят, чтобы работали, а зимой дело будет иначе».

Сколько раз приходилось убеждаться в том, что детские души уже настолько опустошены жизнью, что подойти к ним со своей искренностью всегда было и больно и трудно. Особенно тяжело бывало, когда сквозь наружную ласковость и открытость проскальзывало это недоверие, которое трудно было отнести к себе лично,

а к той жизни, привычки которой уже въелись в душу ребёнка.

Разговор возобновился.

— Ну, хорошо. Как же вы думаете, кого лучше взять в колонию, работающего или такого, про кого уже известно, что делать он ничего не будет?

— Что же про это говорить? Конечно, кто может работать, тот всегда нужнее.

— И я так же думаю: если кто показал себя и действительно захотел жить в колонии не одно только лето, то он уже будет вроде, как друг колонии, а с друзьями всегда приятно иметь дело. Ну, скажи, Феша, сам про себя: ты хочешь работать? — Хочу. — А ты? — И я, и я хочу... — Вот и хорошо: я теперь предлагаю собраться после купания в отдельную комнату и обсудить, как быть тем, кто хочет работать. Составится своя компания, найдём себе дело, которое нужно будет для колонии, и станем работать.

— А другие как же? — Что же нам до других: лишь бы за собой смотреть, и то хорошо. А они, другие, разве не колонисты, не могут устроиться, как хотят? Ведь и на собрании было решено: работает, кто хочет.

Разговор шёл с тремя-четырьмя мальчиками. Остальные шли кто впереди, кто поотстал. Участники беседы стали понемножечку догонять других, и скоро впереди образовалась кучка, от которой отделялся по временам тот, то другой из собеседников, подбегал к сотруднику и таинственно сообщал: «Кирюшка согласен, Иванов тоже согласился!» Когда подошли к речке, то «компания» набралось уже человек 8 (очевидно, в приглашениях был некоторый выбор и составлялась «своя» компания, на кого надеялись).

Дома все участники собрались в комнату сотрудника. Новых пришло ещё четверо, и, таким образом, образовалась порядочная группа в 12 детей, преимущественно младших мальчиков — от 10 до 12 лет. На этом собрании было решено взять на себя маленький участок около ручья для разделки земли под будущий ягодник и, кроме того, два раза в неделю поливать огород. Новых же членов пригласить к себе с общего согласия.

В знак начала нового дела все подали друг другу руки — вышло немногочисленно, но как-то

подходяще по настроению. В конце концов принесли бумаги и написали такое объявление:

«Объявляем колонию, что образовалось общество колонистов, которое берётся готовить землю под ягодник и поливать огород по вторникам и пятницам».

Объявление торжественно было приколото кнопкой к ставне на террасе и произвело своего рода сенсацию. Около него столпились все. Особенно заинтересованы были старшие мальчики и девочки, обрадовавшиеся с распросами к участникам нового общества, которые держали себя несколько загадочно и отмалчивались: «Там увидите!»

После чаю все, демонстративно собравши свои лопаты и кирки, отправились работать на свой участок. На первых порах новое общество обнаружало необычайную деятельность: работали два часа без перерыва, все в поту, раскрасневшись, постепенно снимали куртки и рубашки и полуголые фигурки их представляли довольно любопытное зрелище. Тут же пели для скорости работы песни, шутили, мечтали вслух. На следующий день утром вся компания встала, как один, в 6 часов и, наскоро одевшись и забежав на кухню за кусками хлеба с солью, принялась работать с тем же ожесточением.

Эти утренние настроения особенно нравились: колония ещё спала, солнце не палило, было довольно прохладно. Тут уже пришлось не подбодрять, а останавливать зарвавшихся работников!

С неделю продолжалось это боевое настроение, сильно повлиявшее на остальных колонистов, которые не могли остаться безучастными зрителями такого оживления. Начали образовываться маленькие группы, которые стали называться «артелями». Эти артели брали себе какую-нибудь определённую работу — дорогу, огород, капустник, проведение небольшой дорожки.

Наконец, все группы соединились вместе и взялись за очень трудную задачу — выкорчевать пни и вырубить поросль на участке в 400 квадратных сажен, предназначенном для будущего плодового сада. Здесь провели три дренажные канавы, вырыли 30 больших ям для посадки деревьев, со всей площади содрали дерн и сложили его в кучи. Ямы для посадок были особенно велики, так как предполагалось вместо вынутой красной

глины наполнить их дерновой землёй. Работа эта совпала как раз с концом нашего пребывания в колонии и шла очень оживлённо.

Таким образом, решение бросить обязательные работы и перейти к свободным имело очень хорошие результаты: в работе дети нашли что-то понятное для себя, и это понятное была **радость рабочего дня**. Вместе с тем проявилась и ещё одна сознательная черточка: дети стали чувствовать ответственность за свою работу. Часто стали отдельные группы брать себе работу «на урок», т. е. измерять работу не временем, а количеством её.

Такая работа, когда ребёнку были понятны требования к его делу — сделать столько-то и так-то, не указывая времени, делалась более аккуратно, и дети сами заставляли сотрудников или более опытных своих товарищей оценить и проверить их работу. Зато как хороша была трудом приобретённая свобода! Свободного времени стало больше, и жизнь колонии пошла веселее.

Таким образом, выяснилось, что, кроме необходимости в той или другой работе, присоединился ещё **интерес** к ней, ощущение удовольствия от труда. Всё это были ещё проблески, требовался ещё очень большой подъём, но всё же видеть такое движение нашей жизни вперёд было очень радостно.

Новые настроения оказали своё влияние не только на общественные работы, и коренное наше дело — кухня — пошло лучше. Выпадали часенько уже такие дни, когда сотруднице приходилось заглядывать в кухню «только на минуточку», а то и совсем можно было там не показываться, когда на кухне работали некоторые из старших девочек, или наши «помощники», порядочные уже повара на нашу непритворливую пищу. Если в общественных работах стало появляться понемногу чувство ответственности за свою работу, то в варке еды она была особенно велика. Оставить 40 человек без обеда — дело немалое!

Кухня нравилась почти всем, и поэтому, чтобы закрепить в детях приобретённые знания и дать себе отчёт в них, были предложены некоторые новые работы: желаемые писали рецепты новых блюд, которые

приходилось готовить, а вся очередь дежурных составляла расчёт, во сколько обходится каждое блюдо обеда и ужина. Делали и такие задачи: сколько провизии и на какую сумму нужно было бы для небольшой семьи. Этим интересовались девочки. Рецепты писали и мальчики. Вот примеры таких записей.

1. Аксюша Козлова (очень хозяйственная девочка, 11 лет. Была 3 недели экономкой). Перловый суп. Налить в котёл воды и посолить её, взять полфунта сухих грибов и положить вариться в котёл. Ещё взять $\frac{1}{4}$ фунта кореньев (сухих), сварить их в кастрюле. Когда грибы сварятся, вынуть их из котла и мелко нарезать. Потом взять $\frac{1}{4}$ фунта коровьего масла и положить его вместе с грибами жариться. Взять картофель, очистить его, вымыть и нарезать. Потом взять 2 фунта перловых круп, хорошенько вымыть. Когда грибы изжарятся, положить их опять в котёл. Когда коренья сварятся, процедить и тоже в котёл. Положить в котёл картофель, перловую крупу и ещё $\frac{1}{4}$ фунта масла и варить до обеда. Перед обедом положить 2 фунта сметаны.

2. Рецепт одного мальчика, подвижного, как ртуть, большого забияки и ротозея. Он с трудом написал всё на клочке бумаги, а в конце рецепта нарисовал с большой любовью голову чёртика.

Лапша. Налить в котёл полведра молока. Взять 3 фунта муки, 8 штук яиц и $\frac{1}{4}$ фунта масла и замесить тесто. Взять и смешать муку, яйца, масло и чуть воды. Взять и раскатать тонко. Нарезать мелко и поставить на плиту сушиться, чтобы не сгорело. Когда молоко вскипит, положить туда лапшу и мешать всё время, а то молоко пригорит. (Григорьев.)

Характер ребят проявлялся даже в этих сухих записях. У положительной, аккуратной Аксюши всё предусмотрено, ясно для неё, что ничто не должно пригорать. В практике же Григорьева частенько случалось прозевать молоко или сжечь грибы, поэтому его первый совет — посмотреть, чтобы не сгорело. Писали много и другие повара, так что почти все кушанья, которые готовились в колонии, были описаны. К концу лета уже стали готовить что-либо более сложное и удивлять этими новостями колонистов, шумно приветствовавших такое «событие».

Хозяйственные дела были обыкновенно главным предметом разговоров на собраниях. Но после того, что пережила колония во время скарлатины, вопросы нашей внутренней жизни стали занимать гораздо больше места, чем это было прежде.

Становилось как будто чуть-чуть более ясным, что как в работе своей каждый колонист связан с работой других, так и в поступках — живёт не как хочет, а есть и общая цель, связывающая всю колонию: дёрнуть в одном месте — страдают многие. Если в труде можно было уже приветствовать зачатки ответственности за свою работу, то жизнь ребят должна была складываться так, чтобы проявлялась ответственность за их слова и поступки. Всё это только намечалось, было в самом зародыше, но важно было убедиться, что общая жизнь колонии ведёт детей по этому пути.

Неискоренимая, как казалось сначала, привычка ребят к грубой брани и отношения их между собой стали раньше всего обсуждаться на наших собраниях. Надо сказать, что большинство колонистов часто пускало в ход отвратительную личную брань. Бывало и так даже, что дети просто так, ради забавы, ради шутки, без всякого «злого» умысла, выкрикивали громко различные непристойности. Хвастовства ими было, впрочем, мало заметно, быть может, потому, что не перед кем было хвастать. «Выражались» не только мальчики, но иногда и девочки. У многих брань настолько вошла в привычку, что как-то даже и не замечали её за собой.

Сотрудники выступали против брани очень энергично на собраниях. Но первое впечатление от таких бесед было грустное. Мальчики откровенно заявили, что не выражаться очень трудно. В Москве никто так не говорит, без выражений, вот и привыкли.

— Вы, значит, так привыкли, что и отвыкнуть нельзя?

— Всё равно ничего не выйдет, — безнадежно заметил на это один из пессимистов.

— А ведь бывают случаи, когда все сдерживаются.

— Когда?

— При сотрудниках. Почему в присутствии сотрудников не слышно брани?

— Ну, тут неловко.

— Ловко или неловко, а суть дела в том, что сдержат себя можно, да так ещё, что ни разу не прорвётесь.

— То сотрудники, а то свои: скажешь что, ну и смеются.

— Значит, никто не удерживает. А начните-ка друг дружку остерегать, может, и выйдет что. Ведь всякий скажет, что ругаться скверно. Значит, лучше, если брани у нас не будет. Вы представьте себе так: пусть бы у нас никто не ругался, а один только не может или не хочет сдержаться. Услышат его соседи, скажут ведь не про него, а про нас всех: «В колонии вон как ругаются!»

— Это, стало быть, один на всех «тень наведёт», — переводит кто-то на свой язык.

— Мы говорим на собрании — на кухне работать надо, и все работают. Отчего же не сказать — в колонии браниться нельзя?

— А если не перестанут?

— Тогда сделаем ему замечание от всех: всё-таки всех-то постыдит-ся.

— Это если я скажу «чёрное слово», то про меня все на собрании будут говорить — не выдерживает закоренелый «выражатель».

— Вот именно.

— Тогда лучше не надо, скорей ругаться кончу.

— Ну, кто за замечание?

Все поднимают руки.

— А если после замечания кто опять будет ругаться?

— Тогда сделаем второе, а уже после третьего придётся уезжать в Москву, так как, очевидно, жизнь в колонии для такого неподходяща. Если же после замечания колонист не будет браниться, то мы с него замечание снимем.

— Вот так хорошо; подымай, кто согласен, за три замечания.

Всем последняя оговорка пришлась по душе.

Разговоры о брани всех задели за живое: на замечаниях обсуждение не было кончено, а постепенно дошли до того, что надо разбирать, как

произнесено какое-нибудь ругательство — сгоряча, в сердцах или ради удовольствия. К последнему должно относиться строже, а за невольное слово можно и не делать замечания, а только предупредить на собрании, что повторение повлечёт за собой уже замечание.

Ссоры и обиды обыкновенно редко доходили до собраний: они разрешались между собой, да и в детской жизни это никогда не затягивается. На собраниях же обыкновенно предлагалось помириться, и редко кто был на это не согласен: раз уже дошло до обсуждения, то первый пыл, когда примирение кажется невозможным, уже прошёл.

Бывали случаи, когда давался толчок, иногда очень сильный, к улучшению нашей жизни и внутренних отношений. Вот один из них.

Однажды наш сотрудник, проходя мимо комнаты, где жили мальчики, заметил там большое оживление, смех и шум. Одна фигурка выскочила из комнаты и побежала по дорожке в лес. Сотрудник остановился. Немного погодя та же фигурка показалась из-за кустов и тихо стала пробираться к двери; в это время на крыльцо выскочило что-то белое, очевидно, мальчик, завёрнутый в простыню. Тёмная фигура спряталась за куст, и по шороху веток можно было догадаться, что кто-то, не разбирая дороги, старается уйти подальше. В комнате мальчиков опять взрыв смеха. Скоро всё стихло. Среди шалунов стало замечаться беспокойство, потому что из дому вышла небольшая группа и рассыпалась по лесу, окликающая беглеца: «Мишка, Мишка, иди, никто тебя не тронет!» Но тот не откликнулся. Сотрудник вошёл в комнату и спросил, в чём дело

— Мишка чего-то испугался, убежал в лес и спать не идёт.

— Я прошу вас,— серьёзно сказал сотрудник,— теперь успокоиться. Я пойду, поищу Мишу, а то как бы беды не было. Но завтра обязательно надо будет на собрании выяснить, в чём дело, а я расскажу, что я видел.

Наступила тишина, и через некоторое время Миша, прячась по стене, тихонько отворил дверь и проскользнул мимо притихших шалунов наверх.

Этот Миша был странный мальчик, очень нервный, иногда прикидывавшийся дурачком, потешая этим

ребят. Работал он везде спустя рукава и лениво, но иногда как-то оживлялся и принимался за дело очень усердно, обыкновенно один. В компании он никак не мог наладиться. На следующий день было собрание. Случай с Мишей был уже известен и горячо обсуждался всеми. Мальчики, участвовавшие во вчерашнем, видимо, готовились к серьёзному разговору.

— Объясните нам,— начал сотрудник, свидетель вчерашнего происшествия,— что такое было с Мишей?

Понемножку, сначала запинаясь, а потом всё с большими и большими подробностями, ребята рассказали следующее:

— Говорили перед тем, как спать, о привидениях, Андрюшка (мальчик лет десяти, большой озорник и забияка, но общий любимец) стал на ходу ли, накрылся простыней и стал ходить. Мишка испугался, а мы все стали показывать, что и всем страшно. Он и убежал. А потом стали глядеть в окно, всем сказали, чтобы притаились. Видим, Мишка крадётся назад. Тут Андрюшке сказали выскочить в простыне и закричать. Мишка, как увидел, так убежал стремглав. Все и смеялись. А потом испугались, как бы он не остался в лесу, стали звать, а он не откликается. Искать не пошли далеко, потому что побоялись сами...

Миши на собрании не было. Говорит: «Не пойду».

— Ну, представьте себе, что могло выйти. Вы знаете Мишу, как он всё может вообразить. Он вправду испугался и убежал. Теперь он один ночью в лесу, где ему тоже страшно. Он хочет идти назад, думает, все заснули, а тут выскакивают и опять пугают. Он прячется. Теперь же он стал чувствовать, что он один, брошен, что все против него, над ним издеваются, травят его. Тут ещё холодно. Что может прийти в голову? Он мог бы убежать куда глаза глядят и провести ночь вне дома или даже натворить чего со страху. Вы и сами говорите, что испугались, стало быть, думали, что может плохое случиться. Хорошо, он услышал меня, увидал, что всё-таки есть защита, и вернулся. А если бы не вернулся?

— Тогда бы вся колония пошла его искать.

— А ещё представьте себе, что Миша забежал на деревню, и там бы сказали, что у нас плохое житьё? Кто бы был виноват в этом? Вот и выходит, что дело

касается всех и что те, кто так без мысли стали бы издеваться над Мишей, принесли бы вред не только ему, но и всей колонии. Ведь только случайно не вышло ничего серьёзного. Смотрите, вы вчера посмеялись, а сегодня всей колонии не по себе, чувствуется, что у нас беда стряслась; думаю, что многие и на что-нибудь хорошее не надеются.

— Ну, мы все попросим у Мишки прощения.

— Да что в этом: попросите, а потом опять за своё,— заявляет возмущённо девочка.

— Нет, тут не извиняться, а надо серьёзно поправлять дело: Миша был один, пусть теперь он будет со всеми. А те, кто обижал его, приставал, издевался, пусть возьмут сами его под свою защиту, чтобы он чувствовал заботу о себе со стороны своих же товарищей.

— Всё-таки так нельзя оставить: надо им замечание всем! — говорит та же девочка.

— Ну, кто за замечание?

Подымают руки все и особенно усердно виновные. На работах можно было видеть трогательную картину, как Миша стал предметом попечений со стороны своих обидчиков: «Ты работай с нами, видишь, как мы,— и мускулы будут твёрдые, и здоровый будешь». Все были очень довольны.

Конечно, такие собрания были только толчками к тому, чтобы возникли и развивались новые, серьёзные мысли. С течением времени память о таком событии сглаживалась, но окончательно впечатление пропасть не могло. И то, что оставалось как впечатление, вносило в жизнь колонии большую осмысленность, входило в обычай новые отношения и привычки. Неоднократно потом приходилось в отдельных разговорах развивать эти мысли, спорить с детьми и доказывать им, что лучшая жизнь для колонии возможна, лишь бы сами колонисты стали заботиться о колонии, как о «своей».

Была ещё одна очень ответственная для сотрудников сторона: это совместное пребывание в колонии мальчиков и девочек. Но надо сказать, что никогда за всё время существования колонии, среди всевозможных сомнений, как раз сомнения в опасности или ненужности совместного воспитания, не было ни на одну минуту.

Главным образом это происходило оттого, по нашему мнению, что вся жизнь колонии, была слишком на

виду, слишком открыта. Кроме того, большую роль играл совместный труд. В нашей жизни было много работ, которые обыкновенно считаются делом девочек. Таковы: кухня, стирка белья, шитьё, починка, порядок в комнатах, т. е. те работы, где не требовалось физической силы. Но у нас везде работали вместе. И для успеха совместного воспитания было очень важно, когда девочка бралась за лопату, а мальчик — за иглу. Привыкая работать вместе, дети привыкали к простым, товарищеским отношениям. Чем больше было такого дела, за которое могли бы взяться и мальчик и девочка, тем более и отношения становились непринуждённые. Большое значение имели у нас игры. У нас девочки играли и в футбол не менее оживлённо, чем мальчики.

Но это ещё указывает только на отсутствие опасностей.

Дальнейший шаг вперёд составляет признание важности, выгоды совместного воспитания. В общем можно отметить разницу в характерах: девочки всегда более пассивны, склонны к порядку, консервативны, мальчики живее, смелее, жаждут нового и беспорядочны; девочки охотно ищут авторитетов, мальчики признают только авторитет силы; девочки жалостливы, но и мелочны, мальчики более великодушны. При хороших условиях и те и другие могли бы очень выгадать от влияния друг на друга.

Вообще приходилось замечать, что даже незначительное проявление какой-нибудь девочкой собственного достоинства быстро признавалось всеми как должное, и к ней начинали относиться с уважением.

В таком направлении и должна была идти наша работа, поэтому с особой радостью надо было приветствовать случаи, когда создавалась хорошая обстановка непринуждённости, уюта для хорошей задушевной беседы с детьми, особенно с девочками.

*

Случилось раз одной из наших сотрудниц заболеть и лежать несколько дней в постели. В один из таких дней к ней в комнату собрались девочки. День был дождливый, серёнький, внутри уже было с вечера темновато. Девочки расположились — кто на постели, кто на полу. Все пришли с сочувствием и лаской. Разговорились о делах

колонию и, кстати, о том, как живут мальчики и девочки. Все соглашались, что вместе жить хорошо, веселее, «девочки лучше работают». Но с мальчиками всё-таки трудно: «очень большие озорники и ругаются».

— Ну, это зависит от вас самих отучить их ругаться,— сказала сотрудница,— раньше, в прежней колонии, у нас были две девочки, сёстры; они очень на собраниях возмущались бранью и даже решили уехать, если брань не прекратится. А мальчики были побольше наших. Сначала мальчики никак не могли согласиться на то, чтобы девочки командовали, но потом, когда увидели настойчивость девочек, то уступили и стали следить за собой. Я много раз замечала, что и вы смеётесь, если кто выругается, да и сами не прочь. Значит, и вы виноваты, а не одни мальчики. Вот мы живём в колонии вместе, а есть много людей, которые не верят в пользу того, чтобы вместе жили, работали или даже учились мальчики и девочки. Наша колония могла бы доказать, что всем от такого житья стало лучше.

Тут поднялись вопросы, есть ли ещё такие колонии, где, в каких странах мальчики учатся вместе с девочками.

— Сами-то вы хорошо теперь здесь живёте?

— Очень хорошо, так бы никогда и не уехала отсюда,— искренне вырвалось признание у одной из девочек.

— Если так, то надо бы и позаботиться, беречь колонию. Нужно быть строже, посмотреть на колонию как на свой дом, тогда жить ещё будет лучше. Вот возьмите хоть вчера — была у вас игра в почту. На дворе дождик, все сидят в комнатах. Отчего же и не сыграть? А вышло совсем нехорошо, потому что создаются какие-то тайны, перешёптывания. Игра эта больше для кавалеров и барышень, чем для товарищей — всё равно, мальчиков или девочек, как у нас в колонии. У нас ведь все вместе — и сотрудники, и мальчики, и девочки, всё делают поровну, без всякого различия, а тут вдруг что-то совсем другое, не наше.

— И верно, затеяли ни к чему.

— Это у нас всегда бывает: не думаешь ничего, живём, как обыкновенно, а то вдруг покажется, что надо позаботиться о том и о другом. А как-то в будущем здесь будет?

— Я верю, что будет лучше, гораздо лучше и интереснее, и пользы больше будет, лишь бы теперь постараться нам всем.

— Мы вот хотим собираться у вас поговорить между собой. Можно?

— Очень, очень буду рада!

Понятно, много нужно было нашим девочкам, чтобы хорошенько осмотреться и начать вносить в нашу жизнь нечто большее, чем заботы по хозяйству, но хорошо было и то, что завязывались у нас с сотрудниками более сердечные отношения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лето подошло к концу. К началу августа была закончена наша большая работа — подготовка места для плодового сада. Решено было перебраться и отправиться всей колонией в прогулку. Такой случай скоро представился. Уже давно мы получили приглашение навестить один пункт в Серлухове. Это было довольно далеко, вёрст 60 от колонии. Половину пути предполагалось пройти пешком, а остальную проехать по маленькой железной дороге, проведённой для подвоза дров на фабрику из огромных лесов, принадлежащих ей.

Отправились в прогулку с одним сотрудником колониистов тридцать. Попали в Серлухов письмо с предупреждением и двинулись в путь. Перед отправлением в дорогу сотрудник объявил колониистам, что экскурсией должны заведовать они, как хотят, что хотя деньги на дорогу и у него, но тратить придётся самим с общего согласия. Погода была очень хороша, и настроение превосходное. Для сотрудника, действительно желавшего снять с себя всю тяжесть распорядительства, был очень интересный случай наблюдать, как отразилась на детях их жизнь в колонии при условии полной свободы. Всё-таки впереди было довольно много испытаний: придётся устраиваться с пищей, с ночлегом, видеть много чужих людей, увидеть, наконец, детей, живущих в других условиях.

Можно было задать себе много вопросов и видеть до некоторой степени их разрешение. Первое время была только радость свободы от новой дороги, от полей, лугов

и перелесков, мимо которых случилось идти. И пошли сразу быстро. Но через несколько вёрст устали, пошли потише и разбились на группы — девочки, старшие мальчики и маленькие, из которых, впрочем, добрая половина разбегалась кругом, кто далеко вперёд, кто отставал и после догонял остальных, спеша изо всех сил. Так располагались и после на останках, и в гостях, и на обратном пути.

Очевидно, внутренне объединяющей всех связи, которая выходила бы за границы жизни колонии, не было вообще между колонистами; она существовала между подходящими по возрасту детьми. Нужны были внешние причины для того, чтобы эта разрозненная кучка собралась в одно целое: так было во время отдыха в селе за 12 вёрст от колонии, где была земская больница и врач приготовил для нас обед. Здесь две старшие девочки занялись за распорядительство, следили за порядком, мыли и укладывали представленную в их распоряжение посуду. Остальные охотно повиновались.

Вёрст за пять до станции лесной железной дороги нас застал дождь, и мы немного сбились с пути. От дождя спрятались в какой-то брошенной избушке на краю села и тут почувствовали, что проголодались. У нас с собой были яйца, соль и хлеб. Те же девочки аккуратно поделили всё между ребятами.

Чем дальше шли, тем больше уставали. Один мальчик захромал: его понесли на скрещенных руках девочки по череду. Другой сидел за плечами у сотрудника. Старшие относились довольно пассивно: видно, их больше всего занимал процесс ходьбы. Вся дорога до Серпухова была полна интереса: занятно было ночевать на каких-то рабочих нарах; видеть игрушечные вагоны и паровозик, который утром, совсем не шутя, «как правданий», по выражению ребят, повёз по тряским рельсам всю компанию. Сначала на платформах с сеном, неизменно трясясь, пробовали петь, потом, разморившись от езды и палящего солнца, притомились и замолкли.

Наконец-то, приехали! Встретили ребят с некоторым торжеством маленькие хозяева. Большое и красивое здание приюта обратило на себя внимание. Лишь только вошли туда, как сейчас же, познакомившись кое с кем из детей, обошли помещение и расспросили о порядках. «Как у них хорошо: у всех железные постели и чисто —

не как у нас», — было общее мнение видевших. Прошли и на кухню, где встретили кухарку: тут надо было похвалиться: «У нас кухарки нет — всё сами готовим». За обедом сели, как пришло, и видно было, что чувствовать себя гостями как-то непривычно. Девочки ночевали в доме, мальчики и сотрудник — на сеновале.

На утро пригласили ребят посмотреть огромную ситцевую фабрику; фабрика подавила ребят своим шумом, грохотом, огромными размерами. Стали расспрашивать заведующего большой ткацкой о трудностях работы; он указал, что на старых станках должен работать при каждом один ткач, и редко бывают такие ловкие рабочие, чтобы следить одному за двумя, а новые станки дадут возможность следить одному за тремя. Эта реформа, видимо, волновала рабочих и повсюду были вывешены предупреждения о сходах и сборищах. Возник разговор о том, что работают здесь «из-под палки», и не как «у нас, в колонии». Обратила на себя внимание и браковка тканей и замечание браковщика «о хитростях и подвохах ткачей». Всё это было, очевидно, тяжело для ребят, и они скоро ушли. Днём предложили катание на лодках. Изумила ребят красная река, куда выпускала фабрика краску. У прачек на мостках руки были красные по локоть. Вид тех условий, в которых шла работа фабрики, был неприятен; из нашей прогулки на Оку особенного веселья не получилось. Вечером затеяли играть в футбол с только что организованной фабричной командой. Тут старались изо всех сил и мальчики и девочки. Наша некоторая сыгранность имела успех: мы победили. Это было предметом особенной гордости: колонию не уронили. Под влиянием такого успеха стали даже несколько свысока относиться к своим маленьким хозяевам.

День был полон самых разнообразных впечатлений, и ребята были очень довольны. На следующий день нам готовились ещё интересные вещи — осмотр Кремля и прогулка. Но настроение резко изменилось: пора домой. Как ни неловко было перед людьми, хлопотавшими о наших же удовольствиях, но ничего нельзя было сделать; кстати, большая часть ребят вместе с хозяевами отправилась самостоятельно куда-то гулять. На вопрос сотрудника, почему хотят так скоро домой, ответ был такой: «Скучно стало без дела, погуляли, и довольно». Было

очевидно, что дети чувствовали себя выбитыми из своей колеи. «То ли дело дома — поработаешь, кулаться сейчас, а вечером играть, да и небось наши заждались». Так и отправились домой.

Настроения дороги шли в обратном порядке — чем ближе к дому, тем больше оживления...

Пешком пошли очень скоро. Близко подошли и к больнице. Здесь все собралось и решили, что неловко заходить так — опять станут угощать, и это, вероятно, неудобно будет, так как мы не назначили определённого дня, когда вернёмся; поэтому решили взять денег у сотрудника и купить еды, чаю и сахару самим, а там попросить только самовар. Не хотелось задерживаться, чтобы засветло поспеть домой. В колонию пришли чуть не бегом. Пора обычной жизни уже прошла. Наступили сборы в Москву — время не очень весёлое. Перед самым отъездом была устроена славная вечеринка.

Лето прошло. И можно было оглянуться на свою работу. Было ли в этой жизни что-либо сильное, особенно влиявшее на детей?

Да, было несомненно, и это был **т р у д**. Труд вносил смысл и порядок в детскую жизнь. В некоторых своих сторонах он был ясен и казался необходимым, как первое условие жизни в колонии, это было приготовление пищи. Рядом с ним стояло дополнение его: чистка посуды и уборка. Другие виды нашего труда казались необходимыми сотрудникам, и дети работали, подчиняясь хотя и мягкому, но всё-таки авторитету старших. Затем этот не **н е о б х о д и м ы й т р у д** стал **и н т е р е с н ы м**, как было с разработкой почвы для сада и проведением дорог.

Ежедневные работы стали складываться в **п р и в ы ч к у**, и без них детям становилось не по себе (прогулка). Труд вносил некоторую стройность и в самую жизнь колонии. При таком значении труда в колонии нельзя было обойтись без сознательного отношения детей к нему, необходимо было всеми силами привлечь детей к **о б с у ж д е н и ю** того, где и как они будут работать. Чем больше такой сознательности, тем легче работать. Отсюда появилась **п р а к т и ч е с к а я в а ж н о с т ь** наших собраний.

Но, собравшись, дети не могли не задумать, кроме чисто практических вопросов, вносимых главным

образом сотрудниками, и **л и ч н ы х** или в зародыше **о б щ е с т в е н н ы х**.

Таким образом, для нас ясна была связь собраний и трудовых настроений детей. Постепенно собрания стали обсуждать всё шире и шире жизнь колонии и проявлять всё глубже своё влияние, сначала сдерживающее, а потом и **н а п р а в л я ю щ е е** на внутренние стороны.

Стала складываться общественная жизнь детей, как прямой результат нашей трудовой обстановки. Чувствовали ли дети связь между собой? Соудиняло ли что детей?

Деловые связи были необходимы, и они ясно чувствовались, но общей, человеческой связи было мало, хороших личных отношений завязалось немного, для этого нужна была работа над собой и то понимание свободы, которое намечалось в колонии: **к а ж д ы й с в о б о д е н**, **п о к а н е н а р у ш а ю т с я и н т е р е с ы д р у г и х**.

Итак, если посмотреть на это первое лето колонии, как на опыт, то он убедил нас в возможности для детей серьёзного труда. Труд может быть основой детской жизни, но именно **д е т с к и й**, **р а д о с т н ы й** и **б о д р ы й т р у д**. К дальнейшей организации его и должна сводиться наша будущая работа.

Но один труд даёт внешнюю связь, форму, порядок детской жизни. Нужно было бы позаботиться об организации не только физических, но и духовных сил наших детей. Это составляло вторую нашу задачу.

Часть II

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приехав из колонии в Москву, дети, лишённые своей трудовой связи, скоро как-то разбрелись. Занимались они в нашем доме в разных группах со своими московскими товарищами по школе, по улице или по двору и встречались разве только на пении, которое вела наша сотрудница, работавшая в колонии. Хотя пели и охотно, вспоминая при этом пение в колонии, но всё же чувствовалось, что это для них «прошлое», что теперь они во власти другой жизни, что в настроениях колонии настал перерыв.

Но уже с января среди детей стало замечаться оживление, и отдельные маленькие группы стали обращаться к сотрудникам с вопросами, как теперь в колонии, когда начнутся приготовления, что и как нужно делать. Оказалось, что связь детей с местом, где было ими потрачено столько труда, была сильнее, чем думалось вначале.

Однажды устроили чай для колонистов в одно из воскресений. Тут вспомнилась уже несколько ярче знакомая по лету картина: дети играли, пели, ставили самовары, уборщики мыли посуду; устроилось собрание, на котором решено было приниматься за работу — готовиться к весне. Девочки опять начали шить. Нужно было очень основательно позаботиться о постельном белье и кое-что запасти для мальчиков, иначе трудно было добиться чистоты. Постепенно накаплился запас простынь, наволочек, полотенец, мешков для кроватей. Нашили рубашек и штанов, подружили байковые одеяла. Некоторые брали работу даже на дом. Мальчики опять принялись за кровати, сделали стол и несколько лавок. Кое-кто из них помогал девочкам шить.

Чем дальше шло время, тем больше появилось новых охотников ехать в колонию.

Некоторые добивались этого особенно настойчиво. Был такой случай: один небольшого роста задорный и довольно грубый по ухваткам мальчик, известный всем как озорник, обратился как-то к сотруднику: «А меня возьмиёте в колонию?» — «Вряд ли: уж очень много на тебя жалуются!» — «А что надо делать, чтобы попасть в колонию?» — «Ну, вот держи себя так, чтобы не получить никакого замечания, тогда и попадёшь». Он отошёл. Через несколько дней подходит опять и заявляет совершенно неожиданно. «Я лучше совсем сюда не буду ходить». — «Нет, так нельзя. Ты ходи, брось свои безобразия и работай». Арбузик (так прозывался этот мальчик) принялся за «выдержку», и можно было видеть его у нас на дворе среди играющих детей, как он стоял, даже руки спрятав, чтобы не соблазниться игрой, не увлечься и не получить опасного замечания. Искус он выдержал и в колонию поехал, и хорошо, без недоразумений, прожил лето.

Этой зимой подтвердилось то впечатление, которое высказано выше, что связывал детей главным образом

совместный труд. Только опыт мог научить, как укрепить и расширить эти связи.

Опыт первого года показал, что детям может быть понятна та жизнь, которая налаживалась в колонии, и что **п о к а** они в силах поддерживать её.

В каком направлении должно идти дальнейшее развитие трудовой жизни? Конечно, те работы, которые были уже знакомы детям, будут легче для них благодаря некоторому умению, навыкам, приобретённым в первое лето. И можно было внести в них те или другие улучшения. Но чувствовалась ещё необходимость ребят — преимущественно проявлять себя в любимых, самые склонности ребят — преимущественно проявлять себя в любимых, подходящих для них формах работы — могли найти своё применение. Таким образом, можно было надеяться внести больше живых интересов в наш обиход. Идти к этому следовало осторожно; в нашей маленькой жизни каждое нововведение, как бы незначительно оно ни было, всё же составляло своего рода событие. Нельзя было и перегружать колонистов работой, нельзя было утомлять их таким разнообразием, при котором они стали бы кидаться из одной стороны в другую. Поэтому казалось целесообразным вводить новое только тогда, когда наша жизнь приведёт к сознанию, что так лучше. Втянувшись в работу, мы можем расширить наши трудовые горизонты. Таким образом, появляется **с о з н а т е л ь н а я** необходимость улучшений в нашей жизни, и мы делаем новое приобретение, новый шаг. Всё значение такой жизни заключается, по нашему мнению, в том, что **д е - т и с а м и п е р е ж и в а ю т**, быть может, незаметно для себя, **э т и м ы с л и и у ч а с т в у ю т в п р а к т и ч е с к о м о с у щ е с т в л е н и и**.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Конечно, уже на следующий год тех построек, которые были у нас, — барака и шалаша для кухни — было недостаточно. Кухня настоятельно требовала значительного усовершенствования: она должна была быть светлой, большой, с русской печью, с плитой, соединяться с погребом и столовой, так как носить большие котлы в 1,5—2 ведра в дом было затруднительно. В ней же

должен иметься и склад всей посуды, чтобы всё было под рукой. И этим могло бы ограничиться наше строительство на второй год. Но обстоятельства сложились так, что все хозяйственные постройки, нужные только в будущем для нашего хозяйства, пришлось выстроить сразу. Поэтому нужно было, не дожидаясь результатов наших опытов, приняться за разработку в общих чертах плана хозяйства колонии, рассчитанного на долгие годы.

Схема плана была такова. В основе жизни колонии лежит сельское хозяйство. В его область входит очень много работ самого **р а з н о о б р а з н о г о** типа, что в высшей степени важно для детей. Но есть и ещё более глубокие основания для признания огромной воспитательной ценности его. Копая землю, сажая, сея, удобряя огород навозом, ребёнок становится не только зрителем природы, **н о и с а м, с о с в о е й р а б о т о й, в х о д и т в ц е п ь з а в и с и м о с т и о т н е ё.** Тепло и холод, солнце, ветер, созревающий колос, цветение картофеля — для него не мимолётные явления, а нечто, имеющее связь между собой; и к этой связи присоединяется и он со своими ручонками и со своими заботами. Близкое знакомство с животными, уход, кормление не вводят ли ребёнка вообще в область любви к живым существам, не наполняют ли детскую жизнь ощущением того, что и она может быть полезна? Привыкая среди цепи связанных между собой работ к постепенному трудовому напряжению и радуясь на себя, что и он может работать, не твёрже ли станет ребёнок на свои ноги, не окрепнет ли он лучше, не явятся ли его трудовые навыки лучшей школой для будущего тяжёлого труда, который ждёт его в жизни?

Итак, нам нужен был не крошечный садик с цветами и двумя-тремя грядками, где напоказ растут овощи, и не подобие маленького зоологического сада, где бы дети знакомились с животными через решётку или клетку, а ферма с садом, полем, огородом, скотный двор и молочное хозяйство. По этим мыслям и стали вырастать новые постройки.

В центре построек для домашнего хозяйства стала новая кухня, выстроенная на берегу оврага, над ключом, найденным и расчищенным ещё в первое лето. В кухне была большая русская хлебопекарная печь, около которой приладилась наша прежняя плита. Рядом с кухней

расположилась молочная и большая терраса-столовая. Под террасой устроен был ледник. На самом высоком пункте нашей усадьбы, занимающей площадь в 6 десятин, выросло красивое в северно-русском стиле строение бани и прачечной и сушилки под огромной крышей.

Около будущего фруктового сада поставили маленький изоляционный домик на случай внезапных серьёзных заболеваний. Другой центр хозяйства образовался постройкой скотного двора с коровником, конюшней, сараями и сторожкой на зимнее время. Все эти постройки также были зимние. Конечно, некоторым из них предстояло оставаться пустыми, пока разрабатывая жизнь не наполнит их своим «движением» — работой.

«Движение» в новую весну началось так же, как и раньше, в мае, с той только разницей, что дети приезжали уже с начала этого месяца и небольшими группами. Наш барак был тоже расширен и благодаря новой большой террасе, новой комнате над ней, каменному фундаменту, двойной обшивке и печам стал уже домом.

Работы наши начались с продолжения того, что делалось в прошлое лето, и условия для них были много благоприятнее. Огород, несколько раз перекопанный и удобренный, не представлял таких трудностей, как раньше. Земля была рыхлее, мы быстро понаделали гряд и засеяли их. Кухня была со своими полками и столами более приспособлена для работ в более крупном масштабе (детей было теперь 55).

На месте прежней корчёмки уже красовалось несколько десятков яблонь и вишен, пока имевших довольноно жапкий вид. Ребятам даже не верилось, что на таких «прутиках» могут быть яблоки и вишни. Осенью вся усадьба была очищена от зарослей ольхи, лозняка и осины, и явилась возможность приступить к проведению необходимых дорог и дорожек между отдельными постройками. Таким образом план работ на лето наметился сам собой: 1) огород; 2) очистка усадьбы от огромного количества строительного мусора; 3) проведение дорог; 4) разделка почвы в фруктовом саду; 5) расширение огорода и устройство ягодника; 6) стирка белья новой машиной, что вошло в ряд обязательных работ по дежурству. В середине лета прибавилось печение ржаного хлеба. О коровах и лошадях думать было ещё рано, так

как скотный двор был окончен только к середине июля, и молоко мы про-должали получать из деревни.

Жизнь в том виде, как было в прошлом году, наладилась очень легко. Хотя приехало много новых детей, но они быстро свыклись с нашими порядками при помощи старых колонистов. Конечно, на кухню внимание об-ратили прежде всего. Требования к поварам значительно повысились. Большинство уже работало на кухне, поэтому неудачи в обедах или в ужинах от **небрежности** или **недосмотра** были для них ясны. На **неуме**нии **е** ссылались не так часто.

Повара наши уже сами составляли меню и должны были следить, что-бы расход не превышал известной суммы. Между отдельными компаниями поваров возникали по временам соревнования, кто лучше, т. е. вкуснее и экономнее, накормит колонистов. Появились и любители поварского дела во главе с двумя старшими девочками, которые могли даже заменить со-трудницу в надзоре за кухней. Лучше пошло дело и с уборщицами. Главной задачей было, по возможности, ускорить и облегчить эту скучную работу. Скоро уже ловкие и согласные между собой уборщицы убирали посуду в полчаса. Посуда быстро собиралась на длинную лавку, где стояло 3 таза с горячей водой. Каждая вещь последовательно мылась в трёх водах и не вытиралась, а становилась на просушку. Посуды стало гораздо больше, так как теперь каждый имел отдельную тарелку для первого и второго блюда, но с работой стали справляться чище и быстрее.

По-новому пошло дело и со стиркой белья. В прошлом году бельё от-давали стирать на деревню, что было очень неудобно: постоянно происхо-дили задержки, и стоило это недёшево. Теперь попробовали стирать сами при помощи машины. Эта работа не была при таких условиях трудной фи-зически, но требовала большой аккуратности и терпения, чего колонистам очень не доставало. Сотрудникам пришлось и самим учиться обращению с машиной.

Прачечная большую половину лета не была устроена, поэтому при-шлось устроиться на воздухе. К машине приладили большую трубу, горя-чую воду разводили в большом баке молочной; выжималка была придела-на к ящику из-под посуды, а грязная вода стекала прямо на землю. Эта ра-бота вошла тоже в число обязательных,

подобно кухне и уборке. Обычно в очередь входил кто-нибудь из старших или сотрудников и двое маленьких. Старший наливал воду, клал и вынимал щипцами горячее бельё из паромойки, отжимал. Маленькие вер-тели ручку машины, складывали отжатое бельё и все вместе полоскали его у нас около ключа или на реке, для чего обыкновенно нанималась лошадь.

Уже жизнь колонии вошла вполне в колею, когда, через три-четыре дня после приезда последней партии колонистов, появилась снова страшная гостя — скарлатина. Но прошлогодней растерянности уже не было. Забо-лело двое мальчиков, принёсшие болезнь из Москвы; их отвезли в земскую больницу, предварительно отделив в изоляционный домик. Так как в доме теперь после перестройки было уже мало щелей, произвели дезинфекцию формалином, ночевали три дня на сеновале и на сушилке и засели снова в двухнедельный карантин. Погода была превосходная, и никто из детей больше не заболел.

Конечно, пришлось перед концом карантина пережить несколько тре-вожных дней, как бы не оказался ещё кто большим и этим не заставил бы нас сидеть в неволе ещё две недели; но всё обошлось благополучно. За-болевшие выздоровели и к концу лета появились в колонии снова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Трудовая жизнь пошла полным ходом. Как всегда, упорядочение её влекло за собой и большую стройность внутренних настроений детского общества. Конечно, в работах теперь детям приходилось затрачивать больше энергии, чем раньше; но вместо того чтобы появлялось ощущение большей усталости, у детей как будто прибавлялось сил, которые искали себе выхода в других формах, кроме физического труда; мало того, стано-вилось, по нашим наблюдениям, заметно, что намечается и некоторая складность взаимоотношений: это выражалось в более дружной игре, в со-вместных чтениях, беседах и прогулках, в привычке собираться вместе по вечерам в новую для колонии общественную комнату, где занимались пре-имущественно пением. Нельзя сказать,

чтобы эта внутренняя жизнь укладывалась в какие-либо стройные рамки, но она сама была более жива и интересна. В самый разгар наших трудов стала крепнуть и общая жизнь, начавшая понемногу пробуждать в отдельных колонистах их собственные мысли о колонии. Вот один из таких маленьких фактов.

Однажды в прелестный солнечный день что-то особенно хорошо работало с ребятами, которые, несмотря на начинающуюся жару, окопали все кусты смородины, провели грядки и посадили новые кусты малины. Сели отдыхать.

— Что же, если положить, как следует, навозу, то смородина может выйти хорошая. Пожалуй, на всех хватит,— солидно замечает маленький садовник (положим, только сейчас, после удачной работы, ставший им).

— Ну что ты — на всех: сейчас нас сколько? Человек пятьдесят будет, а в будущем шестьдесят и даже больше: как примутся за твою смородину — вот в час её и нет.

— А если разделаем весь овраг — отсюда до самого огорода, насадим сюда малины, крыжовника, ещё смородины: тогда будет ягодник настоящий, и всем хватит.

— Отчего же нет? — замечает сотрудник.— А ты будешь садовником. Утром встанешь рано — кусты смотреть, нет ли гусениц; потом народ будешь сзывать на работу — кусты спасать. Тут вот тебе будет большая куча навозу. Возьмёшь вилы, наложишь тачку и повезёшь по кустам.

Солнце ярко светит прямо в лицо. Мальчуган зажмурился и разлёгся на траве, подложив руки под голову. Ему нравится картина, как он будет стоять на навозе с вилами в руках.

— Хорошо! — начинает он мечтать.— А потом купаться — давай лучше — не надо!

— Прямо счастье! — замечает про себя сотрудник.

— Что-то теперь в Москве: пыль, духота, выйти некуда, на улице грохот — там; здесь — свобода!

— Ну, разве такая уж свобода? Поваром хочешь не хочешь, а должен быть!

— Ну, так что ж?

— Уборщиком ещё, на общественных работах, в прачечной...

— Ну так что же? — повторяет мальчик.— Отделал

своё, а потом куда хочешь: купаться, ягоды собирать, грибы. Захочу, книжку читаю. Конечно, без работы нельзя.— Замолчали.

— Хорошо, чтобы все были счастливые! — неожиданно объявляет будущий садовник.— Вы, например, счастливый? — обращается он к сотруднику. Тот сразу растерялся.

— Какое же моё счастье? Вот сижу, вожусь с вами, работаю, забот много. Взятые ребята за сто вёрст от Москвы, за всех надо отвечать, как бы чего не вышло...

— Ну, нет, вы счастливый,— утверждает мальчик.

— Почему?

— Да потому: **добились, чего хотели, значит счастливы**.

Всё направление разговора было довольно неожиданно. Этот мальчик плохо жил в Москве: одна низкая и тёмная комната в полуподвале, где живёт вся семья; отец — сапожник, работает по мелкой починке; сын рано кончил городскую школу, к 11 годам, и с тех пор живёт без дела и учения, дожидаясь 15 лет, когда можно поступить в мастерскую. Он всегда был в дурной компании, скверно бранился и часто пускал в ход кулаки. В жизненных делах отличался скептицизмом, но был большим любителем приключений, сказок и страшных рассказов. Он так мало высказывался, так был мало искренен, что подойти к нему было очень трудно.

Сколько же нужно тепла, солнца, хорошего физического движения и непринуждённости жизни, чтобы растопить эту рано ожесточившуюся душу!

Как-то раньше пришлось слышать от него фразу ещё в прошлом году: «Вот говорят все — красивый вид, ах, как хорошо! А, по-моему, всё равно — река ли там, деревья — всё та же река, и деревья, как деревья. Что тут особенного? Чепуха какая-то!»

И вот теперь теплится у него **непосредственное чувство** и красоты уже, а **лучшей жизни**. Стало быть, есть в жизни колонии какая-то нить, которая может вытянуть маленького человека на светлую поверхность. Есть жизненный путь колонии. В чём он состоит, очень трудно сказать, особенно находясь среди всей этой работы. Иногда он яснее, иногда едва нащупывается.

Вернее сказать, **вся работа в колонии есть медленное уяснение этого** пути.

Новые мысли мелькали не в одной голове. Это было видно по тому, что дети стали проявлять некоторую инициативу, что им удавалось и затеять и довести до конца маленькие общественные предприятия. Так было, например, с устройством площадки для игр.

Случайно остались свободными от работ три девочки, которые вздумали начать новое дело — снять дёрн с небольшого пространства около нашего дома, где не было ни пней, ни деревьев, и устроить площадку для игр. Работа эта оказалась для них трудна, в земле было много корней, а мысль их понравилась остальным колонистам. Но что казалось достаточным для девочек, не хватало для всей колонии. Решено было на собрании взяться за работу всем и сделать площадку как можно больше. Дело пошло очень живо. Место было на небольшом склоне к оврагу, поэтому нижнюю сторону площадки надо было сделать выше, а с верхней снять не только дёрн, но и часть земли. Поперёк площадки проложили доски и на тачках стали подвозить сверху землю и сыпать. А там уже разравнивали землю, выдирали корни, корчевали пни; появился вскорее и тяжёлый каток, которым земля, ещё влажная после дождей, быстро укатывалась, и через три дня площадка была готова. Вокруг неё прорыта была канавка для стока воды.

Всё это дело было так живо и интересно, что решено было ознаменовать открытие площадки театральным представлением и общими играми на ней. Один конец был предназначен для сцены. Туда притащили бочки из-под цемента, на них положили тяжёлые щиты из коровника, по бокам укрепили на жердях и досках стены из простынь, а впереди повесили большой кусок холста. Сцена была готова.

Самое торжество пришлось на Петров день, 29 июня. Из Москвы и соседнего имения было много гостей. Вечером при свете бумажных фонариков устроили игры и танцы.

Оживление, которым сопровождалось всё это время, не было случайным. В это время уже не так трудно было для детей чувствовать, что колония не чья-то «чужая», а и «своя», поэтому дети более стали обращать внимания на чистоту и украшение нашего дома. Своей

инициативы в этом деле они мало проявляли, но указания сотрудников имели гораздо больше успеха, чем в прошлом году, да и трудно было ожидать чистоты от наших детей, жизнью своею менее всего приученных к ней. Упорная борьба с неряшливостью привела к тому, что дети стали чаще мести бельё и в определённые дни; частые нарывы и занозы, с одной стороны, чистые простыни на кроватях — с другой, заставили мыть по вечерам ноги. Проникло в обычаи наше понятие о чистоте и через украшение комнаты. «Свой» угол, «своя» колония возбуждали желание посмотреть на своё помещение не как на лагерь, а на жильё. В этом смысле толчок мысли дало украшение нашей «общественной» комнаты. Ещё в Москве девочки, зная, что у нас будет такая, начали вышивать занавески и делать из разноцветных холстов ковры на стены. В колонию был привезён рояль и поставлен в той же комнате. Всё вышло довольно уютно и красиво: по стенам устроены были широкие лавки, обитые тёмным холстом, который шёл также и по стенам. У окна стоял стол, покрытый цветным холстом, на стенах красовались наши ковры, а в углу приютились полки маленькой библиотеки. Всегда на столе и рояле стояли свежие полевые цветы. Комнаты сотрудников теперь имели тоже уютный, жилой вид. Таким образом, дети стали ценить уют и красоту в своих комнатах. Но, понятно, украшения мало гармонировали с грязью и беспорядком — и у ребят стало гораздо чище.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всеобщее оживление и подъём духа колонистов дали мысль сотрудникам использовать досуг для совсем особой цели.

На ближайшем после нашего праздника собрании сотрудники предложили основать свой журнал, где колониисты могли бы помещать свои произведения — стихи, рассказы, и таким образом в будущем вспомнить, как им жилось когда-то. На журнал дети сразу откликнулись охотно, а ведение его, как водится, возложили на самого же предложившего. В первое время «редактор» был завален произведениями, и уже через неделю накопилось столько материала, что можно было выпустить

напряжёнno ожидавшийся первый номер. Это было огромное событие. Его читали вслух перед всеми колонистами, и успех, казалось, был вполне обеспечен. Но на деле вышло не так просто: школьнички вообще небольшие охотники до писания; влияло лето, хорошая погода, интересные дела, которых не хотелось оставить: футбол, итальянская лапта, купание. Редактору приходилось плохо, и номера журнала выходили не каждую неделю, как было предусмотрено вначале, но по мере накопления материала.

Мы приводим выдержки из наиболее характерных статей, в которых отразилась жизнь колонии с её мелочами, с её хорошинами и дурными сторонами. Дети многое подмечали, критиковали. По некоторым статьям можно себе представить те трудности, которые приходилось переживать. Словом, жизнь большей половиной лета отразилась в журнале очень ярко.

Статьи из № 1 журнала «Наша жизнь»*

7 июля 1912 года

(Из вступительной статьи)

«Жизнь наша в колонии довольно интересна и теперь, но если колонисты захотят, то она может стать во много раз интереснее. Она будет приятна и радостна, когда мы все почувствуем, что колония наша, принадлежат всем. А это будет непременно, если мы всеми силами поддержим её, полюбим её, как свой родной уголок, где все работают для себя, для своей будущей жизни в ней, где бы благодаря нашим трудам в ней зацвели сады и огороды, запёкся бы хлеб, замычали бы коровы и весело заржали лошади, чтобы в колонии из-за наших трудов могло жить побольше детей. Можно устроить такую жизнь, что жаль будет забыть о ней.

Вот для того, чтобы ничто не пропало из нашей памяти, и затевается наша газета или журнал. Читая наш журнал, мы вспомним, как жили, работали, веселились, что было хорошего, что смешного и что было печального, грустного. Хорошо будем радоваться, а дурное исправлять. Тогда наша колония станет для нас ближе и роднее.

Все могут писать в журнале. Пишите обо всём, что кому нравится: пишите о хорошем и о дурном;

придумывайте, как исправить нашу жизнь; задавайте вопросы, помещайте объявления.

Рассказывают друг другу сказки, фантазии, а слушают двое, трое. Терапевты же эти рассказы могут слушать все. Есть у нас стихотворцы, есть весёлые люди, есть фантазёры — не ленитесь, пишите на общую радость!

Вот для того чтобы все чувствовали себя ближе и роднее, мы хотим издавать «Нашу жизнь». Хорошо, если бы журнал помог колонистам побольше думать о своих делах и начать создание дружной рабочей семьи из детей и взрослых! В этом успех нашей жизни в колонии».

НАШЕ ХОЗЯЙСТВО

«Колония испытывает большой недостаток в картофеле. Достать старый картофель очень трудно, а новый очень дорог. Можно было бы предложить осенью закупить свежего картофеля, сложить в погреб на скотном дворе, а в то же время подготовить землю для весеннего посева. Место за скотным двором, где находятся бывшие угольные ямы, по нашему мнению, очень удобно.

Кухня наша хороша, но порядку ещё мало. В особенности нехороша грязь, которую повара разводят кругом кухни. Надо бы обратить внимание **с а н и т а р о в**! В прачечной идёт война между заведующим и дежурными. Кто у них виноват, кто прав — трудно сказать. Может быть, заведующий даёт слишком много воли языку и раздражает «прачек»?

Но, с другой стороны, дело у него поставлено хорошо, а наши «прачки» не привыкли к тому, чтобы от них требовали исполнения своих обязанностей. Пока вышло так, что на собрании две девочки сознались, как они зря напали на заведующего. Поживём — увидим!

Огород наш всё не веселит глаз. Пока зацвёл один огурец, и этот цветущий огурец с гордостью показывается огородником Шуркой. Перекопка гряд и рыхление немного помогли растениям. Капусты пропало много из-за земляных блох; листья опрыскивали настойкой махорки; теперь вреда заметно меньше. Но, вероятно, из 500 кочнов останется не более 200. Редиска уже подавалась за стол. Это было очень вкусно, но мало. Советуем рыхлить землю и сдабривать её песком. Сад пока залгох. Только вчера и сегодня началась там работа.

В годнике стали очищать землю от сорных трав и рыхлить её. Компания Иванова и Богачёва сегодня начала разделять маленький участок. С курами не везёт: купили наседку за 65 коп., а она и не думает садиться, всё бегаёт; вчера летала на самый конёк крыши, а сегодня скрывается где-то. Заведующая напрасно кормит кур и даже цыплят пшеном. У нас остаётся много хлеба и каши. К сожалению, двух цыплят уже нет. Скотный почти готов, остаётся провести трубы для навозной жижи. В бане сегодня залили пол бетоном. Скоро будет готова и прачечная. Кругом новых зданий уже начали чистить от мусора и щепок.

Очень приятно, что колонисты через канаву в конце главной дороги выстроили мост. Теперь гости могут приезжать к нам, не рискуя сломать головы на пнях и колдобинах, которые встречаются по всей усадьбе».

По поводу статьи «Наше хозяйство» можно добавить в пояснение, что появление лошади в колонии ввело некоторые изменения в распорядке. Учреждена была должность конюха, на обязанности которого лежал весь уход за лошадью, сбруей и тарантасом. Он же, обыкновенно в компании с каким-нибудь колонистом, отправлялся за провизией. В колонии вместе с расширением хозяйства стали появляться «заведующие» отдельными отраслями — прачечной, скотным двором, огородом, кухней, курами и, между прочим, заведующие чистотой, или «санитары» — название, указывающее на связь с борьбой против скарлатины. Об этих санитарах здесь и идёт речь.

Заведующие обладали не столько «правами», сколько «обязанностями» главных работников. Ими назначались обыкновенно старшие колонисты, как более опытные, поэтому возникали иногда маленькие недоразумения, о которых говорилось на собраниях. К чести старших надо сказать, что у них было чрезвычайно мало попыток злоупотреблять своим значением и иногда им самим приходилось страдать от задорных помощников, не всегда понимавших источники терпения своих старших товарищей.

К обычным работам к концу стройки прибавились ещё дренажные и бетонные: так, пол в коровнике, прачечной и бане был залит бетоном руками колонистов.

Канализация была проведена тоже своими средствами, так как рабочие запросили слишком дорого, надеясь на то, что специальных рабочих пришлось бы выписывать из Москвы.

НАШИ СОБРАНИЯ

«Медленно собираются колонисты. Всё кого-то нет и кого-то ждут. Некоторые и совсем не приходят. Двое проспали всё время на постелях и явились уже после, заспанные и грязные. А ведь как надо бы дорожить нашими собраниями! Ведь на них всё: всякий может найти себе защиту, на всякого найдётся управа, обо всём можно потолковать. Пусть не было бы собраний, через неделю вся жизнь в колонии перевернётся.

Колонисты мало говорят, всё дают говорить сотрудникам. А если сотрудники не говорят, то наступает общее молчание. Только выборы проходят живо. Редакция предлагает избрать председателя из колонистов.

На прошлом собрании было несколько важных дел.

У Лушинных стали пропадать гостинцы. Что делать с такими пропажами? Следить, уличить — противно, прятать — не хочется. Знать, что есть колонисты, падкие до чужого, очень грустно. Одно и остаётся, как многие и делают, — делиться между собой, тогда не будет соблазнов и пропажи уменьшатся.

И... всё никак не привыкнет к тому, что он «колонист»: отлынивает от работы, опять пишет записки со стишками девочкам. Что ему надо? Как он не поймёт, что быть настоящим колонистом гораздо веселее, чем изображать из себя дачника и кавалера? Ему сделали второе замечание. Это уже опасно.

Была у нас гостеприимная комиссия, всё делала, как следует, были довольны наши гости, а мы радовались: вот, мол, какие у нас порядки! Вдруг одному стало скучно, убежал, не сказавшись; бросил дело на одного, и из серьёзного колониста сразу превратился в легкомысленного мальчишку. А мы-то радовались».

*

Для собраний трудно было установить вполне определённое время, так как работы то в одном, то в другом месте затягивались, и приходилось дотей собирать.

Кроме того, это было дело, хотя и очень важное теоретически, но будничное, не всегда весёлое, где нужно было думать и рассуждать. Конечно, на особенно важные или интересные обсуждения колония собиралась очень скоро.

Одним из интересных решений наших собраний было учреждение «гостеприимной» комиссии, что так близко отвечает русским обычаям. Эта комиссия состояла обыкновенно из двух колонистов — мальчика и девочки. Роли их часто разделялись: мальчики ходили с гостями, «занимали их», а девочки хлопотали относительно еды и ночлега.

Мальчик, которому сделали второе замечание, скоро вместе со своим товарищем получил третье и должен был уехать из колонии. Главная причина недовольства ими была безобразная брань, от которой оба не хотели отстать, несмотря на все предупреждения. В жизни колонии они не участвовали, разве только в играх.

В работах оба, не принимая участия, сильно мешали. Сотрудникам не нравилась их особенная скрытность и неискренность. В колонии в этом году было много маленьких, вредное влияние на которых могло быть особенно опасным. Обоим было по 14 лет. Один в колонии был первый раз, а другой жил и в прошлом году.

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

«На прошлой неделе нас посетило много гостей.

Больных в лечебнице один. Наши скарлатинные выздоравливают. Мише Ч. прорезали нарыв на щеке».

Стихи, рассказы и статьи

В лесу

Деревья тихо зашумели,
Влагой потянуло.

Тёплым ветерочком

Листья шевельнуло.

Птички веселее

Пели и летали,

А вдали кукушки

Звонко куковали.

Л. Лушин

ПРАВА И СВОБОДА

«Я хочу сказать несколько слов про то, как некоторые колонисты пользуются данными им правами. Речь идёт о младших мальчиках и девочках.

В городе и вообще вне нашей колонии они находятся в подчинении у старших. В колонии им дана полная свобода и самостоятельность. И вот как живущие в колонии ими пользуются.

Во-первых, они не желают понимать ничьих советов, конечно, кроме сотрудников. Даже не признают указаний выбранных общим собранием должностных лиц из старших мальчиков, как-то: санитар, заведующий прачечной... Почему-то некоторые здесь считают себя вправе делать, что им вздумается, хотя бы это было вредно как для себя, так и для окружающих. Например, колонист имеет на ноге серьёзную рану; доктор ему запретил мочить забинтованную ногу и даже ходить много не советовалось. Он же, вместо того чтобы всё это исполнить, однажды скрылся на довольном должительное время, а пришёл с мокрым и грязным бинтом.

Или некоторым запрещено играть в футбол ради их здоровья, они не обращают внимания и продолжают играть. И ещё есть много примеров, показывающих, как колонисты распускают себя вообще.

Из приведённых примеров ясно, в какую сторону использовали некоторые из колонистов свои права.

Теперь, раз сотрудники дали такие хорошие правила для колонистов, то они должны выяснить, как и в какой мере пользоваться ими. А то выходит так, что маленькие как бы застрахованы этим от неправильных действий со стороны больших, а последние подвергаются им со стороны малых.

Колонист».

Статью эту написал один из старших мальчиков, заведующий нашей прачечной. По поводу её надо заметить, что совместное житьё старших и младших почти всегда приводит к угнетению слабейших. И жизнь в колонии, если бы стали складываться такие обычаи, была бы невозможна. С тем более отрядным чувством можно высказать, что наши старшие колонисты, с маленьких

своих лет привыкшие к нашему влиянию, оправдали те надежды, которые мы и вправде были возлагать на них. Если и бывали случаи, когда старший не мог сдержать своего молодого задора, то это служило предметом очень тяжёлых разговоров на собраниях, и виновному приходилось признать свою вину перед колонией. Но и такие случаи были чрезвычайно редки.

При таком положении дела как будто бы создавался простор для безнаказанного произвола со стороны буйных элементов, которые уважают главным образом силу. На это и указывают слова о своеобразном «использовании некоторыми своих прав». Автор-колонист пытается **с в о б о д у** противопоставить **п р о и з в о л у**.

Та свобода, которая рисовалась в мыслях сотрудников, а следовательно — но, поскольку они имели влияние на детей, и входила в жизнь колонии, не была мыслима без развитого чувства ответственности за себя и без сознания обязанностей, принятых на себя. Было бы естественно, чтобы тот не чувствовал никакого принуждения в нашем «обществе», кто пользуется общими «доверием». Поэтому **о б я з а н н о с т и у н а с н е д а в а л и п р а в**. Заведующий прачечной был такой же колонист, как и все. Хорошо и умело работающий повар мог самостоятельно многим даже распорядиться по хозяйственной части, действуя на основании того доверия к его силам, которое он чувствовал со стороны всех других. Желавший наладить какую-либо отрасль нашего хозяйства, взявший на себя заботу об огороде, саде, лошади, и добросовестно исполнявший известный приработок к труду, добровольно взятый на себя, встречал полное сочувствие. Ведь в этом сказывалось более глубокое отношение к колонии, это было проявлением пробудившейся активности. Их мысли были регулятором их свободы, Такие колонисты и пользовались общим уважением, независимо от силы, или возраста.

Но всегда бывали у нас дети, тяготившиеся обязанностями и признававшие только свою или чужую силу. Они не могли ужиться в колонии, которая хотя ставила перед ними свой уклад жизни, но авторитетной силы в виде обычных окриков, угроз или побоев не имела. Это была та «слабая» сторона, которая выяснялась для них после первых дней осторожности; и тогда начинали работать их собственные привычки.

Устраивая свою жизнь всё легче и легче, отстраняясь от наших работ, они действовали разлагающим образом на остальных детей; как более сильные натуры, они собирали вокруг себя свою компанию, которая начала держаться особняком.

Но были в колонии и завлекательные моменты: дружная игра, представление, песни по вечерам; часто рояль и Мендельсон вступали в соревнование с дикими песнями, которые буйная компания распевала у себя в комнате; бывали моменты особенно живых рабочих настроений — всё это шло своим чередом и, конечно, было более устойчиво, чем меняющиеся настроения крикунов.

В большинстве случаев колония одерживала верх: ребятам особенно хотелось показать, что и они могут работать, а то подходило интересное общее дело, и «компания», как таковая, распадалась и принимала деятельное участие в общей жизни. Но случилось и так, что колонист никак не мог примириться с требованиями колонии, совершенно не интересовался нашей жизнью и не обнаруживал никакого желания войти в неё. Так и было с двумя подростками лет 14—15, которым очень трудно было примениться к нашим обычаям. Они должны были оставить колонию, подобно тем двум мальчикам, о которых говорилось раньше.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕДАКЦИИ «НАШЕЙ ЖИЗНИ»

- «1. Собрать все постановления колонии.
2. Составлять эконому двухнедельный отчёт по хозяйству.
3. Составлять ежедневный отчёт по кухне и вывешивать на стену.
4. Сделать для объявлений доску со стеклом».

СПОРТ И ИГРЫ

«**Ф у т б о л**. Команды всё не налаживаются. Нет порядка. В тех командах, которые есть, нет капитанов. Мячи находятся в пренебрежении, и неизвестно, кто за ними следит. Поэтому и могло случиться, что оба мяча очутились на просушке в духовом шкафу, где и лопнули.

Были собраны деньги на камеру, но сколько, отчёта нет.

Бабки. За последнее время колонисты увлекаются игрой в бабки. Хорошо-то, хорошо, но много крику.

Бег. Вчера на главной дороге происходила тренировка на бег. Колонисты Лавров и Широков оказались очень выносливы, пробежав со средней скоростью 10 вёрст в час около 5 вёрст. Сокологорский тоже бегал на большую дистанцию, но сердце его стало сильно биться. Считаем, что для него бег вреден. Очень пыхтели Богачёв и Иванов. Необходимо для того, чтобы бег не был вреден, подготовиться постепенно. Полезно заниматься тихим бегом каждый день, вырабатывая правильные движения. После можно устроить и настоящее состязание на звание первого бегуна колонии».

ТЕАТР И МУЗЫКА

«Театральные представления были у нас уже два раза. Первый раз представляли что бог на душу положил — пели, плясали, рассказывали анекдоты. Второй раз было лучше — представили две пьесы в костюмах: у девочек вышло лучше. Особенно хороши были костюмы. Было много гостей. Вечером шли танцы и зажглась иллюминация».

*

Появление первого номера «Нашей жизни» сопровождалось большой сенсацией, и быстро набрался материал для второго.

Журнал наш имел хорошее влияние на оживление жизни колонистов. Он перебивал во всех руках. Сам сотрудник-редактор очень ценил возможность высказать свои мысли; все колонисты читали журнал одни, без сотрудников, небольшими группами или каждый в отдельности. Это было особенно ценно.

Нам очень хотелось, чтобы налаженность трудовой жизни детей, чего, как показывает опыт, достигнуть вполне возможно, сопровождалась ясностью детского сознания идеи жизни в колонии, чтобы в выработке её и они принимали участие.

Это так необычайно дорого, когда для маленького человека оказывается родным и **п е р ж и т ы м** лучшее из того, что может переживать человек.

В иные моменты простых и открытых разговоров чувствовалось, что и это возможно, что для детей

благодаря их непосредственности может быть просто то, что скрыто от взрослых их сложной жизнью. И вот в журнале нашем, среди изображений детской жизни, среди детских рассказов и сценок, появляются мысли, пережитые взрослым в их же среде, так же доступно и пересказанные со всем подвёмом искренности и любви к общему, понятному для детей делу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Статьи из № 2 журнала «Наша жизнь»

ЧТО ТАКОЕ НАША КОЛОНИЯ?

(Статья во 2-м номере журнала)

«Собрались в одно место большие и маленькие; работают, поют, играют, обсуждают всякий свои дела. Настроены для них хорошие дома, живут на чужой земле, как на своей, и всё, что ни придумают, могут сделать, если хватит сил.

Посмотреть со стороны — чудно как-то: все — жители московские, приехали сюда, как бы на дачу, а слово «дачник» у них неприятное. Слышно, что чересчур уж свободно живут, а оказывается — по-своему жить нельзя: это — как решит собрание. Большие... им бы похаживать с палочкой вокруг маленьких, а они, глядишь, то на кухне кашу мешают, то паромойку вертят, а то и с лопатой на дороге потеют. Какие-то ещё экономы, заведующие, комиссии, газета! Непривычному человеку прямо не понять всего сразу.

Да и привычным к нашей жизни колонистам не всем ясно, для чего устроена наша колония и почему в ней завелись такие порядки.

Я об этом думаю так: собрались здесь все для хорошей жизни или жизни ни лучшей, чем обыкновенно. Не от того мы заживём лучше, что будем иметь хороший дом для жилья, баню, прачечную, скотный, погреба, кухню, водопровод: устраивается улей для пчёл, а пока там пчёл нет, нет там жизни. Нам нужно наполнить все наши дома жизнью, дружной работой, чтобы каждый, приходя к нам, подумал: «О, здесь не так себе живут люди, ни с того, ни с сего!»

Здесь было дикое место. А благодаря тому, что мы поселились тут, что мы здесь работаем, всё должно стать лучше: и лес, и земля, и дороги, и ключи, и луг, и поле.

Нам в помощь должна быть привычка к тому, что у нас один помогает всем, а все — одному. Утром я сяду за стол, и мне подан самовар, и хлеб испечён, а завтра я сам возжусь с трубой и везу тачку со щепками — хлебную печь топить. Сегодня я получил чистую рубашку, а завтра и сам за паромойку. Когда у нас будет большое хозяйство — коровы, лошади, большой огород, когда зацветёт рожь, клевер, зажелтеет овёс, тогда в каждом углу найдётся интересная работа. И все сами всю работу вынесем на своих плечах — это очень важное у нас дело.

Так вот: наша колония — это место, где мы все устраиваем кругом себя хорошую жизнь, и чем дальше, тем лучше. Это, как поётся в песне: «Всё дальше, всё дальше!»

Это — место, где мы работаем, один на всех и все на одного, где дети могут стать хозяевами, с достоинством отвечая за всё, что ими сделано, как люди, которые достаточно поработали.

Наша колония должна быть местом радостной, дружной трудовой жизни. Дай только бог, чтобы всё это исполнилось!»

НАШЕ ХОЗЯЙСТВО

«Как будто нарочно после заметки в «Нашей жизни» о недостатке в картофеле в понедельник появился молодой картофель из Москвы, к сожалению, всего $\frac{1}{2}$ меры, приехавший с нашей гостьей Александрой Николаевной. Колонисты с жадностью набросились на новинку, и все суп съели дочиста.

В кухне начинает прививаться хлебопечение.

Обнаруживается даже соперничество между отдельными партиями хлебопёков: в субботу компания Ньюси Фёдоровой выпекла бублики, а в воскресенье Валентина Николаевна соорудила целые горы сдобных пышек и три огромных кренделя. Первая партия пекла при открытой печи, всё время поддерживая огонь, а вторая — упорно закрывает печь. Вчера напекли уже витушек.

За чаем голосовали, кто за пышки, а кто за витушки — большинство стоит за пышки.

Белый хлеб-то мы можем печь, а вот чёрный, кажется, не скоро покажется из нашей печи.

Вчера и третьего дня появился вкусный варенец и даже с сухарями.

Прачечная действует по-прежнему, но разводит ужасную грязь даже какого-то голубого цвета. Мы советуем посыпать место кругом машины извёсткой.

Огород поправляется. Огурцы обильно цветут. Капуста после перекопки сильно поднялась. Заведующий объяснил нашему корреспонденту, что всего кочнов не 200, как уверяла наша газета, а 460, и то было вчера, а сегодня даже 464.

Что же, ему и книги в руки! Надо, ввиду появления различных плодов, провести на собрании постановление о том, что пользоваться овощами можно только для общей кухни, и то по распоряжению заведующего.

Место для ягодных кустов уже перекопано. При этом у всей смородины пропали ягоды, ещё совсем зелёные, а также у молодых ростков малины. Очевидно, растения были поражены болезнью «жадность колонистов».

Дороги наши всё растут. Вчера прорыта дорога к скотному. Остаётся её усыпать песком и утрамбовать. Боковые канавки сделаны слишком мелкими. Наши огородники хотят разделать место для картофеля за скотным».

НАШИ СОБРАНИЯ

«Можно отметить одно важное нововведение: создание хозяйственной комиссии, в которую входят все заведующие и эконом. В понедельник было первое заседание этой комиссии, после которой все её члены ходили по усадьбе, считали все кружки, тарелки, миски, ложки, кувшины, тазы и т. д. Это, конечно, очень важно. Интересно знать, сколько у нас пропало посуды. Редакция горячо приветствует всякое стремление колонии к порядку.

В гостеприимную комиссию вместо беглеца Пензюра выбран Саня Лушин»,

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЕЛЯ

«Когда Шура был поваром, то он по нечаянности положил помидоры в кисель, и я предлагаю варить его почаще. Этот кисель был похож на малиновый».

И. Иванов».

НА ФУТБОЛЕ

(картинка)

«Интересна наша игра в футбол. Обыкновенно перед началом игры игроки выбиваются из сил, чтобы захватить в свою партию искусных игроков. Один кричит: «Давай нам Шуру!» Другой: «Башкирова!» Третьему подавай и того и другого, а то он играть не станет, четвёртый не хочет становиться «беком», а стремится в «форварда», хотя бегаёт так, как будто ему в желудок песку насыпали,— качается из стороны в сторону, а вперёд не двигается».

Но, наконец, волнение стихает; кажется, что все удовлетворены и партия более или менее равны. Но всё же какой-нибудь Киряев или Лобанов не может успокоиться и продолжает ворчать себе под нос: «Да, сами взяли себе хороших...»

Игра началась. Игроки стоят на месте, а форварда толчут от нетерпения. Спорный удар... Игроки бросаются к мячу, стараясь во что бы то ни стало его вышибить. И если противник не отдаёт, то растерзать его на месте.

Вот, вот мяч вышибают в сторону и ведут к воротам. Защитники засуетились без толку, носятся сломя голову по площадке, стараясь уничтожить противника. Иногда случается, что мяч кое-как отшибут, тогда в остревении угоняют далеко за границу поля, а то и к противоположным воротам. Нередко все старания защитников напрасны, и гол забит.

Победители с сияющими физиономиями идут к центру, а побеждённые ворчат на своего «голкипера», мстя за пропущенный гол.

Когда игреки немного поустанут, то бегают только одни выносливые, и можно видеть такую картину: игроки стоят там, где их застала усталость или где у них

вышибли мяч. В эту минуту интересно посмотреть на Киряева: он вдруг насторожился и отчаянно замахал ногой в воздухе, скорчив ожесточённую физиономию. Глаза на лоб лезут, зубы собралась уже проглотить мяч, и весь он в волнении. И что же? Мяч пролетел над головой Киряева!

А вот на краю площадки, широко расставив ноги и голову откинув назад, оцетинившийся, как дикобраз, несётся наш достопочтенный игрок Шура, подпрыгивая, как настоящая скаковая лошадь. Я и сам, вдруг сорвавшись с места, бросаюсь к мячу, но тут же растягиваюсь, зацепившись ногой за кочку. Бывает, становишься свидетелем работы муравьёв, так как укнёшься иногда головой в муравьиную кучу.

Вот Коля Степанов изящно выбивает у кого-нибудь мяч и так старается, что, тут же поскользнувшись или споткнувшись, растягивается. Там, глядишь, уже Щербаков сцепился с Башкировым во все тяжкие, стараясь переспорить друг друга.

Один кричит: «Хэндс!» — другой: «Не было!» Но, наконец, до того допоряется, что устанут и разойдутся в разные стороны.

Устали игроки, и к тому же зовут ужинать; поэтому в силу необходимости игра кончается. Долго ещё шумят и галдят игроки, вспоминая неправоильности. Шум продолжается и за ужином.

Один из футболистов».

НАШИ ИГРЫ

«В понедельник после обеда у нас завязалась очень интересная игра в индейцев. Игроки были разделены на 2 партии — «апахов» и «команчей». Команчи жили в землянке на очень интересном месте, которая считалась неприступной, потому что перед ней был ров, который неприятели проходили с трудом. У апачов крепость была на горе напротив и тоже очень интересная. Партии не были равны между собой. На апачовой стороне войска было больше. Началась война без переговоров и недружно: начальства не слушались, шли, кто куда хотел. Без всяких известий апачи подошли ко рву команчей и стали пускать в них стрелы. Команчи не стерпели такой

обиды и без начальников бросились на врагов. Завязалась битва. Кололи пиками и стреляли из луков, но вдруг знаменитый воин команчей (у него не было ещё прозвища, и я не напишу, кто он) поднял над всеми знамя апачов, т. е. врагов. Тогда... тогда мёртвые воскресли и бросились отнимать своё знамя. Их знаменитый вождь Белый Волк, который был убит, воскрес и бросился к своему знамени. И тогда никакие копыта и никакие стрелы не могли уложить его, и команчи должны были отдать знамя апачам и принять перемирие для более правильной борьбы. Начались переговоры. У команчей был выбран вождь и назван Красный Лев. Пришёл Белый Волк для переговоров, его отпустили с почётом. Команчи начали запасаться оружием.

Вдруг ко рву подошли апачи. И увидел это Красный Лев и приказал прогнать эту горсть людей. Его помощник с немногими воинами бросился на апачов. После недолгой борьбы апачи ослабли и хотели бежать, как вдруг на помощь послел Белый Волк и погнал команчей. Тогда Красный Лев с остальными воинами бросился на отряд Белого Волка. Сам Белый Волк столкнулся с Красным Львом, и у них завязалась борьба. Известно, кому было бы быть побеждённым, если бы к Белому Волку не подоспели три воина и не нанесли бы Красному Льву три раны. Красный Лев упал. Команчи пустились бежать, увидя раненого вождя. Но вдруг произошло то, чего должно было ожидать: один из апачов нанёс своим оружием рану команчу, как и следует; была посажена над самым глазом здоровая царापина, и опять мёртвые воины воскресли и подбежали к раненому, который сидел на своей границе и горько плакал. Война должна была остановиться, и обе стороны разошлись, не победив никто никого. Напрасно вожди той и другой стороны пытались восстановить правильную войну, убрать раненого и продолжать бороться: воины сидели враг с врагом и мирно уговаривали раненого.

А. Волков*.

*

Нашему корреспонденту удалось пробраться в лагерь храбрых команчей и снять с воинов фотографию в их полном вооружении. Разрешение фотографировать было дано самим вождём.

Игра эта имела свою историю, она возникла не сразу. Тот же самый Миша, который так нервничал в прошлом году, теперь стал гораздо менее диким. Но частенько он играл один, выдумывая игры сам для себя. Однажды он напал на мысль сделать себе лук и стрелы и, скоро появившись с этим оружием, сделался своего рода маленьким авторитетом, как специалист нового дела. Он подавал глубокомысленные советы, какое дерево лучше для лука и как делать стрелы. Действительно, его стрелы летали выше всех. Быстро пошло общее увлечение новой игрой, которая, впрочем, состояла только в наблюдениях над полётом стрел. Но Миша не мог удовлетвориться рядовой ролью: луки были уже у многих. Он сделал себе щит из днища от цементной бочки и меч.

Теперь настало горячее время. Мальчики принялись лихорадочно за работу, требования на гвозди были очень велики. Естественно, когда появилось сразу много ребят, увешанных всеми принадлежностями вооружения диких, то возникла мысль и о войне. Одно племя составил маленький, очень начитанный Саня Лушин, тихий и слабый мальчик лет 11, который, несмотря на свои слабые силы, очень увлечён был планами войны. В колонии стало известно, что скоро начнётся большая война, и многие собирались пойти смотреть.

Описание войны, помещённое в журнале, удивительно метко описывает настроенные ребята. Правила выработывались сообща; согласились, когда и кого считать раненым, взятым в плен или убитым. Но соблюсти ещё раз очутиться действующим лицом был очень велик: «мёртвые» не могли не ожить. Интересно, что протестов против «оживления» особых не было; на оборот, указывалось после, как на особое преимущество: «Ты два раза оживал, а всё-таки ничего не вышло!»

Главными моментами игры были приготовления, устройство крепостей, расстановка часовых, военный совет, выборы вождя и переговоры с противниками. Всё это длилось очень долго. Самые же «сражения» прошли неудачно: очень мало было порядка, все «правила» были забыты, и эта сторона разочаровала ребят в «сражении». Они охладели к игре, перестали на единоборство, преследование друг друга, игру в маленьких группах, и скоро щиты и луки остались лишь как

интересное воспоминание и некоторое время украшали комнаты.

Конец описания игры прелестен: враги, не слушающие вождей, столпились около раненого, который сначала горько плакал, а после единодушно проявленного участия к себе утешился. Так неожиданно, удивительно по-детски страшная война с криком, возбуждёнными лицами и свирепыми жестами кончилась миром.

Эта игра очень сильно отличалась от обычных игр типа футбола, где вся суть состоит в точном исполнении правил и в проявлении собственной ловкости, быстроты или сообразительности в борьбе с чужой партией. Суть такой игры есть борьба. Здесь же хотя конечный результат была тоже борьба (сражение), но главное дело было в приговлении к ней, во всём этом живописном элементе, в изображении хотя бы фантастической жизни. Все подробности, которые вносил кто-либо из участников, были очень интересны и нужны для этой игры. Изобразить вождя, изобразить покорного воина, слепо подчиняющегося вождю, создать воображаемую обстановку жизни диких — вот центр детских интересов в этой игре. По смыслу своему она близко подходит к типу изобразительных игр — вроде кукол. Наблюдения над детскими настроениями в их «войне апахов и команчей» дали толчок к попытке устроить и детские спектакли по этому образцу, чтобы дети не представляли пьесу, а играли очень сложную игру, требующую уже творческого напряжения. Это удалось осуществить на следующий год.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Статьи из № 3, 4 журнала «Наша жизнь»

В БУДУЩЕМ ГОДУ

«Колонисты собираются скоро уезжать в Москву, и теперь самое время подумать о том, что может нас ждать в следующее лето.

Построек новых весной никаких не будет, и многие колонисты могут приехать раньше. Вероятно, будут две партии: одна в начале мая, а другая во второй половине. Колонисты уже застанут на скотном дворе коров.

И это должно сильно повлиять на нашу жизнь. Коровы требуют за собой внимательного ухода. Придётся чистить хлев, доить их, давать пойло, кормить. Тут нужно будет собрать компанию любителей скота, которая целиком бы взяла на себя все заботы о скотном дворе. К нему будет принадлежать конюшня и птичник. Необходимо будет всей компании самой учиться к новому и весьма серьёзному делу. Поэтому здесь нельзя будет работать всем по дежурству, а одной и той же компании долгое время.

Вторая компания, вероятно, будет работать около кухни и молочной с погребом. Сюда присоединится и хлебопекарня. Здесь тоже придётся работать более продолжительное время, чем теперь, когда все меняются каждый день по дежурствам.

Третья компания, вероятно, будет заведовать прачечной, которой много придётся работы на каждый день.

Четвёртая компания возьмёт на себя сад и огород и будет снабжать колонию своей провизией. Её работа сильно удешевит жизнь в колонии. Быть может, найдутся ещё дела в колонии, которые тоже потребуют своей артели.

Так вот в конце концов колонии, возможно, придётся разделиться на отдельные партии; каждая партия возьмёт на себя определённое дело, приучится к нему, и ей поэтому станет легче справиться со своим делом. В течение лета компании могут меняться своими местами. Проще всего было бы так: в каждом деле будут постоянно оставаться особенные любители его, которые и станут помогать новеньким обучаться делу. Останутся в таком случае, общие для всех дежурства уборщиков. Каждая компания будет посылать по череду своих членов на эти дежурства.

Вот какой представляется колония на следующий год.

Редакция «Нашей жизни» предлагает обсудить эти предложения на собрании и зимой в Москве обдумать, куда, кто хотел бы записаться. Ввиду этого наша газета предлагает колонистам употребить все усилия зимой, чтобы не разойтись в разные стороны. Кажется, слышно было, что некоторые сотрудники предлагают собраться у себя для общих собраний, где можно было бы чайку попить, потолковать о делах, попеть и поиграть».

«Редакции «Нашей жизни» неизвестно, насколько интересуются колонины огорода, но во всяком случае для тех, кто ещё не видал его, можно сообщить, что он сильно поправился. «Исполинский» горох заслуживает особого внимания, так как поднялся больше сажени в вышину: лопатки, наверно, достигнут длины 4—5 вершков. Редиска сходит. Мы советуем обобрать её дочиста колоницам на ужин, а пустые гряды теперь же перекопать с песком и известью. Огурцы цветут замечательно. Появилась масса мелких огурчиков. Есть и вполне готовые огурцы. Надо бы обрывать цветки без завязи, а то растениям приходится тратить на них слишком много силы. На некоторых огурцах эти цветы усыпали собой стебель так густо, что почти скрыли его под собой. Интересно и то, что даже самые плохонькие растения, которые едва-едва показали над землёй и выпустили 2—3 листочка, тоже цветут и, не унывая, готовятся подарить нам один-два огурчика.

Томаты все обрезаны и подвязаны. У них есть способность выпускать всё новые и новые ветки, на которых образуются цветочки, и если не принять мер, то весь куст покроется массой сочных веток и листьев, а из цветков выйдет много маленьких плодов, которые так и не разовьются. Поэтому стараются оставить только главные ветки, а остальные обрезают. Тогда получится плодов хотя не так много, но больших, которые могут при хорошей погоде вполне созреть.

Морковь уже образовала порядочный корень. Поправилась сильно и капуста: на часть её напали гуси и порядочно пощипали. Кстати, сообщаем читателям, что у нас растут на огороде: огурцы, горох, бобы, редиска, брюква, капуста, салат, сельдерей, укроп, петрушка, морковь, томаты, лук, кукуруза.

Теперь уже с огорода берут овощи на кухню. И не мешало бы «огороднику» вести счёт тому, что взято....»

*

«Нам передавали, что колонией куплены: тарантас за 40 руб., телега за 23, водовозка за 10 и лошадь за 65 рублей»,

*

«В прачечной установлен сток для воды. Теперь осталось позаботиться о доставке чистой воды. Как это лучше сделать?»

Кстати, о воде. Открыт ещё один ключ, недалеко от огорода. Усердный колонист А. Лапин уже два дня расчищает его, стараясь углубить дно ключа и докопаться до главного родника. Пока ключ подаёт воды мало.

Половина почвы под плодовым садом разрыхлена. Ещё немного услилий, и картошка в будущем году будет своя, и мы не станем испытывать картофельного голода, как это было у нас почти половину лета.

За всё время, пока не вышла газета, сад разрыхлён весь, и уже начали делать гряды. После надо будет навозить песок для того, чтобы сделать почву более рыхлой, извести, чтобы глина не была такой вязкой, и навозу для удобрения. Верхняя часть сада предназначена для клубники.

Баня совсем готова. Пожалуйте мыться. Новая лошадка навозит воды. Кстати, о лошади. Она довольно красива, но колонист Лапин жалуется на её дерзкий нрав: именно она бросилась на него и двоих его товарищей, а самого укусила в бок. Поэтому было даже намерение продать лошадку, но другие колонисты, выбранные общим собранием в конюхи, не находят, чтобы лошадь была такой злой. В четверг на ней ездил за провизией, и окзалось, что она бежит исправно и во всяком случае не хуже крестьянской, которая поставила в неловкое положение того же Лапина и Гаврилова. Но об этом дальше.

Из работ хорошо бы начать ещё одну: проложить дорогу от дома к бане и оттуда на скотный».

НАШИ СОБРАНИЯ

«Собрания наши стали очень интересны. Было несколько важных дел, которые заделали всех. Большое оживление вносит А. Лапин, который однажды защищался против всей колонии, недовольной им за большое опоздание с самоваром. Вышла у него с Гавриловым странная история: самовары не были проданы, а Лапин ушёл на станцию. Самовары без него и не хотели

наставляться, а Гаврилова не слушались. Собрание хотело было оставить Лапина ещё на один день, а тот говорит, что это до такой степени несправедливо, что он лучше уедет в Москву. Тогда решили выразить ему порицание. После как-то Лапин обещался написать в газету, как мальчики ругаются при девочках и как девочки ничего против этого не имеют. Поднялся большой шум. Девочки утверждали, что ничего подобного не было, что Лапин это сам выдумал. Плакала Нина, защитница всех обвиняемых. Тёмная всё-таки история. Статью Лапин написал, но редактор предложил, ввиду резкости её, собранию внести на обсуждение. Решено было статьи не помещать. Сотрудники указывали, что дело искоренения сквернословия зависит главным образом от девочек. Если они примутся, то зло можно вывести очень скоро, как это было в прежние годы.

28 июля выбран для порядка председателем, которым оказался Шура. Достоинства у него много, но он часто забывает про свою председательскую роль.

Очень интересно, как отнесутся колонисты к всеобщему опросу, о котором говорилось на собрании 28 июля. Была выбрана комиссия, которая составила 15 вопросов относительно жизни в колонии. Ответы поступают медленно, старшие даже думали, что им совсем не надо отвечать, что это только для маленьких. Мы думаем, что успех этого дела прямо укажет, насколько наладилась прочно наша жизнь, насколько сознательно относятся колонисты к колонии, насколько успели полюбить её. Если окажется, что жизнь наша ещё плоха, то можно её исправить. Лишь бы писали только правду, тогда из опроса выйдет серьёзное дело».

С т и х и , р а с с к а з ы и с т а т ь и

СЫН КУПЦА КАЗМЛЯ

«Уезжал один купец на долгое время в город Севастополь за разным товаром. У того купца не было детей, и он часто горевал. Когда купец уехал в Севастополь, то его жена родила сына и назвала его Казмль. Сын рос, рос без отца, и стало ему 8 лет. Один раз мать Казмля считала деньги. Казмль и говорит: «Мама,

а мама, что у нас есть папа?» — «Есть,— ответила мать,— да только он уже больше не вернётся». Мальчик замолчал и ушёл в спальню спать. В эту ночь ему приснился отец...

Вот прошло 13 лет, а отца всё нет. Казмль крепко спал на полатах.

Вдруг на дворе послышался звон колокольчиков и лай собак. Мать вздрогнула, и Казмль пробудился, но скоро опять заснул ещё крепче.

Мать выглянула в окошко: на дворе показалась карета, а за ней воза с каким-то товаром. Безумная женщина бросилась в дверь, а из двери в карету и, не помня себя от радости, упала без чувств на землю. Когда проснулся Казмль, то закричал: «Мама, мама! Мне приснился какой-то человек, да богатый, и со мной разговаривал! Я его не узнал, и он меня не узнал!» Только что он проговорил, к нему кто-то прислонился, и он не узнал. После этого они стали ужинать. Отец стал рассказывать про разбойников. Казмль слушал и думал: «Что такое быть разбойником? Что они делают: работают или нет?»

Один раз Казмлю на именинах подарили сладкий торт, шоколадное яйцо и золотые часы. Торт-то он съел за чаем, а шоколадное яйцо и часы-то у него украли. Один раз Казмль пошёл в лес за грибами и всё думал: «Что такое быть разбойником?» Вдруг перед ним показался человек с красным ножом. Казмль спросил его: «Что такое быть разбойником?» Человек ему сказал: «Пойдём, я тебя научу быть разбойником».

С тех пор Казмль стал разбойничать.

Теперь он узнал, что такое разбойник и чем он занимается. Казмлю стало 18 лет.

Дельнов».

УТРО

«Я встал с постели и поглядел в окно. Солнце ещё только взошло. Я оделся, взял полотенце и пошёл на речку. «Ах, как хорошо!» — проговорил я про себя. Я шёл и всё глядел вдаль, потом остановился и сказал: «А всё-таки хорошо в деревне летом! Везде жужжат пчёлки и стрекохнут кузнечики». А вот и речка. Я умылся и пошёл чай пить.

А. Лушин».

«Так как куплены лошадь и сбруя, то наши художники предлагают проекты раскраски дуги.

Редактор С. Ш.».

*

Время, совпавшее с выпуском журнала, было особенно живое. С одной стороны, спешили с работами, чтобы успеть закончить главные из них до отъезда: спешно оканчивали полы и канализацию в бане и прачечной, топились с рыхлением почвы в огороде, чтобы будущей весной можно было посадить картофель. С другой стороны, началось хлебопечение, сразу всех заинтересовавшее, и важная, но скучная работа в прачечной, утренней вполне хорошо, — с кубом, отжималкой, паромойкой, прилаженной к печке, особой комнатой для глажения белья и плитой для нагревания утюгов.

Вместе с тем оживились и собрания, на которых разбирались важные вопросы. Одним из таких и были порядки в прачечной, близко касавшиеся всех детей. Заведующий, вызвавшийся добровольно, оказался очень деловитым и требовательным, но недостаточно сдержанным. Ему многое и прощалось из-за его деловых качеств: работа в прачечной всё-таки пошла хорошо, но его «тон» создал ему некоторые неприятности, и дети не упустили случая оказать формально требовательными к нему, когда у него вышла история из-за самовара. Он должен был признать себя виновным, хотя не настолько, чтобы оставаться на дежурство ещё раз.

Удачно было учреждение гостеприимной комиссии, но с хозяйственной дело пошло иначе. Сотрудники стремились к тому, чтобы колонисты, хотя бы старшие, привыкли к заботе о всех делах колонии. Особенно это было важно теперь, когда жизнь наша стала сильно усложняться, явились уже новые отрасли хозяйства, а следующим летом, вместе с появлением коров, должны были прибавиться новые, очень серьёзные задачи. Предположения о том, как сложится жизнь колонии, были высказаны в статье «В будущем году». Если наша жизнь разобьётся на отдельные ячейки и каждая для лучшего успеха своей работы замкнётся в себе, в узкой области своих специальных интересов, если скотник

будет знать только свой скотный двор, эконо́м — только кухню, огородник — только капусту и огурцы, то это слишком сузит детские интересы. Сюда же присоединяется мысль и о чувстве ответственности, которая в первоначальной форме могла проявляться только в связи с индивидуальной работой или работой маленькой группы. Но если идти дальше, то высшая форма её — это ответственность за своё участие в делах всей колонии, которая могла и должна была быть понятна для детей, призванных к ней. Ведь в колонии создавалась детская жизнь; к этому были направлены и стремления детей и задушевные желания взрослых, живших с ними.

Из этих мыслей исходило предложение сотрудников устроить хозяйственную комиссию, дело в которой не пошло — или потому, что самая форма была неудачна, или потому, что колонистам, даже старшим, задача оказалась пока не под силу. Более счастливой была мысль — воспользоваться общим подъёмом и дать возможность детям высказаться, не стесняя их формой выражения, относительно тех сторон нашей жизни, которые ярко стояли у них перед глазами и были понятны им. К тому же полная разнообразная жизнь колонии скоро должна была прерваться; подходил август, многим надо было возвращаться в школы. Решено было устроить опрос всех колонистов по поводу их жизни в колонии. Ответы все должны были быть письменные, чтобы после удобно было обсудить их вместе со всеми детьми.

Нам приходилось и раньше делать такие опросы, но в этот раз получилось гораздо больше определённых ответов, показывавших, что о некоторых сторонах жизни колонии у детей сложилось почти единодушное мнение.

Для составления вопросов были выбраны четыре колониста и один сотрудник. Вопросы предлагали и сотрудник и дети. Самое важное было определить, понятен или непонятен может быть тот или другой вопрос для маленьких, которых в колонии было большинство. Разговаривали по этому поводу довольно долго и в конце концов решили остановиться на таких вопросах:

1. Для чего мы живём и работаем в колонии?
2. Трудна ли в колонии жизнь?
3. Что нравится и что не нравится в колонии?
4. Какая польза колонистам от колонии?

5. Интересно ли колонисты проводят время?
6. Чего нам не хватает?
7. Нужны ли нам собрания?
8. Нужны ли наказания? Если нет, то чем их заменить?
9. Хорошо ли идут работы? Если плохо, то почему?
10. Как смотрят колонисты на сотрудников?
11. Чего я хочу от колонии в будущем?
12. Приносят ли старшие колонисты пользу колонии?
13. Чем я хочу заниматься в будущем?
14. Дружно ли живут колонисты?
15. Хочу ли я жить в колонии зимой?

Большинство колонистов подало ответы через день; некоторые задержались и ответили только через неделю. Всего листков с ответами было подано 47.

Общий смысл ответов относительно целей колонии таков: «Мы живём и работаем для того, чтобы принести и колонии и себе пользу». Одна девочка ответила так: «Мы живём в колонии для того, чтобы потом, спустя много времени, можно было бы приехать, как в родной уголок». Один мальчик это будущее представляет себе более конкретно: «Со временем будет «наша» колония, и мы будем сами хозяйева»; другой считает важным житьё своё, «чтобы поддержать колонию: если мы не будем поддерживать, то она для нас не может существовать», Один ответ особенно интересен: «В колонии мы подготовляемся к будущему тяжёлому труду, который нас ждёт больших».

Старшие пытаются определить общественные и этические задачи колонии: «Кто хочет жить в колонии, тот должен работать, так как самому не будет приятно жить не своим трудом, а чужим». «Мы здесь набираемся новых сил. Но жить для себя, думать о себе, заботиться о своих насущных потребностях — неинтересно и эгоистично. В колонии живёт здесь, кроме нас, старших, ещё много маленьких, которые должны быть для нас товарищами. Среди них есть много дурных, но много и хороших. И вот цель нашей жизни (старших) такая: принести им, по возможности, нашу посильную помощь, пытаться выработать из них более или менее нравственно хороших людей, стараться отвечать на запросы их души, устроить общество, связанное общими интересами

в колонии. Мы работаем, играем, всюду видим своих маленьких товарищей, всюду имеем возможность наблюдать их, всегда можем помочь какими-нибудь советом или делом. Сделает колонист каюку-нибудь ошибку, мы должны спешить исправить его дурное или указать ему на него; мы всегда должны быть готовыми идти им навстречу со своей помощью и со всем тем, чем мы можем быть им полезны».

Так определяется в группе старших мальчиков цель их жизни в колонии.

Путём сопоставления всех детских ответов можно сделать вывод, что в общей массе колонистов начинает уже складываться идеал жизни в колонии. Этот идеал, как и всегда, очень далёк от действительности. Как он мог создаться? Простой ли это пересказ слов сотрудников, принятых детьми на веру, или дети могли чувствовать присутствие одной направляющей мысли во всех делах колонии?

Тот очерк нашей жизни, который был дан на предыдущих страницах, указывает на очень постепенный ход не только умственной, но и трудовой жизни детей.

Если получилось движение детской мысли вперёд, то потому, что мысли взрослых более или менее ясно выражались в их делах, в их непосредственном трудовом участии в жизни колонии; затем текущая жизнь давала детям чрезвычайно много материала для разговоров их друг с другом, но всё же это была новая жизнь, новые отношения, к которым не подходили привычные детям мерки. За всё время было много совместных обсуждений, бесед, коротеньких, но важных разговоров, иногда оставивших благодаря своему непринуждённому характеру очень важный след, как, например, разговоров о «счастье». Из всех таких мелочей складывались «обычай» неизмеримо более ценные, чем «правила». **Накопление целого ряда обычаев и создавало основу для общественной жизни детей, создавало ту атмосферу, которая, чтобы сохраняться «действующей», нуждается в постоянном движении вперёд.** Раз есть начатки общей жизни, то возникает и общая всем мысль, и каждый уже может в хорошие минуты сознать себя частью целого. Но мысль очень быстро бежит вперёд, гораздо быстрее жизни: идеал всегда спорит с действительностью. Дети и

отмечают это: «Когда мы **будем** большими», в «**будущем** колония была бы наша».

С точки зрения присутствия смутной, быть может, мысли о том, **какой должна быть наша колония**, и можно разобратся в кажущихся противоречиях, которые выдвигаются ответами детей на некоторые вопросы.

«Порядки хороши, и их менять не надо», — таково единодушное признание, за исключением некоторых мелочей: «не хватает коровы и другого скота», «не хватает хлебопечения». Но как же можно считать «порядки» хорошими, если, за некоторыми исключениями, все признают, что «работы идут плохо»: и потому, что «лень бывает», и потому, что «за работами разговаривают», «колонисты не понимают своей пользы», «встают поздно», «отлынивают». Бывает и так, «что некоторые чего-нибудь судят, а другие на это смотрят и стоят, а работа затягивается». Есть причины и более глубокие, более основательные: «работы идут плохо, потому что все берется за них недружно», «идут между мальчиками ссоры»; когда же «все дружны и не ленятся, то работы идут хорошо и поспешно». Положим, есть указания и на непривычку, что, в сущности, и служило важной причиной «лени». «Как только приехали в колонию, работы шли плохо, но напоследок они пошли хорошо». В общем, в работах «дело шло бы гораздо лучше, если бы они были дружнее».

Что значит, далее, мнение колонистов о хороших «порядках», если есть такое признание: «жизнь в колонии была бы хороша и интересна, если бы колонисты жили дружно, не было бы ссор между ними»; «мы очень много ссоримся, и не знаем, почему», — замечает одна девочка. На ссоры или отсутствие дружбы указывают почти все. Указания — настойчивы, и видно, что эта сторона жизни колонии очень тяготит детей: «хорошо, если бы не было ссор».

Разумеется, нельзя думать, что в колонии недоразумений между детьми было больше, чем в Москве, на пыльных улицах или в душных классах, где долго приходится сидеть неподвижно, — в Москве, где дети предоставлены самим себе гораздо больше, чем в своей совместной жизни со взрослыми людьми в колонии. Итак, суть дела в этой готовности указать на дурные стороны

нашей жизни, которые здесь особенно тягостны: ярко чувствуется противоречие с создающимся мнением, как надо жить в колонии. Если уж так тяжело, что все буквально указывают на одну и ту же сторону нашей жизни, да же те, кто «отлынивал» от работы и являлся зачинщиком ссор, то не может ли быть средства для борьбы?

Так мы подходим к вопросу о «наказаниях». Но только два мальчика (один из них — суровый заведующий прачечной) и две девочки нашли, что наказания — нужны. Все остальные отнесли отрицательно: «Наказания не нужны: их надо заменить замечаниями», «наказания — это строго, как бы под надзором», «наказания не нужны, а все правила нужны», «заменять их не надо — они заменены замечаниями», «указывает один колонист на то, что в сущности и раньше в обычае не было наказаний. Итак, в наказаниях нет разрешения вопроса об установлении лучшей жизни в колонии. Но где же оно?»

Мы опять должны вернуться к «хорошим порядкам», которые теперь не будут так загадочны. «Замечания» делались у нас на собраниях. Важно было выяснить отношение ребят к собраниям, форме общения, безусловно новой по тому значению, которое им придавалось в колонии, и новой, думается, не только для детей, а даже для огромного числа взрослых, занимающихся «воспитанием». И надо сказать, что дети понимают суть собрания лучше, чем многие взрослые. Отношение к ним в детских ответах, без всяких уже исключений, — единодушное: «собрания нужны», «собрания нужны для того, чтобы вести порядок», «если бы их не было, то не было бы и порядку», «на собраниях мы обсуждаем разные дела, чтобы колонию улучшить», «иначе вся колония распадётся»; «собрания — главная польза колонистам», «на собраниях все вместе решаем важные дела», «разрешаются разные дела для разума».

Не причаются ли на собраниях дети только говорить более или менее складно, не есть ли это лишь вид разговорной игры, способ улаживать детей в общественных разговорах — вот одно из сомнений, которые иногда приходится слышать.

На это можно было бы ответить словами нашего колониста: «На собраниях далеко не каждый говорит всё,

что чувствует: один стесняется своих товарищей, другой — сотрудников, на которых в таком случае смотрит, как на каких-нибудь надзирателей. Тогда уж лучше совсем не устраивать собраний, а положиться на сотрудников. Однако колонисты у нас почему-то желают собраний. Отчего это? Я, собственно говоря, настаиваю на собраниях: это — наша школа, мы собираем, что хорошо, что плохо, стараемся обсудить общее для нас дело, как сделать так, чтобы жизнь у нас в колонии шла лучше. Здесь каждый хочет, чтобы и другим было хорошо и себе тоже. Это — уже первый шаг к той лучшей жизни, которую мы здесь хотим устроить. А чтобы это у нас было, надо делать не только то, что нравится тебе, а другим нет, но и другим надо забывать. Кроме нас, здесь живёт ещё много людей, с интересами которых надо считаться; следовательно, надо так делать, чтобы всем было хорошо, и об этом обсуждать на собраниях...»

Теперь уже мы можем окончательно вернуться к «порядкам».

Они у нас будут пониматься как основа нашей жизни: хорошо, что есть колония такая, как она устраивается, хороша мысль о работах — это очень нужно, и, самое главное, хорош обычай собраний. Вот наши основы, как их понимают дети: это всё — «порядок», «так и следует». Но, сознавая цель, видя важность работ и собраний, дети не могут не сознавать, что действительность наша, исполнение идеи — не на высоте; трудовые цели колонии должны достигаться более усердной работой, а высшие, жизненные цели — складной внутренней жизнью. И дети не только признают свои недостатки, которые зависят от их же собственных привычек, но и подмечают **тонкую связь между работой и дружной жизнью**. Отсюда жалобы, по нашему мнению, сильно преувеличенные, на ссоры.

Ответы относительно пользы для колонистов от колонии и того, интересна ли в ней жизнь, почти всегда идут параллельно, соответствуют друг другу: кому интересно и весело жить, тому жизнь в колонии приносит пользу. «Польза та, что развиваются мускулы», «что приучаются к труду», «колонисты с малолетства приучаются работать», «колонисты учатся хозяйствовать»; «польза такая, — объясняет девочка, — что, когда приеду в

Москву, то всё буду уметь делать», «мы в колонии поправляемся здоровеем», «колонисты **приучаются жить в дружбе**, привыкают готовить, **делаются** благородные», «колонисту польза быть поваром, быть прачечником, творить и печь хлеб». Есть указание и на пользу более широкого свойства: «**мы приучаемся к самостоятельности**».

По мнению одного из старших, «по своей содержательности жизнь в колонии в высшей степени интересна. Здесь мы не проводим бесцельно времени, как это делает большинство наших сверстников-товарищей, которые живут где-нибудь празднично на даче и проводят время в различных развлечениях. Здесь мы стараемся использовать каждую минуту на что-нибудь полезное для нас и полезное для колонии». Один мальчик находит, что колония полезна тем, «что развивается мускул, но живут в колонии плохо, и маленьким мальчикам не хватает большого разума».

Ему скучно так же, как и пятерым девочкам, которым весело «разве по субботам, когда у нас пение и танцы». Все они находят, что «пользы нет, потому что мальчики не доводят себя до пользы, распустились».

Как мы указывали выше, взаимоотношениями колонистов большинство недоволено. Впрочем, кое-кто смотрит иначе: «некоторые живут дружно, а другие — нет», а один мальчик не находит ссоры ужасными. «Колонисты, — говорит он, — живут дружно, только **любя** дерутся».

Польза, которую старшие мальчики приносят колонии, признаётся почти всеми, впрочем, чисто с практической стороны: «старшие мальчики нам приносят пользу: у них больше нашего сил, и они справляются с работой, а то мы бы за ней прокопались три дня, а они делают в один день»; «очень хорошо идут с ними разные работы». Есть и такое мнение: «они живут не очень хорошо, а пользу приносят большую»; «старшие нужны, чтобы вести порядок». Очень немногие держатся такого мнения: «пользу приносят, но небольшую и не все». Одна девочка относится безразлично: «мне всё равно, живут они или нет».

Отношением колонистов к сотрудникам большинство недоволено: «колонисты на сотрудников смотрят не

очень хорошо», «плохо», «когда как», «некоторые — хорошо, а некоторые — плохо».

В этом «плохо» интересно разобратся. Сотрудники не могли пожаловаться на плохое к себе отношение, на недостаток хорошего чувства у детей к ним. Скорее — наоборот; приходилось даже несколько страдать от настойчивых желаний детей, чтобы сотрудники с ними играли, гуляли, читали, рассказывали, работали. Из-за этого оставалось очень мало времени на личную жизнь.

Пятеро детей находят, что к сотрудникам колонисты относятся «очень хорошо, как к друзьям».

Объяснение, почему большинство считает отношение детей к сотрудникам плохим, всё-таки существует: «Я смотрю на сотрудников, как на старших товарищей. Они нам нужны, чтобы нас научить всему, стараются изо всех сил, а мы обращаемся нехорошо, **смотрим, как на надзирателей**»; «как на начальство», — добавляет другой. «Это бывает только в рабочее время, — поясняет ещё один колонист, — это видно из того, что когда колонисты, работая в саду, завидят вдали сотрудника, то начинают усерднее работать, а когда он уходит, то начинают работать по-прежнему; в остальное же время глядят, как на учителей-товарищей».

Итак, «плохое» отношение — это неискренность, которая создаётся, как нечто неподходящее. **Дети говорят, что к сотрудникам следует относиться с большим доверием.** То же обстоятельство, что это «плохое» отношение наблюдается главным образом во время работ, указывает на правильность детского отношения к труду: работать надо так, чтобы не было необходимости в наблюдении.

Отдельно несколько стоит вопрос о том, желали ли бы колонисты жить в колонии и зимой. В разговорах о будущем колонии, когда у нас будет ферма и настоящее молочное хозяйство, мы всегда встречались с мыслью о зиме: будет скот, телята, куры, за которыми нужен уход, — кто будет ухаживать за ними?

Дети частенько мечтали о таком времени и бывали заявления: «Ну, что ж, станем жить и зимой, кому можно!» Время это казалось ещё далёким, но мнение всех детей по поводу этого «далека» хотелось узнать. Ответили все утвердительно, кроме одной девочки.

Единодушие указывало, конечно, больше на чувство крепнущей симпатии к колонии, чем на сознательное отношение к трудностям самого дела.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Постараемся теперь подвести некоторые итоги как анкеты, так и жизни колонистов во второе лето.

Первоначальное убеждение детей, что работать в колонии нужно потому, что этого хотят сотрудники, уступило место всеобщему признанию, что работа есть основа нашей жизни и этим колония больше всего и полезна. Это признание, конечно, носило всё же несколько теоретический характер, так как оно не могло само по себе заставить колонистов всегда добросовестно относиться к делу.

Сознательно стали относиться дети и к тому, что мешает работать **недружная жизнь**. Могло бы казаться, что дружба — одно, а работа — другое; могло бы быть, что внутренние нелады только лично неприятны. Но детская мысль идёт дальше: между работой и дружбой есть связь, со стороны не только неприятны, но и вредны для колонии. Это — уже серьёзный шаг вперёд.

Как и раньше, среди колонистов нельзя найти прочной внутренней объединяющей связи (внешняя — трудовая — довольно сильна). Но теперь дети находят её желательной, и отсутствие её считают недостатком. Есть некоторая параллель между ходом трудовой и внутренней жизни: большие усилия колонии были направлены к тому, чтобы улучшить качество и фермы работы; мысль переносится отсюда к улучшению отношений. Если практическая сторона сравнительно легко достижима, то духовная даётся с трудом, и ясных причин ссор и неприятностей, а также средства к установлению лучшей жизни **пока** нет. Но всё-таки мысль детская зашевелилась: колония стала рассматриваться как нечто целое, имеющее свои цели, свои задачи, свои средства для осуществления их, свою общую жизнь и своё будущее. Мы не утверждаем, что всё стало ясным, привычным, решённым. До этого ещё очень далеко, и нам не так привлекательно было установление твёрдых, неизменных форм нашей жизни, как установить поскорее всю систему и

уже тогда зажить настоящей жизнью, обладая лучшими **р е ц е п т а м и** для воспитания детей. Нет, но хорошо было то, что получилось движение вперёд, к лучшему, появились перед детьми из их же собственного опыта понятные им задачи, разрешить которые было бы важно. Стал совершаться перелом в мыслях по отношению к сотрудникам. Слово «начальник, надзиратель» не подходит. Старшие колонисты предлагают определить должное отношение к сотрудникам словом «товарищи», младшие больше понимают слово «друзья». И здесь появился маленький сдвиг, маленький шаг вперёд, но и здесь ещё далеко до того, чего хотелось бы достигнуть, ибо не было всё-таки вполне приятных, непринуждённых отношений. Были моменты, когда чувствовалась близость и простота, но полной уверенности в прочности таких настроений у сотрудников не было.

Мы придавали большое значение чувству ответственности за свою работу. Если она раньше была случайной, то теперь с признанием труда одним из важных «порядков» колонии ответственность стала более понятной. Появились у нас добровольцы, бравшие на себя заботу о какой-нибудь стороне трудовой жизни колонии. Оказалось полезным, чтобы за огородом, прачечной, кухней, лошадью, курами следили не дежурные, а постоянные заведующие. Ими бывали больше старшие, как более сильные и умелые. Впрочем, должность эконома по-прежнему бывала часто в руках младших колонистов, справлявшихся с ней в общем удачно. С введением ежедневных отчётов и записей эта ответственность несколько увеличилась.

Можно ли было идти дальше с усилением разнообразия в труде? Могли ли мы браться за новые работы?

Дети единодушно отмечают лёгкость работы. Новые дела мы затеяли ещё в конце этого лета: хлебопечение, находившее много любителей, и уход за лошадью. Эти «новости» не оказались трудными. Следовательно, для расширения труда ещё оставалось много места.

Было у руководителей колонии большое опасение: не создаётся ли наша жизнь по типу «взрослой» жизни, не слишком ли не «по-детски» строится она? По крайней мере, поскольку эта жизнь отражалась на наших собраниях, настроения бывали подчас суховаты, слишком деловиты. Такое направление нам казалось безусловно

ошибочным; мы чувствовали всегда, что дети должны жить среди детского же труда — увлекательного, радостного, жить своей детской жизнью, в которой не так много рамок, условности и сложности, как у взрослых. Словом, для нас было чрезвычайно важно создание таких условий, чтобы ребёнок мог проявить свои силы и способности.

Основа нашей работы — привычное трудовое напряжение, равномерное расходование силы, направленной к понятной для детей цели. Но есть и ещё одна сторона детской природы, которая проявляется в характерных словах, жестах и вусах так же, как запас физических сил в простых, часто непривольных движениях — беготне, играх. Если жизнь в колонии даёт работу рукам, то она должна помочь детям и проявить себя. Таким образом, колония станет не только местом, где маленький человек с гордостью за себя «потрудился», но и почувствовал прелесть искусства, красоты, оценил уют и привлекательность складной общей жизни.

Мы уже сказали выше, какое влияние имело развитие детского вкуса и чувства красивого на чистоту в комнатах: понять, что чистота нужна для здоровья,— трудно; но обратить внимание на то, чтобы в комнате было красиво, какая бы это красота по детским понятиям ни была,— совсем другое дело; было ясно, что «устроить красиво», это прежде всего «убрать» и «вычистить». Такая «красота» доступнее разговоров наших санитаров о гигиене.

Откуда же у детей появился вкус? Да от наших же пения, художественных работ, от украшения общей комнаты, от наших спектаклей.

Итак, первая задача, поставленная этим летом, — более широкое введение искусства в жизнь наших детей, — это не было случайным делом.

Становилось ясно ещё, что влияние колонии тем более сильно, чем теснее наше детское общество. Поэтому важно было не прерывать этих настроений, этих связей, чтобы дети продолжали питаться тем хорошим, что вошло в их души на деревенском приволье.

Таким образом, определились после лета две новые задачи для руководителей: введение искусства в жизнь детей и зимняя работа с колонистами.

Ещё перед отъездом из колонии шли разговоры о том, чтобы в Москве при посещении нашего дома по вечерам колонисты не разбивались по разным занятиям, а составили бы свою группу «колонистов», которая собиралась бы два раз в неделю для какого-нибудь «общего» дела. Две сотрудницы, жившие в колонии, взяли на себя вести эту группу.

Задача оказалась довольно сложной. По возрасту и развитию колонисты были очень различны. Летом в колонии их связывала общая работа, общая всем жизнь, в налаживании которой так или иначе приходилось и участвовать всем; места для работы хватало всем, и к тому же та жизнь была «одна», цельная по своим порядкам и настроениям. Зимой же у каждого была или своя школа, или семья, или учение в мастерской, и, разумеется, такой общности интересов уже быть не могло. Вместо общего «колоницкого» труда могла сыграть здесь роль лишь идея о будущем, забота о том, как бы «не разойтись».

В колонии детей очень объединяли вечера после работы, когда все собиравались в общую комнату: любители пения окружали рояль, а остальные располагались, кто как хотел, по лавкам. Было тесновато, но все чувствовали себя очень хорошо.

Мы решили подойти к искусству с разных сторон, чтобы все дети могли принять активное участие в общем деле. Таким образом, сама собой выдвинулась мысль об устройстве спектакля, требовавшем самых разнообразных работ: надо было писать декорации, шить костюмы, делать всякие бутафорские вещи, сбивать рамки для декораций, и всё это нужно было сделать самим.

Выбор наш остановился на музыкальной иллюстрации Григорьева к сказке «Спящая красавица».

На собрании прочли либретто, вспомнили сказку и нашли, что очень многого не хватает: исполнителей было больше, чем требовала пьеса, поэтому были разработаны новые роли, написаны новые слова и прибавлены некоторые сцены. Роли были распределены лишь после

долгого обсуждения, кому какая роль больше всего подходит по характеру и способностям. Детям, выделившимся своей музыкальностью, поручены были роли с пением.

Не обошлось и без курьёзов.

Так, одному мальчику с хорошим голосом и слухом была поручена роль «соловья», поющего за сценой. Ему спеть очень хотелось, но было обидно, что его никто не увидит. Пришлось примириться на том, что он появится на сцене в роли одной из добрых волшебниц.

После всех обсуждений оказалось, что роли нашлись для всех желающих. Дети не придавали значения тому, большая роль или маленькая, так как всё внимание обращалось на то, чтобы и костюм, и слова, и движения были «подходящи». Дети, не участвовавшие в спектакле в качестве актёров, делали декорации, бутафорию и костюмы. Занятия наши происходили в большой комнате, где было поставлено пианино. Дело подвигалось весело и живо, дети работали с большим интересом. Разучивание музыкальных номеров шло независимо от уроков общего пения, которое посещали по старой привычке все колонисты. Обыкновенно «артисты» задерживались после занятий и разучивали свои «роли вместе с сотрудницей».

От 5^{1/2} до 8 часов в дни занятий комната наша представляла обычно такую картину: в углу, у пианино, одна маленькая группа разучивает хор. Через некоторое время она уступает место другой, а сама принимается за новое дело: окраску кубков или золотых и серебряных блюд для пира. Один любитель делает колчан и стрелы. Работы здесь немало — надо весь колчан разрисовать, а стрелы покрасить. Добрые феи занялись своими костюмами (у каждой особый), отделывают их цветами, диковинными золотыми птицами и звёздами. Принесли серой марли для костюма злой волшебницы. Тут же возникает спор, какая должна быть волшебница с виду и как держаться. Царь прилаживает себе длинную бороду и разрисовывает золотом и серебром перед своего длинного кафтана. Старшие девочки кроят и примеривают костюмы для волшебниц.

Начинается репетиция. Часть комнаты освобождается от вороха работ; посередине ставятся столы и лавки.

Сегодня — пир у царя и царицы. Участвующие рассаживаются кругом, остальные продолжают работать. Самая трудная задача с волшебницами, которым хочется быть на виду со своими диковинными костюмами. К несчастью, все волшебницы порядочного роста, и впереди стоять им неудобно — закроют собой весь царский стол.

Публика, т. е. занятые своей работой колонисты, подают советы и кричат. Возможность участвовать в самом создании сцены для всех очень важна — нет лиц, относящихся безучастно. Ребята, бывавшие в театре, показывают, как надо играть «по-настоящему», но не всегда это «настоящее» подходит. Все напряжены. И каждое удачное движение, каждый верный жест или выразительно сказанная фраза вызывают общее удовлетворение. Конченный костюм или отделанное блюдо непременно должны быть показаны всем, и репетиция останавливается, мы смотрим на костюм.

В общем получалась славная картина оживлённой работы. Бывали и недоразумения: поднимался шум, возня, возникала мимолётная ссора, но дети стремились сами как можно скорее всё наладить.

Наконец, явилась возможность объединить все работы. Немного поздали декорации. Старшие колонисты поставили себе большие, сложные задачи, особенно в последней картине, где представлена башня со спящей царевной внутри; к башне подымается лестница, а внизу видны верхушки деревьев. Перед башней — площадка для группы бояр, застигнутых снегом во время разговора. Дети должны были изобразить, на каком месте разговора наступил сон, как должна была подняться и застыть рука. Некоторые дети, с которыми вообще было много хлопот из-за их трудного характера, нашли вдруг для себя самое подходящее дело, втянулись и почувствовали себя прекрасно. В этом отношении был особенно интересен один мальчик, который в первое лето уехал из колонии через две недели: очень уж показалось трудно. На второе лето он приехал опять и стал чувствовать себя лучше, но заболел scarлатиной и поэтому прожил недолго. Это был один из самых безнадёжных скептиков. «Всё плохо, отвыкнуть от плохого нельзя, ничего не выйдет», — вот его обыкновенные слова. До спектакля он посещал нашу группу довольно редко — и всегда являлся, как посторонний. Спектакль же захватил его. Видя его

необычное оживление, сотрудница как-то спросила: «Как тебе теперь? Нравится в группе?» — «Ещё бы», — ответил мальчик, — и это «ещё бы» прозвучало от всей души.

В связи со спектаклем возникло очень много вопросов, требовавших практического разрешения. Колонисты стали собираться для обсуждения их так же, как и в колонии. На этих собраниях попутно разбирались дела, касавшиеся жизни всей группы, которая, видимо, уже стала чувствовать себя обществом, довольно сплочённым как общими воспоминаниями, так и своей работой. Впервые стали возникать тут среди ребят разговоры о «чести» колонии, которые привели к тому выводу, что с колонистов надо всыскивать больше, чем с других ребят — посетителей нашего дома. Шалунам и нарушителям порядков ставилось на вид, что они «тень наводят на колонию». Конечно, впечатления города начали сказываться на ребятах; некоторые из них стали отставать от группы, реже появлялись. Относительно их одни были такого мнения: «Если ты колонист, то надо и быть со всеми»; но другие возражали, что «Москва — не колония, здесь у всякого может быть другое дело и принуждать нельзя». Так и было решено, что колонисты могут посещать все занятия, которые им покажутся интересными в доме, лишь бы своим поведением не «наводили тени». Если случилось заметить, что кто-нибудь «распустился, ведёт себя не как колонист», то такому делалось предупреждение от собрания колонистов. Оставался в силе и старый порядок о трёх замечаниях. Получивший все три замечания не считался колонистом и в колонию ехать не мог, а должен был «сократиться» и добиться того, чтобы замечание было снято. Но не на всех это действовало: колония ещё далеко, исправиться всегда можно, а пока бояться нечего. Случаев отрицательного отношения к колонии не было. Но и в колонии пока чувствовалось, что нужно ещё много поработать и много претерпеть, пока создастся такой крепкий строй её, который самой своей ясностью и соответствием с запросами детской жизни может быстро дать опору для нового колониста, сильно повлиять на него; теперь же в Москве, где в качестве «задерживающего» элемента были только остерегающие слова и далёкая пока пора нового возвращения в колонию, а тут под боком — театр, кинематограф,

карты, «пристеночек», «орёл и решка», «стенка» на пустыре, возможность хорошего влияния сильно ослабевала.

Как бы то ни было, спектакль привлёк всех и создал возможность очень энергичной работы. После большого напряжения во время самого представления настали «будни». Большинство мальчиков стали работать в столярной мастерской, а девочки принялись за шитьё. Собираться решили раз в месяц. «Отчего бы не устроить и тут жизнь вроде как в колонии? — шутили некоторые.— Стали бы опять хлеб печь и кашу готовить, пошли бы уборщики и повара».

Скоро пришлось встретиться с очень серьёзным делом на нашем собрании.

Один из колонистов-мальчиков оказался в очень тяжёлом положении. Отец его, старый рабочий, едва-едва перебивавшийся и раньше, теперь заболел и не мог заплатить даже за койку, которую он снимал на двоих. Оба оказались на улице. Товарищи мальчика по школе рассказали об этом на собрании. Все отнеслись к его положению очень серьёзно и решили постараться поддержать товарища. По предложению одной девочки, стремившему общее сочувствие, постановлено было каждый месяц собирать между собой деньги, чтобы заплатить хотя бы за койку. Сотрудники тоже приняли участие в этих сборах; тут же набралось 3 рубля. Выбрали затем мальчика, который должен был собирать деньги каждый месяц. Он ходил на квартиру к больному и платил за койку. Так продолжалось 3 месяца, пока мальчика не удалось устроить иначе.

После зимних вакансий затишье в делах колонистов кончилось. На очереди встал вопрос, кто поедет в колонию, т. е. кто хочет ехать, кому нельзя, сколько остаётся ещё свободных мест, сколько ребят можно взять вновь.

Все разговоры, бывшие по этому поводу раньше, привели к мысли, что **всякий, живший и работавший в колонии, тем самым приобретает право опять ехать туда** и права этого может лишиться, только изменив своё поведение и перестав быть «другом» колонии. Некоторые дети, вследствие изменившихся домашних условий, ехать не могли.

Кроме того, ввиду известной напаянности хозяйственной жизни колонии можно было увеличить число колонистов.

На собрании горячо обсуждался вопрос, как познакомиться вообще детей, посещающих наш дом, с колонией, узнать, кто хочет ехать, и — так как желающих предвиделось гораздо больше, чем мы могли взять, — выбрать тех из них, для которых жизнь в колонии окажется особенно полезной. Избрали трёх колонистов, на обязанности которых лежало записывать всех желающих попасть в колонию, а после уже должны были состояться выборы. Кроме того, решили устроить беседу с волшебным фонарём по поводу жизни и работ в колонии. Диапозитивы были уже готовы. Объяснения к картинам давали девочки из старших и сотрудник.

Все эти приготовления к выборам в колонию внесли очень большое оживление в детскую среду, и сотрудникам пришлось вести очень продолжительные разговоры с теми, кто пожелал поехать; личный взгляд их на это дело был высказан с полной определённою: лучше взять в колонию «маленьких», чтобы они могли постепенно привыкнуть к порядкам и работам и могли бы впоследствии приезжать несколько лет подряд, так как для колонии очень много значат привычные колонисты, которые могут считать колонию «своей». Если брат «больших», думая, что они могут быть полезны своей силой, то надо иметь в виду, что им привыкать гораздо труднее; кроме того, сплосшь и рядом может случиться так, что проживёт кто-нибудь из больших мальчиков в колонии случайно одно лето, а на другое попутает в мастерскую,— ясно, что такой мальчик и не может стать настоящим колонистом, привязаться к колонии как к своему дому.

Главным основанием для выбора старших служила их трудоспособность. Единственно выбрали несколько мальчиков и девочек лет 13—14, и этот выбор был вполне основателен.

Большие сомнения возбуждали двое бывших колонистов и их товарищ, настойчиво желавшие попасть в колонию. Жизнь в Москве сложилась почти по одному и тому же образцу. У обоих были довольно живые характеры, и завлекательные стороны городской жизни охватили их всецело. Одно из острых развлечений для них представлял кинематограф. Сюда присоединился и лёгкий доступ на сцену Народного дома в качестве статистов, где иногда случалось им получать 15 коп. за выход.

Один из них попал даже на подмостки кафе-шантана, где под Новый год, наряжённый в какой-то «подходящий» костюм, он громким голосом произносил новогоднее приветствие многочисленным гостям. Сюда же надо отнести отсутствие дела, участие в уличных схватках, азартные игры и всё вообще раздражающее влияние города на впечатлительные натуры. Сотрудник, который постоянно имел случай встречаться с этими мальчиками, считал их неподходящими к тому строю колонии, который сложился у нас, — слишком уже много было в них нездорового, а в особенности дурно могло отразиться на них их совместное пребывание. Двое из них получили уже по три замечания, а третий пользовался «опасной» репутацией.

Все трое необычайно усердно старались убедить взять их в колонию. Разговоры были очень откровенные. Они признавались во всём, раскрыли действительно ужасные картины своей жизни. На вопрос же, как они, зная все свои привычки, могут положиться на себя в колонии, они отвечали одним и тем же: «Здесь — город, а там заживём по-другому». Все трое считались между товарищами из сильных. И это обстоятельство тоже служило аргументом: «Вы посмотрите, сколько мы нарабатываем!»

В конце концов, они уговорили родителей действовать на сотрудника и после вполне непритворных слёз и настойчивых просьб и ручательств со стороны родителей пришлось уступить.

Сотрудник объявил мальчикам, что берёт их на свою ответственность, но что он должен поручиться за них перед собранием колонистов. Со своей стороны, они должны помнить, что в случае, если они не сдержат своего слова и им предложат оставить колонию, они сделают это беспрекословно.

На этом и порешили. Втайне у сотрудника была надежда, что, может быть, интересный строй жизни колонии, хорошо налаженный, окажет своё действие на ребят, лишь бы только они выдержали первое время, когда придётся бороться со своими старыми привычками и запасаться новыми.

Если относительно «старших» возникли сомнения и большие разговоры на собраниях, то относительно «маленьких» не было никаких обсуждений: просто решили, что взять их хорошо. Большинство из них были братья

и сёстры наших же колонистов, — таким образом, связи с колонией становились даже родственными.

Собираться в колонию начали очень рано: старшие мальчики и девочки с сотрудниками отправились уже на Пасху.

Учащиеся потом вернулись в Москву, а несколько детей так и остались жить на всё лето. Таким образом, время работы в колонии значительно удлинилось, дойдя до 5 месяцев, что захватывало почти весь сельскохозагоственный период. За пасхальные 2 недели успели подготовить огород и провести канализацию из кухни и коровника. С коровником надо было особенно спешить: скоро должны были занять своё место коровы. Их было пока две, одна даже с телёнком.

Эта новая отрасль нашего хозяйства внушала много опасений: справятся ли колонисты с такой серьёзной задачей. Ещё в Москве вызвались две новые девочки, принятые в число колонисток, ухаживать за коровами. Они обе только что приехали в город из деревни, где у них была маленькая практика. Одна поехала с первой партией на Пасху и осталась после того в колонии.

Первый уход за коровой и телёнком взял на себя сотрудник, который доил корову и поил телёнка всю первую неделю. Во вторую неделю эту работу стала делать девочка при постоянном наблюдении сотрудника. Когда появилась вторая корова, то её взялась доить вновь приехавшая «коровница», и дело пошло более или менее складно. Обе коровы давали вместе три ведра; много молока шло на телёнка, которого решили оставить как своего воспитанника в колонии. Главные заботы наши заключались в приучении наших «коровниц» к чистоте. Поэтому у нас была заведена хорошая посуда, фильтр, особый бак для хранения молока; в будущей «молочной» тепер уже постоянно имелась горячая вода для мытья посуды. Каждый раз количество молока измерялось мерным ведром.

О корме заботились достаточно: коровы получали жмыхи и отруби. Затруднений с выгоном не встречалось: сразу взялось несколько колонистов пасти коров, хотя бы всё лето. Один мальчик, казавшийся более слабым и не очень любивший работать, выражал такую любовь к коровам, что ему и поручили должность «пастуха» до тех пор, «пока не надоеет». Первые три дня он пас коров

с удовольствием; но вскоре пришлось отметить, что он норовит пасти своё «стадо» поближе к работающим; затем понемножку присоединялся и сам к работам, а уже через неделю заявил: «Что же такое: всё один, да один — пусть и другие». Брались охотно и другие за такое лёгкое занятие, но скоро остывали: свобода не казалась уже такой заманчивой. В конце концов, дело перешло на обсуждение собрания, на котором решено было разделить эту повинность между всеми мальчиками, так как девочки протестовали: «нигде не бывает девочек-пастухов». Такой порядок продержался с месяц, после чего стали пасти и девочки. Самое плохое и скучное время для пастбища были праздники и дождливые дни. На эти дни был особый распорядок: до обеда пас один пастух, а после него — другой.

Из животных наиболее любимым была лошадь. Постоянно было несколько любителей ухаживать за ней, и можно было сказать, что ухаживали очень хорошо. Бывали сначала и «несчастные случаи»: распряжётся по дороге вся упряжка, дуга повалится вперёд, приходится останавливаться со стыдом и перепрыгать на дороге. Но это только с непривычки. Делом «коныхов» было ежедневно чистить лошадь, кормить, содержать в порядке тарантас, телегу и всю сбрую, ездить к кузнецу ковать, возить воду для прачечной и бани, доставлять всю провизию из города или потребительской лавки (в 12 верстах от колонии), где мы состояли в числе членов. Надо отметить очень ласковое отношение ребят к животным. Заботы принимали нередко и преувеличенный характер: «Что-то лошадь сегодня тяжело дышит, хрипит, мало ест», — казалось некоторым, следящим особенно внимательно за «гордостью» колонии. Страхи были напрасными: лошадь за всё время ни разу не была больна.

Новое было и на наших огородах. Прошло уже два года, и можно было занять растениями новые места. Способ обработки нашей тяжёлой глины оказался довольно удачным: мы снимали дерн и клали его в кучи, трава к траве, чтобы получить после её перепревания хорошую землю для удобрения. Остальная же почва перекапывалась несколько раз на глубину двух лопат. Теперь мы перекапывали дерновую землю с довольно разрыхлённой глиной. Под капусту навозили навозу, а под картофель внесли много песка и извёстки. Капуста удалась очень

хорошо, но с картофелем пришлось порядочно повозиться, разрыхляя землю после каждого сильного дождя и много раз окучивая кусты. В результате, несмотря на дождливое лето, клубней с пятнами оказалось немного, и урожай для первого раза вышел очень хороший.

Особенное место заняли технические работы, приноровиться к которым стоило немалых трудов. Нам казалось особенно заманчивым самим построить канализацию, водопровод и причудиться к строительным работам.

Ещё в прошлом году мы начали строить планы относительно водопровода. В овраге, около ручья, было несколько ключей. Самый большой, которым колония пользовалась ещё в первый год, давал около 1000 вёдер в сутки. Его-то и решили мы расчистить, углубить и вместо бочки соорудить кирпичный бассейн. Тогда же принялись за работу и углубили водоём до того места, откуда из-под плит известняка выбивался родник.

Насос получили мы в подарок из соседнего имения хорошей системы, но старый и с недостающими частями. Наш колонист — «мастер», ученик железнодорожного училища, оказался вполне на высоте своего призвания. Он вдвоём с помощником разобрал насос, перетачил из имения к ключу, выкрасил, сменил прокладку в клапане, приделал ручку и укрепил машину на прочном бетонном фундаменте. Осенью над насосом плотники сделали из остатков брёвен, досок и драни будку, и, таким образом, насос остался в полной сохранности. В этом году за водопровод уже принялись как следует, лишь только кончились первые спешные работы.

Большим затруднением для работ была вода, которая наполнила наш водоём. Её надо было отвести; можно было бы откачивать насосом, но наш насос не мог работать грязной водой; рыть же канаву на глубину целой сажени было слишком трудно. Наши механики придумали построить из лежащих пока без употребления водопроводных труб сифон. Один конец его находился в небольшой яме, на дне бассейна, куда стекала вода из ключа, а другой был опущен в ручей, уровень которого был на сажень ниже. Оставалось только выкачать воздух и пустить по сифону струю воды. Пробовали тянуть воду ртом, но ничего не вышло, разумеется, а поэтому вверху трубы приделали тройник с привёртывающейся пробкой. Нижнее отверстие сифона затыкали тряпкой, а к

верхнему повернули клапан. Через пробку наливали воду из лейки; когда таким образом вся труба оказывалась полна водой, быстро завёртывали пробку и замазывали её глиной, а внизу вытаскивали тряпку: вода бежала сама. После придумали новое усовершенствование: вместо тряпки приделали кран; таким образом можно было регулировать количество вытекающей воды. В конце концов добились того, что вода на дне бассейна стояла почти на одном уровне, и работать было удобно. Бассейн решили сделать «с запасом» на 2000 ведер, поэтому пришлось его ещё расширить и после приступить к кирпичной кладке. Работа шла медленно и не очень регулярно, так как то тут, то другой «каменщик» отрывался для других работ. К тому же это было первой нашей работой, на которой все учились. Песок для цемента навезён был ещё раньше, но его не хватало, и поэтому решили пустить в дело горный нечистый песок, который промыли в ручье нами же придуманной «машиной». Ручей запрудили, сколотили широкий и длинный ящик глубиной вершков в шесть. Ящик поставлен был ниже плотички; вода из ручья текла быстро по длинному деревянному желобу; песок сыпался у верхнего края, вода подхватывала его, перетирала, и глина отмучивалась довольно хорошо в широком ящике, где тяжёлый чистый песок падал на дно, а глина с водой стекала через стенки ящика.

Этой работой занималось много мальчиков: одни возили на тачках песок, другие промывали, а третьи носили чистый песок нашим каменщикам.

В этом году наш «инженер» мог приехать в колонию только на несколько дней, так как после окончания училища он поступил на службу. Поэтому всё должно было быть готово к его приезду, чтобы он мог успеть приладить трубы к насосу и провести воду в баню и прачечную. Общего бака для воды у нас не было; его заменили двумя большими деревянными бочками, помещёнными в бане, одна рядом с другой; от них шли трубы в бак, где нагревалась вода для бани, и в куб, вмазанный в печь в прачечной. Пока шли эти работы, мы испытывали страшное нетерпение и вот решили временно поставить на подмостках у дороги, около бани, бочку, куда накачивали воду, а оттуда она шла самотёком в кухню. Первое появление воды из водопроводного крана было.

конечно, великим торжеством. Скоро «инженер» соединил трубы водопровода с баней и поставил разборный кран около нашего дома. Водопровод был пока летний, и трубы были зарыты только на 4 вершка в землю.

Устройство водопровода очень облегчило работу и на другие хозяйственные дела. а наша лошадь могла быть употреблена и на другие хозяйственные дела.

Одним из больших предприятый наших в это лето было проведение дороги внутри усадьбы между домом, баней и скотным двором. Работали здесь главным образом «средние мальчики» в свободное от обычных дел журств время.

Дело затруднялось большими и ещё здоровыми пнями, попадавшимися на всей дороге: но привлекала общее внимание работа корчевальной машины. Её силу пробовали колонисты наглядным образом, поместив на крючьях, которыми была вооружена цепь машины, большую доску. На доску становилось как можно больше народа, и маленький мальчик несколькими поворотами зубчатого колеса поднимал «часть колонии» в воздух. С пнями иногда приходилось долго возиться: иные корни уходили глубоко в землю, и нужно было очень основательно подкапывать их, чтобы зацепить за них крючья. Иногда и цепь оказывалась короткой; тогда подкапывали землю под стойками станка. На особенно большие пни, вырванные с громадным куском земли, приходили удивляться все колонисты.

Дорога вышла непрямой: жалко было хороших дубков, и всё время старались миновать их. Этот обычай — щадить деревья — вообще привился. Если же никак нельзя было провести дорогу так, чтобы не погубить хорошей ёлочки, то ребята дружно окapyивали её со всех сторон и пересаживали на другое место с огромным комом земли. Почти все деревья принялись. Дети, проведя дорогу начерно, скатом на обе стороны, разравнивали её после каждого дождя, посыпали песком и укатывали. В конце концов дорога оказалась довольно крепкой даже во время сильных дождей.

Начали мы думать и об украшении усадьбы. Перед домом расчистили лужайку от пней и кустов, провели хорошие дорожки, посадив их ёлочками и кустами сирени. На месте старой маленькой площадки выросла большая круглая клумба, красиво украшенная узором

из красного и белого кирпича. Несколько маленький клумб было разбито по разным местам. Все клумбы засадили летниками — прекрасным подарком Московского Ботанического сада и нескольких друзей колонии.

Хозяйственная жизнь сложилась в общем так, как это намечалось в последнем номере нашего журнала за прошлое лето. Появились заведующие разными отделами нашего хозяйства.

В связи с этим нововведением у сотрудников возникло опасение, не создаст ли должность заведующего почвы для некоторого произвола и не станет ли развиваться честолюбие. Но этого не случилось. Так же, как и при первых пробах заведования, колонист шёл лишь на более трудную и ответственную работу, в которой нужно было идти впереди других и думать об усовершенствовании. Дети все видели практическую пользу от такого порядка, так как уже кое-что понимали в наших работах и охотно подчинялись указаниям ими же выбранных заведующих; им и самим при этих условиях, когда всё налажено и приотовлено, было легче работать.

Большую опасность представляло то, что колония при этом как бы разбивалась на несколько отдельных ячеек, в каждой из которых оказывались свои «узкие специалисты». Но опасность исчезла сама собой благодаря установившемуся в колонии обычаю меняться своими местами, не чувствуясь никакой работы, если она была необходима. Обыкновенно заведующий обучал некоторое время своего заместителя, после чего уступал ему своё место, а сам или работал наравне со всеми, или начинал заведовать чем-либо другим.

Дела для каждого заведующего было действительно много: например, заведующая кухней была занята в кухне во всё время работ; она учила умеющих готовить, заботилась о необходимом количестве провизии, следила за чистотой, помогала замешкавшимся поварам и в случае неудач принималась за стирание сама. В кухне путём небольших улучшений, накопившихся понемногу, создавался такой порядок: две старшие девочки и одна сотрудница установили между собой очередь — каждая заведовала в течение одной недели или кухней, или белым, или чёрным хлебом. По прошествии двух месяцев сотрудница отставала, и её место заступил наш молодой

сотрудник, а после него ещё новая девочка, которая, подучившись за лето, захотела попробовать свои силы самостоятельно. Все заведующие сообща составили правила для кухни, которые подвергались обсуждению на собраниях и были утверждены. Таким образом, для поваров обязанности были выяснены совершенно точно. От таких порядков выгадала вся колония, так как стол оказывался и дешевле и разнообразнее, а повара скорее приучались к делу.

Хлебопечение пользовалось большим успехом среди детей, особенно приготовление белого хлеба.

Чёрный хлеб требовал большего внимания, да и самый процесс был продолжительнее. Нужна была большая привычка и даже сила для того, чтобы хорошо вымесить тесто. С ним было много неудач вначале. Заведующие почти всё должны были делать сами, пока не подучились остальные охотники. Эта работа не входила в число дежурств и всё время велась добровольцами.

Заведовать прачечной на время был приглашён тот же колонист, который наладил всё дело в прошлом году, но оставался он на своём посту лишь до тех пор, пока новая заведующая не ознакомилась с делом.

Был ещё инструментальщик, который вёл занятия с желающими работать в столойной, и огородник. Все заведующие утверждались собранием.

Таким образом с сотрудников была снята значительная часть непосредственных забот по хозяйству, и получилась возможность отдавать больше времени и сил другим сторонам нашей жизни. Необходимость в этом ощущалась теперь особенно сильно, когда наша практическая сторона пошла более или менее правильным ходом.

Жизнь наша давала новые ростки; дети искали удовлетворения запросам своей расширяющейся жизни. Среди таких в высшей степени интересных настроений, указывающих на народившуюся детскую мысль, особенно тягостно было пережить необходимость расстаться с двумя из трёх подростков, которые так настойчиво добивались весной возможности поехать в колонию. Они «держались» недолго. Скоро пошли опять непривычные теперь жалобы на «выражения», грубость и ссоры. Когда же стали пускаться в ход и кулаки, то сотрудник-«поручитель» отказался на собрании от своего

поручительства и предложил двоим притеснителям уехать из колонии, как не сдержавшим своего слова. Опять начались обещания исправиться, слёзы, и обращения к другим сотрудникам; затем удаляемые стали держать себя очень вызывающе. Уехать они ни за что не хотели; очень стыдно было явиться так скоро из колонии в Москву. Сотрудник всё-таки настоял на их отъезде. Третий, по выражению того же сотрудника, «держался на ниточке», но взял себя в руки и благополучно дожил до конца лета, чем был чрезвычайно доволен. Он очень привязался к лошади и всё время был хорошим помощником нашего «заведующего скотным двором», который и помог ему удержаться от проявления своих московских привычек.

Конечно, это событие было большим потрясением для колонии и доставило много горьких минут сотрудникам, ворвавшись слишком резким диссонансом в нашу жизнь. Но оно в то же время дало толчок общей мысли и в конце концов теснее сблизило остальных. И среди мальчиков, и среди девочек, в небольших более или менее связанных возрастом, работой и мыслями группах нынешним летом ясно проявлялась внутренняя работа, приводившая всё к большему и большему единению. Мы постараемся отметить здесь отдельные группы и те особенности, которые проявлялись в жизни каждой из них.

Наши маленькие колонисты требовали постоянного внимания и забот с нашей стороны, и поэтому всё лето кто-нибудь из сотрудников специально работал только с ними. Их компания выделялась с самого начала и заняла особое положение. Работали они меньше остальных и вставали позднее на час. Для прочих колонистов это являлось вполне естественным: «маленькие должны ещё только привыкать».

В этой группе мальчики и девочки работали постоянно вместе. Работа по силам всегда находилась в нашем разнообразном хозяйстве. Они полили и подвязывали цветы; когда на огороде кончились спешные работы, то забота о его поддержании была предоставлена им же. Маленькие полюли, окучивали капусту, собирали готовые овощи. Была для них работа и на усадьбе: они складывали в кучи снятый дёрн, возили песок на двужолке, провели несколько небольших дорожек и

устроили даже один мосток через канаву, по которому могла свободно провезти наша лошадь бочку с золой.

У них было много своих маленьких дел: наведение порядка у себя в комнате, игры, работы, мелкие стычки; но всё это не обсуждалось на общих собраниях; маленькие устраивали «свои собрания», где говорились только о делах и происшествиях в их же среде. На таких собраниях присутствовали всегда сотрудники, помогавшая детям жить общей жизнью. Беседа благодаря этому выходила проще, интимнее; можно было найти тему разговора, более интересную для малышей.

Так в интимной обстановке складывалось у них более сознательное отношение к общей жизни колонии. На больших собраниях эта группа тоже участвовала и частенько вносила то или другое предложение на общее обсуждение. Если кто-нибудь из больших был недоволен «маленькими» или хотел предложить им что-либо со своей стороны, то говорили об этом на «маленьком» собрании.

Сотруднице, нашему врачу, занимавшейся с маленькими *, было очень труднительно присутствовать на их работах по утрам; ей нужно было очень часто отвлекаться: постоянно бывали нарывы, занозы и ушибы — дела мелкие, но отнимавшие довольно много времени. Она привлекла к работе с маленькими несколько старших девочек, которые скоро освоились со своей новой деятельностью. И вот на собрании маленьких было решено выбрать из этих старших девочек «мать». Она должна была руководить работами в отсутствие сотрудников. Матерью выбрана была девочка 14 лет, которая стоваривалась заранее с сотрудницей о том, какая работа на очереди, как лучше её сделать; ей приходилось выступать самостоятельно довольно часто.

Так понемногу дети привыкали отвечать не только за себя, за свою личную работу, но и чувствовать ответственность за всю свою группу.

В свободное время маленькие играли или самостоятельно, или с сотрудницей, которая выбирала такие игры, где бы дети могли проявить побольше своей инициативы. Особенно удались игры-сказки. Для первого раза выбрана была сказка «Белоснежка, или Спящая

царевна», очень понравившаяся детям; в неё и решили играть, чтобы, сыгравшись хорошоенько, устроить представление. В лесу поставили шалаш, где жили гномы, ходившие в лес работать. Дворцом злой царицы-мачехи был наш дом. Оттуда нянька, по приказанию царицы, уводила Белоснежку в лес, где она попадала к карликам. Затем мачеха, узнав от своего зеркальца, что Белоснежка жива, наряжалась старухой-нищей и уходила искать царевну; найдя её в лесу, давала яблоко, и бедняжка погружалась в сон, от которого её избавлял принц.

Игра эта обставлялась некоторой таинственностью, и других колонистов просили не любопытствовать. Постепенно игра усложнялась, появлялись костюмы, определённые слова, песни карликов и танцы. Попробовала даже сотрудница записать вкратце детские слова, но это было трудно: каждый раз придумывались всё новые и новые подробности.

Наконец, дети решили устроить так: одеть всех в костюмы, а из шалаша сделать при помощи разноцветных одеял настоящей дом; они взяли нашу посуду и ложки для пир карликов и устроили настоящее представление, на которое приглашены были остальные колонисты. Маленькие фигурки в белых костюмах, красные шапки, бороды и фартуки гномов, молодые берёзки, освещённые солнцем и свежая зелень травы создали очень живописную картину. Все очень одобрили затею маленьких, давших начало весьма интересным начинаниям. В конце лета была разыграна ещё сказка «Василиса Премудрая», в которой участвовал кое-кто из старших.

Маленькие вносили очень хороший тон в жизнь колонии; их дружные игры, исполнительность в работах и сплочённость были очень приятны, и у более старших колонистов всегда пробуждалось хорошее чувство заботливости по отношению к ним. В дежурствах их группа участвовала наравне со всеми, выполняя, конечно, более лёгкую работу.

Вторую группу составляли 25 мальчиков, от 12 до 15 лет, т. е. в том возрасте, когда формируется «настоящий» мальчик, для которого «быть сильным» есть своего рода идеал, а «нежности» вызывают несколько презрительное отношение: он уже часто в своей жизни слышит,

что он — не маленький и мог бы заняться чем-нибудь более серьёзным.

В общем эта группа, конечно, далеко не однородная по отделельным характерам, обладала одним общим свойством: в ней была большая подвижность и жизнерадостность. От неё исходили новые предприятия, игры, прогулки, шалости; она не только наполняла колонию своим шумным движением, но и была в то же время истинным центром колонии, определявшим её общее настроение и трудовую жизнь. Благодаря своей многочисленности мальчики этой группы входили постоянно во все дежурства и многие отделёльные работы. В работе своей они очень ценили физическое упражнение, нечто вроде гимнастики, «развитие мускулов», как определяло большинство из них пользу от работы в прошлогодней анкете.

Как было сказано выше, мы придавали большое значение тому, чтобы дети не ограничивались работой в каком-либо одном отделе колонии, а участвовали понемногу всюду; быть может, благодаря этому техника работы и проигрывала, но зато дети принимали большее участие во всех делах колонии, знали многие формы работы, которые были необходимы для достижения общей всем цели.

К середине этого лета работы настолько наладились, настолько ясно стало отношение ребят к нам, что можно было дать серьёзный толчок детской мысли, и в нашем журнале сотрудник написал следующее:

«Третий год* существует наша колония. И в этом году как-то чувствуется, что у колонии гораздо больше друзей, чем раньше, и как подумаешь о всех колонистах, и больших и маленьких, то становится тепло на сердце. И у меня теперь больше друзей; когда застанешь маленького человека за работой, подойдёшь к нему, поговоришь и увидишь, что он знает, зачем работает и как нужно работать; когда он просто и деловито подойдёт поговорить о своём деле, то радуешься, что исполнилось давнишнее желание устроить детское царство.

Немало понаделали дел наши колонисты. Всё больше и больше наша дикая, испорченная и заброшенная людьми земля получает вид места, по которому прошли заботливые руки человека. Я думаю, что всякий наш гость должен почувствовать это, а когда увидит, что всё

сделали главным образом дети, то почувствует уважение к жизни колонии.

Везде у нас труд, везде маленькие работают рядом о большими, а очень часто маленькие — и сами по себе, и всё чаще и чаще бывает, что на колонистов совсем можно положиться.

Все уже, думаю, знают, что надо делать и как работать. И не надо бросать новых привычек, а пора подумать ещё об одном деле: колония наша должна жить не одним только трудом, но и хорошим бычаем. Об этом, о хорошей жизни, надо всем думать. Хороша такая жизнь, которая даёт больше друзей. Хорошо жить так, чтобы не было мысли: «Отделал своё — и всё тут, отработал часы — и ни до кого дела нет!»

Хорошо ещё, чтобы была забота о других колонистах, о том, чтобы уступать, посчитаться с желанием другого: «Тебе трудно, дай я тебе помогу!» — такие слова будут означать, что в колонии наступает не только трудовая, но и хорошая жизнь.

Хорошо бы ещё колонистам знать про всю колонию — где и для чего делают всякие работы. Некоторые из наших ребят взяли и везде работать, и везде помогать, и со всем знакомиться. Это хороший почин, и хорошо было бы, если бы у них хватило пороку надолго.

Если попривыкнут наши колонисты думать обо всём, что у нас происходит, если вся наша жизнь будет для них понятна, то они больше полюбят колонию и приложат больше стараний о её процветании. Если так будет, то меньше будем скучать, а больше радоваться; меньше будет ссор, а больше товарищества и дружбы, не будет жалоб — это уже наскучит, и на смену придёт безобидная шутка и радостный смех!»

После прочтения журнала с этой заметкой к сотруднику подошли трое мальчиков и сказали, что они «согласны, только — что нужно для этого делать?»

Сотрудник предложил им следующее: обойти все границы колонии, обойти всю усадьбу и заметить, где какие недостатки, затем начать работать, исправлять, доделывать, придумывать, что можно ещё нового сделать, и если всё хорошо, то и начинать самим новую работу; а если кто будет просить помочь, то не отказываться. «И вы с нами будете? А то как же нам одним?» — «И я буду».

И вот, когда, обойдя колонию, мальчики наметили себе работу, то было очень трогательно слышать, как к сотруднику то тот, то другой прибегал со словами: «Я своё дело сделал. Что ещё?» Работали они в общем больше, чем другие колонисты, и всё-таки были всё время оживлены и хорошо настроены. Что это было настоящее, не напускное, не разыгрывание важной роли, не выдвигание себя перед другими, указывает и общее очень хорошее отношение к ним остальных ребят. Все трое были очень дружны и отличались удивительным благодушием. Любимым их занятием были новые работы: устройство кирпичного колодца для нашего нового ключа и бетонного бассейна ниже его, откуда брали воду для мытья посуды и в куб, чтобы не засорять ключа. Они же начали делать бетонные ящики для фильтров при канализации из кухни и помогали большим при кладке большого кирпичного бассейна для водопровода.

Но не только работой занимались они: ни одна игра не проходила без их участия, и, таким образом, они были очень оживлёнными участниками жизни своих товарищей. Живые темпераменты ребят и их жажда деятельности дали возможность провести с ними ещё одну очень интересную работу, в которой так ярко сказались художественные инстинкты детей.

Во время наших прежних представлений, как было сказано выше, дети довольно часто разыгрывали маленькие сценки собственного сочинения. Обыкновенно это бывали иллюстрации басен, анекдотов и рассказов, к которым много прибавлялось своего, так как подлинное слова сохранялись в памяти отрывками. Однажды старшие колонисты симпровизировали очень забавную сценку — пародию на нашу жизнь в колонии. Тогда-то и возникла у нас мысль сочинить самим пьесу для спектакля. Чтобы вернее найти подходящую тему, сотрудник, предложивший осуществить эту мысль средней группе мальчиков, обратился к собственным воспоминаниям детства, где, как водится, большую роль играли путешествия, индейцы, дикари и т. п., всегда столь милые и понятные детскому сердцу вещи. Все желающие участвовать в новом деле сошлись для обсуждения в общую комнату.

— Я предлагаю вам, — начал сотрудник, — вот что: вместо того, чтобы ехать мне в Москву выбирать подходящую пьесу, давайте сочиним сами. Для этого надо

начала согласиться всем, что мы будем представлять: нужно, чтобы всем было интересно. Например, можно представить жизнь индейцев.

— Как это индейцев?

— Да вот изобразить, как они живут, лагерь их, самим одеться по-индейски, устроить военный танец вокруг костра, а там к ним попадёт кто-нибудь из европейцев в плен, потом его освобождают свои...

Ребята задумались. Неопределённость темы, очевидно, не вызывала живого отклика.

— А вот можно что-нибудь из своей жизни изобразить, — предложил один из мальчиков.

— Да что про себя: это всё известно, — возражает другой.

— Мало ли что известно, а можно своё придумать, небывалое.

Сотрудник поддерживает робкое предложение: «Можно и про себя: например, мальчики отправляются путешествовать и с ними происходят различные приключения».

— И к индейцам пусть попадут, — подхватывает с насмешкой маленький скептик. Все смеются.

— Ну, что же, пусть и к индейцам, — упорствует сотрудник, у которого уже складывается тема.

— А индейцы съедят: кто же представлять будет?

Смех не унимается, интерес к индейцам разгорается.

За индейцев заступает знаток индейской жизни, большой любитель книг, худенький Саня Лушин, «учёный», по определению колонистов:

— Индейцы — не людоеды: они только скаल्प снимают, — заявляет он серьёзным тоном.

— Тоже невесело!

Опять взрыв смеха.

— Стойте, ребяташки! — говорит сотрудник. — Я вот что придумал: пусть, положим, Саня, который про всё знает, подготовит компанию ребят отправиться в Америку — ну, хоть золото добывать.

— Да, там, на Аляске, очень много золота, — подтверждает учёный Саня.

— Ну, вот. Соберёт он компанию, а по дороге с ним посорится его товарищ, с которым он всё дело затеял. Товарищ убежит и соберёт своих друзей, расскажет им, в чём дело, и подговорит нарядиться индейцами и совершить неожиданное нападение «на Саню с товарищами».

Те со страхом отдадут индейцам все свои вещи, и путешествие окончится всеобщим смехом.

— Давай, ребята! Я — индеец. Кто ещё?

— И я, и я! — мигом все оказались индейцами.

Тут выступает расудительный Саня:

— Всем нельзя индейцами, надо и путешественниками быть. Я буду путешественником, и ещё нужно кого-нибудь. Мы соберёмся отдельно и решим, что нам делать, а вы между собой тоже.

Такие обсуждения по партиям были уже детям знакомы по прошлогодней игре «апахов и команчей», в которой Саня играл видную роль.

— Ну, а нам-то что же? Главное — костюмы как сделать?

— Это-то просто, — объясняет сотрудник, — теперь жарко, можно прямо раздеться, засучить штаны повыше, устроить татуировку, утыкать перьями голову и вокруг шеи цветные ожерелья из тряпочек.

— Да, у нас цветной бумага — сколько! Можно из неё?

— Очень хорошо.

— Ну, найдём, кому костюмы делать!

— Перепишите только, кто у вас представлять будет! — кричит сотрудник уже вслед.

— Ладно, ладно! — и нетерпеливые индейцы исчезают. Сотрудник остаётся вдвоём с Саней.

— Ну, что ж, давай с тобой обдумывать. Сейчас принесу бумагу и запишу, что мы с тобой сочинили.

Но бумага не очень помогла делу, и записывание того, что надо говорить каждому путешественнику, не пошло дальше первой страницы. Всё-таки выяснилось в общем, как должна была проходить сцена. Сначала путешественники едут лесом по дороге. У них — двуколка, на которой лежат припасы, брезент для палатки, чайник, спиртовка. Вечер. Ребята расползаются на отдых. Кипитится вода для чая. Идут рассказы, как кто убежал из дому. Саня рассказывает о добыче золота. Женя, его товарищ, с которым они сговорились раньше и подбили других на путешествие, отводит Саню в сторону и говорит, что надо выбирать начальника. И пусть начальником будет он, Женя. Тогда они с Саней поделят всю добычу. Но Саня не соглашается и идёт к костру, который предусмотрительно разведён на полянке в

предупреждение от диких зверей, и говорит: «Надо обязательно выбрать начальника, иначе ни одной экспедиции не бывает». Все выбирают Саню. Женя протестует, ссорится, грозит. Его выгоняют. Тогда Женя, обидевшись, подговаривает товарищей нарядиться индейцами, засесть на пути каравана и изобразить жизнь индейского лагеря: зажечь костёр, курить по череду трубку, плясать военный танец, пускать стрелы, чтобы были видны приговления к какому-то сражению. Саня ещё раньше сговаривался с Женей, что надо высылать вперёд разведчиков; вот такой разведчик и пойдёт впереди каравана, увидит настоящих индейцев за кустами и побежит назад сообщить остальным. Утром, когда путешественники только встают, раздаётся свист и происходит нападение индейцев. Путешественники в страхе лезут на деревья. Индейцы, не видя их, увозят двуколку со всем имуществом. Путешественники плачут, упрекают Саню. Подымается шум, среди которого опять появляются индейцы. Все бросаются на колени. Тут индейцы хохочут, и всё раскрывается. Ребята идут домой.

Таков получился остов пьесы. Когда всё содержание её было записано, сотрудник с Саней пошли искать артистов. Последние были уже в бане, полуголые. Большинство оказалось почти готовыми. Индейцы с бронзовыми от загара телами щеголяли в лёгких поясах, перьях и ожерельях на руках и шее; на голове красовались фантастические уборы. Они с одушевлением исполняли дикий воинственный танец. Всё это сильно подняло дух, и сразу решено было приступить к первой репетиции.

Саня вошёл в свою роль, которая ему, как книжному человеку, очень подходила, и добросовестно выкладывал свои познания. Путешественники всё время менялись: кому удавалось сказать к стати фразу, того уговаривали бросить индейцев и перейти к Сане, но охотников нашлось немного — насилу набралось пятеро, и Женя — будущий вождь индейцев — шестой.

— А где же играть будем?

— Да прямо у нас на дорожках, среди леса.

— А публика?

— А публика будет ходить с места на место.

Так просто были улажены все затруднения.

В день спектакля у нас состоялись две репетиции,

которые в смысле действия прошли довольно вяло, но зато все артисты уже знали те места, где собираться, откуда производить нападение, по какой дорожке бежать, чтобы не видела публика.

Самое представление прошло гораздо живее репетиций. Возбуждение придало артистам храбрости, и они без запинок вели разговор, иногда, впрочем, шёлпотом или глазами показывая друг другу, что надо делать. Публика наша не взыскивала за неудобства передвижения своего вслед за развитием действия — с полянки, где остановились путешественники, к кустам, за которыми горел костёр живописных индейцев, которые, кажется, были более всех довольны.

Успех этого первого опыта побудил сотрудника дать детям в следующий раз более сложную задачу и обратить особое внимание на то, чтобы самый процесс соиздания пьесы был проведён детьми более самостоятельно. К стати, выяснилось очень важное обстоятельство: для успеха построения дети должны быть одеты в подходящие костюмы и загримированы, тогда они гораздо легче входят в свои роли. Этот реализм, очевидно, был очень нужен для маленьких артистов.

В начале августа решено было устроить прощальный спектакль и пригласить на него побольше гостей. Детям не хотелось ударить лицом в грязь.

Тема, заданная сотрудником, была такова: есть на свете старуха-волшебница, которой очень хочется встретиться доброму человеку. И вот сидит она у дороги в виде нищей и просит милостыню. Мимо неё проходят разные люди. Никто не хочет подать старухе, вид которой довольно неприятен, кроме одного парня, да и тот навеселе; но у него ничего нет, всё пропил, и случайно он находит какую-то завалившуюся копейку и подаёт «бабушке». Старуха обрадовалась и в награду даёт парню волшебную бала-лашку, которая может сослужить хорошую службу; если на ней играть, то все неудержимо начинают плясать. Затем идут приключения парня, которые надо выдумать уже самим ребятам. Быть счастливым — это стать богатым, вот первое, что пришло в голову. Но как это сделать? Первое предложение такое — пусть парень спасёт кого-нибудь от разбойников: вот и деньги может получить в награду. Все схватываются за эту мысль. Ещё

бы! Много движения, возни, нападение — всё это так отвечает воинственному духу мальчиков.

— А то можно и от дикого зверя спасти, — предлагает сотрудник, заранее представляя себе грубую сцену с разбойниками, — пускай медведь нападает на охотника у берлоги, а парень спасает его своей балалайкой; смешно будет, когда медведь начнёт плясать.

Но ребятам не хочется расстаться с разбойниками, и они примирили эти две сцены тем, что деньги парень получает от охотника в благодарность за спасение, а разбойники грабят его самого. Парень упрощает отдать ему хоть балалайку и, получив её, начинает играть: разбойники пляшут и отдают всё парню, лишь бы он перестал играть.

Так создались три сцены. Это было мало для большого представления, какое предполагалось устроить, но ребята устали придумывать, хотелось им поскорее приступить к делу, поэтому дальнейшую разработку отложили.

— Давайте начнём сразу репетицию, — предлагает сотрудник и рисует картину действия: — Дорога. По сторонам лес и кусты. Из-за большого куста выходит старуха. Какая она из себя?

— Ну, как нищенка: ходит сторбившись, одета в лохмотья, нечёсаная, в руках палка, за спиной котомка, — быстро, наперебой рисуют ребята образ старухи.

— А как говорит?

— Говорит вот так, — представляет её хриплым голосом здоровенный краснощёкий Костя: — «Подайте, милостыньку».

— Ведь она и колдунья, стало быть, страшная.

— Нет, не колдунья, а волшебница, и она добрая.

— Ладно, пускай волшебница, а она ведь милостыню просит, ей не дают, потому что неприятная, — стало быть, и голос хриплый.

Такие переkreцивающиеся наперебой фразы раздавались по поводу старушечьего образа.

— Ну, Феша, начинай!

Феша уже раньше играл женскую роль, поэтому его выбрали первым.

Старуха выходит, ищет слов. Ей подсказывают. Но она, видимо, теряется, и беспомощно вертится во все

стороны, прислушиваясь к указаниям. Сотрудник не выдерживает, чувствую, что надо дать живое начало.

— Дай, Феша, мне палку! — говорит, горбится, хрипит и начинает импровизировать речь старухи.

— Это я могу, — не выдерживает Костя, в котором уже проснулось артистическое чувство. Он берёт палку и уходит за дверь. Через полминуты оттуда выходит старушонка уже настоящая.

— Вот так! Вот так! — кричат увлечённые ребята. Старуха садится на табуретку со словами: «Посижу-ка я, посмотрю — не пройдёт ли какой добрый человек».

А уже первый прохожий идёт, заложив руки за спину и выпятив живот, — кулец.

— Дай-ка и я пройдуся! — не выдерживает ещё один любитель; нашлись и ещё охотники, старуху уже тормошат — ребята увлеклись. Старуха отбивается палкой.

— Пстойте, ребята, а парня-то забыли!

Исполнителем роли парня выбирается довольно разбитной по ухваткам плясун Лёня. Но тут вся его ловкость почему-то пропала: он стоит, покачиваясь, перед старухой и твердит первую фразу, которую придумал: «Что подельываешь, бабушка?» Вступает сотрудник, указывающий ребятам, что, очевидно, кандидат на парня — неудачен. Но у ребят чутьё другое:

— Это он сейчас так, а после разойдётся.

Первая сцена кончилась, причём ясно было, что старуха «ведёт за собой» всех остальных. Сотрудник делает такое предложение: пусть участвующие в первой сцене репетируют её отдельно, про себя, и прибавляют, что хотят. Остальные видели уже, как можно разыгрывать сцену: пусть распеделят между собой роли и стовариваются. А после можно устроить репетицию: кто готов, пусть приходит и играет; все остальные соберутся, будут смотреть и делать замечания. Конечно, если кто хочет, то пусть приходит посоветоваться и к сотруднику. Таким образом, судьба пьесы была вполне в руках детей.

Дело началось быть очень интересным. Наблюдая за тем, как дети принялись разрабатывать пьесу, можно было отметить одну очень важную сторону — достаточно было кому-нибудь «первому» схватить верный тон, как другие сейчас же откликнулись на ту искру непосредственной жизни, которая чувствовалась в живом слове, и быстро находили естественные, очень простые и верные

интонации, желая сказать что-либо своё, проявить свою наблюдательность, свой запас переживаний и впечатлений.

На то, что происходило в первой сцене, нельзя было смотреть иначе, как на **непосредственную игру творчества, способность к которому глубоко заложена в детском характере**. В дальнейшем было много чёрточек, фраз, характерных движений, жестов, которые могли только укрепить первое впечатление.

Спектакль назначен был в воскресенье. Разговоры о пьесе начались за неделю, и первая репетиция состоялась уже в понедельник. Но затем проходили дни, а артисты всё не могли собраться устроить новой репетиции. Казалось даже, что дело совершенно заглохло. Между тем сотрудник не делал никаких шагов к тому, чтобы подвинуть его вперёд. Дня за три до спектакля стали появляться поодиночке участники, и все — с одинаковым вопросом: «Что же, будем мы играть?»

— Как хотите; ко мне ещё никто не приходил.

— А вы созовите всех.

— Нет, я только помогаю, а пьесу ребята составляют сами. Если интересно, то примутся все, а если не интересно, то всё равно хорошего не выйдет.

Приходит ещё один.

— Ну, как же?

— Что?

— Насчёт представления?

— Не знаю.

— Надо ребят звать, а то не успеем.

— Зови.

Через некоторое время приходят за сотрудником на огород.

— Все собрались, зовут тебя на репетицию.

— Что же, готовился кто из вас?

— Мы, разбойники, все согласились, а вот с охотником ничего не выходит. (Охотником оказался тот же Феша, потерпевший неудачу с ролью старухи.)

— Давайте начнём сцену с разбойниками, — говорит сотрудник.

Разбойники прилегли за кустом. По дороге молча идёт мальчик, избражающий купца. Разом все выскакивают и грабят купца, усиленно обращающая внимание на то, чтобы побольше произвести шуму.

— Это и всё, что вы придумали?

— Всё и есть.

— Для того чтобы так нашуметь, особенно стовариваться не нужно. Потолкуем сейчас. Купец у вас идёт по дороге, и никто про него не знает — весёлый ли он, боится ли,— ведь надо принять это во внимание. А разбойники тоже должны посмотреть, какой из себя купец; может, он себя не даст в обиду.

— Купца-то я знаю, как играть, да всё думал, может, не так.

— Ты и покажи другим пример, только не стесняйся, делай всё, что хочешь.

И вот опять по дороге идёт купец; он, очевидно, весел, да так, что и веселья сдержать не может: размахивая руками и пожимая плечами, он разговаривает сам с собой; видно, что всем он доволен, деньги получил неожиданно. Теперь дома ждёт жена и не знает ничего; а он ей сейчас — деньги на стол.

Разбойники уже не выскакивают сразу, а выходит только один, который пристаёт к купцу с просьбой дать что-нибудь на бедность. Купец отталкивает назойливого нищего, тот кричит своими ребятами; выскакивают разбойники, требуют у купца деньги. Купец отдаёт и в страхе убегает.

Разбойники собираются делить добычу, как вдруг появляется парень с балалайкой. У него без разговоров отнимают и новый пиджак, и узелок с гостинцами, и балалайку. Парень садится неожиданно на землю и начинает плакать так, что разбойники даже разжалобились:

— Чего тебе ещё?

— Хоть балалайку-то отдайте,— плачет парень.— Одно моё утешение.

Балалайку ему отдают. Парень играет, разбойники пляшут до изнеможения, валяясь на землю от усталости, но всё-таки двигают в такт песни руками и ногами.

Теперь сила на стороне парня. Он отбирает у разбойников всё, что они награбили, и торжествует, но в это время неожиданно возвращается купец с мужиками и, видя парня вместе с отнятым у него же добром, считает его за одного из разбойников и велит мужикам вести парня к судье.

Тут с обижённым видом вмешивается давно ждавший очереди охотник. Про него забыли, а он не знает,

как ему играть. «Вот ружьё сделал», — показывает он на кусок выпиленной дощечки. Ребята собираются вокруг сотрудника. Тот уже знает, что нужно делать: для них очень важно выяснить себе всю картину, **н а с т р о е н и е** сцены.

— Представьте себе, — говорит сотрудник, — облаву. Охотник трусливый и хвастун. Его приводят на место, показывают, где стать поудобнее; он не слушает и говорит, что сам всё знает. И вот он остаётся один и невольно представляет себе ужасную сцену, как выскочит на него медведь. Вдали подымаются крики загонщиков, пугающие зверей. Охотник совсем растерялся. И действительно, выскакивает медведь и наваливается на охотника. Тут по дороге проходит парень, который и спасает охотника при помощи своей балалайки.

— Ну, как? Можешь?

— Попробую, — нерешительно говорит охотник. Он становится под деревом и, выставив ружьё, начинает во все стороны вертеться.

— Что же разговор?

— С кем же говорить? — резонно отвечает с досадой Феша.

— Постой, я с тобой буду, вроде как лесничий, — говорит один из разбойников, уводит охотника в сторону и там переговаривается с ним. В это время вдаль начинают кричать загонщики.

— Рано, рано ещё! — бежит сюда добровольный режиссёр.

Крики смолкли. Из леса выходят лесничий и охотник.

— Вот вам хорошее место здесь, за деревом, — объясняет лесничий, — вы можете спрятаться, и медведь вас не увидит. А как побегит на вас, так и стреляйте!

— Ладно, учи учёного, — прерывает охотник, — я и львов стрелял, а тут — медведь. Ступай, ступай, я и один оправлюсь!

Лесничий уходит. Тишина. Охотник начинает говорить сам с собою. «Вот отсюда ползет медведь, и я выстрелю. А вдруг не попаду, и он на меня... Куда тогда деваться? А я на дерево...» В это время издали доносится крик. Охотник вертится кругом, трясётся и действительно собирается лезть на дерево, как вдруг из-за кустов выскакивает тот же лесник в виде медведя и подминает охотника под себя. «Ай, ай!» — голосит охотник.

Парень с балалажкой стоит тут же, он начинает играть, и медведь тихонько подёргивается. Кругом советуют парню: «Вали сильней!» Медведь уже бросил охотника и, постепенно подымаясь, становится на задние лапы, пляшет и исчезает в лесу.

— Ну, вот приблизительно так, — замечает сотрудник, — только надо «как следует» уговориться с лесником и придумать себе побольше слов, то охотник храбрится, то хвастает; потом надо изобразить, как сначала он пугается мало-помалу и уже дрожит от страха и совсем потерялся, когда раздаются крики. Теперь подумайте сами, как лучше провести обе эти сцены, а завтра опять устроим репетицию, а то и две, если нужно будет.

— А поспеем?

— Поспеть-то поспеем: лишь бы у вас хватило духу!

Но уже сам сотрудник видит, что «духу» должно хватить, если удастся дать понять детям весь ход представления, чтобы каждый знал не только свою роль, но и всё остальное, что происходит в других местах нашей пьесы; таким образом может быть создан в детском представлении кусочек, хотя и фантастической жизни-игры, в которую дети станут играть со всей естественностью, на какую способны. Только с этой точки зрения и может стать понятной та простота, лёгкость в проявлении детской наблюдательности, которую можно видеть было на самом спектакле. Дети не играли пьесу, а играли в очень сложную, но интересную для них игру. В том, что отдельные маленькие артисты найдут верный тон, можно было не сомневаться: другие сейчас же почувствуют живое лицо в своём товарище и пойдут за ним. Но ещё нужна и самая обстановка, в которой легко можно было бы почувствовать и свою «линию поведения». Так и было во время репетиции: даже тяжёлому на подъём Феше «почувствовалась» полная ожидания тишина перед началом облавы, заставившая его впереди видеть нечто страшное; после этих моментов тишины крики загонщиков действительно пугают; и ему кажется, что теперь уже ничего не поделаешь, деваться некуда. Некогда уже думать о словах роли, которые всё как-то не идут в голову, а надо ждать медведя, и толстый Феша уже вертится во все стороны со своим ружьём, и глаза у него растерянные, и мы видим, что охотник испугался и хочет

действительно лезть на дерево, да и залез бы, не помешай медведь.

В каждой сцене нужно было помогать детям в **самых основных вещах — говорить о характере, об окружающей обстановке, о настроении**. Дети понимали всё по-своему очень тонко и быстро находили те слова, которые отвечали переживаемой сцене. Так постепенно забава превращалась в глазах сотрудника в очень интересную и серьёзную работу с детьми, для детей же «представление» всё больше и больше походило на увлекательную игру.

Уже к вечеру во время разговоров с детьми о спектакле выяснились и остальные две сцены — у судьи и у счастливого Мартына с балалайкой. На суде Мартын рассказывает, как всё произошло; но когда дело доходит до балалайки, то судья прерывает его, не веря, что может быть такое чудо на свете. Мартын стоит на своём и для доказательства просит дать ему балалайку. Парень играет, все, и судья в том числе, пляшут. Мартын получает свободу.

Последняя сцена изображает Мартына в богатстве: у него — дом и много слуг. Он сидит один за столом и, не переставая, ест и пьёт. Ему докладывают, что пришла какая-то старуха и спрашивает балалайку. Счастливому парню не хочется расстаться со своим «счастьем», и он сначала велит старуху гнать, а потом зовёт её, придумав средство избавиться от старухи: он заиграет на балалайке, старухе придётся самой плясать, и она отвяжется. Но балалайка вдруг приросла к рукам парня, и он в страхе просит старуху простить его. Старуха отнимает балалайку и уходит.

На следующее утро было две репетиции. На первой провели наскоро последние сцены, повторяли сообща весь ход отдельных действий и установили связь между ними. Затем сотрудник ещё раз обратил внимание детей на характеры всех действующих лиц. Это была очень серьёзная беседа.

После репетиции пошли выбирать на усадьбе места, удобные для представления, где бы и зрителям было хорошо смотреть, и артистам удобно прятаться, выходить и т. д. Вечером, перед самым представлением, вся пьеса наскоро была пройдена уже на месте — это была, так сказать, «техническая» репетиция, чтобы дети знали свои

места и время выходов. Все уже были одеты и загримированы.

Дети так уверенно говорили и так хотели поскорее начать свою «игру», что в успехе трудно было сомневаться. Тем не менее наше представление прошло гораздо живее, чем можно было предполагать.

*

Был прекрасный тихий вечер. Зрителей — и больших, и маленьких — собралось очень много. Чувствовалось большое напряжение ожидания. Публика помещалась на лавках, сбоку дороги. Артистов не видно — все спрятались. Неожиданно из-за куста на дорогу выходит старуха с палкой, в каких-то тряпках и лохмотьях, на ногах огромные лапти. Она вся трясётся. Появление старухи сразу производит впечатление: зрители притихли. Вид её не может внушать симпатии, и первые прохожие, к которым она обращается, смеются над ней. А один даже, очень внимательно оглядев старуху, вдруг сказал:

— Да какая же ты, бабушка, страшная! — и убежал.

Прошёл мимо и купец, посоветовавший строго старухе работать. Старухе не везёт — нет доброго человека. Вдали идёт, пошатываясь, ещё кто-то. Старуха решает испытать и его. Подходит слегка подвыпивший парень, который с полной готовностью, по-дружески сообщает старухе про свои дела — как ему стало горько, как он зашёл в трактор и незаметно всё пропил — сапоги, жилетку и пиджак, а теперь идёт домой.

— И ругать же меня дома будут,— говорит он в заключение,— что же теперь поделаешь, уж прости ты меня!

Старуха просит подать что-нибудь.

— Подал бы, да у самого ничего нет, прости ты меня, старушка.

Но всё-таки парень шарит по карманам; что-то нашлось. Он с торжеством показывает нищей:

— Стой, нашлась копейка. Бери, бабушка, на своё счастье хоть копейку!

Парню надо идти дальше. Старуха зовёт его и дарит волшебную балалайку.

— Это хорошая штука,— говорит парень, но, видно, не верит в волшебную силу подарка. Осмотрев её со всех

сторон, он начинает петь и наигрывать. Старуха уморительно пляшет, задыхается, роняет палку и просит парня перестать:

— Устала.

Мартын смеётся и хочет уходить. Но старуха подзывает его опять и, грозя пальцем, говорит:

— Балалайку я тебе даю на год, добывай себе счастье, но ты должен прийти сюда и сам отдать её мне, если хочешь сохранить счастье. Прощай! — и исчезает за кустом.

Удивительно было, что мальчик, игравший парня, стал и двигаться и говорить совсем по-иному, чем на репетициях, где чувствовалась у него очень большая связанность. Теперь это было живое лицо, маленький артист, очень хорошо подметивший добродушие и душевную растворённость слегка подвыпившего человека.

Следующая сцена — облава и нападение медведя.

Сотрудник, работавший вместе с детьми, пошёл посмотреть, все ли на своих местах. Сейчас же, за большой кучей дёрна, лежали разбойники, готовившиеся к следующей картине, а вдали спрятались загонщики. Дети успокоительно шептали: «Все готовы, не бойся, начинай!»

Феша, охотник, совсем разошёлся, и его привычка повторять в замешательстве одну и ту же фразу, была здесь как нельзя более кстати.

— Батюшки, что же мне делать? — причитал он, вертясь во все стороны с ружьём.

Но вот сзади нападает медведь; отчаянный крик раздаётся в лесу, и на помощь спешит парень с балалайкой. Первым его движением было — бросить балалайку и бежать на подмогу; но, увидя медведя, с которым одним криком ничего нельзя поделать, он решается на крайнее средство — схватывает балалайку и начинает играть изо всех сил.

Медведь, очевидно, очень хорошо «приготовился» к музыкальным впечатлениям: он в изумлении перестаёт терзать бедного охотника, начинает подёргиваться в такт музыки, встаёт на задние лапы, пресмешно танцует и под хохот публики бросается бежать. Охотник, ничего не помня, бежит тоже. Парень очень поражён могуществом балалайки. Вдруг появляется снова охотник: он весь ещё полон страха, озирается по сторонам, но должен поблагодарить спасителя.

— Пойдём ко мне, — шёлпотом уговаривает он парня, — я тебя напою, накормлю и одену; будешь жить, как захочешь.

Парень отказывается:

— Мне нельзя, на работу надо, а вот если пятёрочку пожертвуешь, то спасибо скажу!

— Что ты — пятёрочку: на тебе тысячу!

Мартын не хочет: «Куда так много?» Но охотник торопится вручить ему свою тысячу и, озираясь по сторонам, бежит домой: испуг его ещё не прошёл. Удивлению парня нет границ. В восхищении он предаётся мечтам, которые пока не идут дальше сапог с «набором», первой что ни на есть «тройки» и часов.

В этих сценах детьми были симпривизированы новые чёрточки — упрёк купца старухе: «Лучше бы работала» (очевидно, купец был сердит — шёл за деньгами и не знал, придётся ли получить), новый тон парня, пустившегося в откровенность со старухой; её танец, замешательство парня при встрече с медведем, сначала не знавшего что делать с балалайкой, к которой он ещё не привык, испуганные движения и шёлпот охотника, вернувшегося к своему избавителю.

Всего этого не было на репетициях; поэтому можно с уверенностью сказать, что у детей проявилось инстинктивное чувство, давшее возможность передать характеры выпившего парня — души нараспашку, хитрой старухи, не поленившейся на себе доказать силу балалайки, хвастуна-охотника, который, убедившись уже в могуществе парня, освободившего его от медведя, не может преодолеть своей трусости.

Дети впоследствии не вспоминали этих удачных моментов; очевидно, «творчество» далось им легко, незаметно для них самих, как будто «так и надо было».

Сцена с разбойниками была полна контрастов. Удивителен был купец, начинавший сцену. Ещё не успели дать знак к началу, как он уже стоял на конце дорожки, что-то говорил сам с собой и выразительно махал руками. Он чувствовал себя вполне непринуждённо, как будто никого кругом и не было. Это был очень довольный и собой и своей судьбой человек, радость которого так и рвалась наружу. Он был один, и всё-таки не мог удержаться от того, чтобы, хотя с собой, не поговорить о своих удачах.

Деньги — вот они, в кармане. Он придёт домой, выложит, ни слова не говоря, всю тысячу перед женой: то-то она поразится! Ведь деньги были совсем пропавшие. В своём упоении купец не замечает сгибающегося человека, который появился откуда-то перед ним. Кое-как он соображает сквозь поток своих радостных мечтаний, что встречный просит у него денег. Тут-то он приходит в себя и оглядывает незнакомца с ног до головы. Тон его мелеет. Он становится будничным, но всё же в нём слышится чувство собственного превосходства:

— Ты кто такой? Посмотри на себя: разве ты мне товарищ? Ты знаешь, кто я: ведь я — купец!

Последняя фраза была произнесена чрезвычайно убедительно. Но незнакомец уж очень назойлив, пристаёт. Тогда купец резко отталкивает прощайку. Тот со словами: «А, так ты толкаться!» — зовёт своих товарищей. Происходит очень реальная сцена: у купца отняли его деньги, и он в страхе, не помня себя, убегает. Симпатии публики разбойники не возбуждают: они постарались придать себе слишком страшный вид: как-то неловко были надеты куртки, рубашки — без поясов, шляпы и картузы — на боку; у некоторых были чёрные бороды и усы. Все — босые.

После удачного «дела» разбойники собрались в кучу делить добычу. Но, конечно, возникает ссора, во время которой подходит парень с балалайкой. На него сразу набрасываются, отнимают узелок с платьем, куртку и балалайку. Парня гонят: «Уходи, пока цел!», но Мартын, очутившись без денег и своего сокровища, не может оставить дело так. Надо попытаться выйти из беды. Он садится на краю дороги и плачет навзрыд. Есть жалость и у разбойников — их суровые сердца смягчаются:

— Чего ты там ревьешь? Спасибо скажи, что жив остался!

— Всё отняли, отдайте хоть балалайку на утешение!

— Отдай, ладно, пусть целуется с ней!

Один из разбойников приносит парню его балалайку. Тот очень предпринимательно отходит подальше, останавливается и со словами: «Ну, балаечка, не выдай!» — даёт резкий аккорд. Разбойники все вздрагивают, но ещё не понимают, в чём дело. Ещё резкий аккорд по струнам — и пошла плясовая! Парень видит успех своей балалайки, играет всё быстрее и быстрее.

Разбойники уже задыхаются от усталости. Наконец, начинают просить: «Перестань, пожалуйста, возьми что хочешь, только перестань». Парень не понимает: он видит, что ограбили и ещё кого-то:

— Всё оставьте на месте, что взяли, тогда отпущу!

Разбойники, оцепенелые от ужаса, повинуются. Тогда Мартын кричит: «Бегите отсюда теперь!» Он перестаёт играть, и разбойники убегают.

Зрители переживают сцену вместе с артистами. Всех утешил своим бьющим через край счастьем купец. С неудовольствием смотрели на мрачных разбойников, но зато радостными возгласами встретили парня. Забавное же наказание, постигшее разбойников, возбудило бурный смех. Да и надо сказать, что разбойники, как будто желая вознаградить и себя и зрителей за свои грехи, плясали необычайно усердно. Особенно хорошо влияло на зрителей то, что действие происходило тут же, на той же дороге, около которой они стояли сами. Бывало и так, что артисты, кончив свою сцену, присоединялись к публике и с большим интересом смотрели пьесу.

В сцене суда необычайно комичен был судья Феша, солидно подпрыгивавший на своём месте во время игры на балалайке и опять, по своей привычке, твердивший только одну фразу: «Перестань! Перестань! Перестань!»

Много интересных и опять-таки совершенно неожиданных подробностей было дано в последней сцене. «Счастливый» Мартын сидит за столом. Тут же лежит и балалайка, ставшая, очевидно, для него предметом особой привязанности. Стол накрыт белой скатертью и уставлен всякой посудой. Парень **капризничает** и поминутно гоняет своих слуг то за тем, то за другим. Его ничто не удовлетворяет, всё не так сделано. Но все его прихоти и недовольство — только показные; внутри же он очень доволен. Одно только неприятно: сегодня срок отдавать старухе балалайку. На дорогу он, как говорила ему старуха, не пошёл: авось, думает, так обойдётся. Но не тут-то было: как раз ему докладывают, что пришла какая-то старуха и спрашивает балалайку. Парень хватается за свою драгоценность, прячет её и велит гнать старуху. Прислуга возвращается и второпях объявляет, что старуха не уходит, и слугу с ней никакого

нет: очень больно дерётся палкой, очевидно, старуха непростая. У Мартына мелькает мысль: не провести ли старуху её же балалайкой? Он велит позвать её, но его попытка обмануть волшебницу терпит неудачу: балалайка приросла к рукам.

Конец сцены разыгрался совершенно неожиданно: старуха, отняв балалайку, садится сама за стол и велит парно прислуживать ей так же, как он только что это делал, и капризничает при этом: «Это ты не то принёс, бери назад! Убери чай, что-то расхотелось! Подавать не умеешь! Я раздუმала, ставь опять самовар!» Но не было границ усердию бывшего счастливого лица, боявшегося потерять своё счастье. Он носился взад и вперёд, лишь бы угодить сердитой старухе. Наконец, она напилась, наелась, взяла балалайку и исчезла, сказав на прощанье: «Так-то ты добро забываешь!» Никого, впрочем, «разбитого корыта» не оказалось: Мартын остаётся со всем, что у него было, отнята только у него дальнейшая надежда на «счастье».

Как можно видеть, представление это, в сущности, являлось своеобразной работой детей над своими ролями при непосредственном участии руководителя, дававшего детям очень серьёзные задачи и избегавшего мелочных указаний. Чем дальше разрабатывалась пьеса, тем становилось яснее, что эта форма детской деятельности есть художественная, выразительная игра, имеющая тот же характер, как и игра в куклы.

Есть много сторон детской жизни, глубоких и серьёзных переживаний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются скрытыми, давят и на психику, становясь источником неожиданных странностей, капризов и непонятных заблуждений. Непринуждённая детская игра, дающая простор воображению, отражает в себе жизненный опыт детей; ход её зависит не только от быстроты, ловкости движений и той или другой степени сообразительности, но и от богатства внутренней жизни, развивающейся в душе ребёнка. Таким образом, мы не хотели бы развивать идею детского театра с артистами, талантами и волнующей публикой. Мы хотим, чтобы драматизация вошла в обыденную жизнь вместе, быть может, с другими формами детского «творчества», тогда наши представления-игры уже не станут сопровождаться таким нервным подъёмом, не будут требовать

публики для себя, а заполнят большой пробел в детской жизни, и вырастет здоровое «искусство в жизни детей».

Если в жизни мальчиков большое значение имели наши «представления», то девочек более захватывало другое, более интимное искусство — музыка. Нельзя, разумеется, сказать, чтобы они были более способны к музыке, чем мальчики, но, по нашим наблюдениям, их привлекала та обстановка, которая создавалась при наших музыкальных занятиях. Мы указывали выше на известную консервативность, узость и мелочность девочек, которым так трудно давалась привычка к новому для них укладу жизни. Эти стороны их характеров могли быть объяснены тем, что девочкам приходится больше входить в жизнь своей семьи, чем мальчикам: они больше сидят дома, больше переживают и заражаются настроениями мелких драг и сплетен соседней. Но в то же время они и больше работают в своей семье, у них создаётся много семейственных привычек, развивается склонность к известному, хотя бы самому неприхотливому уюту.

Колония вводила их в новые, более широкие интересы очень медленно и осторожно. Первое время можно было радоваться тому, что девочкам удаётся провести час-другой на порученной им работе без особых ссор и недоразумений. Девочкам нужно было отдохнуть от прежней жизни, их нельзя было сильно тянуть вперёд, предьявлять строгие требования, как это было возможно с мальчиками. Та свобода, которая чувствовалась в колонии, интересные игры, тепло, солнце, хорошая книга, пение — вот что отвлекло их на время от старых привычек. Девочки входили понемножку в нашу жизнь — пели, играли с мальчиками в футбол, ходили с огромным удовольствием купаться и греться на горячем песке под жарким солнцем, участвовали в наших праздниках, но всегда чувствовалась их пассивность, их холодность к колонии, как будто они приехали в гости...

Теперь можно было заметить у них и кое-что новое. Некоторые девочки сильно заинтересовались хозяйством, в особенности мелким. Появилось у них желание улучшить нашу работу в кухне, прачечной, позаботиться о курах, коровах. Раз проявившись, эти интересы стали очень быстро расширяться, и скоро наша кухня оказалась в руках старших девочек, так что да-
же в

присмотре со стороны сотрудников они стали нуждаться сравнительно мало, и то исключительно в области новых практических советов.

Колония становилась уж «своей», поэтому у девочек стала проявляться активность и в других сторонах их жизни. Мы можем припомнить, что девочки первые стали заботиться об уюте своих комнат, хотя в этих комнатах и не создавалось ещё общей жизни, разве только сидели в них во время плохой погоды. Теперь же частенько можно было видеть группу девочек, сидевших за книгами в своей комнате; на столах появлялись цветы и картины, на верхнем же балконе устроился и свой уголок, где маленькие девочки постоянно играли в «куклы» и «гости» при очень оживлённом участии старших. Если раньше девочкам казались чуждыми и непонятными слова сотрудников о деликатности, уважении к жизни другого, о том, что праздное любопытство, подглядывание, подслушивание, чтение чужих писем мешает общей жизни, то теперь девочки стали задумываться над этими вопросами и уже сами начинали чувствовать что-то неподходящее в таких поступках, и не только потому, что отношение сотрудников к ним было отрицательное.

Стала меньше проявляться известная «настороженность» к тем требованиям, которые предъявлялись к девочкам новой для них жизнью. Исчезла и их обособленность — никакая другая группа не входила больше в жизнь колонистов, чем эта: в играх на балконе они присоединялись к маленьким (куклы); на площадке наиболее подвижные из них не уступали мальчикам, а во время спектаклей они играли вместе со старшими колонистами; главное же место в их общественных интересах занимало пение, которое объединяло всех колонистов.

Отдельно стояли две старшие девочки, проводившие почти всё время в сложных хлопотах по хозяйству, а свободное время отдававшие почти исключительно чтению.

В общем относительно девочек можно было прийти к таким заключениям: приобретение ими трудовых привычек шло медленнее, чем у мальчиков, и выражалось пока в домашнем хозяйстве — кухне, хлебопечении, прачечной и в уходе за коровами и курами. Здесь девочки проявляли и интерес и даже некоторую активность. Гораздо меньше интересовали их все остальные работы. От общественной жизни в колонии они всегда стояли

несколько в стороне, но удовлетворения своей личной жизни они стали искать гораздо скорее — это выразилось прежде всего в устройстве своего уголка, в стремлении к уюту, в заботах о маленьких девочках. Совместная жизнь их несколько смягчилась, и в отношениях друг к другу не было уже таких резкостей, как раньше. Одна девочка так выразила свои новые настроения: «Я вот думаю, какие мы здесь все счастливые, что можем жить совсем по-другому. Я раньше ничему не верила, что здесь говорили». Что бы девочки могли начать верить, желать лучшей жизни и любить хорошее, нужна была упорная работа многих лет. Трёх лет было далеко не достаточно. Самое трудное в работе с нашими детьми, особенно со старшими девочками, это было заставить их **п о в е р и т ь** в нашу жизнь, поверить в искренность тех людей, которые работали с ними. Это оказалось не так просто: пришлось пережить много тяжёлых минут, о чём будет рассказано впоследствии. Теперь же задача наша сводилась к тому, чтобы ввести в привычки наших детей новые — живые и глубокие впечатления, всё время изучая их жизнь. Во внесении «нового» играло очень большую роль искусство, именно те впечатления, та обстановка, в какой занятия их происходили в колонии. Занятия эти удалось осуществить более систематично в области музыки; те выводы, к которым мы пришли, дают нам право не останавливаться только на «занятиях», а задумываться над всей музыкальной жизнью детей; и, идя дальше, не ограничиваться музыкой, а искать путей проведения вообще впечатлений искусства в жизнь детей и дать им проявить свои художественные инстинкты, о существовании которых мы не имеем никаких сомнений. Мы приводим мысли, наблюдения и выводы нашей сотрудницы — руководительницы музыкальными занятиями с детьми.

«С самого начала своих занятий музыкой с детьми я искала таких путей, таких приёмов, которые дали бы возможность детям почувствовать радость от переживания музыкальных впечатлений, развить детский вкус и понимание для восприятия музыки и побудить детей таким образом к тому, чтобы они сами пожелали работать, добиваться всё более и более серьёзного удовлетворения для себя. Прежде чем учить детей нотам, счёту и прочему, хотелось дать им возможность почувствовать

р а д о с т ь о т м у з ы к и, надо было поискать таких музыкальных произведений, которые были бы детям понятны и захватили их. Несомненно, обучение музыкальной грамоте должно было войти в план занятий, но лишь постольку и тогда, когда необходимость этих знаний станет понятной детям, так как она поможет лучше, быстрее учиться и совершеннее исполнять музыку, которая им уже нравится и которая вносит много хорошего и ценного в их жизнь. Что музыка может дать детям радость, что потребность в ней существует в детской душе и что значение её в детской жизни больше, чем это кажется с первого взгляда, для меня несомненно. Поэтому, естественно, довольно скоро должен наступить момент, когда дети почувствуют, что музыка нужна, и захотят поработать над ней.

Итак, надо было искать и пробовать, как к этому моменту подойти: большим затруднением было то обстоятельство, что у городских детей уже очень рано портится вкус. Фабричная песня в её худших образцах, гаммофон в трактирах и механическое пианино в кинематографах сделали уже своё дело, и приходилось считаться с тем, что у детей уже существуют свои понятия о «хорошей» музыке, о «настоящей» песне, и бороться с их предубеждением.

Начала я с детских простеньких, с хорошими словами песен Гречанинова, Бекман и др. * Пели дети просто, по слуху, заучивая музыку и слова отдельными фразами. Ни на одной песне мы долго не останавливались. Ребята пели всё-таки охотно, просили часто повторять прежде выученные песни, но особого увлечения и одушевления у них не было. Казалось, что дети любят ту или другую песню за слова, за содержание, музыка же им чужда.

Я хотела, чтобы дети, хотя в самом примитивном виде, пережили тот подъём, который даёт искусство. Предложила я детям устроить спектакль с пением. Удалось найти очень хорошую песню. Это была музыкальная сказка А. В. Никольского «В лесу», написанная просто, но со вкусом и с большой любовью. Сюжет её — рассказ о девочке, заблудившейся в лесу и во сне увидевшей, как она попала в царство гномов и фей. Действие сопровождается красивой музыкой, танцами, хорошими музыкальными вступлениями к отдельным картинам. В сказке

хотя сравнительно немного, но встречаются очень изящные хоровые номера с красивой, ясной мелодией и несколько замысловатой для неподготовленного уха гармонией. Всё это очень подходило к моим задачам. На первом занятии я прочла детям сказку, сыграла несколько музыкальных отрывков, иллюстрирующих действие, и кое-что спела. Пьеса всем понравилась, дети распределили роли, и началась работа.

Нот никто не знал, и дети всё учили с голоса. Я пела одно и то же несколько раз подряд; все слушали, а потом повторяли фразу за фразой. Если бывали ошибки, то их находили путём сравнения с тем, как это место звучит на рояле. Я сразу стала обращать внимание на ритм: выученную фразу дети не только пели, но и говорили в такт музыке. Такие упражнения очень нравились. При изучении мелодии я обращала внимание детей на то, какие звуки выше, какие ниже (гуще или тоньше); и иногда на доске изображала приблизительный ход мелодии при помощи линий, идущих вверх или вниз. Все эти упражнения шли попутно с разучиванием хора и служили некоторой помощью для детей — они давали первые понятия о принципах, на которых построена запись музыкальной речи, её мелодий. Я управляла хором и очень заботилась о том, чтобы дети привыкали следить за движением руки. Дети делали довольно много упражнений, которые пока были тесно связаны с разучиванием и служили для усвоения того, что плохо удавалось. Это не было скучно, дело казалось им довольно интересным, да к тому же и не бывало продолжительным. Все наши первые упражнения вели главным образом к развитию слуха. Но вот произошёл один знаменательный факт. Мы разучивали небольшой однополосный хорик гномов, вернувшихся очень уставшими после обхода своего царства. Дети легко и скоро запомнили несколько небольших фраз. Я спела им хор ещё раз, сделала яркие оттенки — большое усилие в середине,— и закончила фразу очень тихо. Дети обратили внимание на то, что «так выходит гораздо лучше», и захотели попробовать сделать так же. Но «пробовать» пришлось довольно долго, и спеть всё не удавалось. Тогда я предложила сказать всю фразу, усиливая и ослабляя голос. Стало, наконец, удаваться и пение; надо было видеть восторг детей!

Хор стали повторять много раз для собственного удовольствия. Таково было наше первое «музыкальное впечатление». Дети были рады, а я почувствовала себя несколько твёрже на намеченном пути. Теперь надо было позаботиться о том, чтобы дети постоянно могли получать подобные впечатления, переживания от музыки и привыкали бы к ним.

Так подвигалось изучение нашей сказки. Каждый новый хор давал возможность кое-что приобрести на пути музыкального развития. Хороший шаг вперёд мы сделали во время разучивания последнего хора — «колыбельной». Когда дети почувствовали себя вполне уверенными, то начали петь в увлечении очень громко. Я дала им допеть, но после сказала, что вряд ли под такое громкое пение кто-нибудь может заснуть, да и наши зрители не поверят, что на сцене девочка заснула при такой ужасной «колыбельной». Таким образом, дети обратили внимание на самый характер звука голоса при пении. Опять стали мы добиваться нужного выражения и делать различные упражнения.

Дело оказалось гораздо труднее с двухголосными хорами. У некоторых детей был очень хороший слух, поэтому они могли, быстро ориентировавшись, вести за собой остальных и помогать общей работе. Мне хотелось, чтобы дети не только слышали, но и слушали музыку.

Я распределила их на две группы, и каждой давался определённый звук. Пропев несколько раз вместе, дети определяли, получается ли согласное созвучие, или «выходит вразрез», по их выражению. Затем я обратила их внимание на расстояние между звуками — далеко они стоят или тесно. Форма таких задач детям нравилась, и они стали постепенно разбираться в созвучиях: Разучивали мы нашу сказку всю зиму, и не раз приходило в голову, хорошо ли держать детей так долго на одном и том же. Но дети относились к занятиям по-прежнему с большим интересом. Да и занятия, впрочем, выходили разнообразными, так как, понятно, каждый раз мы делали маленькие частичные репетиции, разучивали марш или танцы, так что дети не сидели без движения.

Спектакль состоялся на Пасху. Прошёл он довольно гладко, хотя детям приходилось много помогать, а

кое-где и подыгрывать мелодии на рояле, если от волнения происходило лёгкое замешательство. Что приобрели дети за это время? Они начали прислушиваться к музыке, почувствовали, что пение украсило наш спектакль. Дети увидели, что для достижения успехов в этом искусстве надо много работать и что работать для этого стоит. Итак, ещё до отъезда в колонию у нас с детьми завязались связи на почве музыки.

Громадное большинство «певчих» попало в колонию, а поэтому и пение здесь возобновилось вскоре по приезду. Начали мы с повторения тех песен, которые разучивались в начале года перед работой над оперой, и сразу почувствовалась большая разница в сравнении с тем, что было прежде. Дети точно впервые знакомились с тем, что вложено было в песне. Многие музыкальные вещи производили теперь совсем другое впечатление. Поэтому к исполнению мы стали относиться более тщательно. Усилению детских интересов в области музыки много содействовало и то, что немало занимались ею и мы, сотрудники.

Однажды дети слушали песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельница». Первая песня особенно понравилась детям, и они захотели её выучить. Несмотря на большие технические трудности, наши любители всё-таки преодолели их, так как, по-видимому, прелестная музыка глубоко затронула детскую душу. Песня эта поётся в унисон, поэтому требовалась особенная тщательность в исполнении. Так на долгие годы эта песня стала одной из самых любимых в колонии.

В первое лето устроить регулярные занятия не удалось, так как было очень много всевозможных хозяйственных забот. Но пели мы довольно часто, очень охотно и пользовались для этого всякой свободной минутой. Удалось даже разучить несколько новых песен, причём сами же дети окказали некоторую помощь. Пять из них, которые оказались более способными к музыке и более других любили её, усердно пропагандировали наше пение среди остальных колонистов. Часто приходилось слышать, как за работой или в свободное время кто-нибудь из таких любителей учит своих товарищей петь. Иногда бывало и так, что песня, которую дети лишь несколько раз пропели вместе со мной, уже вчерне выучена всеми детьми, и только нужно её отделить.

Интересным кажется мне тот факт, что в первое лето пением занимались немногие дети; тот же, кто не пел, совсем как будто и не интересовался пением. Иногда можно было наблюдать такую картину: вокруг рояля собралось 20—25 ребят-любителей; они с увлечением поют одну за другой наши песни. Издали же доносится «настоящее» пение «оппозиции», которая не признаёт наших песен и предпочитает во всё горло «кричать» «Марусю» или «Пожар московский». Если у нас появлялись слушатели, то это бывало редко и то только в торжественных случаях, когда мы устраивали «концерт». Мы выбирали тогда несколько лучших, по нашему мнению, песен для хора; кое-кто из колониистов пели соло или дуэты. Так, в первый раз мы спели два дуэта Мендельсона и две песенки Гречанинова из сборника «Снежинки». К участию в концерте присоединялись и сотрудники в качестве исполнителей. В таких случаях у нас появлялись и слушатели, которые снисходительно и даже с некоторым интересом выслушивали всю программу.

С осени в Москве занятия наши пошли более правильным ходом. Хор наш несколько увеличился, дойдя до 35 человек. Работала я с детьми по-прежнему: мы разучивали новые песни, прибегая попутно к различным упражнениям для развития слуха; но теперь начали мы понемножку учиться и музыкальной грамоте: дети узнали названия нот, стали приучаться находить их и определять тот или другой ритм песен. Но всё-таки и во второй год нотное письмо служило для детей только «напоминанием», указывая ритм и основное направление мелодии.

Зимой 1912 года мы опять поставили оперу «Снежный богатырь» Ц. Кюи. Она оказалась гораздо труднее первой и, пожалуй, во многом была не по детским силам. Пришлось очень много поработать с детьми, хотя и не всегда удавалось добиться хороших результатов. Все относилось к делу очень добросовестно, но такого одушевления, как в прошлом году, теперь не было. Как бы то ни было, разучивание оперы мы довели до конца; спектакль наш прошёл недурно, и занятия наши не прошли бесцельно: и слух, и музыкальная память у детей очень развились.

После спектакля мы опять принялись за песни,

среди которых выучили много дуэтов Мендельсона и несколько детских хоров Глиэра.

Летом в колонии музыка заняла гораздо больше места, чем раньше. Репертуар наш значительно увеличился. К прежним авторам присоединились теперь Варламов, Рубинштейн и Ребиков. В середине лета в нашем хоре стали принимать участие и старшие мальчики, и я решила попробовать петь с ними на три голоса. Случайно под рукою оказалось известное трио: «Ночевала тучка золотая». У нас было три баса и один тенор, часть низких альтов пела тоже теноровую партию (в теноровом регистре), а остальные пели сопрано. Несмотря на несколько нескладное распределение голосов, удалось добиться довольно хорошей звучности. Работать всем приходилось с непривычки много, но зато когда все стали твёрдо знать свои партии и добились некоторых оттенков, то ликование было великое. До того увлеклись новым музыкальным завоеванием, что недели две подряд повсюду можно было слышать мелодии из этого трио.

И опять-таки более уверенные в себе дети учили других, а то просто — по двое, по трое — собирались вместе спеваться для верности. Занятия наши на время прекратились, а вместо них мы исполняли чуть не каждый вечер выученные нами песни. Слушателей теперь было немало: «оппозиция» исчезла как-то сама собой; часть её перекочевала к нам в хор, а остальные являлись акуратно слушать.

Те песни, которые доставляли так много удовольствия раньше, теперь вспоминались мало, и то лишь тогда, когда «настоящее» пение почему-либо долго не могло состояться. Появились у нас и солисты. У некоторых детей оказался прекрасный слух и недурные голоса. Они добивались хороших результатов. Одна четырнадцатилетняя девочка, например, очень музыкально пела «колыбельную» из оперы «Садко», а один из старших колониистов, давнишний любитель пения, распевал разные романсы и арии. Самый характер исполнения довольно сильно изменился, так как требования к нему и у детей и у меня значительно повысились, а к некоторым вещам мы подходили с очень серьёзными требованиями и искали теперь уже «художественного» исполнения. Так, например, в песнях Шуберта мы толковали не только о чистоте интонации, но и о ясности и выпуклости фразы,

о чистоте оттенков и т. д. Конечно, необходимо было считаться с силами детей и добиваться большего лишь в тех вещах, которыми они овладели технически и которые стали им близки и понятны по своему содержанию.

Кроме того, мне удалось провести довольно интереснейший опыт проверки того, насколько развились музыкально наши дети. Несколько раз в течение лета я пробовала с ними упражняться в ритмических движениях по системе Далькроза. Делали мы это не часто, когда бывало много свободного времени, по праздникам, и всегда в виде пробы. Детям было весело ходить, бегать и двигать руками под музыку.

Теперь я предложила им несколько далькрозовских игр. Они прошли у детей довольно хорошо. При этом разница между теми, кто пел, и другими, не принимавшими участия в пении, а пожелавшими только играть, была поразительной. Многие эти игры оказались этим последним не под силу.

Зимой наши занятия опять возобновились, и мне пришлось их значительно расширить, так как детей, желавших петь, оказалось очень большое количество. Я разделила всех на две группы: маленьких, с которыми нужно было начинать сначала, и старших, которые продолжали свои занятия. Были и такие любители среди старших, которые посещали обе группы. Со старшими мы стали по-настоящему читать ноты, и каждый раз мы начинали наши занятия с коротенького упражнения по сольфеджио. При разучивании новой песни мы выписывали каждую фразу на доске, разбирали её и старались прочесть без помощи инструмента. Уже после такого разбора я начинала аккомпанировать на рояле. Может быть, можно было научить детей читать ноты и гораздо раньше, но мне казалось важным, чтобы сначала дети привыкли к музыке и полюбили её, а потом уже увидели бы важную помощь от знакомства с нотами для лучшего усвоения того, что нравится. Я хотела избежать в своих занятиях с детьми самого опасного в искусстве: чтобы техника, которая служит лишь средством, не была принята как нечто самодовлеющее и не осталась бы в конце концов висеть в воздухе.

К концу зимы у старших наладился уже четырёхголосный хор. К нам приходили петь старшие мальчики и кое-кто из сотрудников. Опять мы поставили оперу, и

становилось ясным, что дети приобрели много нового: они не только шли на серьёзную работу по подготовке, но стали уже проявлять себя, свои настроения, понимание музыки и вкус. Некоторые пели очень выразительно, ища нужного оттенка не по инстинкту, но давая его вполне сознательно. Ясен стал для них теперь и аккомпанемент; его довольно хорошо запоминали и знали те места, где надо вступать. Вкус развился в довольно значительной степени. Дети иногда обращали внимание гораздо больше на музыку, чем на слова, и многие песни, которые раньше браковались «старшими» за слишком «детское» содержание, теперь были оценены со стороны красивой музыки и пелись с большим удовольствием.

Таким образом, к приезду в колонию на третье лето у нас имелось уже несколько отделов наших музыкальных занятий. У нас образовалось несколько групп, занимавшихся пением отдельно, — маленькие, средние, старшие, а по вечерам все пели вместе. Дети полюбили эти вечера и оценили то, как много даёт музыка. Особенно дорога была ясно обнаруживавшаяся охота слушать музыку. В комнате обыкновенно бывало очень тихо, если какой-нибудь неутомонный колонист начинал разговор или шутку, то его немедленно останавливали и предлагали перейти в другую комнату. Начинали всегда маленькие: они поют одностолосные песенки Бекмана, Ребикова, Чеснокова. Тут же поёт кое-кто из средних. Затем следовали народные русские песни, в которых принимали участие все, кроме, может быть, 3—4 ребят, совершенно лишённых слуха.

Состав хора менялся. Старшие начинали петь свои двухголосные хоры. Выступали и наши солисты; их колонисты слушали с некоторым уважением: «У нас поют и из оперы». Настроение всегда было очень хорошее, и дети получали большое удовлетворение. Однажды, во время особенного воодушевления, кто-то из мальчиков заметил слёзы на глазах одного маленького прилежного слушателя. Все встрепнулись: «Саня, ты чего?» Но ответ был необычен: «Это он от песни, — уж очень нежно выходит!»

Развитие детской музыкальности пошло сильно вперёд: дети начинали чувствовать гармонию.

Мы разучиваем дуэт. Первый голос разбирает по нотам и поёт свою партию. Второму — не терпится; ребята

подсаживаются поближе к роялю и, прислушиваясь к аккомпанементу и глядя в ноты, подпевают по слуху свой голос. Когда же наступает их черёд, то, как оказывается, нужна только проверка — они уже большую часть своей партии разобрали, смотря в ноты.

Я играла на фортепьяно каждый день, работая над концертным репертуаром. Дети не относились безразлично к трудной для них инструментальной музыке. Однажды мне пришлось разговариваться с ними о своих занятиях, о тех пьесах, которые я играла. Многие дети указывали на то, что они одни вещи любят больше, чем другие, а одна девочка совершенно правильно спела тему фуги¹ Баха и объявила, что эта вещь ей нравится больше всего. Бывало иногда и так: во время моей работы дверь тихонько отворялась и слышался шёпот: «Можно послушать?» — и любитель входил, закрывал за собой дверь, устраивался в уголке и внимательно слушал. Да и вообще моя музыкальная работа пользовалась большим уважением, и ребята очень заботливо оберегали мой покой в часы занятий. Пели дети и самостоятельно. Конечно, они и раньше пели наши песни за работой или на прогулке. Теперь же иногда собирался целый хор, и занятию было видно, как один из мальчиков, очень увлекавшийся пением, становился на табурет или лавку и дирижировал хором*.

Таким образом, на третий год музыка стала уже определённой потребностью детей. Они создавали, что с музыкой входит в нашу жизнь много хорошего. Видели они также, что нужно серьёзно работать для того, чтобы добиться удовлетворяющих вкус результатов, и охотно шли на такую работу. Особенно ярко проявилось это во время подготовки к концерту в память Чайковского, который мы хотели дать в нашем московском доме. Дети должны были выступить в одном из отделений. Отношение ребят к своей работе было прямо безукоризненное. Каждую фразу повторяли, отделявая много раз, выработывали интонации, оттенки, добивались ясности произношения. Дети были настолько активны, проявляли столько интереса к делу и желания усовершенствовать наше исполнение, что оставалось только идти навстречу, и работать с ними не составляло никакого труда.

Какие можно сделать выводы из этой работы и чего можно добиваться в будущем?

Несомненно, что дети развились музыкально и стали интересоваться музыкой, которая делалась для некоторых даже определённой потребностью.

Является вопрос, не следует ли и дальше идти с ними по этому пути, сообщая им новые сведения по музыке, знакомя их с музыкальной литературой, и развивать их вкус, чтобы они могли получать и более глубокое наслаждение от музыки? И не может ли музыка быть понимаемой этими детьми как часть, отдел искусства; не поможет ли она развить параллельно и другие художественные стороны их личности.

Какая масса людей, не одарённых специальными способностями, тратит время на приобретение технических навыков, учится долгие годы, учится несколько вещей, которые может исполнять «прилично», но о музыке, о музыкальных переживаниях, мыслях, интересах знает очень мало! Не лучше ли начать с того, чтобы разбудить и укрепить потребность в искусстве, дать возможность музыкального удовлетворения, понимания и живой работы в этом искусстве?

Такой же путь выясняется и для наших детей. Объём наших музыкальных навыков — то, что нужно для музыкально образованного певца-хориста. Средство наше — исполнение музыкальных произведений, знакомство с музыкальной литературой, с великими музыкантами прошлого.

Пусть это будет немного, пусть это будет просто настолько, чтобы они сами могли исполнить. Но надо работать так, чтобы от изучения какой-нибудь вещи оставалось в душе нечто большее, чем простое запоминание мелодии, чтобы во время работы было ясно, чего не хватает и чего надо добиваться; работать так, чтобы накопились те музыкальные знания, которые необходимы для каждого данного момента. Необходимо знакомить детей и с музыкантами, создавшими музыку, — тогда это будет живое, много говорящее ребёнку дело; надо дать им возможность переживать и свою родную народную музыку, через которую дети могут ещё ближе подойти к искусству. Задачи наши в колонии — культивировать и поддерживать потребность в искусстве (музыка есть только частный случай) и помочь, таким образом, детям

¹ Фуга — до минор из первого тома 48 прелюдий и фуг.

подняться на стулешку выше в своём стремлении к лучшей и более содержательной жизни. Конечно, здесь я описала лишь мимоходом, в виде иллюстраций наших идей, ход занятий детей музыкой. Но для меня важно лишь указать, что искусство, как таковое, может чувствоваться детьми, что оно им близко и необходимо. Надо только найти путь к детской душе. Когда же дети поймут (вначале, быть может, очень элементарно), как много даёт искусство, то они сами захотят и знаний, и навыков и станут добиваться большего, чтобы идти вперёд и расширять область доступного их пониманию».

Мы описали, насколько это было в наших силах, те элементы — трудовые, общественные и художественные,— из которых складывалась детская жизнь колонии в различных группах. Теперь уместно будет представить и общую картину нашего дня. Как можно видеть, жизнь эта выливается в очень простых формах.

ДЕНЬ В КОЛОНИИ

Раннее утро. Ещё нет пяти часов, а по дороге к скотному двору идут «коровницы» с ведрами и хлебом с солью. Они сейчас подоят коров, выпустят их, уберут молоко. Потом надо попоить телёнка и убрать стойла. По пути девочки забежали к мальчикам и разбудили пастуха. Вот и он явился во всеоружии: в непромокаемом плаще с длинным кнутом и с книжкой. Кнотух с помощником запрягают лошадей. Сначала они едут за водой: вода нужна в прачечную; потом привезут бочку и на скотный. Затем уже можно будет приниматься за уборку. Коровницы, управившись со своими делами, пойдут ещё уснуть часок до чая.

В начале шестого часа подымается «заведующая белым хлебом». Разбудив своих помощников, она спешит на кухню. Каждый день выпекается около пуда белого хлеба, а к девяти часам половина должна быть уже готова. Заведующая вываливает тесто из котлов на стол, приготовляет формочки и противни. Появляются помощники: они везут полную тачку дров. Один занялся печкой, другой побежал к ручью мыть котлы. Того и гляди — явятся повара: котлы должны быть уже готовы. Заведующая разделила тесто, и все вместе принялись делать булочки; приходится не зевать, наша заведующая —

горячка и огонь; булочки у неё так и летают со стола на противень, и она поминутно попускает и товарищей.

— Скорей, скорей! Чего зеваешь?

Бывает, она и повздорит со своими товарищами, но ненадолго,— вот и опять работают дружно.

К утреннему чаю надо сделать около 150 булочек, да к вечернему чаю испечь 5 больших хлебов. На стенке висят «правила», где, между прочим, сказано: «Хлеб должен быть готов к девяти часам». Ну как же не волноваться?

В кухню явились уборщики; они налили самовары и теперь хотят их поставить. Уборщики оказались добрыми приятелями хлебопёков, да и в печке жару слишком много. Поэтому они получают горячие угли, и дело с самоварами быстро идёт на лад. Затоплен и куб в молочной, чтобы была горячая вода для мытья посуды.

В 6 часов по всему дому раздаётся звук звонка,— это колонисты «будильник» бегают по всем коридорам и балконам и звонит. Все начинают подыматься. Только маленькие да заведующая кухней не торопятся. Маленькие встают около семи, а заведующая кухней всю прошлую неделю пекла белый хлеб и приходилось ей и ложиться позднее и вставать рано. Теперь можно и поспать: она понадобится на кухне не раньше семи или восьми часов. А к этому времени уж, наверное, какой-нибудь из нетерпеливых поваров прибежит будить.

— Что же ты спишь? Вот опоздаем с обедом, будет тогда!

Колонисты бегут умываться »а ключ. Наскоро вытершись полотенцем, а кто и рукавом, собираются ребята на террасе у кухни: там раздают молоко — каждому по кружке. Чёрного хлеба сколько угодно. Его обыкновенно посоливши, уносят с собой,— до чая ещё два часа, и, пороботавши, успеешь проголодаться.

Вот компания мальчиков отправилась с лопатами. Они проводят дорогу от дома к прачечной и от прачечной к скотному. Работа трудная, но часть дороги уже сделана, и продолжать интересно. Дорога идёт немного извиваясь, по обеим сторонам её — деревья и кусты, получается очень красиво. Пока надо рыть канавы по бокам, снимать дёрн и складывать его в кучу — всё ещё ничего. Но вот как раз посреди дороги огромный пенёк. Все столпились вокруг и смотрят.

Ну, что же, ребята, валяй дружно, валяй дружно, принимайся, окапывай! А потом корчевалкой.

Пень большой, и ребята никак не повернуть ручки машины. «Мишка, сбегай за кем из больших!» Мишка бежит, а ребята рессаживаются на отдых. При помощи старшего препятствие одолели, и работа продолжается.

В прачечной заведующая распределяет работу. У неё сегодня «вагон» белья стирать, надо и гладить. Особенно много глаженья.

— В гладильную придётся ещё одну девочку взять; я сегодня едва-едва в прачечной управляюсь. Там только мальчики.

Мальчик лет 11 с весёлой плутоватой рожицей вертит ручку паромойки. Но вертеть равномерно в течение 20 минут ему очень трудно. Он затыгивает «Разлуку» и представляет шарманщика. Ручка вращается медленно и уныло. Вдруг он меняет песню; раздаётся «Барыня», и бельё начинает выркататься в барабане с бешеной скоростью. Остальные прачечники хохочут. «Андрюшка, кончи: ведь всем мешаешь. Хуже, придётся провозиться очень долго». — «Ну ладно, не ворчи, не буду», — но глаз лукаво щурится, нет-нет да и дёрнется машина. Прачечники меняются около машины, одни вертят, другие с заведующей отжимают бельё, меняют воду, замачивают новую партию, разбирают грязное по сортам и краскам.

В гладильной сегодня работа идёт споро. Завтра выдавать мальчикам рубашки и штаны, а в кладовой ничего не осталось, простынь и полотенец тоже мало.

«Выгладьте нынче только для гостей несколько простынь, а остальные можете катать». — «Сегодня придётся две очереди назначить... Вы ещё после чаю приходите гладить». Заведующей сегодня придётся почти весь день пробывать в прачечной. Хорошо ещё, можно на реку не ехать полоскать: одна из коровниц предложила свои услуги, значит, можно отдохнуть.

Восемь часов. В кухне появились «чёрные хлебопёки». Чёрный хлеб пекут после белого, и потому работа начинается позднее. Сегодня заведующая чёрным хлебом — сотрудница. С ней работают ещё старший колониист и один из средних мальчиков.

Самая трудная работа — месить тесто. Надо сделать это до чая, а раздывать и печь хлебы начнут часов с 11. Всё зависит от того, как вымесить: это дело —

самое ответственное. Работа новая, сотруднице и самой приходится учиться вместе с колониистами. Первое время хлеб не удавался, и лишь понемножку теперь стали налаживаться.

В кухне жарко и тесно, хлебопёки вынесли свои дёжки на площадку перед террасой и здесь на воле наперегонки месят тесто. В половине восьмого является заведующая кухней. Эта полная противоположность заведующей белым хлебом. Она олицетворённое хладнокровие, не торопится, выдаёт провизию, составляет меню, показывает то одному, то другому; споккойствие её действует и на детей: нет недоразумений, если уж что выйдет, то наверняка дело серьёзное, — пожалуй, и на собрании придётся разбирать.

У печи опять горячка. Румяные аппетитные булочки теперь летят с противня на поднос. Хлеб вышел удачен, можно и успокоиться. Большие булочки ещё около часу будут сидеть в печке. Надо пока поскорее вымыть стол и посуду, чтобы освободиться к утреннему чаю. И опять в руках мелькает щётка, а помощники носятся с противнями и мелкой посудой.

За кухней у ключа возьмется 3 мальчика. Их компания — из четырёх мальчиков и сотрудника — взялась заботиться о всяком деле, которое может оказаться спешным в колонии. Время от времени они обходят усадьбу и отмечают, на какую работу не хватает народу, что надо исправить или как можно скорее сделать вновь. Они уже сделали часть изгороди в ягоднике, так как туда заходил скот. Обобрали червей на капустнике, поливали огород, когда было некому это делать, и так далее.

Теперь они принялись за отделку ключа, из которого мы берём воду для питья. Они обкладывают стенки кирпичом и прокладывают трубу из кодца в бетонный бассейн: из него можно брать воду для мытья посуды. Работать им приходится большей частью втроём, а иногда и вдвоём, так как постоянно кто-нибудь у них занят на дежурствах. Работают они не по часам, а сколько оказывается необходимым. А работы оказывается очень много.

— Что ж, взялись, так уж надо поддерживать, — замечает один из них. — Хорошо бы сегодня закончить ключ. Да, может, вечером до ужина будем работать, тогда и кончим — немного осталось.

Маленькие сегодня разделились; часть вместе с сотрудницей расшляют и чистят дорожку от дома к больничке, другие полют в огороде вместе с некоторыми девочками побольше. Заведующий инструментами сегодня всё утро возится, точит и поправляет инструменты, старшие работают: кто в огороде, кто по бетонному делу. Двое дворников подметают и убирают вокруг дома и поливают цветы. Чёрные хлебопёки окончили с тестом, отнесли его в кухню, теперь все внизу у ручья отмывают от рук присохшее тесто. Теперь один из них будет топить печь, а остальные свободны до 11 часов.

Время подходит к девяти. Уборщики уже раз 10 прибежали в кухню.

— Можно звонить?

— Да подожди ты, ведь девяти нет ещё!

— А у нас самовары давно готовы.

— Ты лучше чем звонить, поди посмотри, есть ли у тебя вода в самоваре, может он весь выкипел,— говорит заведующая кухней.

Уборщик уходит и сконфуженный возвращается обратно.

— Придётся доливать!

— Ну вот, а теперь опоздаешь.

Сжаллись повара и дали горячей воды из своего котла и углей из плиты. Через несколько минут неугомонный уборщик несётся во весь дух со звонком на скотный, в прачечную, к огороду. Надо всюду сбегать: работают далеко друг от друга, а звонков не громкий.

Все собрались. Один из уборщиков раздаёт сахар: каждый берёт себе 3 куска. Остальные уборщики разливают чай, хлебопёки раздают тёплые булочки. Хлебодар режет чёрный хлеб: после работ аппетит хороший, и белого хлеба часто не хватает. Некоторые, съев одну булку, другую берут с собой.

— Сегодня собрание,— предупреждают за чаем.

— Когда?

— А вот как уборщики уберутся, так и звонить будут.

После чая расходятся — кто куда. Сегодня встали вовремя и потому после девяти больше не работают, а то бывает и так, что после чаю придется ещё поработать часок, если работа началась позднее.

На площадке перед домом несколько любителей уже играют в «итальянскую» лапту. Птичница пошла

кормить кур и цыплят во второй раз. Она уже утром рано покормила их и выпустила на волю. В курятнике осталась только наседка на яйцах да несколько кур, которые должны снести. Теперь птичница собирает яйца, кормит наседку, засыпает корм в кормушку перед курятником и убирает его.

Уборщики моют посуду и чистят её особым порошком. Сегодня им приходится вычистить кружки и ложки, завтра следующая очередь вычистит тарелки и миски,— так через день вся посуда не только вымоется, но и вычистится. Они моют клеёнки и подметают пол.

«Готово, звони»,— говорят они председателю. Понемножку собираются на собрание, которое происходит на другой террасе в большом доме. Председатель (один из старших колонистов) уже сидит на террасе, перед ним звонок. Секретарь устроился за столом со своей тетрадкой.

— Что же так мало народу?

— Из прачечной сказали — сейчас не могут, кончают запарку, придут позднее, а хлебопёки и из поваров кто-нибудь сейчас придут.

— Ну, собрание открыто. У кого какие вопросы?

Оказывается, вопросов порядочно; их разбирают по порядку, как кто заявил.

Один из средних мальчиков спрашивает, когда можно «снимать замечание» с колонистов.

Вопрос этот очень интересуется мальчиков. Несколько времени тому назад мальчики постарше, занимающие одну комнату, вздумали притеснять и командовать над другой комнатой, где преимущественно жили маленькие. Несколько раз происходили драки. Дело это обсуждалось на собрании, и тогда же было решено всей комнате старших сделать замечание от собрания. Одни получили замечание за участие в драке, а другие за то, что хотя в драке не участвовали, но допустили притеснение маленьких и не протестовали. Некоторые из мальчиков, которые раньше никогда не имели замечания и вообще были у колонии на хорошем счету; очень тяготились им и очень желали поскорее себя реабилитировать. Между тем на собрании как-то не поднимался вопрос о замечаниях, и вот теперь мальчики решились напомнить о себе в форме такого общего вопроса. Собрание высказалось так:

1) Замечание подействовало; колонисты ведут себя хорошо; поэтому с некоторых можно замечание снять; но с других, главным образом с коноводов всей этой истории, решили подождать снимать. Во-первых, они больше виноваты, а, кроме того, им замечание поможет поддержаться.

2) Федя Лушин (из маленьких мальчиков) просит оставить для маленьких маленькие лопаты, а то иногда большие разберут их, и маленьким остаются большие лопаты — работать ими очень тяжело. Собрание согласилось и просило инструментальщика позаботиться.

3) Иванова Лиза (маленькая девочка) отказывается убирать общественную комнату. Она убирала уже три недели. Председатель спрашивает, кто желает её заменить. Вызывается Женя Щербаков (12 лет). Он будет убирать комнату, лестницу и террасу.

4) Сотрудница А. Н. (работавшая главным образом с маленькими) указывает, если поварам нужны в кухню какие-нибудь овощи, то просят говорить об этом тем, кто работает на огороде; они наберут и принесут в кухню всё, что нужно. Самим поварам предлагают ничего в огороде не трогать, так как они, не зная, какие овощи и на каких грядках поспели, часто выдергивают и выбрасывают слишком маленькую морковь, репу и пр. Теперь за огородом следят маленькие с А. Н. и двумя большими девочками, а потому хорошо бы, чтобы заведующая кухней с вечера говорила, что нужно. Собрание согласилось.

5) Костя Пендзюр (14 лет) ставит такой вопрос: заведующий чистой, старший колонист, плохо исполняет своё дело — у мальчиков в комнатах, а также в клозете очень грязно. Другие протестуют. Заведующий постоянно обращает внимание, но мальчики очень мало исполняют и плохо слушаются. Сотрудница В. Н. говорит, что у мальчиков дело с чистотой везде обстоит плохо. Уборщики с утра уберут, заведующий посмотрит — всё в порядке. Как после чаю придут мальчики в комнату — сразу грязь. На постелях валяются куртки и картузы, на полу сор, строгают и режут прямо на пол, и никто за собой не уберёт. Уборщики же не могут целый день ходить и за всеми прибираться.

Решили: мальчики должны слушаться заведующего чистотой и требование его исполнять. Мальчики

обещали быть аккуратнее. Для платья один из мальчиков взялся сделать ещё вешалку. Председатель обращает внимание на то, что дворники также очень небрежно убирают вокруг дома. Дворник Калинин говорит, что они дорожки подметают, а из травы сор выгребать очень трудно. Председатель предлагает свои услуги быть дворником неделю и всё вычистить и привести в порядок. Сотрудник Ш. указывает, что ведь прежние дворники не отказывались и не настолько плохо делали своё дело, чтобы нужно было их отставлять. Может быть, они захотят исправить свою работу. Сотрудница В. Н. предлагает выяснить точно для дворников их обязанности, чтобы им легче было работать. Решили, что дворники должны: 1) поливать все цветы, 2) убирать весь сор вокруг дома и кухни, 3) подметать дорожки, 4) приносить торф для клозетов, 5) уносить мусор и сваливать его в мусорную кучу у огорода. Калинин говорит, что они согласны исполнять эти работы, но просят, чтобы всякий не делал им замечаний, а чтобы все неполадки указывались «заведующим» или на собраниях.

6) Нина (15 лет). Колонисты очень плохо обращаются с книгами. «Библиотекарь» Саня Лушин ничего не делает, книги даёт на неопределённое время. Всякий может взять, когда хочет: «Бери, я потом запишу». Книги валяются. Надо собрать все книги. Кто-то заявляет, что один из мальчиков брал, выбирая книги, и не поставил на место. «Меня Саня послал, сказал: выбери, а я потом тебе дам». Библиотекарь протестует. Ему очень трудно, так как шкафа нет, а с открытой полки многие берут без него. Один из мальчиков нашёл 4 книжки в лесу, где девочки лежат после обеда. Решили все книги собрать и проверить. Нина и Саня взялись за это дело. Библиотекарь решили выбрать поаккуратнее и энергичнее. Нина предлагает свои услуги с тем, что если будут брать книги без спроса, она отказывается. «Сегодня книг выдавать не буду, а все, у кого есть, принесите на проверку». Сотрудница А. Н. обращает внимание на то, что последнее время многие колонисты жалуются, что у них болит живот. Она очень просит колонистов не есть разных корешков и волчьих ягод, так как это очень вредно. Колонисты согласны. Председатель сообщает, что ещё от прошлого собрания осталась разобранная ссора между одной девочкой и несколькими колонистами.

«Мы

уже помирились и не желаем», — отвечают спорщики. «Ну, тогда собрание кончено».

— Силин, ступай хлеб резать, сейчас обед! Уборщики, на стол накрыйте! — кричит повар.

В кухне сегодня работа прошла гладко. Повара довольны. Повара и уборщики обедают раньше. Это недавнее нововведение. Так удобнее, а то частенько выходило, что повара просчитаются и себе и уборщикам не оставят. На первое подают кислые щи с грибами. Каждый уборщик подаёт на свой стол. Заведующая и один из поваров разливают. Уборщики подсказывают: «Большому! Сюда поменьше просили! Кому по второй? Кому прибавки?» Уборщики должны соблюдать строгую очередь, за этим очень следят все дети. На второе подают картофельный пудинг, а в заключение клюквенный кисель с молоком. Повара сияют: вот как сытно и вкусно накормили! Ребята довольны: «Браво поварам, качать поваров!»

— Ну, теперь купаться! Пойдём купаться? — обращаются мальчики к сотруднику. «Да ведь знаешь порядок, после обеда нельзя, минут через сорок пойдём».

Сотрудники разошлись по комнатам, ребята тоже притихли. Только маленькие девочки копошатся на балконе; наверху их царство. Они понастроили каких-то лавок для своих кукол и постоянно играют в какую-то сложную, им одним понятную игру. Они пойдут с сотрудницей гулять, а потом выкупаются в ручье недалеко от дома. До реки далеко, и потому они ходят на речку только иногда, большую частью по праздникам, когда нет работ. В ручье же воды для них достаточно, вода течёт быстро, чистая и тёплая. Старшие колонисты чаще всего остаются дома. Если сотруднику некогда, то кто-нибудь из них ходит купаться с мальчиками, обыкновенно по очереди. Обычно же время от двух до четырёх ими очень ценится, как самое тихое и спокойное для каких-нибудь серьёзных занятий: кому нужно читать, готовиться к зиме, кто должен рисовать этюды для училища. В это же время, кроме них да уборщиков, никого не остаётся в колонии. Девочки с сотрудницей пошли с корзинками и кружками, по дороге наберут ягод и грибов, что попадётся. Мальчики с сотрудником уже прошли, отправились на новое место. Там глубже, можно плавать, устраивать разные игры и чудный песок, где можно

повалиться на солнышке. Все любят эти часы — часы горячего солнца, близости к природе, часы отдыха и свободы после работы.

К четвёртым часам все опять в сборе; прямо после чая колонисты расходятся, и около пяти работы уже идут полным ходом. Вот на огород прибежал запыхавшийся уборщик.

— Таня тут? Ступай скорее, гости приехали.

Таня наскоро передаёт свою работу (она полила огурцы): «Вот здесь доделайте, девочки», — и идёт к дому. Там уже стоит мальчик, который вместе с Таней принимает гостей (наша гостеприимная комиссия) и разговаривает с гостями. Гости оказались незнакомые — приехали в первый раз посмотреть колонию.

— Сотрудники сейчас на работах, им скажут, а пока пойдём в дом, — говорит Таня. — Ты, Виноградов, ставь пока самовар.

— Ладно.

Пока поспевают самовар, Таня показывает нашу общественную комнату, дом, отвечает на вопросы. Потом идут в кухню смотреть на работу поваров, показывает погреб, молочную, рассказывает о хозяйстве.

— После чаю вот посмотрите наши работы, а то, хотите, можно и сейчас, — добавляет неожиданно другой член гостеприимной комиссии. Гости говорят, что не устали, и их ведут на огород или на скотный двор, там присоединяется сотрудник. Комиссия теперь идёт хлопотать — устраивать чай, позаблудиться о ночлеге.

Около семи часов работы кончены. Маленькие собрались перед террасой и старательно поют и играют в свои излюбленные игры: «едет всадник на коне», «воробушек» и пр. Остальные наблюдают. Вот один из мальчиков побольше подошёл к сотруднику: «Поиграй нам, мы хотим бегать». Сотрудник играет что-то вроде марша. Один из мальчиков становится впереди, скрестив на груди руки, остальные мальчики и девочки становятся друг за другом сзади него. Он говорит: «Первый раз пойдём — делайте всё, что я; потом, когда опять сюда вернёмся, побегим, а руками все за мной повторите». И вот он начинает ходить, а за ним вся цепь. Он ведёт, причудливо меняя направление, скручивая и раскручивая цепь; каждый должен следовать, чтобы не потерять того, кто перед ним. Вот он меняет позу — поднимает

руки высоко над головой, потом кладёт обе руки на голову; вот все начинают бежать подпрыгивающим бегом из комнаты, выбежали на террасу, сделали несколько кругов по дорожкам цветника и опять на террасу. Вожак отстаивается; участники стовариваются о новых фигурах, и снова начинается игра. Меняется вожак — и изменяется весь характер движений. Дети очень любят эту игру — она, правда, красива по своей ритмичности и даёт большой простор изобретательности вожака. Игра эта возникла как-то сама собой, она, пожалуй, явилась отражением некоторых далькрозовских игр, которые мы пробовали применять в колонии. Но игры Далькроза — это всё-таки не игра — это очень интересное и часто красивое упражнение, которое требует большого внимания, большого напряжения и где всё заранее условлено — все движения. Эта же игра совершенно свободна, здесь все дети могут импровизировать, так как вожаки меняются, и, кроме того, вожак даёт лишь общую схему, а в остальном каждый может делать движения, как хочет. Иногда дети придумывают целые мимические сценки под музыку.

Играют до самого ужина. За ужином похлёбка из свежих грибов, гречневая каша с маслом и молоко. Комиссия заботится о гостях, угощает, поедает. После ужина уже многие сразу бегут в общественную комнату: «Петь, петь!» Сначала поют маленькие и с ними некоторые из больших, кому нравятся песенки попроще.

В кухне тем временем и повара и уборщики спешат управиться со своим делом, чтобы тоже прийти попеть вместе со всеми. Пение любят в колонии и любят не только петь, но и слушать. Слушатели уютно расположились на лавках по стене, сидят группами, изредка кто-нибудь из слушателей поднимается, присоединяется к хору. Некоторые песни поют все присутствующие. В комнате большей частью совершенно тихо. Если кто начинает разговор, все обрушиваются: «Ну, чего мешать, шли бы к себе в комнату, кто не хочет слушать». Пришли и большие, поём трио, поёт один из больших.

Маленькие понемножку уходят к себе наверх. Вот один из малышей уснул, уткнувшись в колени девочки. «Ну, ребята, довольно, довольно, половина десятого: спать!» Ещё минут 10 шум и возня везде, моют ноги, умываются, ложатся.

— Зовите Ш., он обещался сегодня про «Белого Клыка» рассказать, — раздаётся в комнате у мальчиков.

— Да ведь гости сегодня, ему нельзя.

— Ну, может, немножко расскажет.

— Будет, будет! — кричит вернувшийся посланец. Наверху у маленьких девочек сотрудница рассказывает сказку, в одной из комнат мальчиков старший колонист читает какой-то рассказ, в другой Ш. рассказывает. Уже давно в колонии завёлся обычай до 10 часов рассказывать или читать что-нибудь детям. Сотрудникам удалось заметить, что дети так очень хорошо успокаиваются, скорее засыпают, а что главное — удаётся избежать возни и шалостей, которые обыкновенно поднимаются по вечерам, когда много ребят спят в одной комнате. Дети тоже очень ценят и любят эти тихие вечерние настроения. Когда сотрудники или старшие почему-либо не могут читать, рассказывает сказки кто-нибудь из любителей этого дела. К 10 часам всё уже затихает, только кое-где ещё приходят запоздавшие. Вот хлебопёки ещё возятся около кухни, кончили и теперь запирают. Старшие отпугиваются к себе, у них ещё будет общее чтение, хотела прийти одна из сотрудниц и кое-кто из больших девочек.

К одиннадцати и старшие расходятся, вся колония затихает до завтрашнего утра.

Так приблизительно проходят наши дни. Некоторую перемену вносит ненастье; тогда свободные часы занимают разными занятиями: кто шьёт, кто рисует, кто пишет что-нибудь для журнала. Днём устраиваем разучивание новых песен. Девочки принимаются за починку белья, мальчики берутся в столоарной, да и много есть разной работы, которая не ждёт, и приходится потому, одевшись потеплее, и в маленький дождик или холодную погоду продолжать очередное дело.

*

Обращаемся теперь к **выводам**, к которым привела нас совместная жизнь с детьми в колонии. Работу свою мы не можем считать ни в каком отношении законченной, да по существу своему она таковой и не может быть: ведь суть её заключается в искании жизненных путей воспитания и в искании не **форм**, а **содержания** работы. Поэтому мы не хотели связывать себя какими-нибудь педагогическими теориями, не считали себя

приверженцами «свободного», «трудового» или «общественного» воспитания, идеи которых, конечно, близки нам по духу. Мы руководились более своим инстинктом и тем опытом, теми симпатиями, теми настроениями, которые дали нам **личная жизнь** и собственные наблюдения над детскою жизнью. Мы начали работу в колонии с труда, с организации хозяйственной, чисто практической стороны нашей жизни.

Такое начало было не случайным. Оно явилось как определённый вывод из трёхлетнего опыта той маленькой колонии¹, о которой было упомянуто в начале настоящей книги. Привлекая детей к труду, который в условиях жизни колонии казался детям необходимым (варка пищи, уборка посуды, комнат), мы не могли считать, что все другие формы труда могут быть также понятны (рытьё канав, проведение дороги, огород и корчёвка). Они могли быть начаты ради **инстинкта движения**, ради привлечения и **игры мускулов** — словом, ради интереса к этим работам, отчасти связанным в то же время с мыслью о «будущем» колонии. В этом деле нельзя было торопиться; мы ждали долго, пока новые впечатления станут привычными.

В трудовой жизни было много трений; это зависело и от простой привычки к труду и к новому укладу жизни, и от неорганизованности самих ребят; и нужно было устроить жизнь так, **чтобы детям было легче трудиться**. Поэтому дети привлекались к обсуждению сначала практических дел в колонии; детские собрания стали скоро необходимыми для того, чтобы вся жизнь в колонии шла более стройным, организованным путём. Но от этих деловых собраний до детской общественности было ещё далеко.

Итак, первыми нашими шагами были **налаживание хозяйства и организация труда**.

Следующие усилия нами были направлены на то, чтобы сделать жизнь в колонии более приятной, уютной и красивой. Это было опять-таки практическое требование. И правда, если люди живут долго вместе, то хочется чем-нибудь скрасить общую жизнь, чтобы не надоесть друг другу. Инстинктивное требование красоты привело к появлению в нашей среде элементов искусства,

которое, таким образом, вошло в наш обиход не случайно, а выросло из осознанных требований жизни; колония запела, заплясала, заиграла. Это много способствовало пониманию **радости в труде**: с этой стороны труд наиболее понятен детям.

Так складывалось наше маленькое общество на первых порах. Но до установления прочной общественности было всё же далеко: следовало широко раздвинуть рамки нашей жизни и сильно углубить её, чтобы добиться удовлетворяющих нашим требованиям результатов.

Интересно было отметить, что всякий раз, когда в каком-нибудь отношении жизнь колонии становилась более определённой, всегда находились колонисты, которые не могли примириться с нею и должны были покинуть нас. В особенности это было естественно для тех детей-подростков, привычки которых, приобретённые их жизнью в городе, больше подходили к взрослому, чем к детскому. Такие случаи были, конечно, тягостны для нас, но и принесли свою долю пользы, так как не позволяли нам закрывать глаза на действительность.

Мы видели, как ещё много нужно работать, чтобы добиться установления такого уклада жизни колонии, который, естественно, привлекает бы к себе детей. Для этого нужно пройти ещё долгий путь изучения детскою жизни, **найти, что такое детский труд, детское искусство, детская наука и социальная жизнь**^{*}. Только тогда можно будет думать о полной жизни колонии, дальнейший прогресс которой будет заключаться в достижении всё большей и большей ясности, простоты.

Глубокие задачи и простота их осуществления — таков жизненный путь колонии. До этого опять-таки было далеко.

Итак, колония шла к созданию **общества, но не детского только, а общества детей и взрослых**. Руководители должны быть членами колонии, подобно детям, но они в то же время регулируют общую жизнь и изучают её, чтобы самим не стоять на месте, вводить всё новые и новые пути для совершенствования нашей жизни. Поэтому наша колония хотя живёт и немного, но имеет большую историю неудач и завоеваний.

Авторы твёрдо надеются не ограничиваться описанием первых трёх лет существования колонии: она

¹ См. «Дети — работники будущего».

продолжает жить и расти. Но мысль о том, что можно когда-нибудь им стать «опытными» руководителями колонии или даже, «колоний», не приходит в голову. Ни в каком случае нельзя смотреть на работу, описанную на предыдущих страницах, как на результат большой опытности в деле воспитания.

Воспитание прежде всего дело жизни, очень глубокой и разнообразной, а поэтому оно не вкладывается в определённые рамки, да и нельзя быть достаточно опытным в этом деле: чем больше этой опытности, тем больше и ясного сознания, чего ещё можно достигнуть; да и мало того, что можно, но и «нужно», иначе получится остановка и уничтожение жизненности, работа перейдёт в шаблон, в повторение того, что было раньше, замкнётся в определённые, неподвижные формы.

Чтобы избежать этого, надо было призвать на помощь личное творчество и вызывать такое же у детей. По нашему глубокому убеждению, начатки творческой силы существуют почти у всех, у маленьких и у больших людей — надо лишь создать для проявления её подходящие условия. К стремлению создать такие условия и сводилась в конце концов описываемая работа*.

Мы ничего не говорили о запросах детского ума. Это произошло не потому, что их было мало: жизнь в колонии подняла со дна целый ряд вопросов личных, общественных, связанных с трудом, с его организацией. Было место, где шла напряжённая умственная работа, — наши собрания. Ставились задачи для разрешения, выдвигались проекты, вырисовывалась центральная идея разумного человеческого общежития — всё это было. Но не было систематической, организованной работы: для неё, видно, не пришло ещё время. Одно было ясно: умственная жизнь детей зависела в сильнейшей степени от богатой смыслом детской жизни. Материал для неё создавался всем укладом. В следующей книге мы постараемся показать, как постепенно из детской жизни выросла идея школы, связанной с этой жизнью, и как развёртывались возможности постановки широких педагогических проблем и их разрешения на основе достижений описанной работы в замкнутом пока детском обществе.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕТИ — РАБОТНИКИ БУДУЩЕГО

Первая книга московского
общества «Сетлемент»

IV

НАЧАЛО РАБОТЫ В МОСКВЕ

В Москве работа кружка могла быть начата лишь в начале сентября. К этому времени к прежним сотрудникам прибавилось несколько новых членов.

Прошёл почти месяц, как дети оставили колонию, они приходили раза два в неделю в помещение, нанятое для будущих клубов, играли и помогали немного сотрудникам устраиваться на новом месте.

Ребят приходило семь-восемь; но на них уже сказывалось влияние городской обстановки, и вели они себя не так просто и непринуждённо, как летом. Иногда приходилось с грустью убеждаться, что условия их обычной жизни стали стирать понежнему то новое, что началось прививаться в колонии. Сильнее стала сказываться разница возрастов, семейной обстановки; даже игры шли вяло.

При каждой встрече дети спрашивали: «Когда же вы народ соберёте?» Приходилось отвечать, что это зависит от них самих, так как сотрудники никого кругом не знают.

Впрочем, понежнему «народ» стал собираться и сам: при играх всегда были любопытные, которые могли видеть наших детей с улицы или сквозь забор. Обыкновенно их приглашали в игру, и таким образом завязывалось первое знакомство.

Первое собрание

К концу августа помещение было приведено в порядок. Детям предложено было собраться в определённый день и пригласить на это первое собрание своих товарищей. Пришло детей человек пятнадцать, преимущественно старших мальчиков, товарищей по классу нашего колониста, Серёжи С.

Кстати, в это время поддерживали сношения с кружком только четверо из прежних колонистов: из приюта ребята совсем перестали пускаться «за вольный дух», а остальные отстали из-за того, что далеко было ходить.

Нужно сказать, что наш кружок был далёк от мысли предлагать детям какое-либо определённое дело, вводить какой-либо определённый порядок в отношения к ним или указывать на то или другое, что могло бы быть полезным, по нашему мнению, для наших новых товарищей. Хотелось только указать им как можно проще, что здесь, в нашем доме, они могут возможно шире выяснять свои запросы и устраиваться, как им самим покажется лучше.

На собраниях, естественно, возник вопрос о том, с какой целью будут собираться у нас дети.

— А вы как думаете? — спросил З.

— Мы ничего не знаем, нам вот Серёжа рассказал про колонию, про то, что будут клубы. Вы, говорят, были в Америке, видели там, что делается; вы и расскажите про американцев: может быть, мы что-нибудь и переймём.

З. начал рассказывать. Дети слушали с большим интересом, и быстро завязался живой разговор, в конце которого вопрос, как поставить свой клуб, решён был без особых размышлений: «самостоятельно».

— Чем же вы хотите заниматься?

— Мы решили уже: физической и химией.

— Да разве вы знаете что-нибудь про физику и химию?

— У нас в школе (четырёхклассное городское училище) физика преподаётся, только опыты такие показывают, что смотреть нечего: приборы, вероятно, ещё со времён Петра Великого; химии не проходите, но хочется узнать что-нибудь и про неё.

— Видите ли, — сказал сотрудник, — хотелось бы, чтобы занятия были для вас не пустым делом. А это может быть тогда, когда они будут интересовать вас. Поэтому мы предлагаем вам, уж если пошло на самостоятельность, сделать так: пусть каждый из вас напишет вопросы по физике и химии, которые интересуют вас. Мы после разберём и во время занятий будем отвечать на них.

Двое сотрудников, Ф. и Ш., взяли вести занятия по химии и физике.

К следующему собранию вопросы были составлены. Всего с теми, которые задавались тут же, их набралось до семидесяти. Большинство из них было самого житейского свойства: Как идут трамвай, паровоз? Что такое электрический звонок? Почему велосипед не падает при движении? Что такое горение? Отчего получается копоть? Из чего состоит воздух? Что такое порох, мина, отчего бывают взрывы? и т. д. Таким образом первый клуб наметил материал для своих собраний.

К л у б ы

Немного спустя один из членов этого клуба зашёл на квартиру к З. и Ш., поселившись вместе неподальку. Среди разговора выяснилось, что он не из того класса, в котором учатся его товарищи по клубу, и что физикой он не интересуется.

— А вы что хотели бы делать?

— Да я больше рисовать люблю.

— Ну, так что же? Соберите свой клуб рисовальщиков.

— Как же сделать, а то я бы собрал. У меня и товарищи есть.

— Вывешивайте объявление в клубе о том, что предлагается собрать новый клуб — вот и всё.

Объявление было вывешено, и через несколько дней образовался другой клуб — «Художественный», к которому присоединилось несколько членов из первого — «Арбатского» клуба.

Немного спустя один из маленьких колонистов объявил, что он приведёт с собою мальчиков из своего училища и устроит свой клуб; к ним присоединились несколько ребят из другого городского училища и трое, приглашённых одной из сотрудниц кружка. Клуб этот быстро распался на две группы: каждая группа пополнилась ещё новыми членами, и, таким образом, к двум старшим клубам прибавилось два младших.

Д е в о ч к и

В начале сентября стали образовываться и клубы девочек. Сотрудница (учительница в земской школе) рассказала про клубы нескольким своим ученицам. Те и составили ядро нового клуба. Порядок привлечения новых членов был такой же, как у мальчиков.

Через неделю девочка, желавших участвовать в клубе, нашлось так много, что из одного клуба выросло уже два, да и к тому же один из них разделился на две части по любительному поводу: одна девочка, очень живая и любительница поспорить, не понравилась подругам, среди которых, впрочем, много было ей незнакомых. Она привела в клуб свою младшую сестру; но та не была принята, так как была «очень маленькая». Кстати же, клуб решил избавиться от своего слишком беспокойного и задорного члена и исключил её из своей среды. Обе — исключённая и непринятая — были чрезвычайно обижены и выражали свою обиду горькими слезами. И утешить их могли только тем, что предложили им составить свой клуб из товаров по училищу. Таким образом появился ещё новый клуб, назвавший себя «Клубом друзей».

Девочки организовались отдельно от мальчиков; и это зависело исключительно от самого порядка возникновения клуба, так как каждый мальчик или девочка приводят с собою своих товарищей, подруг, с которыми они более или менее близки. Понятно, что при тех условиях, которые окружают наших детей, мальчик приведёт только мальчика, девочка — только девочку. В школе, в семье, на улице или в общей жизни двора мальчики и девочки образуют обособленные группы, относящиеся часто даже враждебно друг к другу. Таким образом, жизненные отношения детей переносятся в клубы, и с этим до поры до времени приходится примириться.

П р а в и л а

Во всех клубах во время первых собраний обсуждались какие-нибудь «правила» клуба. Правила эти составлялись не сразу, но изменялись и с течением времени дополнялись. Каждый клуб находился под руководством одного сотрудника, роль которого в данном случае ограничивалась только указанием на то, что нужен в

клубе какой-либо порядок, чтобы, по крайней мере, они не мешали другим. Обычно выбирался кто-нибудь следить за порядком во время собрания и другой, который записывал бы всё, что решено клубом, т. е. «председатель» и «секретарь». Разумеется, эта организация — выборы председателей и секретарей носили характер игры, весьма интересной, — особенно вначале очень занимала детей.

Постепенно писанные правила появились во всех клубах. Все они имеют очень много общего между собой, хотя в некоторых клубах существуют правила, специально относящиеся к отдельным происшествиям, имевшим там место. В каждом клубе существует тетрадь, куда записываются постановления, где ведётся список членов и кандидатов. Эти тетради не подвергаются никакому контролю со стороны сотрудников, и порядок, количество записей, аккуратность — всё зависит главным образом от той охоты, которую проявит к письму секретарь.

Вот те «правила», которые можно встретить во всех тетрадях:

- 1) Решать вопросы нужно большинством голосов.
- 2) Председатель и секретарь избираются на один месяц.
- 3) Назначаются дни, по которым происходят собрания.
- 4) Число членов ограничивается пятнадцатью (так как больше не позволяет помещение).
- 5) Кандидаты принимаются в члены после четырёх посещений.
- 6) Кандидаты не имеют «права голоса».

Частности правил разнятся в зависимости от большей или меньшей индивидуальности клуба. Например, у девочек встречаются такие: «Решили, что которые члены не будут дружны, то их выключать; кто играет, тот должен убирать сам свою игру; кто не ходит в клуб, не может ходить в театр; председательницу решили избирать на две недели».

В одном случае число членов ограничено десятью. В некоторых вводятся и наказания за проступки против общности: «кто будет баловаться после трёх замечаний председателя, того не водить в театр». В том же клубе: «решили, кто будет мешать другим клубам, тот будет просить у них прощения».

V

КЛУБНЫЙ ДЕНЬ

Как идёт жизнь в клубах?

Дети собираются к пяти часам. Перед дверями обыкновенно уже толпится небольшая их кучка в ожидании сотрудника. В пять часов приходят сотрудники; дети входят, раздеваются и делают, что им нравится. Часть идёт к шкафу, вытаскивает шашки, шахматы и усаживается играть. Другие бегают вокруг столов и по всем комнатам друг за другом, а то устраивают пирамиду из табуреток и скамеек, которая скоро рушится к великому удовольствию строителей; некоторые читают или рассматривают картинки, присевшие где-нибудь около окна, если светло ещё, или лампы. Тут же идут оживлённые разговоры с сотрудниками, выдаются книги из нашей библиотеки. К половине шестого почти все в сборе. Раздаются голоса: «Американцы — на заседание».— «Девочки — на заседание». Это собираются члены клубов в свои комнаты. Ещё несколько минут, и возня и шум мало-помалу утихают, разве двое

кто-нибудь ещё не могут сразу бросить игру и, торопясь, двигают шашками по доске, или зачитавшийся мальчуган, встав уже с своего места, медленно идёт на зов, держа книжку перед глазами.

Самые «заседания» идут по-разному в отдельных клубах. Сначала, обыкновенно, выбирают новых членов или, если приходит срок, председателя и секретаря. Все дела решаются поднятием рук, но в особо важных случаях, в большом почёте «тайное голосование» по запискам. После выборов начинаются разговоры о том, чем заниматься сегодня. В более организованных клубах занятия назначаются на предыдущем заседании.

З а н я т и я и и г р ы

Из занятий пользовались сравнительным успехом физика и химия, которые обошли почти все клубы, затем рисование, выклеивание картонажей, пение, танцы, туманные картины, чтение вслух и рукоделие.

В устройстве игр дети были вполне самостоятельны. Но небольшие размеры помещения сильно мешали таким играм, где можно было бы вдоволь побегать, не мешая друг другу. Поэтому в этом отношении были более счастливыми девочки, которые обыкновенно затевали хороводы, игры с пеннием на две партии, вроде: «А мы просо сеяли» и т. д.

Сотрудники прилагали большие старания к тому, чтобы побольше соединять между собой мальчиков и девочек из разных клубов, чтобы развивалась общая жизнь с её товарищескими началами и сознанием взаимной солидарности. Для этого устраивались совместные прогулки, экскурсии, посещение театров по воскресеньям, общие заседания и, наконец, вечеринки.

Здесь пришлось столкнуться с огромными трудностями, главным образом зависевшими от таких причин, которые были вне сферы деятельности сотрудников.

В сущности, причина одна — это отсутствие общественной жизни, общественных привычек и солидарности в той среде, которая окружает наших детей. И препятствия, о которых было упомянуто выше, толкали всё небольшое общество, работавшее с детьми, к тому, что ограничиться теми часами, которые отдаются учреждением детям, слишком мало, что нужно идти работать в семьи, к отцам, матерям, сёстрам и братьям наших «клубистов». И вот, таким образом, упорная работа с детьми и искреннее желание помочь им, сплотить, организовать их, неизбежно приводили к углублению и расширению нашей деятельности, т. е. постепенно из самой жизни назревала та идея «Сетлементов», о которой говорилось в первой части настоящей статьи.

В н у т р е н н я я ж и з н ь

Необходимо было внести известную стройность в общую жизнь детей, приходивших к нам. Разумеется, не придавалось никакой цены внешнему порядку, как бы заманчив он ни был. Хотелось создать живую, деятельную атмосферу в нашем доме. Поэтому сотрудники могли влиять на детей главным образом как люди, которые искренне и прямо высказывают свои мнения наравне со всеми членами клуба.

Ни один клуб не живёт сколько-нибудь постоянной жизнью. Здесь, разумеется, играют большую роль особенности детского склада, детского темперамента: то бывают полосу дружной, оживлённой работы, а то наступает (и как раз после периодов наибольшего оживления) шумная, беспорядочная реакция.

В такие моменты делалось сотрудниками много ошибок, вызванных желанием прекратиться как можно скорее начинающийся разлад и, взяв на себя неблагодарный труд «беспристрастного» судьи, самим определить правых и виновных, употребив на это всю свою энергию и авторитет взрослого. Во многих случаях удавалось достигнуть известного успеха и, пожалуй, даже удовлетвориться им. Но всё же это был успех, достигнутый «взрослым», а не собственными мыслями и желаниями детей, успех, на который нельзя было положиться, так как в подобных случаях дети были оживлены только тогда, когда среди них находился сотрудник. Без него же «было скучно, нечего делать». И вот приходилось бороться с детьми за их самостоятельность, бороться в особенности против привычки, созданной условиями их жизни в семье и в школе,— видеть в каждом взрослом надзирателя или опекуна.

Во вторую половину года к прежним двум клубам прибавилось два новых: «Английский», образовавшийся незадолго перед Рождеством, и «Тихвинский». Таким образом составилось всего девять клубов, каждый из которых имел своё название, придуманное, конечно, самими детьми: «Товарищи», «Кушнерёвский», «Английский», «Американский», «Австралийский» (клубы мальчиков); «Заря», «Серебристый Ландыш» и «Друзья» (клубы девочек). Клуб «Товарищей» образовался из двух первых — «Арбатского» и «Художественного». Сначала они решили устраивать общие заседания «для бесед по литературе», которые вошли в обычай и бывали каждую неделю, а затем объединились в один клуб «Товарищей».

Общественные дела. Каток. Вечеринки

Когда жизнь в клубах более или менее наладилась, то явилась, естественно, мысль о том, что можно попробовать объединять всех детей, посещавших клубы, на почве какого-либо общего дела, интересного для всех. В этом направлении было сделано несколько попыток, которые в большинстве случаев были не особенно удачны, т. к. дети не могли ещё настолько привыкнуть к новым для них порядкам, не могли ещё смотреть на наш дом как на нечто своё, близкое и понятное им. Наши неудачи только лишней раз подтверждали, что энергия взрослых в деле воспитания всегда может быть одинокой, безуспешной, если не будет создано таких условий, когда дети сами придут ей на помощь.

Проще всего было привлечь детей к участию в устройстве игр, вечеринок, прогулок, катка зимой и т. д. Но нельзя сказать, чтобы «клубисты» с большим старанием заботились о своих удовольствиях. О катке, например, говорили очень много, собирались в свободное время выравнивать площадку, делать гору, возить воду для полива; дети приходили работать, сотрудники усердно действовали своим примером, а между тем работа не спорилась и дело не двигалось вперёд. Пришлось, наконец, нанять людей, которые сделали то, что «должны» были сделать дети.

Не наладился также и порядок на катке: хотя детьми были

выбраны дежурные, которые должны были следить за выдачей коньков и улаживать всякие недоразумения, тем не менее стычки и ссоры между детьми происходили постоянно, коньки иногда исчезали на несколько дней, и порядок устанавливался приходилось в сущности самим сотрудникам.

Более удачными средствами для того, чтобы перемешать, познакомить между собой отдельные группы детей и возможно ближе сблизить их между собой были «вечеринки», которые обыкновенно устраивались следующим образом: какой-нибудь клуб решал устраивать свою вечеринку и заявлял об этом сотрудникам. Сообща назначался день, когда могло совершиться маленькое «общественное дело», и дети начинали готовиться. Во время собраний в клубе желавшие исполнить что-нибудь на вечеринке должны были предварительно выступить перед товарищами, которые или одобряли выбор и исполнение вещи, или предлагали «повторить ещё раз», или совсем не допускали в «исполнители». Если клуб затевал поставить спектакль, то собрания обращались в репетиции пьес. В то же время выскивались охотники-музыканты, или если не было своих, то они приглашались из других клубов. Затем, когда дело более или менее сложилось, клуб вывешивал объявление о своей вечеринке с приглашением каких-либо двух клубов (больше нельзя было поместить в нашем маленьком помещении).

На вечеринках читались стихи или рассказы, играли на балалайках и пели, в заключение же устраивались общие игры и танцы, в которых большое участие принимали и сотрудники, приглашённые как гости. Иногда на общие средства клуба покупалось неприхотливое угощение в виде яблок, сладостей и орехов. Вечеринки в общем проходили очень оживлённо, в особенности у более организованных клубов, и много помогли работе сотрудников, так как и до вечеринки и после них возникало много «общественных» вопросов по поводу всего, что относилось к устройству, порядку и отношениям детей друг к другу. И когда на рождество устраивалась ёлка для всех клубов, то несколько старших мальчиков с большой охотой брались помогать сотрудникам и внесли большое оживление и веселье в среду детей во время игр, песен, танцев и т. д.

Комиссии

К весне в клубах возникло целых два выборных учреждения — «музыкальная» и «журнальная» комиссии. Первая составила из наших музыкантов для того, чтобы устроить постоянный оркестр из балалаек, мандолин и гитар для детских вечеринок, вторая же создавалась по следующему поводу. Редакция журнала «Друг Детей» выразила согласие на просьбу кружка помещать от времени до времени произведение наших «клубистов». Это было сообщено всем клубам, которые и решили выбрать из своей среды по два члена в специальное собрание для обсуждения этого вопроса; это собрание избрало из своей среды «журнальную комиссию», которая должна была рассматривать все произведения, доставленные ей членами клубов, и решать, можно ли их поместить в журнале. В комиссии принимал участие и 3. по выбору детей. Членами её были исключительно старшие мальчики. Результаты деятельности комиссии явились пока статья и стихотворение о жизни в клубах, помещённые в № 20 «Друга Детей» за 1906 год.

Тяжёлые времена

Как было сказано выше, жизнь детей в клубах не имела (и не могла иметь) определённого, устойчивого характера; и наряду с теми прелестными моментами, когда ясно чувствовалась живая связь между детьми, бывали времена, когда начинался полный разлад, когда в детях проявлялись дикие инстинкты улицы; когда казалось, что наша напряжённая, упорная работа остаётся бесплодной и наши отношения к детям только развивают в них сознание безнаказанности и возможности делать что угодно, не считаясь ни с чем; в такие минуты с их стороны выказывалась удивительная требовательность и насмешливое отношение к «слабой воле» сотрудников. Особенно плохой пример другим подавала старшая группа мальчиков — учеников машиностроительного завода. Они являлись на все вечеринки, требовали, чтобы их пустили, грозили выбить стёкла, устраивали «баррикады», т. е. заваливали двери досками, бочками и поленьями, которые валялись на дворе, и вводили панический страх на маленьких своих товарищей. Но в то же время они регулярно являлись в свои дни в клуб, оправдываясь тем, что это «простая шутка», и объясняли своё поведение тем, что «их обидели, не дали вечеринки вначале», а «отвели их в самый конец, как нищих». Кроме того, они постоянно выставляли на вид, что на них смотрят не так, как на других клубистов, которые не приглашают их совсем на вечеринки. Действительно, дети были так напуганы образом действий этого клуба, что скорее соглашались отказаться от вечеринки, чем увидеть их у себя гостями.

Однажды Ш. при выходе из клуба услышал безобразное ругательство по своему адресу. Обернувшись, он увидел кучу клубистов; они громко смеялись, кричали что-то вслед Ш. бросали комья снега ему в спину и свистали. Ш. молча ушёл. На следующий день был их очередной день. Они собрались все и, очевидно, к чему-то уже готовились,— это было видно по их любопытно-ожидаящим лицам и сдержанному настроению. Ш. пригласил их в комнату. Они быстро уселись вокруг стола и ждали, что скажет им Ш.

— Слушайте, господа,— сказал он.— Я хочу спросить вас: хотите вы бывать в клубе или вам всё здесь так уж не нравится, что вы хотите во что бы то ни стало мешать сотрудникам работать здесь?

— Ходить мы желаем, да только тут с нами обращаются плохо: что ни сделаешь, всё не так.

— А разве вы считаете, что поступали с нами хорошо?

— Да, шалили, слова нет,— что же тут такого? Повеселились, вот и всё, а больше ничего не было.

— Это вам так кажется, что ничего; а нам ваши поступки ужасно мешают; ведь мы работаем, всё равно как ваши слесаря работают; и разве хорошо было бы, если кто-нибудь станет вас толкать во время вашей работы? А у нас такая же работа... Поэтому, если вы ничего не имеете против клуба, то я советую вам серьёзно подумать о том, как приходить сюда и никому не мешать.

— Да вы составьте для нас правила, чтобы мы знали, чего нам нельзя делать, а мы их выучим.

Это предложение и вообще довольно мирный тон беседы показывали, что наши буйные клубисты уже сознавали, что зашли слишком далеко и чувствовали себя несколько неловко.

— Какие же мои правила: не браниться, не курить а клубе, не мешать другим и ходить в свои дни и часы.

— А вы напишите их: мы и подпишемся, а кто не хочет подписаться, тот пусть не ходит в клуб.

— Ладно,— согласился Ш.— Мы на этом и закончим пока. А потом я ещё хотел вас спросить, за что вы меня вчера все выругали?

— Да это Петька, а не мы...

— А я думаю, что все, потому что все смеялись; стало быть, считали, что так и надо.

— Да что вы: ведь это вам только чудно кажется, а у нас уже привыкли; вы бы пожили побольше с нами и тоже смеялись бы, когда ругаются. Мы так и смотрим, как на шутку, а вы всерьёз принимаете...— утешал Ш. один из мальчиков несколько снисходительным тоном.

В результате этой мирной беседы и явились «правила», под которыми все члены, кроме одного, подписались: «На правила согласен».

Правила некоторое время действовали довольно удовлетворительно, но и после, когда они позабылись, этот клуб стал вести себя довольно скромно, насколько вообще это было в силах его членов.

Для борьбы с подобными резкими выходками, грубостью, драками и бранью у нас были только такие средства, как слово и товарищеские отношения к детям; они могли влиять на них и влиять более или менее успешно, но ясно было, что более сильное воздействие должен указать тот дух учреждения, та внутренняя жизнь его, которая всегда складывается из отдельных отношений детей и взрослых между собой. Трудно было достигнуть этого в короткое время, но, во всяком случае, мы видели, что, несмотря на многие неполадки, на ссоры, драки, на кражи, которые случались по временам, дети упорно продолжают ходить к нам и крепко держатся за те небольшие интересы, которые проявились у них благодаря клубам.

С этой стороны огромный интерес представлял для сотрудников произведённый весной опрос всех детей.

VI

АНКЕТА

Предварительно составлен был ряд вопросов, которые могли более или менее указать на то, как живут наши клубисты дома и какие интересы привлекают их в клубы. Большое число вопросов касалось клубных порядков, игр, занятий и т. д. Подробная разработка опроса будет составлять предмет следующего очерка нашего дела, теперь же мы хотим отметить те ответы детей, которые указывают на их отношение к клубам. Всего было получено ответов от 98 детей — 26 девочек и 72 мальчиков. По возрасту дети распределялись так: 9 лет — 1, 10 лет — 5, 11 лет — 16, 12 лет — 18, 13 лет — 19, 14 лет — 5, 15 лет — 13, 16 лет — 12 и 17 лет — 5.

На вопрос, довольны ли члены своим клубом, 22 девочки и 29 мальчиков ответили, что довольны, недовольных же оказалось 3 девочки и 35 мальчиков; недовольство мальчиков объясняется тем,

что в их среде было наибольшее число весьма бесполойных членов, которые часто мешали занятиям своего клуба. В связи с порядками в клубах стояло и вмешательство в той или другой форме сотрудников в их жизнь, и поэтому было очень интересно знать, как сами дети относятся к тому, что они сами могут решать свои дела и сами наказывают за провинности своих товарищей.

25 девочек и 56 мальчиков сказали, что лучше решать дела клуба самим; при этом девочки затруднились объяснить, «почему они так думают». Мальчики дали более подробные ответы: много ответило, что «сотрудники решили бы не так, как нам хочется», «они будут мешать клубистам заниматься, чем те хотят», да к тому же «мало ли какие строгости могут сотрудники выдумать»; некоторые находили, что «нельзя же, чтобы всё сотрудники, надо и нам самим», потому что такая самостоятельность полезна для них: «у нас голова разрабатывается». 12 мальчиков были другого мнения: самим решать плохо, потому что мальчики «вольничают», а с другой стороны, «сотрудники старше, больше знают».

Более обстоятельны были ответы детей относительно наказаний. 18 девочек и 47 мальчиков высказались за то, что лучше самим наказывать: «мы хозяйка своего клуба» и «сами лучше всё решим и наказание попросе будет — выгоним за дверь — и только», да и «не обидно, если подруга накажет», а сотрудникам трудно разобратся: «накажут очень строго или очень мало»; иногда сотрудник «может заступиться», когда не следует, а иногда они могут оказать «сердечее», чем клубисты (ответы девочек). Мальчики были того же «мнения: «сотрудники меньше знают, кто больше балуется», да и «если сотрудник накажет, то им может быть неприятно», а «на товарищей обижаться нельзя», они «лучше могут войти в положение, наказание остаётся между товарищами». Бывает и так, что «клубисты накажут, а сотрудники могут пожалеть». Вообще «сотрудники тут решительно ни при чём». Один даже выразил недоумение: «зачем вам-то вмешиваться?»

Недовольны были самостоятельностью клубов 12 девочек и 19 мальчиков. Девочки находили, что «товарищи могут решать несправедливо», а «сотрудники старше, на них бы не обижались», а сами они «часто врут, не слушаются друг друга».

Мальчики указывали на то, что «сотрудники больше понимают во всём», а товарищи «могут наказывать по злобе». Двое давали одинаковые права и членам клуба и сотрудникам. Были мнения, «что товарищи не могут иметь права наказывать». Один ответ касался уже этической стороны наказаний: «тяжело на душе бывает наказывать».

Определённо дети высказались по поводу того, чтобы в каждом клубе могли быть вместе мальчики и девочки. 21 девочка решительно была против мальчиков: «они озорничают», «мы хотим одного, а они другого». Более примирительно были настроены 4, из которых одна ничего не имела бы против мальчиков, «если бы они были лучше», другая видела возможность помощи с их стороны: «чего мы не знаем, может, они знают». Две остальные считают, что «тогда с мальчиками были бы дружнее».

Мальчики смотрели на дело не так безнадёжно, и 19 из них (12 старших) надеялись на то, что девочки могут оказать хорошее влияние на мальчиков: «может, девочки умнее нас, будут останавливать».

да и мальчики «не будут баловаться», так как совестно перед ними»; если девочки и мальчики будут почаше вместе, то они «лучше поймут друг друга» и «девочки не так бы пугались».

Много разнообразных ответов получилось на вопрос, чем отличается школа от клуба.

11 девочек указали на то, что «в школе учатся, а здесь играют, отдыхают и веселятся»; 6 нашли, что «в школе учат только грамоте, а здесь есть и другие занятия»; много ответов давали понять, что дети довольно ясно видят разницу в самом духе клуба и школы: там строго, принуждают, а здесь вольно, и делаешь, что хочешь (9 ответов); трое объяснили, что отношения с сотрудниками лучше, чем с учителями»; две девочки указали на то, что у нас «дружнее», что «здесь дела сами решаем, а там, как учитель». Одна не могла не вспомнить мальчиков: «там без мальчиков, а здесь с ними: они безобразничают».

Такие же ответы дали и мальчики; один из них нашёл, что «здесь можно бы было заняться больше, чем в школе»; другой объяснил, что, наоборот, «в школе серьёзное учение, а здесь нет»; некоторые были того мнения, что «здесь многое лучше разъясняют»; «в школе учатся, а здесь развиваются»; «в клубе весело, а там скучно»; «там чувствуешь себя забытым, а здесь человеком»; «в клубе занимаешься для себя». Двое мальчиков стояли на совершенно противоположных точках зрения: один считал, что в клубе и в школе — «всё равно», а другой — «отличаются, как небо и земля».

Соседи

Серьёзная сторона нашего дела — это отношение к нам окружающего населения. Можно сказать с уверенностью, что мы были встречены с большим недоверием, бороться с которым приходится в высшей степени медленным и осторожным путём. Многие родители боялись пускать детей, и дети прибегали к нам тайком, как мы узнали после. Кругом нас распространялись различные легенды с политической окраской; были предположения, что дети собираются у нас «для отводу глаз»; были слухи, что и нас и родителей, которые пускают в клубы детей, будут расстреливать.

В соответствующих ответах детей сквозит некоторая неопределённость, которая иногда объясняется тем, что родители их часто почти не интересуются жизнью своих детей. Наиболее обычная фраза: «говорят, чтобы ходил, делай-то тебе нечего», «это во всяком случае лучше, чем дома болтаться целый день»; большую роль при суждении о клубах играет то, что они существуют под вывеской городского попечительства о бедных: «отец доволен, знает, что это при попечительстве»; а то пока ещё не было вывески, «родители были недовольны, боялись, что заберут, а потом ничего». Единичные ответы указывают, впрочем, на более определённое мнение: «хорошо, — нашлись такие люди, что устроили такое «очень полезное заведение». Неодобрительные отзывы более решительны: «всё это пустяки, лучше бы делом занялись»; «зря вы туда ходите, ничему не научитесь хорошему»; «всё балуетесь, учились бы лучше крючком вязать». Одни «пускать пускают, но советуют не ходить», другие уверены, что у нас «приготовляют к забастовке», а большинство держится такого мнения: «может, хорошо, может, нет, — ходи пока».

Сотрудники старались, насколько возможно, часто даже по просьбе детей, посещать их семьи и объяснять родителям, для чего они собирают детей и что они у нас делают. Впечатления от этих посещений бывали разные: многие родители благодарили за те сведения, которые им сообщались, приходили посмотреть, приглашали сотрудников заходить к ним, советовались относительно своих детей; иногда бывало и так, что подозрительность родителей после разговоров с сотрудником ещё больше усиливалась. Так случилось с семьями служащих в тюрьме, расположенной близко от нас: «приходил забастовщик нас на забастовку поднимать».

Неясно отношение к хождению детей в клубы и преподавательского персонала училищ, которые находятся в более или менее близком соседстве с нами. Некоторые знают про клубы и позволяют посещать их, другие отговаривают, запрещают. Нам пришлось услышать при личном объяснении, что наше учреждение вредно для школы: дети не готовят уроков, не читают школьных книжек, предпочитают те, которые выдаются нашей библиотечкой.

Некоторые родители получили из одной школы письма, предостерегавшие их против каких-то клубов, где детям набивают головы «свободным духом». И действительно, шесть девочек перестали ходить к нам. Было два случая, когда в клуб приходили родители и вводили с собой своих детей, решительно отказавшись дать какие-нибудь объяснения. Одного из мальчиков опять стали пускать к нам, когда была повешена вывеска, а другой привёл своих отца и мать на один из спектаклей, во время которого удалось разговориться с ними о нашем деле, и мальчик стал опять ходить в клуб.

Все случаи, которые давали возможность подойти поближе к людям, среди которых нашему кружку пришлось работать, постепенно уясняли для кружка трудности его работы. Наши неудачи только помогали нам смотреть на дело открытыми глазами и не полагаться на минутные успехи. Поэтому серьёзным успехом было то, что нашему кружку удалось завязать простые товарищеские, а во многих случаях и дружеские отношения с детьми. Было среди них несколько таких, которые определённо сочувствовали нашей работе и во многих случаях являлись для нас хорошими помощниками в своей среде.

VII

В НАЧАЛЕ ВТОРОГО ЛЕТА

С наступлением весны дети уже не могли, конечно, сидеть в тесных комнатах, проводили большую часть времени на площадке около нашей квартиры; бегали, играли, занимались гимнастикой и т. д. Летом были организованы экскурсии для небольших групп в окрестности Москвы под руководством сотрудников. Эти экскурсии бывали раза по два каждую неделю, и на них могли записываться все желающие.

Новая колония

Около семидесяти детей провели часть лета в колонии, которая явилась, таким образом, прямым продолжением общей жизни детей и взрослых, создававшейся в течение минувшего года.

Нам хотелось бы остановиться на некоторых чертах жизни новой колонии, так как и внешние условия и внутренний строй её во многом отличались от прошлого года; во-первых, новые колонисты были уже нашими старыми знакомыми, а во-вторых, в колонии появился новый элемент — девочки.

Относительно последних существовали некоторые опасения; их консервативность и обособленность от мальчиков могли помешать им участвовать в общей жизни колонии. Но действительность показала иное: девочки, как мы увидим ниже, не только не помешали созданию маленького общества, но и оказали весьма благотворное влияние на многих колонистов. Девочек было немного — восемь, и они прожили в колонии всё лето. Мальчиков родители отпускали гораздо охотнее; они были распределены на несколько групп, и каждая группа провела в колонии 5—6 недель.

Дети приехали в первой половине мая. Первые два-три дня пошли на устройство кроватей, лавок, полочек, и все спешили как можно скорее покончить с этими делами, чтобы после приняться за «настоящее дело». А «настоящего дела» имелось в виду много: нужно было развести огород, вычистить двор, заваленный всяким мусором, поставить изгородь кругом сада, сделать плот для купания, разбить дорожки по саду, устроить цветник и т. д.

Собрание

На следующий день по приезде всех колонистов было созвано первое собрание их, на котором обсуждались общие основания жизни в колонии.

Председателем был избран сотрудник Ш., который обратился к собранию с вопросом: «Как колонисты думают про сотрудников, чем они должны быть здесь?»

— Что ж? Вы — хозяева, должны распоряжаться всем, — раздалось несколько нерешительных голосов.

— Хорошо; но если мы здесь хозяева, то мы и будем всем распоряжаться и приказывать, а вы должны будете исполнять наши приказания. Кто не будет слушаться, то того накажем, а то и вовсе отправим назад из колонии.

Все смущённо молчали; только один из маленьких не выдержал и буркнул про себя:

— Что уж больно строго.

— Что же, хорошо будет так?

— Чего тут хорошо... совсем плохое дело... никуда не годится... — послышались заявления с разных сторон.

— Тогда я предлагаю так: пусть хозяевами будут все колонисты вместе с сотрудниками, т. е. распоряжаться будет общее собрание, такое, как теперь, и сотрудники будут на нём иметь такой же голос, как и все остальные.

Собравшиеся сразу оживились, предложение было принято единогласно. Кто-то заметил при этом:

— Ну, вот объяснил, — так и все хотят, а то «хозяева»...

Затем решился вопрос о том, когда созывать собрания. По предложению двоих старших колонистов собрания должны были быть двух родов — обыкновенные по субботам и спешные, когда об этом заявят пять членов колонии. Были выбраны «должностные» лица для заведования инструментами, хлебом и сахаром,

установлен порядок дня и распределены дежурства и работы. Таким образом составил ряд «правил», обязательных для всех.

Вот этот «Устав»:

- 1) Всеми делами распоряжается общее собрание колонистов.
- 2) Общее собрание происходит каждую субботу.
- 3) Кроме того, очередное собрание может быть тогда, когда об этом заявят не менее пяти членов.
- 4) Для заведования деньгами выбирается комиссия из четырёх членов.
- 5) Заведующий инструментами выбирается на 1 неделю.
- 6) Дежурные на каждый день: повара — трое, уборщики — трое.
- 7) Обязанности повара: варить пищу, мыть кухонную посуду, убирать кухню и раздавать порции. Повара толят за час до утреннего чая. Обязанности уборщиков — убирать общественные комнаты, ставить самовар, готовить к чаю и к обеду и убирать чайную и обеденную посуду.
- 8) Порядок дня — вставать в 7 часов, в 8 часов — чай, до 12 — общественные работы, до 4 — частные, если кто захочет, в 4 часа — чай, в 8 часов — ужин.

Устав был вывешен на стену.

Правила исполнились довольно плохо. Вставали поздно, повара не успевали готовить обед вовремя, чай и ужин постоянно запаздывали. Вяло шли и общественные работы на огороде, за исключением разве первых двух-трёх дней, когда дети набрасывались на всё новое.

Первые настроения

Как мы сказали раньше, мальчики приехали и жили в колонии несколькими группами. И в жизни отдельных групп можно было подметить нечто общее: в первые дни дети устраивались, прилаживали кровати, полки, знакомились с местностью, мечтали о том, что у нас можно устроить (обыкновенно это было очень много); такой первый период отличался особо беспорядочным оживлением. Затем началось приглядывание к новым порядкам, в которых было много непонятного им, — и оживление падало, начинались скука и недовольство. Главную роль в этом настроении детей играла регулярная физическая работа, совершенно непривычная для огромной части наших ребят. Мало-помалу жизнь всё-таки завлекла их и становилась всё более и более живой и определённой. И это время, в особенности отдельные моменты его, были часто исполнены той прелести и глубокого смысла, которые даёт сознательная детская жизнь.

То же случилось и с первыми колонистами. Они приехали, смутно надеясь на то, что в колонии уже всё приготовлено для них, что существуют лица, которые обо всём позаботятся. На деле же оказалось, что ничего не устроено и что никто не хочет распоряжаться.

И на самом деле, мальчики постоянно обращались к сотрудникам за разрешением, если им хотелось сделать что-нибудь.

Нам напоминает один из таких случаев.

Как-то раз вечером к сотруднику является мальчик и говорит нерешительным тоном: «позвольте нам ночевать в парке и зажечь костёр».

- Почему вы меня спрашиваете?
- Да наши все послали к вам.
- А где ваши?
- Там, у крыльца.

Сотрудник пошёл к крыльцу, где сидела большая труппа мальчиков (среди них было много старших).

- Господа, почему вы спрашиваете у меня позволения?
- Мы не знаем, может быть нельзя. Как же без вас?

— Ну, вы смотрите только, что выходит: начальства вы не любите, также и выговор, приказаний; сотрудники тоже не любят начальствовать и отказываются от этого. И вы свободны делать, что хотите, а между тем сами всеми силами стараетесь сделать из нас начальство для себя. — Все засмеялись.

- А теперь как же быть нам?
- Как хотите; ведь вас большинство. А только позволять или запрещать — это дело не моё.

Сотрудник ушёл. Мальчики помялись, пошептались. В конце концов потянулись в парк одна за другой странно обрисовавшиеся в сумерках фигуры ребят с одеялами и подушками. Там, на лужайке, со всех сторон закрытой кустами орешника, все расположились кругом, головами вместе. Посреди горел костёр, и долго слышались тихие разговоры.

И пока длился такой период нерешительности и неловкости, сотрудникам часто приходилось взывать к самостоятельности колонистов, указывать постоянно, что всё хорошее и дурное в колонии зависит главным образом от них самих, что сотрудники готовы во всё помочь, советовать им, но ни в каком случае не берут на себя обязанности учить их тому, что хорошо и что плохо.

Были среди них попытки внести серьёзный элемент в общую жизнь: один колонист, большой любитель писать стихи и рисовать, вывесил объявление, в котором приглашал желающих устроить «образовательные» чтения.

Подписей набралось семь, но объявление скоро исчезло, и дальше подписей дело не пошло. Были голоса, даже громко протестовавшие против занятий: «Мы сюда гулять приехали, а не учиться».

Общественные работы давали много материала для заседаний. Сотрудники отказывались руководить ими, хотя фактически это было очень трудно — так сильно сказывалось неумение городских жителей действовать лопатой и граблями на огороде, топором и пилой у верстака и варить и жарить на кухне. Всё же за неделю успели разделить гряды, посадить рассаду, посеять огурцы, горох, бобы, картофель, морковь, редиску, наделали достаточное количество кровати для себя и девочек, которые приехали недели через полторы после мальчиков, и оклеили для них комнаты в маленьком домике, стоявшем рядом с дачей, где жили мальчишки.

За эту же неделю и общественные порядки более или менее наладились, работы решили назначать накануне вечером и вывешивать расписание их на стену. К должностным лицам прибавилась ещё должность эконома, который был должен проверять провизию, доставляемую из лавки, и заботиться о том, чтобы всегда был налицо необходимый запас крупы, муки, сахара, хлеба, молока и других продуктов, нужных для кухни. В его распоряжение было предоставлено двое посыльных, назначаемых по очереди; они ходили по поручению эконома за разными мелкими покупками.

Но всё же не было среди колонистов той объединяющей цели общего дела, которая превращает толпу в разумное, живое общество людей. Нужны были толчки, которые заставили бы наш маленький мирок оглянуться на себя, нужны были моменты, которые простым, ясным путём вытекли бы из (нашей жизни и так же просто соединили бы всех.

В этом деле большую помощь оказали нам девочки.

VIII

ДЕВОЧКИ

С самого начала отношения между колонистами и колонистками носили не очень дружелюбный характер. Мальчики, как это обыкновенно бывает, смотрели на девочек свысока, а те, в свою очередь, побаивались и сторонились своих буйных товарищей: «Какие колонисты — все большие да озорники, мы с ними не будем водиться, а лучше так: они сами по себе, и мы тоже», — заявила одна из девочек сотруднице.

Им не нравилось и то, что мальчики совершенно не следили за чистотой и порядком у себя в комнатах: «Им всё равно — они и обедать согласны хоть на полу; как спать, как чай пить — всё кое-как — и ни о чём не думают. Вот у нас будет совсем по-другому».

Впрочем, одна двенадцатилетняя девочка, в первые же дни попавшая в поварихи, не смутилась своих больших товарищей, а храбро и деловито, как более опытная в поварском искусстве, распорядилась ими и заставляла делать различные работы по кухне.

Через четыре дня после приезда детей, в субботу, должно было быть обычное собрание колонистов. Накануне девочки позвали к себе сотрудницу для переговоров «об очень важном деле». Дело это состояло в том, что они заметили некоторых мальчиков, которые очень нехорошо бранятся; и им хотелось посоветоваться, могут ли они сказать об этом на собрании. Сотрудница предложила им не ждать субботы, а созвать собрание сейчас же: «Вы имеете полное право, нужно для этого пять человек, а вас больше».

Девочки, выбрав из своей среды одну, «чтобы говорить на заседании», стали сзывать колонистов: «Мальчики, на собрание!» Стали собираться. Все приходили с любопытством, спрашивали:

— Кто собрал?

— Да вот всё девочки мутят чего-то.

— Ну, что ж, все собрались?

— Председателя, председателя!

— Василия Николаича в председатели!

— Ш-ина!

— Василия Николаича!

— Ш-ина, Ш-ина!

— Кто за Василия Николаича, подымай руки!

Большинство было за него, и Василий Николаевич, юноша лет шестнадцати, очень подвижной и насмешливый, начинает заседание:

— Девочки собрали заседание: а есть у вас пять, которые могут собирать?

— Нас восемь, и мы все согласны.

— Ну, говорите, в чём дело.

Представительница девочек, сильно волнуясь, стала говорить своё «дело»:

— Мальчики у вас ругаются всякими нехорошими словами, так что совестно нам говорить. Сегодня у нас две девочки хотели войти на кухню, а там были повара и ругались. Они и убежали, потому что стыдно стало. Если так будет, то девочки решили, что в колонии жить не могут.

Василий Николаевич был заметно сконфужен. Он заявил, что ему и одному его товарищу особенно тяжело выслушивать такие обвинения, потому что в кухне был он.

— А ругался или нет я не помню, потому что так привык ко всяким словам, что этого не могу за собой заметить.

Всё-таки ему хотелось как-нибудь вывернуться.

— Вот что чудно: раньше девочек у нас не было, и никто не жаловался на то, что ругаются; а теперь вот и пошли жалобы.

Ему ответил другой колонист:

— Что ж тут такого: мальчики все уж привыкли к брани и сами постоянно ругаются — тут уж скрывать нечего, а девочки не привыкли.

Особенно интересно было заявление мальчика, единственного у нас, ученика так называемого «среднего учебного заведения».

— Мы жили раньше и ничего за собой не замечали,— сказал он — и не обращали внимания на то плохое, что в нас есть, а приехали девочки, и мы увидели себя в зеркало, какие мы. По-моему, надо благодарить их за то, что они не побоялись говорить правду в глаза.

Но с таким мнением далеко не все были согласны.

— Вот развелись у нас жалобщицы: теперь и повернуться не смей — начали с одного, пойдут звонить про всякую малость.

— Лучше не связываться с ними; а то как раз беды наживёшь, — слышались недовольные голоса. Поднялся шум.

— Председатель, решай скорее, а то все галдят, и ничего не разберёшь.

— Господа, тише, тише! Девочки, вы чего же хотите? Мы извиняемся, а вы как?

— Девочки заявили, что извинения им не надо, а только они просят мальчиков сдерживать себя.

— Это ещё ничего, когда кто выругается сгоряча, а то ругаются обыкновенно так себе, в шутку или нарочно: тут уж можно уследить за собой.

— Я обещаю смотреть за собой и потом ещё предлагаю сделать постановление, чтобы в колонии бросить брань. Ну, кто ругаться будет? Того на общее собрание; зачем идёт против правил. Кто согласен?

Все подняли руки.

Собрание кончилось. Но настроение общества было далеко не мирное. Вмешательство девочек казалось слишком необычным делом. Колония вся стала походить на возбуждённый пчелиный улей. Дети разбились на группы и продолжали обсуждение по разным углам и комнатам. Так началась в колонии борьба за этические начала жизни. Но девочки, уйдя в свой дом, со страхом думали о последствиях своего слишком смелого, как им казалось, шага,

— Попадёт теперь нам: если бить не будут, то уж наверно задразнят всякими прозвищами, — таково было их общее мнение.
— Ну, что ж, если они начнут драться, то мы в Москву уедем, — предложила одна из младших девочек.

— Ишь ты, в Москву! Не больно хочется в Москве жить.

Старшие мальчики почти все возмущались поведением девочек.

— Ну, это я ещё понимаю, — говорил Ш-ин, сделавший раньше неудачную попытку устроить образовательные чтения, — мальчик — с ним можно поспорить, потолковать — он всё-таки о чём-нибудь думает, а девочка? Как на неё обращать внимание? Им бы только болтать да сплетничать... Какой с ней можно вести серьёзный разговор?

— Да что толковать: пусть собирают собрание, как угодно, а только от них надо подальше: за версту буду обходить, — решил другой, ещё более суровый противник девочек.

Когда к ним подошёл сотрудник, разговор был в полном разгаре.

— Вы говорите, что девочки глупее вас?

— Ну, конечно, глупее.

— А как вы думаете, хорошо ругаться или нет?

— Чего же хорошего, кто будет спорить?

— Так как же вы назовёте их сегодняшней поступок: они боятся вас. Опасаются, что вы будете мстить им за ту неприятность, которую они сделали вам; и всё-таки решились обратить ваше внимание на то, чего вы за собой не замечали, да мало того, что не замечали, а всегда смеялись даже и тем усиливали свою привычку браниться.

— А это потому, что они не привыкли; всё-таки они глупее нас.

— Как же, вы думаете, лучше жить: так, чтобы приносить какую-нибудь пользу другим, или этого не надо? (Большинство этих мальчиков было из учеников типографии, где среди рабочих им приходилось слышать много «хороших» слов).

Все они согласились с тем, что надо жить «с пользой».

— А вы с вашим отношением к девочкам приносите им вред, а не пользу; если они глупее, так надо с ними поговорить, растолковать, чего не понимают; вы же хотите сторониться от них. И, таким образом, произойдёт то, что вы будете жить вместе с теми, кому нужна была бы ваша помощь, как более умных людей, а вместо этого будете презирать их и чуждаться.

И сотрудник стал рассказывать им, как воспитываются дети в других странах; как начинают учреждаться новые школы, где стараются уже считаться с мыслями и желаниями учеников, как там смотрят на девочек и каких целей добивается совместное обучение мальчиков и девочек. Беседа продолжалась часа два и перешла в конце концов на мечты и планы о возможной у нас в колонии дружной и интересной жизни. Беседа эта положила начало ряду других бесед и споров по вечерам о вере, науке — одушевлённых, свободных и искренних.

И эти серьёзные моменты были огромным воспитательным средством, разрушавшим те преграды, которые ставятся нашей формальной жизнью между детьми и взрослыми.

Через неделю на собрании две девочки заявили, что один старших колонистов написал на пианино по пыли ругательные слова,

которые сказать вслух им совестно. Обвинённый исчез. За ним послали двоих колонистов, которые через некоторое время привели его на собрание. Вид мальчика был смущённый. Он не отрицал своей вины.

Ему было замечено, что он пренебрёг постановлением всей колонии и сделал свой проступок не случайно, не «сгоряча», а совершенно спокойно, имея время подумать, что он делает. Собрание решило высказать ему порицание от всей колонии и предупредить, что если он и потом станет «заниматься такими делами», то он должен уехать в Москву.

Отношения между мальчиками и девочками понемногу стали улучшаться. Мальчики иногда помогали девочкам — делали полочки, столы, ящики. Девочки не отставали от них и старались всячески отплатить за помощь: чинили платье, бельё и даже шили рубашки. Мало того, они в одно из «заседаний» предложили, чтобы должности в колонии исполнялись одинаково всеми — и девочками и мальчиками: «девочки хотят работать наравне со всеми; они тоже хотят быть посыльными и уборщицами в общих комнатах».

IX

АНКЕТА

Оживлению общей жизни много способствовала анкета среди колонистов, устроенная, по предложению сотрудников, комиссией, избранной самими детьми. В комиссии участвовали пять старших мальчиков и одна девочка; они выработали несколько вопросов, на которые должны были отвечать все члены колонии вместе с сотрудниками. Вопросы эти обсуждались на собрании, где подверглись изменению и дополнениям. В результате получилось 11 вопросов:

- 1) Доволен ли существующими порядками в колонии?
- 2) Доволен ли общественными работами и нужны ли они?
- 3) Нужны ли должностные лица и почему?
- 4) Нужен ли домашний театр?
- 5) Какие желаешь игры?
- 6) Нужны ли вечеринки?
- 7) Доволен ли отношением сотрудников к колонистам и наоборот?
- 8) Нужны ли общественные чтения и беседы совместные с сотрудниками?
- 9) Нужны ли наказания? (Внёс сотрудник.)
- 10) Какие порядки устроить за столом?
- 11) Доволен ли отношением колонистов друг к другу?

В ответах можно видеть огромную разницу между мальчиками и девочками; последние очень не любили рассуждать и мотивировать свои ответы, которые умецались на маленьких листочках и были очень похожи друг на друга у разных колонистов. В ответах мальчиков было гораздо более разнообразия. Некоторые представили даже целые литературные произведения. Ответов было получено 20 — 8 от девочек и 12 от мальчиков, 5 колонистов не писали вовсе. Все девочки оказались довольными существующими порядками. Они писали кратко, без всякого объяснения: «Довольна». Из мальчиков только четверо были довольны (порядками на кухне),

остальные 8 объясняли своё недовольство так: четверо были довольны правилами, но не их исполнением, двое находили плохим то, что «встают не вовремя, и чай запаздывает». Один мальчик утешал себя: «хотя порядка мало, потому что мы не привычны, но когда вполне привыкнем, то, как полагаю, дело наладится». Последний же ответ был сплошной критикой порядков: «Пищей недоволен, потому что повара не умеют готовить или небрежно относятся — то солянка горькая, то суп пригорел, то уха без рыбы, то к ужину нажарят картошки по одной маленькой ложке, да ещё чего-нибудь понемножку». «Ужин, не нужен, был бы обед, на хороший ужин не хватает денег», — скажут сотрудники. — «Но почему же вместо дорогих макарон, творогу с молоком, яичницы не приготовить щи, суп или какую-нибудь похлёбку: и сытнее бы было, а то наладили творог с молоком и с сахаром — почти не дешевле щей и супу, а сытности почти нет никакой. Я слышал, что многие недовольны ужином». Общественные работы тоже мало дали девочкам пищи для размышлений. Все ответили: «нужны»; некоторые прибавили, впрочем: «для порядка».

Мальчики признали общественные работы нужными: «потому что приносят пользу: раньше не знал, как работать на огороде, потом не умел поварить, а теперь немножко научился»; «мы все хозяева и всё делаем для общего блага». Двое приняли во внимание денежную сторону: «если мы не будем работать, то надо нанимать рабочих и платить им; но нам даётся в месяц 200 руб., что же останется на харчи; да ещё из этих же денег надо купить материал». Четверо были недовольны тем, что работы «недружно исполняются», а между тем работы эти очень важны: «мы должны показать себя, как могут работать общества, состоящие из мальчиков и девочек», а «без них колонисты обленятся, и притом всё-таки своими руками делаем». Дежурные и должностные лица признавались нужными всеми без исключения.

Общественные чтения и беседы четырем девочкам казались скучными; остальные стояли за них, причём две были против сотрудников: «потому что с ними будет невесело». Мальчики все признавали чтения и беседы полезными и даже с сотрудниками, которые «больше знают» и «непонятные слова будут объяснять». Один (критиковавший пищу) писал, что «общественные беседы и чтения давно бы надо было устроить, но только беседы не о вере, как это некоторые затеяли, а о чём-нибудь другом, научном, напр., физика и химия с опытами, астрономия с наблюдениями над звёздами, анатомия, потом научные другие споры; только бы поскорее, а то давно ждём, никак не дождёмся».

Большое разнообразие мнений детей проявилось по вопросу о наказаниях. Это, конечно, был наиболее острый и серьёзный вопрос. Девочки все высказались за наказания, причём большинство из них назвали те формы их, которые, по их мнению, желательнее было бы ввести. Наказания «нужны, чтобы боялись», «оставлять после общественных работ на один час», «ставить в угол на 5 минут», «только не строгие наказания, напр. ставить в угол на 30 минут, не больше». Одна девочка писала: «наказания нужны для того, чтобы исправиться».

Из мальчиков семь стояли за наказания: «будут бояться, чище мыть посуду, а так поговорят — и всё»; «нужны, чтобы все работали сверхурочные работы»; «нужны, только товарищеские». Двое

требовали суровых наказаний: «если вводить наказание, то очень строгое, чтоб его боялись, не как теперь, например, уборщики или повара плохо исполняют свои обязанности, на них кричат — «на второй день!». Но в общем только покричат, и больше ничего». Другой считал подходящим «запирать на два часа в тёмную комнату, потому что всякий знает, что, если не работает, то ничего, кроме выговора, не получит, а здесь будут знать». Один высказывался не так решительно: «лучше бы обойтись без наказаний; но, как бы то ни было, это печально, без них, как водится, не обойтись, потому что, несмотря на все собрания и выговоры, товарищи всё-таки смотрят сквозь пальцы». Кто-то ответил: «про наказания ничего не знаю». Четыре мальчика были против наказаний: «не нужно, потому что всякому не хочется быть наказанным»; «надо привыкать без наказаний»; «не желаю, чтобы были наказания»; «можно усовещевать словом, наказания могут хуже повлиять на колонию».

Отношением колонистов друг к другу были довольны все девочки; но мальчики смотрели на эту внутреннюю сторону нашей жизни иначе. Только четыре были безусловно довольны своими товарищами; остальные же не были удовлетворены и давали ответы, начиная с умеренного заявления («не всеми доволен») до весьма серьёзной критики их: «истинно дружеских и товарищеских отношений у нас мало, так я замечаю, а почему, не знаю», — писал один колонист. Другой находил, что «ображаются друг с другом, как собаками; как соберутся, так и лаются».

Ответы некоторых мальчиков давали понять, что казалось дурным их товарищу: «друг над дружкой звонят» (т. е. насмеяются); «отношения хорошие, только уж очень много звонят, как бабы»; «отношениями доволен, кроме ругатни и насмешек над недостатками». Весьма горячо выступил в защиту шуток и безобидных насмешек мальчик, любивший сам подзадорить своих товарищей: «отношение товарищей друг к другу мне очень не нравится: разве это товарищеские отношения, когда многие называют на вы, и вообще всё натянуто — многие сторонятся, как будто все окружающие им совсем не товарищи, а товарищами бывают за одним столом. Потом я удивляюсь, как это можно жить в детстве так, как живут совершенно взрослые: говорят — зачем звон, насмешки друг над другом? Я понимаю так: зачем насмешки ядовитые, но звон и шулки я даже люблю, потому что другой раз приходится почти всегда остричь и, наконец, говорить про недостатки товарища, которые, заметив в звоне, потом можно исправить».

Взаимными отношениями сотрудников и колонистов довольны были почти все: «сотрудниками доволен, они нам зла не делали», «делают добро для нас», «доступны во всё», один выражал «благодарность сотрудникам за ихнюю работу на пользу колонии». Некоторые мальчики указывали на то, что колонисты относятся к сотрудникам недостаточно хорошо: «Не хватает простоты, я думаю, это оттого, что мы не так привыкли к ним», «на сотрудников смотрят как на начальников». Один смотрел на эти отношения слишком строго: «колонисты относятся к сотрудникам зверски и нахально». Тот критик, который так основательно разобрал порядки в колонии, очень серьёзно и глубоко отнёсся к работе сотрудников. Его ответ даёт понять, что он думал о характере обращения сотрудников с детьми, и то, что он видел, не удовлетворяло его: «Сотрудники

хорошие люди, но немножко чудные; сотрудница В. Н. какая-то маленькая девочка, совсем не похожа на взрослую женщину; сам господин Ш. говорит: «Вот чё мешало бы вам чем-нибудь в свободное время заняться», — но поговорит, да и всё. Может быть, он *хочет, чтобы мы сами всё сделали*. Но если он видит, что мы ни до чего не думаемся, то, как умный и опытный человек, он должен на что-нибудь толкнуть нас, посоветовать что-нибудь: ведь он на много старше, и умнее, и опытнее, мог бы много сказать в иных делах достаточно одного толчка, чтобы они наладились. Отношение некоторых мальчиков к сотрудникам несколько грубоватое: «Ну, ты, чего орёшь?», «Эй, ты, поди-ка сюда!» — слушать как-то неловко: ведь они старше нас. Должно же быть какое-нибудь уважение к старшим! Но некоторые относятся к ним с каким-то страхом, например боятся спросить их о чём-нибудь. По-моему, это тоже нехорошо: нам надо всем сблизиться, чтобы воспитание из нас «самостоятельных граждан» шло как можно успешнее. Девочкам советуя тоже не стесняться мальчиков: между ними есть очень хорошие люди; а обращаться с ними без различия, по-товарищески. Тогда у нас было бы одно общество, и нам легче было бы идти вперёд».

Анкета должна была преследовать главным образом практические цели, т. е. на основании высказанных в ней мнений и пожеланий предполагалось сделать жизнь в колонии более живой, интересной и серьёзной. Это не удалось, так как некоторые колонисты писали свои листы слишком долго, и общее обсуждение всех ответов могло состояться почти накануне отъезда из колонии первой группы мальчиков. Тем не менее то, что дети подумали о себе, о товарищах и колонии, как-то особенно сплотило и сблизило их, и это быстро сказало и на работах, и на взаимных отношениях, и на большей простоте и искренности в обращении с сотрудниками.

Х

ДНЕВНИК

Так как дело с анкетой немного затянулось, то Ш. предложил на одном из собраний детей завести жалобную книгу, куда бы каждый мог записывать, чем он недоволен, и обсуждать жалобы на «заседаниях». Предложение Ш. было отвергнуто большинством колонистов на том основании — «что жалоб и кляуз не оберёшься». Но вместо жалобной книги была ими предложена книга для того, чтобы все писали в ней всё, что вздумается, и создать, таким образом, дневник колонии. Эта мысль была одобрена единодушно. Книга была куплена на следующий же день, сейчас же ребята сделали для неё конторку, поставили чернильницу с пером, и в первый же день записи покрыли больше пяти страниц. Мысль о дневнике была в высшей степени удачной. Правда, в ней попадались страницы не очень чистые, бывали выражения, не одобрявшиеся собранием, книге было записано постановление: «все вещи, не одобренные собранием, отмечаются цифрами»). Во избежание всяких недоразумений решено было всем, кто хочет написать в книге, подписываться.

Дневник отражает, конечно, не всю жизнь колонии, а только случайные настроения детей. Некоторые колонисты очень полюбили книгу и постоянно наполняли её шутками, сообщениями, стихами —

своими и чужими, а иногда рассуждениями и целыми рассказами. Очень часто встречаются в ней сообщения в несколько слов в таком роде: «сегодня я был очень весел», «я очень накупался», «до обеда совсем голову опустил, а после как-то повеселел», «я набрал целую кружку земляники — и какая вкусная!», «в воскресенье я измок», «я делаю девочкам стол», «я вчера, 12-го июня, плавал до купальни и обратно без отдыха: очень замёрз», «вчера мы долго на сеновале кричали», «вчера меня укусила оса прямо в лоб, мне было очень больно, и я завязался платком», «мы сделали рожу из светящихся гнилушек», «мы делаем рамки для картин», «я сегодня в весёлом расположении духа и не знаю отчего», «мы ходили в лес за грибами и нашли небольшого ужа», «у нас уползли два ужа» и т. д.

Личные отношения между детьми занимают в книге довольно много места. Сначала были попытки подшучивать над товарищами, давать им прозвища, но всё это скоро прекратилось, так как в обществе стали сильно восставать против насмешек: «очень много обижаются, и ссоры выходят из-за звона».

В первую неделю часто появлялись стихотворения одного колониста, обращённые к девочкам в стиле бумажек от конфет. Его примеру последовали было ещё трое мальчиков, но после энергических протестов девочек девочек на собрания стихи этого рода перестали появляться. Девочки писали мало, но тоже любили нежные «стишки».

Разумеется, крупные события в жизни колонии заносились в книгу с большим усердием. Таким событием в первой половине лета была ссора девочек с колонистом, вообще склонным к фантазии, тем самым, который когда-то затевал ночёвки у костра. Раньше он всегда заступался за них, теперь же стал почему-то обращаться с ними очень дерзко и грубо, и девочки пожаловались на собрании. Бывший защитник назвал девочек «сплетницами» и не признал себя виновным. На следующий день появилось в книге его стихотворение, обращённое к одной из девочек:

Будь больше ты девочкой той,
Какою вижу я тебя,
Побольше сплетничай напрасно...
О, ненавижу я тебя!

И поместил ещё несколько стихотворений в таком же роде. На следующем собрании опять обсуждался вопрос об этой ссоре, и мальчик в конце концов сознался, что поступал нехорошо с девочками. Ему предложили извиниться, но он отказался извиняться на собрании, а сказал, что всё напишет в книге. К вечеру в книге появилось такое его произведение:

«Когда я писал эти дурацкие стихотворения, во мне бушевала буря мести и зла по отношению к девочкам. Я тогда не разбирал, кто прав, а кто виноват. Я **находился прямо в каком-то злобном, бессмысленном состоянии**: ко всем придирался из-за всяких пустяков и в журнал написал эти idiotские стихи. Но что хуже всего, так это то, что мне казалось тогда, что я прав. Но, боже мой, что я переувствствовал, когда сознание и совесть вернулись ко мне! Я промучился все эти дни вплоть до собрания. Но поправить уже

было нельзя. Урызения совести не давали мне покоя ни днём, ни ночью. Мне было стыдно после этого даже взглянуть на девочек, которые ни в чём не виноваты. От всего сердца прошу у всех товарищей, в особенности у девочек, прощения. Написавши это, совесть моя успокоилась: я сделал всё, что мог!»

Примирение состоялось; и через две недели на прощанье он уже шутиливо желал девочкам:

Счастливо оставаться,
Грозы не пугаться,
Жуликов не бояться,
Да поменьше баловаться.

Самое большое место в книге отведено описаниям; «сценка из жизни колонии», «почему собака Осман стала бояться меня», «прогулка в лес за грибами», «как я научился плавать», «как ловили жулика», «прогулка в лес», «уж», «забастовка», «прогулка в Берлюковскую пустынь», «описание моей жизни в колонии», «начало забастовки девочек», «отъезд из колонии».

Все эти рассказы описывают фактическую сторону нашей жизни; иные из них написаны очень живо и переданы прямо-таки художественно, как, например, небольшой рассказ об «отъезде из колонии», который мы приведём ниже. Более глубоки по содержанию замечания, иногда очень краткие, показывающие отношение колонистов к колонии и к особенностям её строя.

Интересно то, что было много попыток высказать свои мысли в стихотворной, хотя бы и не очень складной форме:

В семье труда, любви и счастья
Дни пролетали, как во сне,
И пролетит их ещё много,
Но мысли наши впереди.
Эту мысль давно имели
Люди с сердцем и душой.
Их мысль теперь осуществилась—¹
И мы в семье все трудовой,
Где нет различья старших, младших,
Где сильный хилого не гнёт,
А всяк, сплотясь умом и сердцем,
Жизнь труда, любви ведёт.
(Шейкин)

Вот то место, где мы нашли
Свободу, равенство и братство.
(Фёдоров)

На последнее двустишие появилось в книге замечание:

«У Фёдорова розовые очки: равенство ещё, пожалуй, есть, но до братства ещё далеко».

Много счастья бывало
В колонии всегда.
И наконец оно ушло
И не вернётся никогда.
(Фёдоров)

Хорошее чувство в особенности сказывалось в колонии в то время, когда колонистам приходилось уезжать в Москву. Некоторые писали коротко: «я уезжаю со скорбью на душе», «с душевной болью расстаюсь я с колонией». Двое старших мальчиков высказались о том влиянии, которое оказала на них жизнь в колонии: «завтра я уезжаю из колонии, мне грустно вспоминать об этом; так жалко оставлять мою милую родную колонию, где я провёл несколько приятных и полезных недель, где привык к товарищам и сотрудникам; мне грустно оставить то место, где я впервые почувствовал себя человеком, где нашёл хороших товарищей», «бог знает, придётся ли ещё когда пожить здесь или нет; я уезжаю, и воспоминания о жизни в колонии никогда не изгладятся из моей души» (Ермаченко).

Мальчик, за несколько недель до этого так сурово отнёсшийся к порядкам колонии, в анкете писал на прощанье так: «Прощай, дорогая колония! Сколько хороших и полезных для меня дней провёл я здесь! Нашёл много хороших товарищей, научился многому хорошему. Я чувствую, что я много возмужал, что я теперь уже не прежний мальчишка, а всё более становлюсь похожим на взрослого мужчину. Научился готовить кушанье, потом научился плавать. Но что мне больше всего нравится, то, что мне кажется, что я делаюсь всё более и более самостоятельным человеком со здоровым взглядом на дела, на вещи. Мне грустно расставаться со всеми, но более всего с сотрудниками, которые так много принесли нам пользы. Вы, дорогие сотрудники, показали, что и мальчики могут жить с большими наравне, смело высказывая свои мысли и взгляды, что и они могут жить самостоятельно, а не с няньками, и надзирателями. Прощайте все! Как грустно мне расставаться со всеми, поеду опять в пыльную Москву! Ведь только в первый раз в деревне. Очень понравилось, но приходится уезжать» («Илья Муромец» — Григорьев).

Бывшие колонисты иногда приезжали из Москвы в гости вместе с воскресными экскурсиями наших «клубистов»; один из них оставил очень трогательное стихотворение:

Здесь жизнь тихая и светлая стоит,
А у нас в Москве — как бы зима уж скоро:
Везде всё принимает угрюмый, строгий вид,
И не утешит это моего
Привыкшего к раздолью взора.
(Г. Левин)

XI

КОЛОНИЯ В ИЮЛЕ

За две недели до отъезда старшей группы была начата большая работа — сенокос. При даче было около двух десятин луга, и колонисты решили скосить и убирать сено сами. (В прошлом году для этой цели владельцем дачи был нанят рабочий.) Косило траву четверо колонистов и сотрудник. Работа не очень спорилась с привычками, шли дожди,— и кончить работу пришлось уже следующей группе. Во время сенокоса мальчики случайно нашли пчелиный рой, висевший на ветке. Среди косцов нашёлся один, раньше в деревне занимавшийся гчёлами. Под его руководством рой

был снят, помещён в корзину и накрыт простыней. Между тем наши плотники и столары уже принимались за улей, который общими силами поспел через три часа — с двойными стенками, с прокладкой из мелких стружек и рамок. К вечеру рой был уже в улье, и на утро вся колония с величайшим интересом следила за оживлённой работой пчёл.

В самый разгар оживления и интереса к общественной жизни, в последних числах июня, большая часть мальчиков старшей группы должна была уступить своё место младшим товарищам по клубам. На прощание один из бывших противников девочек произнёс на собрании речь, в которой благодарил их за дружбу, товарищество и за то, что отучили всех от привычки браниться. Почти все колонисты провожали уезжавших до станции железной дороги.

Новые колонисты, приехавшие двумя партиями, одна на неделю позже другой, сразу не подошли под наладившийся уже строй жизни колонии. Оставшиеся колонисты отличали их от себя и дали им прозвание «московских». Те протестовали: «Все московские, да московские... а когда же щёлковскими будем?» — «Да какие же вы колонисты: вы и правил не знаете».

На ближайшем собрании (они бывали теперь уже два раза в неделю) один мальчик заявил, что у них с братом украли печенье и конфеты, которые они привезли с собой из Москвы: «один из колонистов видел,— сказал он,— как брали конфеты, только он боится говорить».

Председатель собрания предложил:

— Ну, создавайся, кто брал.

Ответа не последовало. Тогда предложили потерпевшему указать мальчика, который видел, как таскали конфеты: «ты не бойся: тебя все будут защищать, вся колония».

Тот появился и, наконец, назвал троих соучастников. Все стали уговаривать их сознаться. Те долго не решались и только прятали головы под стол. Наконец, один из них, вспыхнув, поднял руку и, с видом человека, бросающегося в первый раз в холодную воду, громко заявил: «Я сознаюсь!»

Его товарищи всё-таки медлили. Тогда уговаривать их стал и сознавшийся: — Создавайся: я вот сознался — и ничего! — Стали понемножку сдаваться и те, по крайней мере один уже решился поднять голову. За них сказали другие.

— Ладно уж, сознались...

От них потребовали обещания, что впредь ручаются за себя и больше ничего не украдут. Председатель продолжал заседание.

— У кого ещё есть какие вопросы?

Подняли руки две девочки,

— Мальчики, у нас такой вопрос: когда мы ходили гулять в Пушкино, то стали купаться. Мы отошли далеко, а мальчики смотрели; а потом, как мы замечали их, так они убежали.

Виновные сознались и просили извинения у собрания.

— А потом ещё один вопрос, — продолжали девочки, — новые мальчики ругаются. Небось забыли, что тут не Москва. А у нас было такое правило...

Но здесь виновный даже не ждал, пока назовут его, и не успели девочки кончить своё обвинение, как он поднял руку и торопливо закричал при всеобщем смехе:

— Сознаюсь. Прошу извинения перед всеми!

Немного позднее пропали у одного из колонистов 19 копеек. На собрании, созванном по этому поводу, дети долго рассуждали, уговаривали сознаться, кто взял, говорили, что «ничего за это не будет», но виновного не нашлось. Тогда было решено собрать эти деньги между собой и вернуть их потерпевшему.

Интересно отметить разницу отношений между старшими и младшими детьми в первую половину лета, когда старших было большинство, и во вторую, когда большинство перешло к младшим. В начале лета небольшая кучка маленьких шла за большими во всех случаях и очень мало себя проявляла. Во вторую половину старших осталось четверо, и когда двое из них стали проявлять снисходительно-начальнический тон по отношению к малышам, то те энергично восстали за свои права и на собраниях постоянно обвиняли старших в проступках против общности и самовласти.

Однажды за обедом дети вели себя особенно шумно, без всякого порядка тянулись со своими тарелками к кастрюле, кричали и выражали своё неудовольствие на то, что обед поспел поздно. Поваром был один из старших. Рассердившись на беспорядок и задетый упреками, раздававшимися по его адресу, он взял в руки кастрюлю с рисовой кашей и со словами: «Если так, то вам ничего не будет!» — унёс её в кухню.

Тогда маленькие члены колонии устроили «собрание», выбрали председателя и секретаря и огромным большинством голосов решили наказать слишком строгого повара, оставив его дежурить ещё на один день. Тот должен был подчиниться общему решению; ребята съели кашу, и в книге появилась заметка: «У нас была рисовая забастовка, и Д. оставили на второй день поваром».

Несколько раз старшие оказывались виновными в грубом обращении со своими младшими товарищами; им приходилось извиняться перед «всем собранием» и обещать, что этого больше не будет. В конце концов обострённые отношения сгладились, и «равноправие» снова воцарилось в колонии.

Прошло довольно много времени, пока стало устанавливаться среди новых колонистов более серьёзное, определённое отношение к общей жизни; постоянно созывались собрания, чтоб разобрать ещё какой-нибудь случай обиды или драки. Постоянно также возникали споры и жалобы из-за дежурств и работ — словом, повторялась уже хорошо знакомая картина. Все эти «несчастья» завершились одним крупным событием, которое довольно сильно подействовало на новых колонистов.

Однажды утром два мальчика (братья), у которых раньше были украдены конфеты, собрали свои вещи и уехали из колонии домой, несмотря на все уговоры и просьбы сказать, почему они едут. Они говорили, что соскучились по дому и что им надо готовить такие-то уроки, но по их упорному виду и смущению других детей, которые пытались уговорить их остаться, видно было, что дело не в скуке и не в уроках, а в чём-то другом. Вскользь кто-то проговорился, впрочем, что уехавших обижали их товарищи по комнате. На следующий день, 1 июля, должно было быть собрание. И на нём сотрудниками был поставлен вопрос: «Кто виноват в отъезде двух колонистов?»

Дети, очевидно, ждали этого вопроса, и, вероятно, среди них создалось недовольство тем, что произошло, так как многие очень

откровенно рассказали про свои отношения к уехавшим, выяснилось, что их дразнили, по уграм стаскивали за ноги с постели, а то «подымали и ремнём», во время работ заставляли больше делать, чем других, «солили» во время купанья, т. е. обсыпали песком, когда те выходили из воды. Один указал на то, что «они мало сами работали», но другой разъяснил, в чём было дело: «На общественной работе стали кирпичи таскать, понесли, а их толкали; один бросил работу и ушёл, я спросил его, а он говорит: «От этого и не работаю». Тогда я позвал его дёрн резать, они и работал хорошо».

Сотрудники не стали убеждать детей в том, что они поступали дурно со своими товарищами: по всей вероятности дети и сами отлично сознавали это. Но им указано было на тот вред, который нанесли колонисты и самой колонии, и даже клубам в Москве, так как могут говорить, что у нас так плохо, что мальчики, кто послабее и не может постоять за себя, должны уехать, спасаясь от побоев и насмешек.

Один из сотрудников рассказал, как он зимой был у родителей обиженных мальчиков и как отец просил его ответить «по совести»: «хорошо ли пускать детей в клуб, полезно ли это будет для них, не научатся ли они чему-нибудь дурному?» Тогда родителям было сказано, что хорошо; родители поверили и стали пускать. А теперь, что оказать родителям? Что их обманули?

Председательницей была девочка. Она обратилась к собранию с вопросом:

— Как нам поправить дело?

Колонисты, видимо, были очень смущены, и никто ей не ответил.

— Как же, господа,— продолжала девочка,— решать теперь или подумать и потом решить?

— Да чего тут думать,— начал К., мальчик лет двенадцати, один из наиболее серьёзных членов колонии. Его вместе с его старшим братом предыдущая очередь колонистов, по предложению девочек, оставила жить на всё лето «для пользы колонии». — Нужно послать родителям письмо и извиниться.

Колонист М., бывший и сам одним из виновников отъезда братьев, объявил, что письмо послать — мало: «надо послать кого-нибудь из колонистов».

— Если послать кого-нибудь, то надо деньги, а где их взять?

— Дело не в деньгах, — возразил старший из братьев К., — а в том, как дело лучше поправить. А деньги мы сами все соберём между собой.

— Кто за то, чтобы послать наших колонистов извиняться?

(Почти все подняли руки, и тут же выбрали двух посланцев — одного старшего четырнадцатилетнего К., а другого — из числа наиболее виновных в преследовании уехавших.

Денег на проезд нужно было около двух рублей. Дети по подписке собрали 1 р. 5 коп., а остальные выдала «денежная комиссия».

Мальчики уехали и через два дня вернулись с беглецами. Последних взяла под своё покровительство часть старых колонистов и перевела их спать в свою комнату, но и без того уже на остальных сильно действовал серьёзный оборот дела, и на некоторое время побои и жалобы уменьшились.

Как было уже сказано, летом наш кружок в Москве не прерывал своей деятельности и, хотя клубов, собственно, уже не было, но

все дети, кто хотел, попросту приходили на нашу площадку в определённые часы, играли или занимались гимнастикой под руководством одного из наших сотрудников. В это же время они могли заявлять о своём желании участвовать в экскурсиях, которые устраивались раза два в неделю в окрестности Москвы — Петровско-Разумовское, Останкино, Кунцево, Царицыно, Новый Иерусалим, Звенигород и т. д.

В колонию дети приезжали почти каждое воскресенье, как гости наших колонистов, и проводили время, как кому нравилось, наслаждаясь на свободе тем, что могли дать лето и деревня. Обыкновенно московские гости и обедали у нас; поэтому на воскресенье назначалось больше поваров и уборщиков, чем в обыкновенные дни. Однажды с гостями вышло большое недоразумение. Часов около четырёх большинство приезжих мальчиков отправилось купаться; наши колонисты в это время пили чай.

Когда купальщики вернулись, то чаю им уже не досталось, и самовар был на кухне. Гости стали просить, чтобы для них снова поставили самовар, и выражали готовность даже сами сделать это. Но наши эконо и уборщики отказались выдать для них чай и сахар на том основании, «что в колонии не было такого постановления». Просьбы гостей перешли скоро в требование, начались упреки: «Так-то вы гостей принимаете», «А ещё колонистами зовётесь», «В Москве товарищи были, а тут и нос кверху», и началась уже ссора, которая кончилась только потому, что гостям пора было идти на поезд. Уходя, они грозили «объявить бойкот всей колонии».

В Москве мальчики, обиженные негостеприимством колонистов, решили созвать всех клубистов на собрание и предложить им устроить «бойкот»: никому не ездить туда с экскурсией. В колонии известие об этом произвело большой переполох, и на собрании должностные лица должны были выслушать много упреков по своему адресу. Те оправдывались неопределённостью правил относительно приёма московских гостей и предлагали, во избежание недоразумений, составить их. Колонисты согласились с ними, но в то же время постановили отправить в Москву письмо с извинением. Письмо должна была написать комиссия, избранная специально по этому поводу, в которую попали все виновники ссоры с гостями. Комиссия составила письмо следующего содержания:

«Товарищи, московские клубисты!

В прошлое воскресенье приехавшие из вас в колонию в конце концов остались недовольны поездкой. Причиной этого недовольства послужило наше легкомысленное к вам отношение, которое явилось следствием того, что у нас ещё не было выработано определённых правил для московских гостей. Извиняемся перед вами, что мы отпустили вас без чаю в Москву. А из-за такой малости, как нам известно, дело это приняло серьёзный оборот, а именно: московские клубисты хотят мстить за это, хотят объявить нам, колонистам, бойкот. Распадение клубов на два таких враждебных лагеря было бы очень нежелательно и печально для всей организации клуба, и потому мы просим не заваривать каши из-за подобных пустяков и обещаемся, что впредь таких случаев не будет.

За колонистов — избранная по этому случаю комиссия».

Письмо это имело своё действие, и москвичи снова в воскресенье появились в колонии.

Отношения между девочками и мальчиками второй очереди имели вполне товарищеский характер, и на одном из собраний было предложено от лица всех девочек принимать участие во всех работах — и лёгких и тяжёлых, так как в новой очереди были мальчики, которых девочки не считали сильнее себя: «Что ж, они тоже будут делать важные работы только из-за того, что мальчики, а мы нет?»

На следующий день на работах наблюдалась необычная картина: девочки таскали на носилках кирпичи и землю, а на огороде между гряд сидели мальчики и выпалывали сорную траву. Таким образом произошло полное уравнивание, поскольку, впрочем, этого добивались девочки, потому что мальчики не очень охотно принимались за «женские» работы — шитьё, штопанье и мытьё полов.

Работы было много, в особенности на огороде: на капусту напала гусеница, и нужно было тщательно выбирать её из листьев; затем окучивали картофель, подвязывали томаты, пополи; многое уже послело, и дети стали относиться с известным уважением к огородным работам, так как польза от них была очевидна. К началу июля подоспела и уборка сена, затянувшаяся из-за дождей.

Затем решено было привести в порядок двор, где в разных местах около сарая и дома лежали кучи всякого хлама, старого ржавого железа и в особенности битых кирпичей, груда которого около сарая была настольно велика, что ребята по ней лазили в окно на сеновал. Один угол двора зарос крапивой, кустами бузины и лопухом; колонисты хотели расчистить и его и кстаті спомать гнилой забор, отделявший двор от огорода.

Подвальный этаж дачи, где находилась наша кухня, сильно страдал во время дождей, вода постоянно протекала во внутрь, понемногу разрушая кирпичный фундамент. Поэтому дети взялись за рытьё канавы вокруг дома, в наиболее опасных местах вода отводилась в глубокую яму, вырытую в стороне.

Работ хватило до конца июля, когда вместо них решено было по утрам заниматься «науками». Ребята разделились на группы, каждая из которых назначала себе определённое занятие — русским и немецким языками, арифметикой, рисованием и естественной историей. Несколько человек стали делать рамки и полочки для клуба.

Две сотрудницы и сотрудник, жившие в это время в колонии, были освобождены от дежурства, так как им приходилось много заниматься с отдельными группами. Рисованием заведовал один из старших мальчиков, ученик Строгановского училища.

Дети не всё время проводили в колонии. По временам устраивались прогулки вёрст за 15—25 от Щёлкова (где находилась колония) — в Пушкино, Болшево, Тарасовку, Берлюковскую пустынь и т. д. Прогулки всем детям очень нравились; они вносили огромное оживление в нашу жизнь. В книге после прогулок иногда появлялись описания их.

(Мы приводим несколько выдержек из одного сочинения, где автор (мальчик лет тринадцати) с большой любовью описывает свои впечатления от прогулки в Берлюковскую пустынь:

«Первого августа утром, напившись чаю, стали собираться.

Некоторые мальчики пошли на огород за горохом и огурцами. После этого все пошли, кроме двух девочек. Шли мы скоро и вели интересные разговоры, и как нам покажется какая-нибудь церковь, то думали, что пустынь. Так дошли до леса; здесь стали отдыхать. Некоторые стали собирать грибы. Лесом шли очень долго и

думали, что заблудились. В лесу нам встретился казак, наконец, мы вошли на какую-то дачу и здесь спросили: «Далеко ли пустынь?» — и когда узнали, что недалеко, то все обрадовались. Немного пройдя, мы увидели с небольшой горки пустынь: она была очень красива. Высокая колокольня, окрашенная в белый цвет, была очень живописна среди зелени.

Но вот мы увидели большую тучу. Ш. нам советовал дожидаться дождя и спрятаться под мост, но все остальные желали идти, и мы пошли дальше. Пошёл дождь. Все — прятаться под деревья, а я выбрал себе густую ель, спрятался под неё и остался сухой; но все остальные, кроме двух, были мокрые до костей. Все захотели есть и мечтали об еде. Наконец, мы пришли в пустынь и пошли в монастырскую гостиницу. Нас встретил румяный, здоровенный монах, которого мы не ожидали встретить. Нам дали две комнаты. Мы стали пить чай. Во время чая все причмокивали губами так, что казалось, мы находимся в хлеву. После чая пошли осматривать монастырь.

Когда возвращались домой в гостиницу, то готовился ужин. За ужином мы ели жареные грибы и мясо. После ужина пошли на колокольню. Нам сказали, что эта колокольня выше Ивана Великого. Вид вокруг пустыни был — где сплошной лес, а где поле. Было поздно и делать было нечего. Тогда стали рассказывать сказки и анекдоты.

Наконец, всем захотелось спать, и нам принесли войлок, одеяла и подушки. Уснуть было трудно, потому что кусали звери.

Когда утром пришли в церковь, то на нас стали смотреть, потому что мы были все босиком. Выйдя из церкви, мы пошли искать росянку¹ и, наконец, её нашёл Ш. Решили её взять, когда пойдём домой. Ходили осматривать пещеры, где когда-то какой-то святой хотел устроить монастырь, но умер, не окончив работы. Потом пошли дожидаться обеда. Наконец, пришёл монах и предложил идти обедать. Когда подошли к монастырским воротам, то нас попросили встать в ряды. Дорогой встретился игумен. После обеда пошли за росянкой, накопали её в ящики и пошли домой новой дорогой. Пройдя версты три, встретили дровосеков и спросили дорогу. Те сказали, что встретится сторожка, и там покажут дорогу. Мы прошли полверсты, но ничего не встретили. Здесь дорога разъезжалась направо и налево, и мы не знали, куда идти. Тогда у нас поднялся спор: Ш. говорил: «Направо», а В. Н. — «Налево». И решили идти прямо по тропинке. Но, пройдя несколько шагов, идти было невыносимо, потому что кусты срастались чаще, и вернулись обратно. Но вот, на счастье, увидели мужика и спросили у него дорогу, и В. Н. оказалась победительницей спора, потому что надо было идти налево.

Выйдя из лесу, мы стали отдыхать и разложили костёр. Когда отдохнули и тронулись домой, то примчался мужик на лошади тушить костёр, он, наверно, думал, что лес загорится.

Дорогой Осман показывал свою храбрость: гонялся за овцами, за коровой. За другой коровой было погнался, но та за ним, и Осман хвост поджал и убёг. Дорогой ели яблоки. Какая-то деревенская баба посадила девочек и довезла до дому, а мы пешочком пришли домой. Я остался очень доволен прогулкой» (Е. Крылов).

¹ Насекомоядное растение, растущее на торфяных болотах.

Мирная жизнь колонии за последние две недели нарушилась одним происшествием, окончившимся, впрочем, ко всеобщему благополучию и оставившим после себя много шуток и смеха. Происшествие это получило название «забастовки девочек».

Собственно говоря, и участие девочек в общественной жизни колонии направлялось и поддерживалось двумя сёстрами С., которые оказались более опытными, чем их подруги, в житейских делах, т. е. умели варить, порядочно шили, любили работать, умели стать на товарищескую ногу с мальчиками и очень быстро вошли в новый для всех строй колонии. Они пользовались большим уважением со стороны колонистов. В начале августа им пришлось уехать в Москву. Остальные девочки, считая, вероятно, несправедливым то, что к ним все относятся хуже, чем к уехавшим, решили доказать, что и они могут работать очень хорошо. Но на следующее утро, во время работ, девочки не удержались от соблазна сбежать погулять. Купались они долго, и когда пришли, то работа была уже кончена; мальчики стали подсмеиваться над ними. Весь день девочки были в «очень урюмом виде», по выражению одного из мальчиков, всех усерднее описавшего забастовку. Вечером девочки «собрались в комнату и, после страшных рассказов, стали визжать, — писал в книге тот же мальчик. — В это время приехал Ш. и сказал, чтобы они не визжали, но это им не понравилось, и они пошли печально спать».

Таким образом, к обиде на мальчиков присоединилась обида и на сотрудников. Это обстоятельство тоже было занесено в книгу: «После сестёр С. девочки обижаются на мальчиков и отчасти на сотрудников, говоря, что В. Н. была при тех девочках весёлая. Разобрать правду, это ложь. На следующее утро после чая была заседание, где мы, в присутствии девочки, решили выбрать комиссию для осмотра нашего дома. Через несколько времени, осмотрев наши беспорядки в чистоте, мы стали собирать собрание об обсуждении вопроса, кому куда идти работать. Наконец, мальчики собрались, но девочек не было; мы стали их звать, но они не пришли. Собрание открылось, председатель выбран. Обсуждается вопрос о девочках, и решили послать к ним двух мальчиков спросить, почему они не пришли на собрание. Наконец, наши депутаты возвратились с ответом от девочек, будто бы на них Ш. говорил за обедом, чтобы они уезжали в Москву, а от В. Н. желают, чтобы она каждое утро с ними здоровалась. Потом сказали, что ничего общего не будут пить и есть, и на собранные 42 копейки пять девочек обещали прожить три дня до воскресенья».

На следующее утро появилась в книге новая заметка: «Вчера вечером, ложась спать на сеновале, мы вспомнили про трудолюбивых и прилежных девочек, которыми, к сожалению, по уважительной причине, пришлось уехать в Москву, а в колонии остались какие-то немудрые забастовщицы, с кем теперь мальчики необходимо часто спорят».

Целый день девочки держались особняком. Мальчики относились к ним довольно добродушно, но «забастовщицы» даже время для своего купания выбирали как раз тогда, когда колонисты обедали или пили чай: в это время они могли пройти мимо всех и

доказать таким образом, что не обращают на мальчиков никакого внимания. Но те старались держаться как можно серьёзнее и останавливали друг друга, если кому хотелось подтрунить и громко сказать что-нибудь обидное для девочек.

На следующий день мальчики не выдержали, отправились в помещение девочек и стали уговаривать их «прекратить глупую забастовку». Девочки плакали, пошли объясняться с сотрудницей, и быстро состоялось всеобщее примирение. За ужином было много смеха над тем, «с каким аппетитом ели девочки, так что позабыли даже про своё обещание есть во время забастовки только молоко и жареные грибы, которых они даже не видали». После ужина одна из «общественных» комнат была обращена в сцену, в дверях устроен был занавес из простыни, и наши артисты разыграли несколько пьес «собственного-сочинения».

В пьесах, имевших близкое отношение к той грустной жизни, которая окружает наших детей дома, участвовали главным образом разбойники, грабители, жулики, городовые и купцы, которых обкрадывают или убивают.

Девочки тоже поставили две пьесы, уже более гуманных и трогательных по своему содержанию.

Вечеринка докончилась пением и танцами, и, таким образом, примирение было отпраздновано весьма достойным образом.

Приближалось время отъезда в Москву; в книге появляются «прощания», в которых выражалось грустное чувство расставания с колонией.

«Прощай! Прощай, колония! Прощай, дорогая моя! Не могу про жить в колонии! Больше мне не попасть в такую».

«Прощай! Мы уезжаем. Оставайся в нашей памяти и жди нас, может быть, на будущий год!»

«Настал тот час — мне уезжать из колонии! Мне очень жалко расставаться с ней. Я привык, как к родной матери!»

Один мальчик, прозванный у нас «писателем» за свою страсть к «сочинениям», очень трогательно выражал свои чувства: («Прощай, прощай, дорогая колония! Быть может, я больше не увижу здесь той природы, которой я наслаждался. Прощай! Я в последний раз вижу здесь всё то, что происходило. Ох, как мне не хочется оставлять тебя, но пришёл день нашего отъезда, и мы со слезами покинем колонию! 12 августа мы приотвлялись к отъезду, кляли все вещи в ящики, убирали огород и работали весь день. Потом вечером была вечеринка; вообще день провели очень хорошо и весело. А утром должны приехать ломовые, и мы очень грустно двинемся из дорогой колонии».

В конце августа «писатель» зашёл на квартиру, где жили сотрудники, попросил книгу, ушёл в отдельную комнату, заперся и к своим прежним «сочинениям» прибавил ещё одно:

«Ох, если бы вы знали, в каком я положении был тогда, когда я уезжал из колонии и прощался с сотрудниками! Отойдя шагов на десять от дачи, я заплакал и грустно пошёл на станцию, хотя своих слёз не показывал в виду. И как не плакать, когда я так привык там, что если мне кто напоминал дом, где я жил зимой, того я страшно не любил и даже долго сердился на тех. Но вот пришёл один из несчастных для меня — день нашего отъезда из

колони, где я так много научился всему и, благодаря собранию, отвык ругаться; вообще научился не только науке, но даже и поварить. Приехав в Москву, я долго скучал по колонии, и когда дома обедал, то мне напоминались слова: «Качать поваров! — а если после усталости, садился чай лить, то мне вспоминалось: «На второй день уборщиков!» Наконец, я приехал в Москву и зашёл в клуб. Занятый и работы не было. Я немного посидел и, поговорив о колонии с Ш., сел за его стол и начал вспоминать старое и продолжать свои сочинения» (А. Тимонин).

Новая работа

13 августа дети расстались с колонией, и теперь вся работа кружка сосредоточилась в Москве.

К этому времени клубы перешли в другое, более обширное помещение¹, так как за лето к прежним прибавилось очень много новых ребят. Кроме того, из разговоров с детьми выяснилось, что многие из них желали бы помимо посещения клубов или обучаться какому-нибудь ремеслу, или вообще продолжать учение, или учиться отдельным предметам, как рисование, черчение, французский, немецкий язык. Таким образом, сама жизнь расширяла те формы работы, которые делали сотрудники на первых шагах, и было большим счастьем, что явилась возможность продолжать эту работу, сделав её более разносторонней, более близкой и понятной для наших тёмных и запуганных соседей.

Расширение деятельности кружка началось, собственно говоря, уже через месяц после открытия клубов. В 1905 году мы имели дело с детьми только школьного возраста, а те, которые ещё не доросли до школы, оставались предоставленными самим себе или улице, как и их старшие братья и сёстры; матерям за стряпнёй, стиркой белья, всей этой мелкой ежедневной работой в семье некогда смотреть за своими малышами, а отцы заняты целый день на заводах, фабриках и мастерских, поэтому-то часто случается видеть, что для этих усталых людей дети, с их криком, плачем и «толканием под ногами», служат не радостью, а помехой.

Мы хотели начать новую работу, которая помогла бы и родителям и детям. Это привело к открытию у нас детского сада. Несколько наших сотрудниц взяли за это дело. Нескольким семьям было предложено присылать к нам своих маленьких детей начиная с пятилетних. Небольшое помещение и неуверенность в своих силах заставили наших сотрудниц начать с небольшого количества ребят (около двадцати). Родители в общем отнеслись с большим сочувствием к новому начинанию,

В основу работы с малышами хотелось поставить те же принципы взаимного доверия между детьми и взрослыми, свободы проявления детской индивидуальности и самостоятельности, устранения внешнего авторитета старших, ненужности школьной дисциплины и учёбы, как это имело место со старшими детьми. Таким образом, наш детский сад не должен был давать детям систематических знаний, грамоты; мы хотели помочь детям разобратся в накопленном

жизненном запасе впечатлений, чтобы они привыкали сознательно относиться к окружающему, развивали все органы восприятия впечатлений внешнего мира, мускульное чувство, зрительную память, ловкость рук и движений. Дети сначала очень дичились, но очень скоро почувствовали, что у нас им свободно, быстро освоились с новой обстановкой и доверчиво подошли к нам.

Разница в их развитии выяснилась, лишь только предложена была им интересная работа; так произошло первое разделение ребятшек на группы. Старшие и младшие разделились по большей части в играх. Мальчиков и девочек соединить было очень трудно.

Часто между детьми бывали, конечно, ссоры и драки; обиженные являлись с жалобами к взрослым, но те передавали дело на их собственный суд. Таким образом, им самим приходилось подумать о том, чего у нас нельзя делать. При этом забавно было слышать с их стороны требование, чтобы «правила» обязательно записывались, хотя, как казалось, это было для них бесполезно: никто почти читать не умел.

В результате было записано, что нельзя драться, ругаться, выбегать на улицу (зимой), мешать другим в работе. Ввели дети и наказание: кто не исполняет «правил», не должен ходить в сад — один или два раза.

Вопросом о наказаниях сотрудницы были захвачены врасплох, и они принуждены были на первое время подчиниться приговору детей. Но после оказалось, что не ходить в сад было величайшим наказанием для них, тем более, что им за «баловство» доставалось и дома; и чтобы избавиться от «другого конца палки», дети стали прибегать ко лжи. Сотрудницы посещали родителей их, и убедительнее во вреде наказаний было очень легко. Пришлось поправлять свою ошибку и влиять на детей, чтобы они поняли, как жестоки их наказания. Работа детей в саду состояла в следующем: ничем не стесняемая лепка и постройки из глины и песка, плетение из разноцветной бумаги, рисование цветными карандашами и краской; вышивание цветной шерстью и вырезывание из цветной бумаги. Нам думается, что при этих работах дети, имея дело или с формой, или с цветами и комбинациями их, развивают фантазию, вкус и ловкость рук.

Очень часто дети попросту рассматривали всевозможные картинки и рассуждали о них вместе с сотрудницами, рисовали и складывали на память разные фигуры. К концу года дети очень свыклись со всеми порядками, в установлении которых им пришлось участвовать; интерес к работам был так велик, что так называемая «дисциплина» поддерживалась без всякого давления со стороны сотрудниц.

В сентябре 1906 года мы уже могли принять большее число детей; помещение стало больше, и игры, которые туго налаживались в прошлую зиму из-за тесноты комнат, шли гораздо успешнее. Все дети прошлого года, оставшиеся в этой местности, являлись опять к нам, как старые знакомые. В этом году мы принимали в детский сад уже с четырёхлетнего возраста. Теперь у нас было маленьких 33 человека.

Необходимость расширения других сторон нашей работы всецело основывалась на запросах и нуждах детей, посещавших наши клубы. Огромное большинство их учится или кончило городское училище. Период учения для многих кончается к 12-14 годам; небольшое

¹ Долгоруковская ул., Вадковский пер., д. 10. (Примечание автора)

число выходит из школы даже 11 лет. С пятнадцати лет мальчики принимаются на фабрики, заводы и в мелкие ремесленные мастерские в качестве учеников. До этого же времени им приходится бегать по улицам, слоняться без дела по дому, теряя те крохи грамоты, которыми наделяет их городское училище.

Девочек отдают в ученье раньше; но всё-таки первые годы этого «ученья» проходят в беспрепятственном бегании по посылкам мастериц и хозяев всевозможных «модных» белошейных, бурнусных и др. заведений.

Нам хотелось прийти на помощь этим детям с двух сторон. Во-первых, дать возможность продолжить образование, начатое в городском училище хотя бы до пятнадцатилетнего возраста, и, таким образом, у нас возникла маленькая школа для мальчиков и девочек, где дети занимаются физикой, химией, зоологией, ботаникой, историей, географией, рисованием, русским языком и ручным трудом. Во-вторых, мы хотим облегчить будущим маленьким ремесленникам их «ученье», чтобы не пришлось им так много бегать за водкой и колбасой, папиросами с другими поручениями мастеров, тогда как даже немного привыкший к мастерству мальчик уже представляет известную ценность для мастерской. И с осени мы начали организовывать ремесленные «курсы» (пока слесарные и столярные), где желающие могут работать два раза в неделю. Для старших девочек устроилась «модная» мастерская, которая ведётся под наблюдением мастерицы и работает каждый день.

Многие дети заявляли желание, как мы говорили раньше, изучать отдельные предметы: и для них удалось устроить обучение рисованию, черчению, французскому и немецкому языкам. За всякий «курс» берётся плата 40 коп. в месяц с «посторонних» и двадцать пять со «своих». Курсисты участвуют в вечеринках, экскурсиях и посещениях театров, но на общих собраниях всех членов клубов не имеют права решать вопросы».

Огромное значение для нашего дела имеет организация медицинской помощи детям. Наша сотрудница, бывшая земский врач, устроила у себя на квартире амбулаторию, где принимает больных с платой 40 коп. за совет. При амбулатории функционирует зуболечебный кабинет. Больные платят за совет 25 коп. Наши дети лечатся бесплатно.

Родители наших детей понемногу привывают к нам и иногда, особенно по праздникам, приглашают наших сотрудников к себе в гости. Конечно, во время этих посещений возникают долгие разговоры о детях, поднимаются почти всегда споры о наказаниях, строгости и свободе; и с отрядным чувством пришлось услышать несколько мнений о том, что хорошо было бы родителям собираться у нас и толковать или «слушать лекции про детей».

Наша работа сильно выросла и усложнилась за тот даже небольшой промежуток времени — полтора года с тех пор, как существует. Началась она благодаря ничтожным усилиям двух-трёх лиц с небольшой кучкой случайно собранных ребятишек. К концу лета из детей и взрослых стало составляться маленькое общество с определённым участием в нём маленьких членов; осенью и зимой к нам приходило всё больше и больше детей, они приносили с собой много нового, своего, чему мы хотели дать полный простор: наши дети многому научили своих сотрудников, и в тех простых, товарищеских

и доверчивых отношениях, которые начинают укореняться между большими и маленькими участниками общего дела, мы видим драгоценную канву для дальнейших шагов вперёд.

Мы хотели бы, чтобы у нас в доме, школе, детском саду, клубах, мастерских детям легко дышалось, чтобы мальчики и девочки работали вместе, как товарищи, чтобы нашей внутренней жизнью руководил дух общей солидарности.

Мы не ограничиваем нашей деятельности установлением определённых форм работы, а хотим жить вместе с теми, с кем работаем; таким образом, наше ближайшее будущее зависит от того, сколько принесут с собой наши дети. Пока же мы можем удовлетвориться только тем, что стоим на пути работы с маленьким человеком, уважая его мысли и желания.

КОММЕНТАРИИ

Мой педагогический путь

Данная статья написана для книги С. А. Черепанова «С. Т. Шацкий в его педагогических высказываниях», М., 1928, изд-во «Работник просвещения». Печатается по тексту второго издания этой книги, М., 1929. Печаталась также в книгах «Годы исканий», Учпедгиз, 1935, в «Избранных педагогических сочинениях» С. Т. Шацкого, Учпедгиз, 1958, и в третьем издании книги С. А. Черепанова «С. Т. Шацкий в его педагогических высказываниях», Учпедгиз, 1958. В 1928 году в журнале «Народный учитель», № 12, был напечатан очерк С. Т. Шацкого «Мой педагогический путь».

Стр. 55. *Зеленко Александр Устинович* (1871—1953) — архитектор, педагог, организатор внешкольных детских учреждений: клубов, библиотек, площадок, школьных музеев и пр. Преподавал на Пречистенских рабочих курсах в Москве и в воскресных рабочих школах, читал лекции о детских библиотеках в университете Шанявского. Вместе с С. Т. Шацким организовал для детей рабочих и подростков клуб общества «Сетлемент». После Октябрьской революции А. У. Зеленко вёл научно-исследовательскую и педагогическую работу в Институте внешкольной работы, был членом научно-педагогической секции ГУСа, заведовал кафедрой политехнического обучения в Институте повышения квалификации НКП РСФСР.

Стр. 60. *Шанявского университет* — народный университет в Москве. Открыт в 1906 году на средства либерального генерала А. Л. Шанявского и назван его именем. Университет этот существовал до конца 1918 года. Он имел отделения — научно-популярное с курсом средней школы и академическое, дававшее высшее образование по факультетам естествознания и общественно-философскому. В университете могли учиться лица, не допускаясь в казённые учебные заведения вследствие различного рода ограничений (национальных, политических и др.). Университет имел хорошее учебное оборудование, преподавали в нём видные учёные и профессора, многие из которых были уволены из государственных университетов

за либерально-демократические взгляды. Университет Шанявского пользовался большой популярностью как прогрессивное учебное заведение. При нём проводились разнообразные курсы, о которых и пишет С. Т. Шацкий.

Стр. 63. *Шлеер Луиза Карловна* (1863—1942) — советский педагог, деятель по дошкольному воспитанию. С 1909 года руководила народным детским садом общества «Детский труд и отдых», ставшим в 1919 году экспериментальным при опытной станции по народному образованию; разрабатывала методику обучения грамоте, обобщала опыт начального обучения. Её основные труды: «Практическая работа в детском саду» (1915) и «Особенности работы с детьми семилетнего возраста» (1924).

Азаревич Людмила Дмитриевна (1873—1954) — работала в обществе «Детский труд и отдых» с детьми дошкольного возраста. В Первой опытной станции по народному образованию (Калужское отделение) заведовала дошкольным отделом. Последние годы жизни работала в Библиотеке по народному образованию имени К. Д. Ушинского Академии педагогических наук РСФСР.

Массалитинова Надежда Осиповна (1876—1921) — русский педагог и деятель в области дошкольного и физического воспитания детей, сторонник системы П. Ф. Лесгафта. Разрабатывала педагогические вопросы детских игр. Н. О. Массалитинова — организатор и руководитель курсов по подготовке педагогов для детских площадок. С 1913 года участвовала в работе московского общества «Детский труд и отдых», с 1919 года — в работе Первой опытной станции по народному образованию.

Годы исканий

Первое издание книги относится к 1924 году (Москва, изд-во «Мир»). Вторым изданием без изменений вышла в 1925 году. Книга включала: Предисловие, ч. 1 — «Старая школа» и ч. 2 — «Новая школа». «Старая школа» написана С. Т. Шацким на основе личных воспоминаний. В дальнейшем 2-я часть («Новая школа») при переизданиях работы «Годы исканий» опускалась, поскольку некоторые из высказанных в этой части книги положений нашли значительное уточнение и развитие в других статьях С. Т. Шацкого, иные положения были им пересмотрены. В 1935 году Учпедгизом была издана книга С. Т. Шацкого под этим же названием. В неё вошли «Старая школа», «Дети — работники будущего» и «Мой педагогический путь». «Годы исканий» («Старая школа») вошли в «Избранные педагогические сочинения» С. Т. Шацкого (Учпедгиз, 1958) и печатаются в настоящем томе по тексту этого издания.

Студенческие годы

Публикуется впервые по машинописной рукописи, хранящейся в Научном архиве Академии педагогических наук РСФСР, ф. 1, ед. хр. 288, лл. 210—258.

«Студенческие годы» — воспоминания С. Т. Шацкого о годах учения в Московском университете, продиктованные им (и записанные стенографически) в январе 1928 года. В основу данной

работы положены студенческий дневник автора, а также воспоминания, зафиксированные им в различное время.

При подготовке к опубликованию рукопись стенограммы подверглась лишь незначительной обработке.

Стр. 182. В помещённых далее записях С. Т. Шацкий не даёт подробного описания своей дальнейшей студенческой жизни; основное внимание он уделяет углублённому самоанализу, оценке знаний, даваемых университетом того времени, выявлению своих стремлений, надежд, поискам своего места в жизни.

Дети — работники будущего

В данном варианте работа опубликована впервые в 1922 году, М., изд-во «Работник просвещения».

Была напечатана (без предисловия) в качестве второй части в книге «Годы исканий», Учпедгиз, 1935.

В «Избранных педагогических сочинениях» С. Т. Шацкого (Учпедгиз, 1958) печаталась с предисловием 1922 года. В данном томе печатается по тексту избранных педагогических сочинений.

В 1907 году в журнале «Просвещение», № 1—7, была напечатана большая статья С. Т. Шацкого «Общественная жизнь детей», в которой описывалась жизнь детей в Щёлковской колонии и работа клуба в 1905—1906 годах. Эта статья являлась первоначальным вариантом книги «Дети — работники будущего».

В 1908 году книга С. Т. Шацкого «Дети — работники будущего» вышла в издании «Библиотеки свободного воспитания», под ред. И. И. Горбунова-Посадова. Кроме работы С. Т. Шацкого, книга содержала вступительную статью А. У. Зеленко «Новая общественная работа» и две статьи Н. Я. Казимирова: «В районе деятельности «Сетлемента» и «Итоги анкеты детских клубов «Сетлемента»», «Дети — работники будущего» — это краткие, живые и яркие очерки работы детских клубов и летней колонии общества «Сетлемент» за 1905 и 1906 годы.

В 1920—1921 годах, на основе издания 1908 года и ряда неопубликованных материалов, автором была начата коренная переработка книги, первая часть которой и была опубликована в 1922 году. Здесь значительно полнее, чем в издании 1908 года, охарактеризована работа Щёлковской колонии, но только в первый период её деятельности (лето 1905 года).

Вторая и третья части рукописи «Дети — работники будущего» вместе с черновиками утрачены во время пожара.

Для ознакомления читателей с работой детских клубов и колонии общества «Сетлемент» с осени 1905 года в приложении помещена часть книги «Дети — работники будущего» издания 1908 г.

Детский труд и новые пути

Впервые опубликовано в журнале «Свободное воспитание», 1907—1908, № 6.

Печатается по указанному источнику.

Новая общественно-педагогическая работа для «детей — работников будущего»

Брошюра под редакцией И. Горбунова-Посадова вышла в Москве в 1910 году в издании «Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей». Автор не указан, но рукопись этой брошюры, написанная рукой С. Т. Шацкого, хранится в научном архиве АПН РСФСР, ф. 1, ед. хр. 289, лл. 1—14. Печатается по тексту указанной брошюры.

Задачи общества «Детский труд и отдых»

Брошюра из серии «Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей» под ред. И. Горбунова-Посадова, М., 1909. Автор брошюры не указан, но авторство С. Т. Шацкого подтверждается Е. Я. Горбуновой-Посадовой, В. Н. Шацкой, А. А. Фортунатовым, Р. К. Шнейдером. Печатается по тексту указанной брошюры.

Памяти светлой молодой жизни

Статья написана в связи со смертью Константина Алексеевича Фортунатова. Впервые опубликована в журнале «Свободное воспитание», 1914—1915, № 6.

Печатается по тексту статьи из этого журнала.

Константин Алексеевич Фортунатов, будучи студентом Московского университета, принимал активнейшее участие в педагогических исканиях Шацкого в детских клубах общества «Сетлемент» и позднее в обществе «Детский труд и отдых». Погиб в начале первой мировой войны в Восточной Пруссии, куда был направлен в качестве военного врача.

Стр. 293. *Иван Иванович Горбунов-Посадов* (1864—1940) — русский писатель, педагог. Он был в то время редактором журнала «Свободное воспитание» и обратился к С. Т. Шацкому с просьбой написать статью, посвящённую памяти К. А. Фортунатова.

Под редакцией Горбунова-Посадова вышла и «Библиотека свободного воспитания», в которой впервые была напечатана книга С. Т. Шацкого «Дети — работники будущего» (1908).

Бодрая жизнь

Книга «Бодрая жизнь» написана в соавторстве с В. Н. Шацкой зимой 1913/14 года во время заграничного путешествия. Начата в ноябре 1913 года в Давосе, окончена в апреле 1914 года в Брюсселе.

Напечатана впервые в журнале «Народное образование» («Известия Московского городского думы», 1914, № 5—6, 7—8, 9, 10—М и 12). Отдельной книгой с незначительными изменениями и дополнениями (Жизнь в колонии) и выходы) вышла в 1915 году в издательстве «Грамотей», М.; второе издание печаталось без изменений в 1919 году (М., изд-во Центросоюза), третье, несколько переработанное издание — в 1923 году (М., Госиздат, П.).

«Бодрая жизнь» включена в «Избранные педагогические сочинения» С. Т. Шацкого (Учпедгиз, 1958). В настоящем томе «Бодрая жизнь» печатается по этому изданию.

Колония «Бодрая жизнь», а впоследствии школа-коллония, на протяжении 20 лет (1911 — 1931 годы) являлась местом разнообразнейших педагогических экспериментов С. Т. Шацкого, сначала в области трудового и художественного воспитания и организации детского коллектива, а позднее и в области учебной, методической, воспитательной и общественной работы школы как I, так и II ступени. Материалы школы-коллонии «Бодрая жизнь» Первой опытной станции Наркомпроса находятся в Научном архиве АПН РСФСР.

После смерти С. Т. Шацкого школа-коллония «Бодрая жизнь» была переименована в полную среднюю школу имени С. Т. Шацкого. Работа нашла отражение в книге «Школа имени С. Т. Шацкого», сборник под ред. Л. Н. Скаткина и Д. Ф. Тамицкого, М., Учпедгиз, 1940.

Вторая часть книги «Бодрая жизнь», отражающая опыт колонии за 1914—1930 годы, была подготовлена к изданию С. Т. и В. Н. Шацкими в 1930 году в объёме 80 авторских листов, но рукопись погибла во время пожара, и восстановить её при жизни С. Т. Шацкий не успел.

Стр. 305. Старшими колонистами, работавшими в колонии в 1911 — 1913 годы, были:

А. В. Гаериллов, ученик Строгановского училища, впоследствии художник-педагог. С 1918 по 1931 год работал в колонии «Бодрая жизнь» в качестве преподавателя изобразительных искусств и педагога-воспитателя, с 1931 года был учителем рисования в Первой опытно-показательной трудовой школе имени Горького в Москве.

А. П. Башкиров, ученик Строгановского училища, до 1918 года принимал участие в работе общества «Детский труд и отдых» как преподаватель ИЗО. В настоящее время учитель рисования в общеобразовательной школе.

А. Э. Фратчер, учащийся на курсах университета имени Шанявского, впоследствии агроном. Будучи студентом Т. С. Х. А., работал педагогом-воспитателем в детском доме Первой опытной станции в Москве (Петровско-Разумовское) и заведующим сельскохозяйственной учебной фермой в Калужском отделении станции.

А. П. Щербakov, ученик железнодорожного училища. Был выдвинут колонией на продолжение образования. В первые годы работы Первой опытной станции работал педагогом-биологом в Детском доме Первой опытной станции. В настоящее время — научный работник одного из институтов Академии наук СССР.

А. С. Лалин, наборщик-мастер, впоследствии корректор. Систематически принимал участие в работах колонии («заведующий прачечной»). В первые годы деятельности опытной станции был на хозяйственной работе в учебном хозяйстве.

Стр. 306. Первыми педагогами, руководителями колонии «Бодрая жизнь», кроме С. Т. и В. Н. Шацких, были: Е. С. Галкина — учительница и Н. Г. Зяблов — студент университета.

Стр. 307. В «Бодрой жизни», напечатанной в журнале «Народное образование», а также в издании «Грамотей» в данном месте имеются следующие интересные слова, выпущенные в последующих изданиях: «Работа, работа, наша основа! Как начать, как

приступить с ней к детям? Как дать им привычку трудиться свободно, без принуждения, как добиться радости в труде?»

Стр. 322. Речь идёт о *Екатерине Алексеевне Манжос*, члене педагогического коллектива общества «Сетлемент» и «Детский труд и отдых». Как врач Е. А. Манжос вела большую лечебную и санитарно-просветительную работу не только среди детей, но и среди родителей и рабочего населения района и пользовалась любовью и популярностью.

Стр. 352. В Научном архиве Академии педагогических наук хранятся отдельные номера журналов, выпускавшихся в колонии «Бодрая жизнь» в различные периоды с 1911 по 1931 год. Среди них есть несколько номеров журнала «Наша жизнь».

«Вступительная статья», статья «Наше хозяйство» и «Наши собрания» в первом номере журнала написаны редактором С. Т. Шацким. В № 2 журнала «Наша жизнь» редактору Шацкому принадлежат статьи: «Что такое наша колония», «Наше хозяйство», «Наши собрания» и «Разные известия». В № 3—4 им написаны: «В будущем году», «Наше хозяйство» и «Наши собрания».

В «Бодрой жизни» разных изданий С. Т. Шацкий не всегда приводил одни и те же статьи воспитанников. Так в первой публикации «Бодрой жизни» имелись детские рассказы «Необычайное нападение на зайца», «Как большие мальчики курят папиросы» и др., которые позднее были заменены.

Стр. 356. *А. Ф. Лушин*, воспитанник колонии «Бодрая жизнь» с 1912 по 1923 год, в настоящее время — художник, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР. Неоднократно упоминается в настоящей книге и в некоторых других работах С. Т. Шацкого. В 1932—1934 годах А. Ф. Лушин работал под руководством С. Т. Шацкого педагогом-воспитателем группы особо одарённых детей в Московской государственной консерватории, где успешно применял различные методы Шацкого в области организации детского коллектива, осуществления разнообразной внеклассной работы (театральной, литературной, журнальной и т. п.).

Стр. 401. Руководительницей младшей группы была в 1913 году *Александра Николаевна Абрамова*, получившая специальное образование на курсах П. Ф. Лесгафта в Петербурге. Кроме руководства младшей группой и медицинского обслуживания всей колонии, она широко и интересно поставила работу в области игр и физической культуры.

Стр. 403. Речь идёт о систематической работе в летней колонии, под «тремя годами» следует понимать три летних периода.

Стр. 426. Большое место в хоровом репертуаре колонии занимали русские народные песни.

Стр. 434. К третьему году существования колонии в репертуаре колонии насчитывалось уже до 20—30 русских народных песен, которые исполнялись колонистами без сопровождения и поэтому были широко распространены в быту.

Стр. 436. На этом заканчивается произведение «Бодрая жизнь», напечатанное в журнале «Народное образование», 1914, № 1—12.

Стр. 449. Под терминами «детский труд», «детское искусство», «детская наука» и «детская социальная жизнь» автор понимал такие виды и формы деятельности, которые наиболее соответствуют уровню физического, умственного, эстетического и социального развития детей различных возрастных групп. Автор отнюдь не

ограничивался лишь специфическими формами «детского искусства» или «детского труда-игры». Как видно из всей работы, С. Т. Шацкий широко использовал разнообразные формы трудовой деятельности, стараясь найти наиболее пригодные для детей организационные формы, стремясь сделать этот труд понятным им по своим целям.

В области искусств, не отрицая значения и собственного творчества детей, С. Т. Шацкий широко пропагандировал лучшие образцы народного творчества во всех видах искусств и русскую и западную классику в образцах, наиболее доступных детям.

Стр. 450. «Бодрая жизнь» в издании «Грамотей» (1915) заканчивается следующими словами: Мы ничего не говорили о запросах детского ума. Это произошло потому, что их было очень мало: не пришло, вероятно, время. Все же попытки возбудить детскую любознательность были: они только не находили пока для себя почвы.

В следующей книге мы постарались воспользоваться накопившимся у нас за следующие годы материалом, чтобы выяснить, каким образом в наших условиях труд и искусство привели к науке в детской жизни».

В дальнейшем С. Т. Шацкий переработал заключительный абзац книги «Бодрая жизнь».

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авторитет — 202, 229, 236, 237, 274, 276, 294, 300, 335, 340, 367
Аккуратность — 234, 284, 328, 346
Активность детей — 358, 424, 434, 460
Беседа — 98, 203, 220, 230, 238, 240, 242, 256, 260, 282, 283, 324, 326, 347, 377, 391, 460, 470, 471, 472
Библиотеки детские — 61, 266, 279, 285, 291, 351, 443, 456
Воля — 184, 185, 194
Воспитание, его сущность, цели, задачи — 53, 56, 61, 67, 146, 148, 190, 212, 260, 265, 288, 377, 380, 383, 403, 448–450, 460–462, 470
Воспитание дружбы и товарищества — 82, 83, 98, 221, 225, 226, 230, 269, 377, 378, 381, 383, 390, 404, 457, 476, 484
Воспитание общественное — 56, 285, 341, 355, 358, 377, 379, 386, 424, 448–450, 456–461
Воспитание трудовое. См. Трудовое воспитание
Воспитание эстетическое — 240, 282, 298, 351, 359, 385, 397, 405, 406, 423–426, 431–433, 436, 449, 487
Воспитатели. См. Педагоги; Сотрудники; Учителя
Воспитательные средства — 222, 226, 242, 391, 380, 334, 355, 358, 376, 377, 379, 383, 384, 389, 392, 400, 449, 457, 461, 470, 473, 482
Выводы педагогические — 66, 67, 145–151, 260–264, 267–271, 297–300, 340, 341, 383–385, 435, 436, 447–450, 460
Гимназия — 49–52, 73, 77, 86, 104, 115, 116, 120, 124, 129, 130, 136, 139, 141, 143, 152, 154, 158, 159
Дежурство — 268, 276, 286, 308, 309, 322, 324, 345, 353, 369, 374, 384, 397, 399, 402, 403, 439, 459, 466, 472
Дети, их особенности — 202, 211, 220, 236, 240, 247, 248, 257, 289, 301, 325, 334, 347, 350, 356, 388, 391, 399, 405, 422–425
Дети трудящихся, их положение в России до Октябрьской революции — 206, 207, 208, 275, 281, 302, 304, 315, 349, 390, 392
Детская трудовая колония. См. Колония детская
Детские сады — 56, 60, 61, 266, 277, 280, 281, 284, 486–488
Детские учреждения, их организация и работа. См. Клубы детские, клубная работа
Доверие — 273, 274, 279, 358, 382, 486
Журналы детские — 110, 111, 124, 275, 351–374, 404, 447, 459
Занятия детей в колонии и клубе — 241, 266, 274, 275, 281, 283, 284, 303, 354, 363, 364, 369, 374–375, 387, 389, 425, 427, 428–434, 441, 447, 457, 482
Знания, овладение ими — 182, 190–193, 243, 265; 266, 276, 288, 435. См. также Образование
Игра, её воспитательное значение — 202, 210, 211, 218, 229, 234, 235, 240, 245, 263, 292, 297, 303, 321–323, 335, 336, 339, 342, 347, 352, 357, 359, 364–368, 385, 401–403, 405, 407, 411, 412, 415–417, 421–424, 432, 444–446, 457, 458, 487
Инициатива детей — 203, 244, 256, 275, 350, 401, 439
Инстинкты детей — 211, 266, 289, 290, 292, 319, 405, 425, 433, 448
Интересы детские — 55, 58, 85, 124, 203, 275, 282, 284, 290, 291, 292, 298, 311, 328, 340, 341, 343, 362, 368, 375, 380, 387, 389, 394, 399, 423, 424, 428, 429, 433, 434, 448, 454, 461, 477
Искусство, его воспитательная роль — 189, 280, 284, 285, 291, 292, 297, 298, 385, 386, 423, 425, 426, 429, 432, 449
Клубы детские, клубная работа — 56, 61, 63, 255, 256, 266, 275, 276, 277, 282, 284, 303, 314, 454–464, 477, 480, 481, 486, 488
Книга, её роль в воспитании и образовании — 129, 158, 190, 191, 240, 285, 291, 423, 424, 436, 443, 457
Колонисты маленькие — 326, 357, 376, 384, 392, 400, 401, 402, 404, 425, 440, 442, 444, 445, 447, 455, 460

- Колония летская — 56, 61, 62, 202, 207, 223–225, 230, 232, 234, 235, 240, 246, 248, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 270, 273, 276, 279, 292, 297, 450, 464, 465–467, 469, 471, 473, 474, 476, 479, 480–486
- Комиссии детские (в колонии) — 286, 355, 356, 361, 363, 372, 374, 376, 445, 466, 471, 480, 484
- Кружки — 124, 202, 243, 256, 257, 284, 454
- Культура быта — 232, 323, 346, 347, 351, 353, 385, 397, 424, 425, 442, 448
- Лекция — 60, 153–156, 158, 159, 162, 165, 178, 242–244, 266, 287, 488
- Литература педагогическая — 62, 242, 262
- Личность ребёнка. См. также Дети, их особенности
- Мастерские — 56, 61, 239, 266, 277, 281–284, 290, 291, 304, 390, 399, 488
- Меры воздействия. См. Воспитательные средства
- Методы обучения — 60, 61, 148, 153, 198, 243, 281, 432, 457
- Музыка, её воспитательное значение — 82, 159, 164, 175, 189, 284, 285, 360, 386, 418–423, 425–436, 446
- Навыки — 343, 344, 435
- Наказание — 206, 223, 237, 251, 252, 268, 376, 379, 441, 456, 462, 472, 473, 487
- Образование — 182, 190–193, 265, 266, 288, 435, 461
- Общественное мнение — 104, 313, 377. См. также Собрания детские
- Опыт практической педагогической работы, его роль в воспитании и обучении — 53, 58, 69, 448, 458
- Опытные учреждения — 58, 61, 64
- Опыты физические, химические — 53, 243, 275, 293, 472
- Организация труда детей — 212, 213, 214, 217, 227, 228, 231, 279, 283, 284, 298, 308, 311, 324–328, 341–347, 350, 353, 361, 362, 374
- Ответственность — 234, 311, 328, 330, 358, 375, 384, 401
- Отдых — 229, 234, 235, 311, 323, 348, 351, 386, 423, 438, 444–446, 460
- Отношение детей к колонии — 224, 237, 248, 260, 352, 358, 359, 362, 375, 376, 378, 379, 383, 390, 473, 486, 488
- Отношение детей к труду — 281, 282, 324, 347, 361, 371, 375, 382, 383, 403, 437, 439, 440
- Отношения между мальчиками и девочками — 270, 276, 316, 330, 334–336, 342, 372, 400, 443, 468, 471, 481, 484
- Отношения между педагогами и детьми — 50, 53, 93, 105, 137, 141, 235, 236, 237, 242, 266, 267, 274, 278, 316, 331, 335, 337, 338, 381, 382, 384, 385, 392, 394, 445, 456, 460, 461, 473, 474, 477
- Отношения между старшими и младшими детьми — 267, 282, 305, 328, 332, 334, 338, 357, 361, 376, 401, 402, 404, 424, 441, 445, 478
- Педагоги — 55, 56, 57, 60, 65, 67, 93, 197, 198, 201, 220, 222, 294, 299, 300, 458–462, 464. См. также Сотрудники; Воспитатели; Учителя
- Педагогика — 55, 57, 59, 66, 69, 149, 197, 201, 208, 220, 289, 294, 448, 450
- Педагогический труд, педагогическая работа — 55, 57, 58, 60, 62–66, 69, 145, 153, 191, 197, 198, 262, 288, 297, 300
- Правила в колонии, в клубе — 236, 238, 250, 286, 317, 367, 377, 379, 437, 455, 456, 460, 461, 466
- Привычки — 238, 323, 340, 358, 362, 380, 392, 424, 425, 448, 449
- Прогулки — 244, 245, 247, 249, 337–340, 347, 403, 457, 458, 482. См. также Экскурсии
- Работа среди населения — 53, 61, 63, 256, 294
- Радость труда, радость рабочего напряжения — 215, 311, 327, 328, 344, 385, 449
- Режим дня — 273, 311, 437–441, 444, 447, 449, 466
- Самодеятельность — 53, 148, 256
- Самообразование — 111, 193, 204
- Самообслуживание — 238, 267, 269, 320, 328, 358, 384, 398, 399, 439, 447, 381, 409, 439, 458, 462, 467, 477
- Самостоятельность — 53, 160, 183, 186, 230, 244, 265, 267, 268, 270, 298, 357, Самоуправление летское — 55, 56, 64, 230, 357, 457, 458
- Связь детской колонии с жизнью, с населением — 49, 53, 84, 244, 286, 424, 463, 457, 463–464, 488
- Сказка, её воспитательное значение — 70, 206, 222, 230, 253, 258, 428, 447
- Собрания детские, их значение в воспитании — 233, 236, 241, 245, 246, 250–254, 258, 260, 267, 269, 308, 312, 313, 320, 324, 326, 330, 332, 334, 336, 340–342, 350, 351, 354–358, 361, 363, 369, 371, 372, 374, 379, 380, 384, 389–392, 399, 401, 440–442, 448, 450, 453, 454, 465, 468, 470, 471, 475, 480, 485
- Сознательность — 271, 286, 305, 313, 324, 328, 340, 343, 383, 475
- Сотрудники — 274, 285, 299, 304, 305, 312, 313, 316, 317, 321, 360, 369, 386, 392, 399, 404, 405, 407, 410–412, 415, 418, 425, 429, 430, 432, 447, 457–459, 462–467, 480–488. См. также Воспитатели; Педагоги; Учителя
- Студенчество дореволюционной России — 51, 54, 55, 69, 139, 157, 161, 164, 165, 169, 181, 187, 201
- Творчество летское — 280, 281, 284, 289, 290, 298, 372–373, 405, 409, 412, 419, 422, 450
- Театр — 129, 134, 275, 287, 360, 388, 422
- Требование — 238, 239, 424, 431, 443, 449
- Труд педагогический. См. Педагогический труд
- Труд детей, формы, виды труда. См. формы, виды труда
- Труд физический как средство воспитания — 53, 148, 185, 263, 266, 268, 270, 290, 298, 299, 303, 324, 335, 339, 341, 344, 347, 376, 385, 404, 448, 449, 466, 468. См. также Воспитание трудовое
- Трудовая школа. См. Школа трудовая
- Трудовое воспитание — 55, 64, 265, 266, 270, 284, 290, 303, 340, 343, 344, 360, 377, 380, 384, 385, 397, 400, 404, 448, 449
- Университет — 51, 52, 54, 57, 138, 145, 148, 153, 156, 157, 159, 162, 167, 169, 170, 175, 178, 179, 192, 287
- Упражнение — 149, 281, 427, 428
- Учебники — 53, 104, 123, 128, 145, 151, 155
- Учитель — 50, 73, 79, 81, 83, 85–87, 90, 92, 94, 96, 97, 100, 103, 107–109, 116, 117, 129, 130, 136. См. также Воспитатели; Педагоги; Сотрудники
- Физика — 283, 293, 454, 457, 472, 488
- Фотография — 266, 283, 285, 366
- Формы, виды труда — 239, 280, 284, 290, 298, 306, 312, 320, 321, 327, 340, 342, 344–346, 348, 354, 370, 371, 383, 393–396, 398, 400, 403, 424, 436–439, 441, 448, 467–468
- Характер, его воспитание — 186, 193, 262, 275, 287, 289, 290, 302, 318, 329, 388, 391, 403, 412, 423
- Химия — 283, 293, 454, 457, 472, 488
- Хозяйство колонии — 268, 269, 279, 280, 330, 337, 344, 353, 354, 358, 362, 363, 369, 370, 371, 374, 393, 398, 399, 423, 424, 448
- Целенаправленность — 380, 383
- Чтение — 240, 266, 347, 424, 447, 467, 472
- Чувство долга. См. Ответственность
- Школа дореволюционной России — 49, 50, 52, 57, 77, 78, 84, 139, 145, 148, 151, 288, 300
- Школа трудовая — 54, 62, 280
- Эксперсии — 62, 241, 244, 258, 259, 262, 276, 291, 292, 457, 464, 477, 480, 481, 488. См. также Прогулки
- Эксперимент педагогический — 62, 226, 277, 280

- Азаревич Л.Д. — 63, 274
 Бекман-Щербина Е.А. — 426, 433
 Бетховен Л. — 117, 125
 Бах И. — 434
 Варламов А.Е. — 431
 Василенко С.Н. — 284
 Верн Ж. — 91
 Вильямс В.Р. — 55
 Гирш О.В. — 274
 Гаршин В.М. — 114
 Глиэр Р.М. — 431
 Гоголь Н.В. — 82, 143
 Гречанинов А. Т. — 426, 430
 Григорьев С. Т. — 386
 Гюго В. — 52, 118
 Жак Далькроз Э. — 432, 446
 Дарвин Ч. — 165
 Декроли О. — 59
 Демьянова В. Н. — 274
 Диккенс Ч. — 52
 Достоевский Ф. М. — 82
 Дьюи Д. — 58, 62
 Зеленко А. У. — 55, 57, 63, 272, 273, 274, 277, 281
 Золя Э. — 52, 168
 Казиминова Е. Я. — 274
 Карамзин Н. М. — 143
 Ключевский В. О. — 156
 Красин Л. Б. — 56
 Крупская Н. К. — 65, 66
 Крылов И. А. — 143, 285
 Кюи Ц. А. — 430
 Ленин В. И. — 65
 Мазетти У. А. — 164, 170, 175
 Маркс К. — 65
 Массалитинова Н. О. — 63
 Мендельсон Ф. — 430, 431
 Манжос Е. А. — 277
 Мензбир М. А. — 165, 182
 Млодзевский Б. К. — 154, 157
 Моцарт В. — 117
 Нежданова А. В. — 170, 175
 Некрасов Н. А. — 114
 Никольский А. В. — 426
 Останина Е. П. — 274
 Полетаева М. В. — 63, 277
 Полетаева О. В. — 277
 Пушкин А. С. — 143
 Ребиков В. И. — 431, 433
 Рубинштейн А. Г. — 431
 Руссо Ж.-Ж. — 59
 Салтыков-Щедрин М. Е. — 114
 Сафонов В. И. — 176
 Симов В. А. — 285
 Тимирязев К. А. — 51, 156, 165, 170, 171, 177, 178
 Тихомиров А. А. — 165
 Толстой Л. Н. — 52, 53, 54, 82
 Фортунатов К. А. — 274, 293, 294
 Фортунатов А. А. — 274
 Фортунатов А. Ф. — 55
 Чайковский П. И. — 434
 Черкезов Г. Г. — 277
 Чехов А. П. — 285
 Шанявский А. Л. — 60
 Шлегер Л. К. — 63, 245, 274
 Шопен Ф. — 117
 Шуберт Ф. — 429, 431
 Энгельс Ф. — 65

- От редакции 5
 С. Т. Шацкий, его общественно-педагогическая деятельность и педагогические взгляды 7
 Автобиографические работы 47
 Мой педагогический путь 49
 Годы исканий. Часть I. Старая школа 68
 Студенческие годы 152
 195
 Новая общественно-педагогическая работа 197
 Дети — работники будущего 265
 Детский труд и новые пути 272
 Новая общественно-педагогическая работа для «детей — работников будущего» 287
 Задачи общества «Детский труд и отдых» 293
 Памяти светлой молодой жизни 295
 Бодрая жизнь 451
 Приложение 458
 490
 Комментарии 497
 Предметно-тематический указатель 500
 Указатель имён

Станислав Теофилович Шацкий
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Том I

Редактор *Т. Э. Волкова*.
Оформление *И. З. Азроной*.
Художественный редактор *Т. И. Добровольнова*.
Технический редактор *Л. М. Добровольнова*.
Корректоры *Л. С. Каиль* и *Л. Блинова*.

Сдано в набор 11/X 1961 г. Подписано к печати 6/X 1962 г.
Формат 84×108¹/₃₂ Бум. л. 7,88+0,03 Печ. л. 31,5+вкл. 0,63
Усл. п. л. 25,83+ 0,11 Уч.-изд. л. 26,94 А 04854
Тираж 6000 экз. Заказ 557. Цена 1 руб.
Изд-во АПН РСФСР, Москва, Потодинская ул., 8.
Типография Изд-ва АПН РСФСР,
Москва, ул. Макаренко, д. 5/16